

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

Журнал распространяется
при финансовой поддержке
института
"Открытое общество"

7

1995

7

НОВЫЙ МИР

1995

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 7(843)

Июль, 1995 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ — Рождение, повесть | 3 |
| БУЛАТ ОКУДЖАВА — По воле возраста и рока. Из лирического дневника, стихи | 51 |
| ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН — Кормление старого кота, рассказы | 56 |
| ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА — Без иллюзий и слез, стихи | 94 |
| ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО — В маленькой столовой на краю пусты- ни, стихи | 99 |
| ВЕРА ЧАЙКОВСКАЯ — Новое под солнцем, повесть | 104 |
| АЛЕКСЕЙ ПУРИН — Осязание, стихи | 122 |

ПУБЛИЦИСТИКА

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ВАЛЕРИЙ ПИСИГИН — Хроники безвременья | 130 |
|---------------------------------------|-----|

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

| | |
|--|-----|
| АННА АННЕНКОВА — Впервые в Европе. Пристрастные впечат- ления | 159 |
|--|-----|

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ИГОРЬ ЗОТИКОВ — Три дома Петра Капицы | 175 |
|---------------------------------------|-----|

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

| | |
|--|-----|
| АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — «Гей, славяне!». Черты истори- ческого самосознания на сломе эпох | 213 |
| ДМИТРИЙ СТАХОВ — Каким ты будешь, милое дитя? Первые впе- чатления от русского бестселлера | 225 |

ПО ХОДУ ДЕЛА

| | |
|--|-----|
| ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ — Памяти Ваньки Жукова | 232 |
|--|-----|

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

234

Марина Новикова. Арфы и вербы.
Ю. Шрейдер. Судьба ученого в бывшем СССР.
С. Ларин. Первый блин комом?

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

| | |
|------------------------------------|-----|
| Г. ГОЛИЦЫН — Каспий поднимается... | 243 |
| ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ | 250 |
| КНИЖНАЯ ПОЛКА | 251 |
| ПЕРИОДИКА | 252 |
| SUMMARY | 256 |

Уважаемые читатели! Не забудьте вовремя продлить вашу подписку. Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Если вам удобно самим приезжать за номерами журнала, не оплачивая почтовые расходы, то вы можете оформить подписку на «Новый мир» прямо в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10 до 18 часов.

В розничную продажу журнал не поступает, наложенным платежом не высылается.

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner, D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218) и Акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160).

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ



РОЖДЕНИЕ

Повесть

Часть первая

1

Первый раз младенец шевельнулся в животе матери на исходе пятого месяца своей жизни. Его крохотные мягкие ручки и ножки уже давно задевали гибкую стенку матки, но прежде их движения были слишком слабыми, и женщина их не ощущала. Теперь же она почувствовала легкое прикосновение, вздрогнула и прислушалась. Он толкнулся снова, и если бы кто-нибудь увидел в эту минуту ее лицо, то, будь это даже человек очень холодный либо чем-то ожесточенный, он бы наверняка многое простил всем несовершенствам и несправедливостям земной жизни. Но кроме большой лохматой собаки видеть ее было некому: муж уехал в лес, и она была одна в просторной, по-осеннему прохладной квартире, где все отличалось когда-то крепостью, добротностью и порядком, а теперь медленно приходило в запустение.

Женщине было тридцать пять лет, это была ее первая беременность, и возраст, некрепкое здоровье и хрупкое телосложение сильно ее беспокоили. Она добросовестно и вовремя обошла всех положенных врачей, и хотя ее предупреждали, что беременность будет сложной и, возможно, она ее не доносит, никто поначалу не говорил ничего определенно плохого.

Давали обычные в таких случаях советы, но все равно последние месяцы женщина жила в неуверенности и тревоге, со страхом прислушиваясь к тому, что происходит в глубине ее тела.

От этой тревоги и неопределенности она никому, ни мужу, ни матери, ни ближайшим подругам, ничего не говорила про свое положение, а хранила и носила в себе эту тайну, опасаясь сглаза, несчастья, несвоевременных поздравлений, любопытства и удивления.

Она была замужем двенадцать лет, и давно все родные и знакомые, прежде шуточно намекавшие на потомство, но постепенно замолчавшие, были уверены, что она никогда не родит. Своим тактичным молчанием они уверили в том же и ее, и когда то, чего она так ждала и отчаялась дожидаться, внезапно свершилось, ее охватил суеверный трепет. Она долго боялась и не разрешала себе поверить окончательно, пока в угрюмом, всегда избегаемом ею учреждении с нелепым названием «женская консультация» ей не подтвердили: беременна, предположительно восемь недель, будете оставлять? — холодно, даже неприязненно; но когда она их торопливо перебила, конечно, оставлять, обошлись приветливее, с непривычной для этого места заботливостью и велели через месяц приходиться ставиться на учет.

Все это показалось ей тогда странным и необъяснимым, тем более что в последние годы они бывали с мужем близко редко. Их брак, заключенный когда-то не столько по любви, сколько вследствие какого-то наважде-

ния, давно перешел в привычку, и былая страсть превратилась в заботу друг о друге, а потом и эта забота угасла. Хорошо это было или плохо, почему так случилось и можно ли было этого избежать, она не знала, но то, что у нее не было ребенка, не просто ее печалило, а обесмысливало саму ее жизнь. Она никогда не говорила на эту тему с мужем, и хотя допускала, что он тоже страдает, вся вина ложилась на нее, или она незаслуженно ее на себя брала, если только можно говорить о вине в подобных случаях. Впрочем, в глубине души она имела свое объяснение, почему так долго не могла забеременеть: от нее слишком ждали этого ребенка — его родители, он, ее родители — и в минуты близости она никогда не могла расслабиться и отвлечься от этой настойчивой мысли, так что со временем даже супружеские отношения потеряли для нее всю прелесть и превратились в скучную утомительную обязанность, которую она под всяческими предложениями избегала.

Наверное, она была плохая жена своему мужу, но ни он, ни его жизнь интересны ей не были. Совместное проживание казалось чем-то вынужденным, и сколько она ни пыталась убедить себя в том, что в мире миллионы бездетных семей и сотни тысяч из них счастливы, а если и несчастны, то совсем по другим причинам, к ней эти рассуждения не имели никакого отношения.

Муж никогда не высказывал недовольства, он много и увлеченно работал, на выходные и праздники часто уезжал в лес и возвращался оттуда свежий и отдохнувший. Он был по-своему к ней внимателен, но подспудно в ней жило убеждение, что рано или поздно она останется одна. Она была к этому готова и ничуть не удивилась бы, если бы однажды он сказал, что уходит. Она полагала даже, что если он этого и не делает, то лишь потому, что ему мешает дурно понимаемая порядочность, но все это заставляло ее, умную, спокойную женщину, становиться подозрительной, мелочной, прислушиваться к его телефонным разговорам, напрягаться, когда оң где-то задерживался, и барахтаться в отвратительной житейской мути.

Это чувство, равно как и мысль, что он ей изменяет, казалось настолько унижительным и их самих недостойным, что иногда она всерьез задумывалась о том, чтобы уйти первой и освободить этого человека, которого она теперь если не любила, то все равно уважала.

Она была готова это сделать сама, потому что сейчас это было легче, чем через несколько лет, когда она станет зависимее и слабее, но в то лето, которое она выбрала для разрыва, и подоспели неприятные признаки — сонливость, усталость, тошнота, что случилось с нею и раньше и что, обманываясь, она часто принимала за беременность, а потом жестоко разочаровывалась. И эта истинная беременность вторглась в жизнь женщины, заставив ее позабыть о всех своих подозрениях, невысказанных упреках и намерениях.

То, что испытала она в те летние месяцы, вернее всего следовало назвать ужасом перед собственным, но точно чужим, стремительно меняющимся телом и еще более изменившейся психикой. Она сама себя не узнавала и не понимала: ей часто хотелось плакать и сделалось невыразимо жалко саму себя. Никогда она не чувствовала себя такой незащищенной, уязвимой, одинокой и никому не нужной, и никогда окружающий мир не казался ей столь враждебным и жестоким. Она боялась подолгу оставаться дома одна, боялась выходить на улицу, боялась куда-нибудь ехать. Все время ей мерещилось: что-то случится с трамваем, загорится поезд в метро, взорвется подложенная террористами бомба, нападет в темноте убийца или маньяк, и, ничего не говоря о своих страхах мужу, она инстинктивно к нему тянулась, хотя в последние годы он только раздражал ее молчаливостью.

Должно быть, от внимательного взгляда все эти вещи едва ли ускользнули бы, однако ее муж был слишком занят собою, чтобы обращать внимание на подобные причуды. И, сталкиваясь с его отчужденными глазами,

она замыкалась и таила все в себе. Она жила словно в какой-то скорлупке, лелея и оберегая свое тело, пронося его как драгоценный сосуд, и даже баночки с мочой для анализа казались ей чем-то очень значительным, ибо имели непосредственное отношение к происходящему с младенцем.

Так прошло, словно в забытии, лето, не жаркое в тот год, но душевно и сырое, а потом наступила осень, и ей стало легче. Она не испытывала больше приливов дурноты, не падала в обморок и как будто успокоилась и затихла. В глубине ее тела жил маленький ребенок, жил с нею всегда — когда она гуляла, спала, ходила на работу, и хотя ей по-прежнему казалось, что весь мир ополчился на нее, теперь, после того как дитя зашевелилось, она почувствовала себя не такой одинокой.

Женщина подошла к окну и отодвинула шторы. Сильный ветер срывает с деревьев мокрые, светло-желтые, с ржавыми крапинками листья, листья падали в лужи, по лужам барабанил дождь, все было в лохмотьях — и небо, и земля, и люди с развевающимися полами плащей, торопливо проходившие по улице, наклонив головы и с трудом удерживая зонты.

А рожать ей только в феврале. Впереди еще вся осень и больше половины зимы: скользкие тротуары, снежные заносы, ранние сумерки и долгие глухие ночи. Она и страшилась и торопила время. Ее живот был пока не заметен, но скрывать свое положение удастся еще недолго. Она с тоской подумала о соседях, о любопытствующих бабках возле подъезда, о своих сослуживцах и родне, о новых перешептываниях, толках и преувеличенной заботе со стороны людей, которые были ей несимпатичны.

Дождь за окном не кончался, женщина не спеша оделась, позвала собаку и вышла из дому. Ей не слишком хотелось гулять в такую погоду, но она побрела вдоль канала, мимо шлюза, где уходили вверх в Волгу и вниз в Оку последние баржи, ветер рвал мокнувшее на веревках белье, ходил по палубе одетый в непромокаемый плащ полупьяный матрос в меховой шапке, равнодушно поглядывая по сторонам, и так же равнодушно и лениво смотрел через залитое дождем стекло в рубке капитан, гадая, сколько их продержат в этом шлюзе на северо-западной окраине Москвы.

2

Мужчина сбился с дороги, когда до деревни оставалось не более трех километров. Он решил сократить расстояние, пошел напрямик через лес и полчаса спустя понял, что заплутался. Давно должна была показаться деревня, а лес делался сырее и неприятнее, на смену елям и соснам пришел низкий ольховник, продираться через который было неловко и нелегко. Местность эта была расположена далеко на север от Москвы, здесь шел уже не дождь, а снег, случались крепкие утренники, лужи не успевали за день оттаять, и очень странно выглядели по обочинам заброшенных лесных дорог застывшие мерзлые сыроежки и рыжики.

Шел седьмой час, приближались сумерки, и мужчина пожалел, что не взял в этот раз собаку. Леса эти он знал недостаточно хорошо, и ничего другого, как ночевать здесь, ему не оставалось.

Присев на поваленное дерево, заросшее упругими опятами, он пересчитал оставшиеся в пачке сигареты — единственное, чем в отсутствие еды мог скрасить себе ночь. Их было шесть штук — четыре целых и две сломанных. Он взял сломанную, закурил, но она еле тлела. От земли, от деревьев, от неба тянуло стужей, в воздухе сгушалась темнота, и ему сделалось жутковато. Даже топора, чтобы развести приличный костер, у него не было. Он с тоскою оглядел хмурое, студеное небо и уходившие к нему верхушки худых и гибких деревьев, взвалил рюкзак и решил, что будет идти, пока хоть что-то видно. Ветки хлестали его по лицу, ногами он задевал поваленные стволы и торчавшие в разные стороны сучья, несколько раз упал, порвал сапог, но упорство его было вознаграждено.

Полчаса спустя в плотных сумерках за редкими деревьями блеснула вода, и он увидел лесное озерцо. Окруженное топким берегом и кривыми

маленькими соснами, оно выглядело довольно зловеще, хотя необыкновенно красиво. Он никогда не бывал здесь прежде, но по рассказам местных знал, что где-то на берегу есть избушка, и, рискуя в темноте свернуть шею, пошел вдоль воды, пока не уперся в бревенчатый сруб.

В первый момент он даже отказался поверить в свое везение. В избушке то ли кто-то жил, то ли постоянно сюда наведывался, но, осветив ее спичкой, он увидел на столе керосиновую лампу, банку с чаем, кружки, консервы, дрова, пилу, топор и рыболовные снасти. «Не хватает только водки», — подумал он радостно, но водка, пожалуй, и не требовалась.

Минут десять он сидел не двигаясь, наслаждаясь покоем и запахом жилья, выкурил сигарету, а потом затопил печку, принес воды, начистил и поставил вариться картошку. Теперь спешить было некуда, он делал все по своему обыкновению аккуратно, получая от каждого из этих простых действий то неизъяснимое, особое удовольствие, какое способен ощутить в лесу лишь горожанин. В десятом часу вечера, когда в избушке стало совсем тепло, он поужинал и, сидя у огня, покуривая крепкую «Астру» и попивая сваренный из озерной воды чай, погрузился в сонное, неторопливое течение своих мыслей.

Он подумал о том, что еще недавно, всего несколько лет назад, он бы не смог почувствовать всю прелесть этой избушки и этого леса, его ощущения не были бы такими полными и глубокими, потому что он был слишком честолюбив, мучился от сознания своего несовершенства, к чему-то стремился, — теперь же, слава Богу, все это ушло. Быть может, его нынешнюю покойную и размеренную жизнь нельзя было назвать громким словом «счастье». Это было скорее довольство, понятие, заклеенное как обывательское, но, в сущности, безобидное и никому не причиняющее зла. Теперь все то, что он считал прежде целью каждого уважающего себя человека — дело жизни, признание, заслуженный успех, — потеряло былую привлекательность и в цене оказались совсем иные вещи. Наверное, это было что-то вроде преждевременного старения, но он, мечтавший о невероятно интересной, захватывающей жизни, полной поездок, шума и встреч, он, желавший прославить свое имя и гордившийся собою, презиравший тех, кто разменивался на мелочи и сворачивал с высокого и узкого пути на торную дорогу дешевого накопительства, ныне именуемого предпринимательством, довольствовался тем, что ходил в тихий академический институт, откуда разбежалась половина народу, не рассчитывал более ни на какую карьеру, ни на то, что его позовут за границу, и лучшими своими днями считал те, когда дважды в году, в мае и сентябре, ездил в глухую деревушку на границе Архангельской и Вологодской областей к скуповатой старухе с диковинным именем Текуза, которая за батон колбасы и два килограмма карамели сдавала ему комнату в громадной избе и весьма гордилась своим образованным непьющим постояльцем. При этом он не был ни охотником, ни рыболовом, ни грибником, в его отношении к природе не было ничего материального и корыстного — он просто любил лес, любил по нему ходить, медленно и тихо, чтобы не вспугнуть раньше времени лесную птицу или зверя, слушать и вбирать в себя его запахи и звуки, и если и собирал корзину ягод или грибов, то делал это в охотку, не придавая этим дарам никакого значения. Местные жители его не понимали и считали за неудачника, чудака, которому можно простить бесполезную трату времени лишь потому, что он горожанин, чужак, — а он был счастлив тем, что за целый день не встречал не только человека, но даже следов чьего-либо присутствия.

Лишь здесь ему было по-настоящему хорошо, и порою он думал, что пройдет еще несколько лет — и он переселится в эту деревню или такую избушку насовсем, чтобы забыть о жизни, похоронившей его лучшие и худшие устремления, обижавшей его невезением, непониманием, черствостью, жизни, в сущности, не сложившейся по его ли вине или потому, что так вышло и жизнь не складывается у девяти десятых, только редко кто в этом сознается. Друзья, которых он растерял, потому что друзьям за-

видовал больше всех, и чем ближе был ему какой-то человек, тем больше раздражали его успехи; те немногие женщины, с которыми он ненадолго сходилась, но быстро остывал, чувствуя, что им надо тепла, а ему самому было холодно; жена, его совсем не понимавшая, чужая и равнодушная женщина, единственное достоинство которой заключалось в том, что она не мешала ему жить, как он хочет. А ведь если бы кто-нибудь сказал ему десять лет назад, что все так скучно и заурядно сложится, он бы этому человеку никогда не поверил. Он слишком высоко себя ставил и ценил, чтобы так быстро сдаться и опустить руки, а теперь и сам не знал, к лучшему или худшему то, что с ним произошло. Но в любом случае его судьба не самая печальная, по крайней мере он свободен, здоров и у него еще будет достаточно времени и сил, чтобы насладиться лесными дорогами, остожьями, ручьями и не считать свою жизнь совсем напрасной.

Дрова в печи догорали, и нужно было точно угадать момент, когда закрыть трубу, чтобы не выпустить лишнее тепло и не угореть. Это была достаточно тонкая вещь, и когда ему случалось топить печь, он иногда ошибался. Но теперь ошибиться не хотелось: ничто не должно было испортить этот вечер. Дрова еще переливались красным и желтым жаром, дрожали, рассыпались на угольки и подергивались налетом золы. Он отсел от печки и глядел, как отражаются огоньки в маленьком, затянутом паутинкой окошке, выходящем на озеро. Интересно, кто срубил и хранил в порядке эту избу? Как она уцелела, не была разграблена и сожжена? Мало ли людей шляется нынче по лесам даже в этих глухих местах. Но так или иначе он был благодарен неведомому человеку, не просто избавившему его от необходимости ночевать в промозглом лесу, но подарившему ощущение счастья.

Мужчина закрыл печь, вышел из избушки и подошел по деревянным мосткам к озеру. Теперь определить его величину было невозможно, но, сколько он помнил, оно было совсем маленькое и по форме напоминало каплю. Такие озера обычно бывают очень глубокими, и он с волнением подумал о непуганых громадных рыбах, которые медленно шевелят жабрами и где-то спят в ямах, изредка поднимаясь на поверхность, и во всем своем великолепии выбрасываются из воды. После жарко натопленной избушки холод был приятным, и он долго стоял на берегу, разглядывая то темную воду, то небо, где слегка прояснило и через лохматые облака проглядывали скуповатые редкие звезды. Он уже сильно замерз, но уходить было жалко, и он стоял и стоял на этом мостике, точно желая унести с собой ощущение темноты, смешанной с запахом озера и леса, и вдруг охватила его печальная и ясная мысль, что никогда больше такой ночи и такого пронзительного чувства благодарности миру и жизни за то, что они есть, у него не будет. Он не мог объяснить себе точно, отчего так подумал и что помешает ему прийти сюда снова, но от мысли, что он уедет, а озеро и изба останутся, ему сделалось тоскливо, как тяжелобольному человеку, в покойный и ясный день разглядывающему небо через запыленное больничное окошко.

Он вернулся в избу и в этом печальном настроении лег спать на грубые нары, подстелив под себя замасленную телогрейку. Спал он долго, беспокойно ворочался: он все-таки угорел слегка, а под утро замерз, и всю ночь его мучили сны, точно он куда-то едет по разбитой, некрасивой дороге на телеге с мерзлым картофелем, прицепленной к трактору, и не знает, куда и сколько еще ехать.

Когда он проснулся, погода переменилась. Нежное осеннее солнце освещало озерцо, и оно казалось не угрюмым, как накануне, а веселеньким и домашним, словно аквариум. Мужчина позавтракал и в знак благодарности оставил хозяйну лесной избы складной нож.

По небольшому ручью, вытекавшему из озера, он спустился к реке, на которой стояла деревня, и пошел вдоль берега. Дорога была красива, на деревьях и на траве блестела паутина, шелестели под ногами листья, и в обнаженности леса было что-то музейное. Когда ему случалось подни-

матся на поросшие соснами гряды, открывались бесконечные темные дали, и казалось, что отсюда можно увидеть полуночное море. Он шел неслышно и неторопливо, и лицо у него было загадочным и вороватым, как у счастливого любовника.

Но когда несколько дней спустя он вернулся в свой заводской район, в небольшой подмосковный город возле водохранилища, в душе у него возникло странное ощущение, что эта поездка в лес, самая удачная из всех, была дана ему как роздых перед чем-то очень тяжелым, с чем ему неминуемо предстоит столкнуться, и он не мог отделаться от смутной тревоги, затенявшей его радость.

— С тобой все в порядке? — спросил он жену, открыв скрипнувшую дверь в спальню.

Она ничего не ответила, но его взгляд, не равнодушный и отчужденный, как обычно, тронул ее.

— Что-нибудь случилось?

— Случилось, — волнуясь, неожиданно для себя самой произнесла она.

— Что?

— Я жду ребенка.

— Какого ребенка?

Она как-то виновато-довольно улыбнулась, как улыбалась только в первые годы их общей жизни, и показала руками на живот.

Однако загорелое, обветренное лицо мужа выразило не радость, а растерянность.

— И что ты решила? — спросил он наконец осторожно, и она не сразу поняла, что он имеет в виду, а когда догадалась, то лицо ее потемнело, она остро пожалела о своих словах и подумала, что никогда ему этого вопроса не простит.

3

Младенец привык к организму матери не сразу. Первые недели, когда женщина еще не была уверена в своей беременности, между нею и крохотным зародышем шла яростная борьба. Ее оплодотворенная после стольких пустых лет Бог знает какая по счету яйцеклетка вызвала целую бурю, и все ее существо начало сопротивляться посторонней жизни. Будь женщина на десяток лет моложе или случись это не первый раз, сопротивление не было бы таким упорным. Но, лелея мысль о дитяти, мешая тревогу и страх с нежностью и любовью, она и помыслить не могла, насколько близок был зародыш к гибели. Однако от своих ли родителей, от природы или по воле Бога он унаследовал отчаянную цепкость и, несмотря на лихорадку первых месяцев, сумел прицепиться к стенке матки и крепко за нее держался.

Это был младенец мужского пола, обещавший стать здоровым и крепким мужчиной, он изнурял мать, но сумел взять от нее самое нужное, он был жаден, эгоистичен, жизнестоек, у него были свои ощущения и эмоции — он делал все то, что следовало ему делать, и развивался, как развиваются миллионы человеческих детенышей, кому удалось избежать преждевременной гибели или внутриутробного убийства.

Большей частью он спал и во сне рос, но, отделенный от внешнего мира непроницаемой оболочкой, частично воспринимал происходящее за пределами материнского живота. Он любил, когда мать гуляет, любил мелодичные плавные звуки, но плохо переносил, когда она нервничала, боялась или съедала что-нибудь острое. Он был весь в ее власти и целиком от нее зависел во всех мелочах, между ним теперешним и тем, кем ему предстояло стать, лежало громадное расстояние, несоразмерное с самой человеческой жизнью, и преодолеть его было еще сложнее, чем прожить жизнь.

Подобно тому как в спокойствии ясного дня облачко на горизонте может означать приближение ненастья, в организме женщины исподволь на-

капливалось и развивалось неблагополучие. Оно было пока незаметным, его не могла почувствовать ни сама женщина, ни определить опытные врачи или умные приборы, но младенец забеспокоился и принялся посыпать матери сигналы, выплескивавшиеся в мутных снах.

Эти сны были поначалу мимолетны, и, просыпаясь, она их не помнила, лишь чувствовала себя после ночи усталой и разбитой. Но однажды ее разбудило особенно пронзительное сновидение. Была лунная ночь, комнату освещал зыбкий неприятный свет, ей чудился привезенный мужем запах леса, костра, грибов, болота и лесных ягод — запах, который она так любила прежде, но теперь раздражавший ее, как почти все запахи.

Несколько минут она лежала не двигаясь, вытянув руки вдоль затекшего, онемевшего тела, и ждала, не шевельнется ли маленький. Но, утомленный, он заснул, и она опять почувствовала себя одиноко. Сон не шел: женщина с трудом повернулась на бок и поглядела в окно. Там, за деревьями с поредевшей листвой, медленно и бесшумно двигалась самоходная баржа. Она остановилась в шлюзе и стала подниматься, вырастая до размеров неимоверных.

Женщина включила ночник и взяла молитвослов. Она не была прежде религиозна и даже крещеной не была, но, с тех пор как забеременела, читала тайком от мужа утренние и вечерние молитвы. Она не могла в точности объяснить, зачем это делает, тем более что чужие, непонятные и тающие в себе угрозу слова не приносили ей ни утешения, ни облегчения, и, всю жизнь далекая от Бога и церкви, она казалась себе теперь самозванкой, но отступить было еще страшнее.

В последнее время она много думала о своей жизни, о странных совпадениях и обстоятельствах, ей сопутствующих, о том, почему именно теперь был послан ей этот ребенок, и никак не могла отрешиться от мысли, что все случившееся с нею произошло вопреки тому, что зовется судьбою, ребенка у нее быть не должно и законы природы, к человеку безжалостные и бесстрастные, эту ошибку могут в любой момент исправить. А потому, если у нее родится ребенок, то произойдет это лишь неким чудесным образом. Размышляя так, она решила, что не может носить и родить, будучи некрещеной, но всякий раз, когда она приближалась к церкви и входила в холодное, пустынное здание с его заунывным пением, возгласами причта и шепотком молящихся, ее охватывал озноб. Она не хотела туда — там все было слишком чужое и немилосердное, там пугали ее и взгляды святых на иконах, и колючие взгляды церковных старух, и, постояв несколько минут, она торопливо выходила на улицу.

Но в ту ночь она почувствовала, что откладывать дальше нельзя, она была слишком встревожена тягостным сном, в котором ее дитя жаловалось. Женщина нежно поглаживала живот и смотрела за окно, где уже совсем рассвело и давешняя громадная баржа ушла в водохранилище. Утро было туманным и тихим, обещая солнечный день — один из тех редких теплых дней начала октября, какой посылает природа людям, прежде чем замереть, и она подумала, что если не решится креститься сегодня, то не сделает этого никогда.

4

Когда женщина вошла в храм, шло причастие в алтаре. По случаю воскресенья народу было много, люди томительно переминались, что-то невнятно бубнил чтец возле левого клироса, и от духоты и запаха ладана ей стало дурно. Она подошла к старухе в черном салате, стоявшей за свечным ящиком, и та сказала ей, что крестить будут после службы в крещальне.

Мужчины, женщины, патлатые парни и оружие младенцы с крестными и вопреки запрету пробравшимися родителями, видеокамеры, фотоаппараты, вспышки — десятка три или четыре человек набилось в небольшое помещение с бассейном, недавно выстроенное возле храма. И все, что

последовало затем, когда пришел монашествующий батюшка с большой залысиной и редколесной бородкой, выстроил всех в круг, раздал свечи и, торопливо обходя собравшихся, стал совершать таинство — действие, менее всего к этому слову подходящее, а потом сначала мужчины, затем женщины окунались в маленький бассейн-купель с мутной водой, — поразило ее своей грубостью, суетливостью и полным несоответствием тому, что она от этого дня ждала, и подумалось даже, не обман ли это и можно ли считать такое крещение вступлением в пугавшую ее Церковь.

Однако, когда все было окончено, женщина почувствовала облегчение. До последней минуты она боялась, что-то помешает свершиться тому, что произошло в этом переполненном помещении, где ей пришлось раздеться донага и она ловила на себе удивленные взгляды других женщин; она боялась, что не будет допущена, и теперь испытала благодарность почти детскую, чистую, что никто ее не остановил и у нее и ее младенца, уже как бы крещенного во чреве матери, есть свой ангел-хранитель.

В этом благостном настроении она медленно шла домой и тихонько рассказывала ребенку, что теперь он не должен ничего бояться, все будет хорошо и ничто им больше не грозит. Но когда она поднялась в квартиру, то увидела в глазах мужа тревогу.

— Где ты была?

Она пожалала плечами и ничего не ответила, потому что вообще была с ним холодна после того вопроса, и уж тем более не собиралась рассказывать о крещении — он бы не понял ее и сказал со своей обычной снисходительностью, что креститься — это не таблетки от кашля принимать, и если она думает таким образом помочь себе и ребенку, то глубоко ошибается.

Но муж сказал совсем другое:

— Ты знаешь, что происходит?

— Нет.

— Война, — ответил он лаконично.

Остаток дня они просидели у телевизора, пока не отключили первый канал, а поздно ночью мужчина собрался и поехал в центр города. Он уже уезжал два года назад в августе и поехал теперь, потому что очень уважал пухленького, мило причмокивающего единственного интеллигентного и порядочного человека, пробравшегося во власть, этой властью отвергнутого и преданного, а теперь призывающего всех честных людей встать на ее защиту. А женщине снова сделалось страшно. Ей было все равно, кто с кем воюет и кто победит, но сообщения были такими кошмарными, что всю ночь она не могла уснуть. Ей представлялись дома с выбитыми стеклами, отключенным электричеством и водой, пустые магазины, очереди, толпы людей, выстрелы. А если именно в это время ей придется рожать?

Уснуть она не могла. Собственная квартира казалась ей ненадежной, и, хотя в их районе было тихо, страх был сильнее рассудка, ибо это был страх не за себя, а за младенца.

Чтобы успокоиться, она взяла Евангелие. Она вспомнила, когда-то давно она читала одно место, имевшее непосредственное отношение к тому, что происходило вокруг и к ней самой. Она стала торопливо листать потрепанную дореволюционную книгу, где половина страницы была напечатана по-старославянски, а другая по-русски, и глаза выхватили из текста: *также услышите о войнах и военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам... и тогда соблазняются многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и по причине умножения беззакония во многих охладает любовь...*

Она читала очень быстро, но каждое из этих зловещих и, казалось, уже осуществившихся предсказаний грозно отдавалось в ее сердце, и наконец она дошла до самого важного: **ГОРЕ ЖЕ БЕРЕМЕННЫМ И ПИТАЮЩИМ СОСЦАМИ В ТЕ ДНИ!** Она прочла эту строчку и снова ощутила физическую дурноту, как и в первые недели беременности.

Ей сделалось душно, и, держась рукою за стенку, она пробралась к балкону.

Ночь была звездная, прохладная и тихая. Пахло сыростью и прелой листвой; мигая огоньками, двигалась по каналу баржа, и гудела вдали электричка — все было как всегда, с той поры, как она помнила себя выросшей в этом доме девочкой. *Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. А с ней все произойдет именно зимою...*

Женщина смотрела на темный парк, на жилые дома по ту сторону водохранилища и едва угадываемую в ночи телебашню, где шел в это время бой, и думала о том, что от ее крещения ничего не изменилось, а только отчетливее проянилось: ее не рожденное еще дитя стало заложником и жертвой охватившего город безумия.

Он не хотел рождаться в этот мир, он боялся его, и с этим страхом поделаться ничего она не могла. Она физически ощущала приближение какой-то беды, и осторожный, лукавый вопрос, заданный мужем в тот день, когда она сказала ему о беременности, показался ей не таким кошунственным. Может быть, он был прав, и если зачатие не произошло раньше, не следовало испытывать судьбу теперь, когда против них было все, что только могло быть. И даже Тот, у Кого искала она защиты, предрекал ей горе.

Под утро вернулся мужчина.

Он сел возле телевизора и смотрел, как американские корреспонденты направляют камеры на дымящееся здание, на пробегающих людей, машины, танки, лицо у него было недоуменное и незащитное, точно он вдруг помолодел и поглупел. И ей странно было подумать, что этот человек станет отцом ее ребенка. Между ними давно уже не было ничего общего: она не могла высказать ему ни одно из своих опасений, ни на что пожаловаться — она была предоставлена самой себе. Но самое главное было не это — и она отчетливо понимала: весь ужас был в том, что их ребенок был зачат без любви.

5

Первый колокольчик прозвенел в конце октября. В тот день женщине сделали ультразвуковое исследование и велели срочно ложиться в больницу.

— Это что-то серьезное? — спросила она у пожилой врачихи, выписывавшей направление, и внутри у нее все жалобно заньло.

— Милочка, в гинекологии и акушерстве серьезно абсолютно все, — ответила та, не поднимая головы.

— И надо обязательно в больницу?

— Пишите расписку, что отказываетесь, но я за жизнь вашего ребенка не ручаюсь.

— Нет-нет, я согласна, — сказала она торопливо и заискивающе, — приходилось вырабатывать эту отвратительную манеру общения — и спросила:

— Скажите, а как по-вашему, что с ним?

Врач оторвала глаза от листка и сквозь толстые очки посмотрела на нее:

— У вас очень серьезная патология, и, судя по всему, плод развивается с грубыми пороками.

— Но ведь я себя хорошо чувствую, — возразила женщина, отчаянно цепляясь за призрачную надежду, что все это только ошибка.

— Да он у вас там умрет, вы ничего не почувствуете.

— А разве так бывает? — спросила она растерянно.

— Сколько угодно. — И ее поразил какой-то дьявольский сладострастный блеск, мелькнувший в глазах врача, она запоздало подумала, что не надо было ничего спрашивать, потому что, даже если эта старуха и находит удовольствие в том, чтобы говорить гадости, даже если это ложь или

дополнительный аргумент упрятать ее в больницу, все равно оставшиеся дни до родов будут отравлены одной-единственной фразой: «Да он у вас там умрет, вы не почувствуете».

Она вышла из кабинета, не чуя под собой ног, и взмолилась: толкнись, маленький, ну толкнись, но младенчик затих. Всю дорогу до дома ее трясло, она боялась, что опоздает и ребенка не успеют спасти.

— Может быть, тебе чем-нибудь помочь? — спросил муж, наблюдая за ее лихорадочными сборами.

Она посмотрела на него невидящими глазами:

— Узнай, где эта улица, — и протянула бумажку с адресом.

Больница находилась в одном здании с роддомом на краю большого поля и в сумерках возвышалась над ним как застывший корабль с рядами освещенных окон. В приемном отделении ей велели снять с себя все вплоть до белья, нательного крестика и обручального кольца. Она отдала вещи мужу, и уже когда, закутавшись в больничный халат, прощалась с ним, ее поразил его взгляд: он смотрел на нее с жалостью и страхом, как смотрят дети на взрослых, когда заболевают и им становится жутко оттого, что рушится целый свет. Он ничего не говорил, а только держал ее за руку и смотрел, и она чувствовала на себе этот взгляд и тогда, когда дверь за нею закрылась.

А мужчина медленно пошел домой в пустую квартиру. Его встретила жалобным поскуливанием собака, он налил ей холодного супа, но сам есть не стал и не раздеваясь прошел в комнату. Надо было что-то делать, но у него не было ни желания, ни сил, и он сидел в кресле очень долго, пока совсем не стемнело.

Прошло больше месяца с того утра, когда жена сказала ему, что беременна. И если поначалу, давно уже не думавший о ребенке, он воспринял это известие настороженно и отнесся как к какой-то помехе, то теперь снова, еще больше, чем когда бы то ни было, и совсем иначе, чем в молодости, он полюбил мысль, что станет отцом. Это точно давало ему некий шанс возместить и исправить то, что казалось уже навсегда утерянным, и пусть не в себе, но в своем ребенке осуществить неосуществленное им самим.

Особенно отчетливо он это понял в ту зябкую ночь в центре Москвы, в негустой толпе защитников демократии, собравшихся под дланью Юрия Долгорукого и внимающих страстным речам, — он понял, хотя никогда бы и никому в этом не признался, что ему плевать и на судьбу страны, и судьбу демократии, пусть все провалится в тартарары, пусть придет диктатор или иноземный завоеватель, он не шевельнет и пальцем, потому что его собственная жизнь была теперь нужна ребенку. Он смотрел на жену с надеждой и мольбой, он был готов простить ей ее холодность, равнодушные, отчужденность, только бы она родила здорового, крепкого сына, потому что иначе вся его жизнь и даже та избушка на лесном озере, его странствия по лесам и болотам, все это очарование и восхищение природой будут не выходом, а тупиком, все это имеет смысл лишь в том случае, если будет кому подарить и оставить эти леса и горьковатые запахи осени. И теперь, когда жену положили в больницу, когда выяснилось, что с ее беременностью не все благополучно, он испытал ужас. Он мог смириться с тем, что из него ничего не получилось, но мысль, что его еще не родившемуся ребенку угрожает опасность, была для него нестерпима.

Видеться с женой он не мог, разрешали только звонить по телефону из вестибюля. В этом нарядном, сверкающем вестибюле, украшенном несколькими стендами с фотографиями, на все лады рекламирующими платные роды и аборт, стояло два телефона. Вокруг них собиралась большая очередь, и, просиживая в ней почти по часу, он невольно слушал, как ликующие, ошалевшие от счастья отцы, бабушки и дедушки поздравляли рожениц и подбадривали тех, кто вот-вот должен был родить, что-то возбужденно кричали, спрашивали, вырывали друг у друга трубку и точно соревновались в том, чтобы наговорить как можно больше ласковых слов. И

ему в довершение ко всей его душевной сумятице было нестерпимо обидно на них глядеть и думать, что у жены все осложнено какими-то обстоятельствами и неизвестно, как все еще пройдет. Когда же очередь доходила до него, он говорил, чуть прикрыв трубку ладонью от сидевших рядом людей, вполоборота, воровато, но все равно ему мерещилось, что все догадываются и смотрят на него с неловкостью. Его никогда не поторапливали, но он спешил, комкал слова и быстро уходил, отдавая бабушке в белом халате передачу с фруктами и кефиром.

На улице он искал глазами жену, вознесенную на самый верхний этаж этого здания, но трудно было понять, какая из застывших у громадных окон женщин его жена. Он махал рукой наугад, а потом поворачивался и шел к метро, чтобы завтра прийти снова и услышать от жены спокойные и ровные слова, узнать, что за ночь ничего не произошло, ей делают уколы, ставят капельницы, дают таблетки и все идет своим чередом.

6

Она говорила с мужем уверенно и спокойно, но когда он уходил — она провожала его глазами до угла серого жилого дома, — ее охватывало невыразимое отчаяние. Ей было худо, очень худо в этой сверкающей, лоснящейся от чистоты больнице. Никогда в жизни она не видела ничего более гнетущего, чем отделение патологии в родильном доме.

С утра до вечера по этажу ходили как сомнамбулы нечесанные женщины, каждая погруженная в себя, со своими несчастьями, болями, думами и бессонницами, лежавшие кто по месяцу, а кто и не по одному в постоянном страхе и изматывающем ожидании. Она избегала слушать их разговоры, все об одном и том же — аномалиях, пороках, отклонениях, когда они собирались после ужина вместе и точно заводили друг друга. Но волей-неволей узнавала вещи, о существовании которых прежде и не подозревала. Чего только не было в природе, какого дьявольского изобретательства она не проявляла, чтобы превратить и без того непростые вещи — беременность и роды — в муку. И когда она думала о своем ребенке, ей хотелось, чтобы родился мальчик и никогда не знал то, что узнала за эти три недели она.

Порою ей казалось, что она попала сюда по ошибке, что ей ничего не делают, если не считать нескольких уколов и капельниц, ей не нравился лечивший ее врач, скучающий, безразличный мужик сорока лет, равнодушный и к ней, и к ребенку и ничего определенного не говоривший про ее состояние. Было вообще непонятно, что она тут делает и что тут делают с ней. Часами женщина простаивала возле окна и глядела на мерцающую и тревожно переливающуюся огнями Москву, на глухой, уходивший за кольцевую дорогу лес.

За все это время она сошлась только со своей ровесницей, попадьей. Попадья рожала уже в шестой раз, она ходила по коридору с огромным животом, переваливаясь как гусыня, но было в этой дебели, раздавшей женщине с редкими волосами и увядшей кожей что-то очень привлекательное и несмотря ни на что красивое. Каждый день к ней приходил бородатый, худощавый муж с целым выводком детей, они стояли под окнами, кричали и махали ручками, попадья давала по телефону строгие наставления, и от этой сильной, крепкой женщины исходила уверенность. Она точно дарила надежду, что когда-нибудь бессмысленное заточение окончится и окажется, что это страдание было необходимым. Но потом попадья ушла рожать, и женщина осталась одна.

Дела ее были не слишком хороши. У нее была фетоплацентарная недостаточность или, как более доходчиво объяснила заведующая отделением, слишком раннее созревание плаценты. Ребенку покуда ничего серьезного не угрожало, и он развивался нормально, но если это созревание не оста-

новить и не подкрепить организм матери, то плод начнет страдать от недостатка питания и кислорода.

Заведующая говорила довольно мягко, она не запугивала, а разъясняла, но каждую ночь женщина просыпалась и прислушивалась, шевелится ли ребеночек, и зловещая фраза, оброненная в консультации, не шла у нее из головы. А он вел себя очень странно: то надолго замирал, то, наоборот, беспокойно толкался и капризничал. Во всем этом ей чудилась его жалоба, и она сходила с ума от волнения и неопределенности своего положения.

— А что будет, если не удастся остановить старение плаценты? — спросила она однажды у заведующей, специально дождавшись в коридоре, когда та возвращалась с обхода.

— Давайте считать, что нам все удастся. — В голосе послышалось недовольство. — Мы проводим курс лечения, ситуация стабилизировалась, и вас скоро выпишут. Но через две недели вы должны будете лечь снова и пройти повторный курс.

Она понимала, почему эта аккуратная, строгая женщина была недовольна: такие вещи надо спрашивать у своего врача, но ему женщина не доверяла. Она и заведующей-то не слишком верила. Она не верила никому. Чем больше судьба сталкивала ее с врачами-гинекологами, тем больше она убеждалась в том, что это были, как правило, неприятные, избалованные, высокомерные люди, привыкшие к дорогим подаркам и очень не любившие, когда их о чем-нибудь пытаются спросить.

Надо было искать других врачей, кто бы мог во всем разобраться и объяснить ей, что с ней происходит, потому что без понимания этого она не могла жить дальше.

В середине месяца ее выписали из больницы, но то смятение, с которым она лежала, только усилилось. Как ни тягостно приходилось ей там, сознавать, что ты находишься под наблюдением, было легче, чем оказаться наедине со своей тревогой и непрекращающимися жалобами младенца. От этого можно было потерять рассудок, и, глядя на молодых, беспечных мамаш, гулявших с колясками в их уютном, защищенном от ветра дворе, она думала: неужели же и они через все это прошли, так же мучились, изводили себя и неужели когда-нибудь и она, забыв обо всем, будет гулять с малышом на улице? Это казалось ей теперь таким далеким и несбыточным и точно не приближалось с каждым прожитым днем, а замерло и остановилось на месте, как замирает все живое в безветренный летний день. Слишком поздно пришла к ней беременность, и в какой-то момент женщина почувствовала, что начинает уставать и сдаваться и ей уже все равно, когда и чем кончится. Только бы кончилось это ожидание, эти страхи, сны, эта недаром названная бременем тяжесть.

7

Новая врач понравилась ей сразу: улыбчивая, моложавая, светловолосая, совсем не похожая на гинеколога. Она нашла ее случайно, по объявлению в газете. И с самых первых минут, едва очутилась в уютной, подомашнему обставленной комнате, почувствовала себя покойно и легко, даже мысль, что вся эта приветливость оплачена хорошими деньгами, ни разу не пришла в голову.

— Ну, пожалуйста мне, — сказала она, сразу перейдя на «ты», — что с тобой случилось?

Она не смотрела на часы, не перебивала, лишь несколько раз задала уточняющие вопросы, и женщина рассказывала ей про свои страхи, сны и предчувствия. Сперва она торопилась и путалась в словах, но потом, поняв, что ее слушают, а не отмахиваются, как в роддоме, успокоилась и испытала невыразимое облегчение от того, что кому-то, пусть даже постороннему человеку, доверяет самое сокровенное, что так долго таила в себе.

— Ты думаешь, с тобой происходит что-то особенное? — спросила врач, когда она остановилась.

— У меня ведь особый случай.

— Нет, это испытывают почти все. То, что ты называла, — твой возраст, первая беременность, по большому счету не имеет никакого значения. Я могу привести десятки примеров, когда абсолютно здоровые молодые женщины не могли доносить или рожали больных детей, а те, кому рожать категорически запрещено, рожали здоровых. И медицина тут ни при чем. Приход человека в мир и уход из него — это две самых больших тайны, узнать которые, а тем более как-то на них повлиять нам не дано. Лучше всего тебе было бы найти деревенскую бабку-повитуху, неграмотную, необразованную, не испорченную книгами. Она бы тебе и как ходить подсказала, и трав нужных дала, и до родов бы довела, и приняла бы все как следует.

Голос врача был мягок, и женщина не столько вслушивалась в смысл ее слов, сколько в их плавное, успокаивающее звучание.

— Ты говорила, тебе все время кажется, что ему там тесно?

— Да.

— Это гипоксия. Она нынче у каждого первого. С таким воздухом, которым мы дышим, водой, пищей, да и вообще всем, что вокруг делается, странно, что бабы еще рожают. Мужчины портят землю, а мы за все расплачиваемся. И все равно рожаем. Новых мужчин.

— Уж лучше мужчин! — вырвалось у нее.

Врач засмеялась:

— Не бойся, родишь, все у тебя будет хорошо. Знаешь, что я тебе посоветую. Возьми отпуск за свой счет или попроси в консультации больничный до самого декрета и гуляй, гуляй, по пять-шесть часов в день, пей и ешь только натуральное, никаких импортных соков, колбас, шоколада. Ходи только пешком, ешь фрукты, лесные ягоды, пей компоты, понемногу читай что-нибудь спокойное — так, Бог даст, и приходишь.

— И это все? А как же больница?

— В больницу не надо. Поверь мне, ничего серьезного у тебя нет. Все идет хорошо, так хорошо, насколько это вообще возможно. Они просто перестраховываются и на всякий случай запугали тебя, чтобы снять с себя всю ответственность. Но если ты хочешь помочь ребенку, ты должна избавиться от страха. Больше всего он страдает именно от этого. Пойми, что беременность — это не болезнь, это нормальное и, может быть, даже более нормальное, чем ее отсутствие, состояние женского организма.

И она поверила, то ли в самом деле ее убедила эта улыбчивая женщина, то ли ничего другого ей не оставалось, но она вышла совсем в ином настроении и впервые за много дней улыбнулась.

В Москве ноябрь едва ли не самый отвратный месяц. Но такой солнечной погоды, чистого неба, мягких приглушенных теней и нежности она не видела никогда. С утра женщина уходила гулять и бродила до обеда вдоль канала и водохранилища, замерзших внезапно, так что корабли и баржи, не успевшие перебраться на зимовку, застыли во льду.

Когда она ложилась в больницу, еще была осень, не все облетели листья и зеленела по газонам трава — теперь же все стремительно преобразилось и города было не узнать. Дни казались ей то огромными и долгими, то летели, не успеешь оглянуться — снова сумерки; она чувствовала себя день ото дня все лучше и полюбила свою беременность. Младенчик толкался, в его поведении больше не было беспокойства, и он не жаловался на то, что ему тесно. Она гладила его, разговаривала, она ждала его появления на свет, как, казалось ей, никто до нее не ждал. Она молилась на свой живот и больше не стеснялась и не скрывала беременности. Ноябрь кончался, скоро Новый год — первый, действительно новый за много лет однообразной, лишенной содержания жизни, а за ним рукой подать роды. Она позволяла себе то, чего не могла позволить никогда раньше: заходила в «Детский мир», присматривала коляску, кроватку, одежду, еще не реша-

ясь все это купить в согласии со старинным суеверием, но уже прикидывая, где и как все будет стоять в квартире.

Иногда вместе с нею ходил мужчина, они тихо переговаривались, с виду очень заботливые, уже не первой молодости супруги. И за этими заботами ушли в тень недомолвки и обиды, они думали об одном, и женщины не было даже жаль, что это таинственное время проходит. Она была счастлива, задумчива, тиха и благодарна.

8

Это было в начале зимы, а все, что последовало затем, слилось в одну кошмарную, стремительно мелькнувшую, как спицы в колесе, полосу, перемоловшую их жизни и навсегда поделившую на две части: то, что было до и что случилось после.

За снегопадом ударил мороз, но она все еще продолжала гулять, съедала каждый день по несколько яблок и бананов, которыми была завалена Москва, и крепкие розовощекие продавщицы в грязных халатах весело обвешивали хмурых покупателей. Все шло своим чередом в городе, так быстро забывшем о порохе и крови. Но однажды утром женщина почувствовала себя плохо.

Весь день она пролежала с высокой температурой и сильным отравлением, недоумевая, что с ней случилось. Это не было похоже на простуду, и отравиться она ничем не могла, но к вечеру температура спала, и на завтра ей стало так же хорошо, как прежде. А еще через два дня ее встретила одна странная, произошедшая раньше срока вещь. За это время она прочла довольно много медицинских книг и знала, что во второй половине беременности такое, в принципе, возможно и не обязательно предшествует родам, но на всякий случай решила съездить к своему врачу.

— Это что-то плохое?

— Нет, — ответила та не сразу, — плохого ничего нет, но в больницу придется лечь.

— Обязательно?

— У тебя сейчас критический срок — тридцать недель. Это надо пережить, и пока лучше побыть в стационаре. Сейчас полежи дома, отдохни, а к вечеру поезжай в больницу. И ничего не бойся. Что бы тебе ни говорили, не бойся, все у тебя будет хорошо.

Снова замороженная уверенным голосом, она вышла из кабинета, успокоившись, и растроганно подумала, что подарит этой высокой красивой женщине какую-нибудь дорогую, хорошую вещь, потому что та заменила ей мать, подруг и стала чем-то гораздо более важным, чем врач, но на улице ей снова стало страшно.

Что-то было не так или не совсем так, как сказала врач. Чего-то она недоговаривала или скрывала, и женщина остро почувствовала это. У нее не было ни опыта, ни особых знаний, но там, в животе, происходило нечто такое, чего никогда не бывало раньше. Он сделался твердым, опустился вниз, стало трудно идти. Она все еще пыталась совладать с собою и убедить себя, что это ей только кажется, но теперь все происходит наяву.

Дома она сразу прилегла на кровать и попыталась заснуть, но сон не шел. В ней что-то менялось, причем менялось еще стремительнее, чем утром, так что ощущения не успевали за этими изменениями, а мысли за ощущениями. Она взяла книгу, но, не раскрыв, отложила. Неслышанное одиночество навалилось на нее, одиночество, которого она прежде никогда не знала, даже будучи беременной, и она сперва не заплакала, а тихо заскулила. Впервые за все это время ей сделалось страшно не за ребеночка, а за саму себя. Она подумала, что, наверное, не перенесет этих родов и умрет.

Скоре пришел муж, сел рядом, взял за руку и стал говорить что-то ласковое. А она думала о том, что так говорит он лишь потому, что ее слезы вредны для ребенка, а до нее самой ему нет дела. И все, что он делал

последнее время, когда гулял с ней, ходил по магазинам и не жалел денег, он делал не ради нее, и это показалось ей невероятно обидным, точно она сама была девочкой.

Слезы ее душили, она не могла остановиться, и тогда он всерьез встревожился, стал предлагать что-нибудь успокоительное, но она плакала все сильнее, отталкивала его рукой, а потом с ужасом почувствовала, что внизу живота у нее схватило, и резкая боль заставила ее остановиться. Это новое, заявляющее о себе, то, что она боялась назвать истинным словом, напугало ее так, что ей стало уже не по-женски, не одною только эмоцией, а по-животному, инстинктивно жутко.

Она оторвалась от подушки и поглядела на мужа:

— Я не хочу больше ждать. Поехали в больницу.

— Хорошо, — сказал он растерянно, — может быть, вызовем «скорую»?

— Не надо, я сама.

В полном молчании, не зажигая света, они оделись и вышли из дому. Было холодно, скользко, они шли осторожно, по-прежнему не говоря ни слова, и он снова ничего не понимал, раздраженный, сердитый. Его злили ее капризы, перепады настроения, вспышки ярости и меланхолии, которых за эти месяцы он наглядился достаточно, — все это было ему чуждо, противно и казалось проявлением обыкновенной женской истеричности.

Из своего глухого, крайнего у канала двора они вышли на шумную, слепящую огнями улицу. Мужчина поднял руку, чтобы остановить машину, но женщина покачала головой, и они поехали на трамвае. Только что кончилась смена на машиностроительном заводе, в вагоне было много народа, но никто не уступал ей место, потому что в шубе живот не был заметен. Так они и доехали в этом переполненном вагоне до метро, потом еще одну остановку под землей и пешком побрели к роддому.

Сыпал мелкий колючий снег, здесь на открытом пространстве возле поля было еще ветренее и неудобнее. Остались позади длинные ряды невыносимо ярких коммерческих палаток, мерзнущие у костра кавказцы, крепкие московские бабушки с морковкой и свеклой, разговорчивые хохлушки с творогом, сметаной и колбасой, настойчиво предлагавшие супружеской чете свой дешевый товар. Идти было всего пять минут, но это расстояние в несколько сотен метров показалось женщине огромным. «Я не дойду, не дойду», — думала она, держась рукой за мужа. Боль в животе притупилась, и теперь она ясно ощущала, что вся тяжесть сосредоточилась внизу. Они завернули за угол длинного, последнего перед шоссе дома, и на другой стороне им открылись сияющие этажи роддома. На одном из них горел синий свет — там было родильное отделение.

Женщина посмотрела на верхний этаж и подумала, что сейчас они наконец дойдут, она разденется, ляжет в палату и уснет до утра. Ей нужно было пережить только этот вечер и эту ночь.

На звонок в приемном отделении вышла молодая смуглая медсестра с большими сережками в ушах, взяла обменную карту, паспорт и велела женщине раздеваться. Мужчина остался за дверью и слышал, как жена охнула, когда снимала сапоги, потом стало тихо. Медсестра открыла дверь, отдала одежду, и из полумрака вестибюля в освещенном, ослепительно белом кабинете с кафельными стенами он разглядел бледное лицо, показавшееся ему совсем чужим.

— Мне уже идти? — спросил он. — Она больше не выйдет?

— Можете, если хотите, подождать, — сказала сестра с легким восточным акцентом, — сейчас вашу жену осмотрит врач.

Дверь закрылась, и он остался в полной темноте. Затем раздался неприятный, резкий голос. Сначала он не прислушивался, но голос за дверью стал еще резче и жестче:

— Когда у вас начались сукровичные выделения?

— Утром.

— У врача когда последний раз были?

— Сегодня.

— Когда сегодня?

— В первой половине дня.

— Почему вы не пришли сразу?

— Врач сказала, можно подождать до вечера.

— В какой вы наблюдаетесь консультации?

— Это не в консультации.

— Вы должны были немедленно, как только начались выделения, ехать сюда. Не девочка же вы пятнадцатилетняя, в самом-то деле. И потом, вы у нас лежали, в выписке у вас стоит: повторная госпитализация через три недели. А прошло сколько?

— Но врач...

— Что вы заладили: врач, врач... Скажите вашему врачу спасибо. Этой ночью вы родите.

— Как рожу? — вскричала она. — Но ведь ему еще рано!

— Да, рано. Если бы вы пришли хотя бы на несколько часов раньше, можно было бы попытаться что-нибудь сделать, теперь уже поздно. У вас началось раскрытие матки.

Дальше мужчина не слышал. Он медленно, точно ему стало плохо с сердцем или просто дурно, сполз со стула и очутился на полу. В приемном отделении кроме него никого не было, и никто не мог видеть, что с ним происходит. Сколько так продолжалось, он не знал. Голоса за дверью стихли, и он не понимал, где теперь его жена и что ему делать дальше. Понял он только одно: ребенка у него не будет.

9

В дверь снаружи застучали, и в помещение ввалилась целая компания: мужик лет сорока пяти, женщина с невообразимо громадным животом, точно там сидел годовалый ребенок, и еще двое пацанов. Беременная привычным движением руки нащарила выключатель, и все несколько удивленно поглядели на сидевшего в углу мужчину. Он достал сигарету и, не глядя на них, вышел на улицу. Снег шел не переставая, перед входом намело уже целый сугроб. Сигарета быстро тлела на ветру, и он даже не успел почувствовать, как она кончилась и обожгла губы.

— Там кто-нибудь есть? — спросили у него, когда он вернулся.

Он пожал плечами.

Беременная встала и, переваливаясь, подошла к двери.

— Можно?

— Минуточку, — ответила сухопарая, в больших круглых очках врач, не отрываясь от телефона. — «Скорая»? Наряд возьмите. Преждевременные роды, гипоксия плода, гипотрофия, фетоплацентарная недостаточность, поперечное предлежание плода, двукратное обвитие пуповины. Срок тридцать — тридцать одна неделя. Первородящая, тридцать пять.

Он физически почувствовал на себе взгляд четырех свидетелей его горя, и этот взгляд показался ему полным облегченного, лицемерного сочувствия, какое всегда возникает у человека при виде чужого несчастья и мысли: «Слава Богу, что не со мной».

В эту минуту и ему на мгновение подумалось, что это не с ним, с ним такого произойти не могло, с ним никогда, ни разу ничего подобного не происходило.

Дверь оставалась приоткрытой, и он слышал разговор врача и жены.

— Вы с мужем? Одна? Это ваше дело. Пожалуйста, одевайтесь и ждите «скорую».

— Почему? — спросила жена еле слышно.

— У нас нет условий. Вы поедете в специализированный роддом.

— Но может быть, можно еще что-нибудь сделать?

— Нельзя, — жестко, даже злобно, как будто ее просили о чем-то неприличном, ответила врач, и мужчина понял: не хотят рисковать, никому не нужны неудачные роды.

Дело не в том, что у них нет условий — у них просто другой уровень, платные роды, коммерция, на фотографиях батюшка в пасхальных ризах, освящающий родильное отделение. А тут слишком трудный подворачивается случай, да к тому же бесплатный, а статистика все равно ведется. У них теперь новое мышление, хочешь, чтоб за твоей женой уход был и врач неотступно, — деньги плати. И его охватила такая ярость, что он едва удержался от того, чтобы не ворваться в эту сияющую комнату, где его жену раздели догола, не позволив оставить даже обручальное кольцо (это в ваших же интересах делается, женщина!), и заорать на злую врачиху, как та смеет в таком тоне разговаривать с роженицей, что она вообще себе позволяет? Он буквально ненавидел эту худую, плоскогрудую, очкастую блондинку, вынесшую приговор не просто его ребенку, но всей его жизни, он был готов удушить ее за злорадство, за то, что она пользуется своей властью и растерянностью приходящих сюда людей.

Ему нечего было теперь терять, для него все кончилось, кончилось в ту самую минуту, когда она жестко сказала, что ночью его жена родит, выкинет, и даже присутствие посторонних людей, притихших при виде того, что они наблюдали, его не останавливало. Но когда открылась дверь и вышла смуглая медсестра в халате, оттенявшем ее смуглость до кофейного цвета, он не сказал ни слова.

Ярость его схлынула, и ему сделалось печально. «Господи, почему мы так друг друга ненавидим? До какой же степени можно одному человеку ненавидеть другого? И за что?» Он вспомнил ту ночь в октябре, когда ходил по городу и встречал самых разных людей, переполненных этой ненавистью, и подумал, что ненависть заразна, она передается от человека к человеку и поражает, казалось бы, такие далекие от всех распрей места, как родильные дома, где, наоборот, должна аккумулироваться любовь. Но все было пронизано ненавистью и страхом, тем, что греки очень точно называли фобией, и эта фобия была и в его собственной душе.

— Ты слышал?

Он поднял голову и увидел жену, одетую, застывшую, с закушенной губой.

Он кивнул и посмотрел на нее с жалостью.

— Это все? — И опустил голову, не дожидаясь ответа.

Они ждали приезда «скорой» два с лишним часа. Сидели в тесном помещении приемного отделения, куда пришли еще несколько беременных женщин. Они все приходили под вечер, большие, неповоротливые, с родителями, мужьями, торжественные и серьезные, и рядом с ними женщина и женщина, которая и беременной еще не казалась, выглядели точно посторонние. Но женщине было уже все равно. Она совсем не замечала, что происходит вокруг, ей было не важно, что говорит муж и чем он недоволен. Она сидела на клеенчатой банкетке, прислушивалась к младенцу и мысленно с ним прощалась. В счастливый исход этой ночи она не верила и хотела только, чтобы все как можно скорее кончилось.

— Не суетись ты, сядь, — раздраженно сказала она. — Приедет она, никуда не денется.

Но он ее не слушал, вскакивал, пытался прорваться в приемную и требовал, чтобы медсестра позвонила еще раз, но та отвечала, что от нее ничего не зависит, «скорые» им не подчиняются, а что в стране делается, вы и сами знаете. И все это было бестолково, нелепо, а главное, абсолютно ненужно.

Когда в одиннадцатом часу показалась наконец облепленная снегом машина и угрюмая акушерка сквозь зубы велела им садиться, женщина снова почувствовала схватки. Она уже хорошо понимала, что это такое, — и определенность придала ей сил. Она улыбнулась мужу и сказала, что, возможно, врач ошиблась, потому что она до сих пор ничего не чувствует.

— Просто они любят попугать.

— Да? — поверил он сразу же, и это напомнило ей ее саму в кабинете обманувшей ее золотоволосой врачихи: когда помочь ничем нельзя и изменить ничего невозможно, лучше солгать и утешить.

Машина неторопливо выехала на Волоколамское шоссе, потом стала кружить по каким-то переулкам, дважды пересекла трамвайную линию и остановилась у молчаливого здания, зажатого между жилыми домами, тоже мрачными и темными. Они вышли из «скорой» и прошли в приемное отделение. Здесь все было оставлено в традиционном вкусе: кадка с фикусом, нравоучительные стенды и трогательная скульптура, изображавшая мускулистую мать с младенцем-крепышом, доверчиво приникшим к женской груди.

Снова все повторилось, она разделась, только разрешили оставить цепочку с крестиком, и здесь же очень быстро ее посмотрела врач.

— Сделайте ей укольчик, пусть поспит, и в предродовую, — сказала она коротко, но ни ужаса, ни ненависти в ее глазах женщина не увидела.

Она попросила разрешения выйти в вестибюль и подошла к сидевшему под скульптурой мужчине.

— Ты езжай. Они сказали, что все обойдется и меня положат на сохранение. Езжай спокойно домой и отдыхай. А утром я тебе позвоню.

Часть вторая

1

Это было похоже, наверное, на то, что ощутили бы пассажиры на большой высоте самолета, если бы ледяной, резкий, бедный кислородом воздух ворвался в салон и в этом салоне после привычной мягкости и уюта им предстояло жить всю оставшуюся жизнь.

Младенец уже давно испытывал сильное беспокойство, и раздвинувшаяся было теснота материнской утробы снова сдавливала его со всех сторон. Но теперь уже не женщина выталкивала его из себя, а он сам начал к этому стремиться и медленно перемещаться к выходу. Большая пуповина, обвивавшаяся вокруг тела, ему мешала, он устал и чувствовал, что мать впервые за эти семь неполных месяцев совсем не помогает ему, а, напротив, пытается удержать.

Но что-то неумолимо гнало его оттуда, где еще недавно он был в безопасности, а теперь каждая лишняя минута грозила гибелью. Он торопился наружу, за границу своего темного и тесного мира, в большую, озаренную синим светом комнату.

Там, в этой комнате, вокруг стола, на котором лежала роженица, стояло несколько человек в белых халатах с голубым отливом, с лицами, закрытыми марлевыми повязками, так что видны были только глаза.

— Нет, — кричала женщина, корчась от схваток, — я не хочу, чтобы он рождался!

— Тужься, да тужься же ты — он задохнется.

— Нет, сделайте что-нибудь, ему еще рано!

— Поздно уже делать, ты убьешь его.

Но она все равно упорно сопротивлялась и не хотела его отпускать. А он лез — маленькая, мягкая головка, испещренная синими венами, приближалась к отверстию матки. Но обезумевшая мать все еще пыталась удержать его в себе.

«У вас желанный ребенок?» — спрашивали ее в больнице. «Желанный, конечно, желанный». Да был ли у кого-нибудь более желанный ребенок? Но теперь он желанным не был. Больно это было или не больно, сколько продолжалось — ничего она не знала, и никакого значения это не имело. Ей казалось, что она умирает, и лучше было бы, если бы она действительно умерла вместе с ним. Она лежала в обрывках каких-то ощущений и мыслей, иногда открывая глаза и тотчас же их закрывая — так пугали ее взгляды врачей. Страшными были эти глаза, глядевшие поверх повязок, страшными были отрывистые и непонятные предложения, которыми они обменивались друг с другом.

Акушерка велела тужиться сильнее и запрещала резко выдыхать, но женщина ее не слышала. Она оставалась в полном неверии и непонимании, что с ней происходит, что это происходит и что это происходит с ней — так рано, когда этому еще нельзя быть. Она кричала не от боли, а от безумного ужаса, но младенец был мудрее и упрямее, чем она, и лучше знал, что ему делать.

Его жизнь в тот момент висела на волоске, еще немного — и он умер бы от удушья: к тому, что происходило, не был готов не только он, но и женщина, которая в другом случае делала бы все необходимое помимо своей воли, а теперь ее тело бездействовало и словно отключилось. Но он успел в последний момент выкарабкаться на волю, и женщина как сквозь вату услышала зовущий ее по имени совсем нестрогий голос:

— Мальчика родила!

Это «мальчика» ее всколыхнуло — она ведь так хотела мальчика и неужели именно его ей придется потерять? То, что он может выжить, она не предполагала — она просто не знала, что выживают такие дети. Он был в руках у врача — она его еще не видела, в следующий момент ему перерезали пуповину, и он закричал. Его крик был очень слабым, а потом он вдруг оборвался, младенец словно захлебнулся, и тогда все засуетились, забегали, и она услышала умоляющий голос акушерки:

— Кричи, маленький, ну кричи!

Но он не кричал. После того, как в его раскрывшийся ротик с грохотом ворвался колючий, обжигающий воздух и наполнил легкое, у него сразу же перехватило дыхание, он обмяк, и его тельце посинело.

Это продолжалось чуть больше минуты, но женщина плохо понимала, что происходит. Где-то готовили кислородный аппарат, а врач продолжала, как заклинание, повторять:

— Кричи же, малыш, кричи!

По лицу у нее под марлевой повязкой тек пот, своими маленькими сильными руками она пыталась буквально оживить замирающее тело, и он снова вынырнул из небытия, вздохнул и крикнул.

Его поднесли к роженице:

— Смотри!

Ей показалось, что это было произнесено с осуждением и точно подразумевало: смотри, что случилось, это ты виновата во всем, и она боялась повернуть голову и посмотреть в ту сторону.

Для нее он все еще оставался в животе. Она не хотела, не могла смириться с тем, что дитя, занимавшее все ее существо, покинуло ее раньше срока. А ребеночек, крохотный, щупленький, с поросшей белым пушком спинкой и плечиками, обильно смазанный первородной смазкой, с мягкими ушами, синими ручками и ножками, безвольно висел у врача на руках, но дышал через силу, с болью вдыхая свистящий резкий воздух, наполнявший его кровь, еще не готовую к тому, чтобы разносить кислород.

Его спинка была покрыта красноватой сыпью, и врач быстро спросила:

— Чем ты болела? У него какая-то инфекция. Чем?

— Я не знаю. — Язык еле ворочался, и она ничего не помнила. — Что с ним? Он будет жить?

— Не знаю. Состояние очень тяжелое.

2

Мужчина спал одетый на неразобранной кровати и тяжело дышал во сне, когда раздался телефонный звонок. Он встрепенулся и бросился к телефону, но услышал только длинные гудки. Некоторое время он держал трубку в руках и силился понять, что происходит, а потом взглянул на свитившиеся наручные часы и похолодел. Накануне, вернувшись домой, он выпил почти целиком бутылку коньяка и теперь мучился похмельем. Он подошел к окну и отодвинул занавеску. Там была темень, отвратительная ветренная темень, но зажигать свет он не стал. В темноте было покойнее.

Только бы пережить эту ночь, только бы дожить до утра. Если ничего не случится, то тогда она доносит и все будет хорошо. Не нужно ему было уезжать домой, не нужно было так много пить — надо было остаться там и ждать. У него сильно болела голова, и было очень нехорошо. Боже, Боже, кто бы ему сказал, где она сейчас и что с ней? Он вспомнил про телефонный звонок, его разбудивший, — неужели звонили оттуда? Справочная откроется в девять — значит, надо ждать. Еще только половина четвертого, впереди целая ночь. Если звонили оттуда, то что-то случилось, что-то очень плохое — с ребенком или с ней. Скорее с ней. Из-за ребенка звонить бы не стали. Он со страхом глядел на молчавший телефон: после вчерашнего мутило так, что хотелось перестать быть. Неужели все это действительно было — кошмарный вечер, переполненный трамвай, дорога к роддому, страшный диагноз врача, ожидание «скорой», метель...

Его спокойная, невозмутимая жена, немного замкнутая, отчужденная женщина, которую никогда он не мог представить растерянной, униженной и слабой, в полной неизвестности лежала в какой-то больнице, и он почувствовал что-то вроде вины перед той, кого сам считал виноватой и в своей неудавшейся жизни, и в том, что у них не было детей, и в том, что теперь все шло не слава Богу. Но если с ней что-то случилось или случится, его жизнь будет добита окончательно.

Он всегда думал, что она не любит его и никогда не любила, а вышла замуж потому, что в молодости он был не только честолюбив, но и упрям и привык добиваться того, что хотел. Он желал эту женщину, казавшуюся ему надменной и горделивой, он добился ее, но счастья ни ему, ни ей эта любовь не принесла. Он был почти убежден в том, что у них нет ребенка, потому что она не хочет иметь от него детей. Все эти двенадцать лет он жил с этой мыслью, причинявшей ему невыносимое страдание, он глухо ненавидел ее, он уходил из своего постылого, холодного дома в лес, искал утешения в одиночестве, лгал самому себе, что ему и так хорошо. Он ничего не смог добиться в жизни, потому что не чувствовал ее поддержки, — его женитьба на ней была величайшей ошибкой и причиной всех его бед вплоть до нынешней ночи, но он точно знал, что, если бы эта женщина от него ушла, ни одна другая ее бы не заменила.

В комнате тикали на стене часы, он не мог их видеть, а только слышал, как они отсчитывают время. Он сидел на смятой постели и ждал, он был готов ждать столько, сколько потребуется, он любил ее в эту минуту, любил за то, что она зачала от него ребенка, носила, как говорили в старину, под сердцем, и за это он был готов ей все простить. Простить, даже если с ребенком ничего не получится, за одну только попытку простить.

Еще три с лишним часа. Можно было бы попробовать уснуть — все равно от того, что теперь он не спит, ничего не изменится. Вчера вечером, когда он сидел на кухне и пил коньяк, ему казалось, все самое страшное позади — все осталось в приемном отделении первого роддома, но теперь он понимал, что жена обманула его. Он оставил ее одну, как всегда оставляют мужчины женщин, когда те идут рожать (присутствие мужа при родах не в счет, это вид современного извращения), но пить не следовало, нужно было остаться там — так ему самому было бы легче. Какая же долгая, томительная ночь и как это трудно — ждать, когда впереди неизвестность.

Ему вдруг вспомнилась другая ночь — в лесной избушке, печка, грубый стол, темная вода и сырой воздух. Все это казалось теперь таким далеким и точно ему не принадлежавшим, уворованным у кого-то, и его прежние мысли, что у него родится сын и этого сына он однажды отведет на лесное озеро, обернулись жестокой насмешкой.

За окном как будто начало чуть-чуть светлеть, обозначились очертания предметов в комнате, и в приоткрытую дверь бесшумно вошла собака. Она положила большую остромордую голову с печальными глазами ему на колени и заскулила. Эту собаку он купил три года назад. Он считал ее своей,

но жена тоже к ней привязалась, и в последнее время собака была единственным, что их объединяло.

Собака беспокойно вертела головой и звала его к двери — она хотела гулять, но мужчина сидел неподвижно в кресле и курил. Теперь, когда стали видны большие настенные часы и звук времени совпал с его изображением, он не сводил глаз с минутной стрелки, которая, если пристально взглядеться, перемещалась по краю циферблата. Ровно в восемь он первый раз набрал номер справочной, на всякий случай, может быть, кто-нибудь пришел раньше, и все то время, пока в трубке раздавались длинные тонкие гудки, у него бешено колотилось сердце и болел живот. Он и хотел и боялся того, что эти гудки оборвутся тишиной, потом шорохом и чей-то далекий, равнодушный голос либо успокоит его и скажет, что ничего не было, либо... Но об этом он запрещал себе думать.

Снова заскулила и заскреблась в дверь собака, но ее хозяин сидел замерев, как восковая фигура, и отрывался от часов только для того, чтобы набрать никак не запоминавшиеся цифры. Один раз он ошибся, и трубку сняла какая-то молодая женщина, иногда номер был занят, и он думал, что, значит, кто-то пришел, но в следующий раз снова слышались бесконечные длинные гудки, он досчитывал до десяти и клал трубку, уступая линию кому-то еще, неведомому, кто в этот ранний час тоже названивал в роддом.

Никто не пришел и в девять, и в четверть десятого, хотя теперь дозвониться стало сложно, и только без двадцати минут десять, когда было уже совсем светло и за замерзшим окошком над каналом появилось редкое декабрьское солнце, обещая морозный и чистый день, дребезжащий старушечий голос переспросил фамилию жены и произнес:

— Родила мальчика в два часа тридцать пять минут. Вес — килограмм четыреста граммов, рост тридцать девять сантиметров. Состояние матери удовлетворительное. О детях справок не даем.

— Подождите, подождите, не вешайте трубку! — закричал он, и от его крика шаркнула и испуганно залаяла собака. — Он жив?

— Я же сказала вам, молодой человек, о детях справок не даем.

3

В кувезах — небольших стеклянных ящиках, куда подавали кислород и поддерживали определенную температуру и влажность, чтобы обеспечить условия, максимально приближенные к материнской утробе, лежали дети. Они были совсем голенькие, к их головкам и грудкам вели провода, показывавшие работу сердца и легких, рядом стояли капельницы. В просторной чистой комнате, где находилась реанимация, все время дежурили врач и медсестра.

Врач был мужчина большого роста, сорока с лишним лет, в очках, с коротко стриженными волосами и широким полным лицом. Медсестра, совсем молоденькая, еще не имевшая собственных детей, работала в реанимации недавно, ее чувствительность покуда не притупилась, и она никак не могла привыкнуть к тому, что голые тельца в кувезах иногда замирали и из этой напичканной приборами комнаты уносили крохотные трупы тех, кому еще так рано было рождаться, но врачи были бессильны.

Несмотря на то что в последние годы роддом принимал гораздо меньше рожениц, количество недоношенных и ослабленных детей не уменьшалось. Они поступали сюда какими-то волнами — иногда по нескольку в одну ночь, а иногда целыми днями не было никого. Последний большой наплыв пришелся на те октябрьские дни, когда утомленные повседневной жизнью люди с удовольствием глядели на дурно поставленный спектакль гражданской войны, но многие из беременных женщин в разных концах большого города родили тогда прежде времени, и у медсестры и у врача на всю жизнь осталось ощущение ужаса при мысли, что толпа ворвется в здание или же просто отключат электричество и дети в кувезах умрут все до единого.

Этих детишек доктор обожал. Они были страшны на вид, с вялой, дряблой кожей, собирающейся в складки, тоненькими ручками и ножками, непропорционально большими головами, мягкими ушами и белым пушком на плечиках и на щеках. В своих жарких кувезах они лежали вялые и спали, иногда хаотично вздрагивали и перебирали ножками и ручками, а потом снова замирали. Раз в три часа их кормили донорским молоком, и если сами они сосать не могли, то вводили молочко шприцем через нос. Чтобы выходить каждого из них, требовались невероятные усилия, искусность и любовь, но, когда это удавалось сделать, доктор был счастлив.

Мальчик, поступивший ночью, был не самым тяжелым. Однако дыхание у него оставалось неровным, одно легкое не раскрылось, развивалась пневмопатия, во время родов он хлебнул околоплодных вод, и ручаться за его жизнь было нельзя.

Младенец спал. После того кошмара, что он испытал нынешней ночью, после асфиксии, когда он едва не исчез в небытии, он отдыхал и качался над пропастью. У него было слишком мало сил, чтобы приспособиться к этому новому миру, который, как ни старались великаны люди, был слишком далек и непохож на им покинутый. Но в его крохотном тельце все органы, все клетки, все нервы — все было нацелено на жизнь и на выживание, все боролось с тем, что он ощущал, — колючим воздухом, светом, шумом. Он хотел выжить, потому что так был задуман природой, и, несколько минут постояв над ним перед тем, как уйти с дежурства, толстый доктор осторожно пощупал увеличенную печень и селезенку, покачал головой и сказал стоявшей рядом медсестре:

— На осмотр реагирует. — И глаза его чуть-чуть повеселели.

Полчаса спустя, заполнив журнал, он спустился в холл, и в справочной ему передали, что его хотел бы увидеть отец родившегося ночью ребенка. Доктор задумался: ничего определенного он сказать пока не мог. Если бы прошли сутки, можно было бы утверждать, что шанс у младенца есть, ибо самое трудное в жизни каждого человека — это первая минута, первый час, первый день, первый месяц и первый год. Этот мальчик прожил первую минуту и первый час, но никакой уверенности в том, что он проживет первые сутки, не было. Хотя не было уверенности и в обратном. Все было очень зыбко: на одной чаше весов он, беспомощный, обессиленный, пораженный каким-то вирусом, на другой — так неласково встретивший его мир, и какая чаша перетянет, доктор не знал.

Он не был человеком религиозным, но матерям в таких случаях говорил одно: если верующая, молись, если неверующая, тоже молись. А самое главное, не думай о нем плохо. Он еще слишком связан с тобой, с твоим организмом, с твоей психикой, мозгом, и больше всего, больше, чем лекарства, капельница и кислород, ему нужна твоя любовь, твои теплые мысли. Если этой любви будет много, ты его спасешь. Он говорил так, впрочем, не всем: бывали случаи, когда говорить подобное было бы слишком жестоко и опрометчиво, — но этой женщине сказал. И она, кажется, все поняла. Когда утром он вошел в палату, в ее глазах было отчаяние и горе, когда уходил — надежда. Хотя он давал не надежду, он не любил это слишком расплывчатое и даже вредное понятие, — он давал работу. Лежи и люби его. Вот твое дело сейчас.

С мужчинами же было труднее. Любить младенца они не могли. То чувство, что испытывали даже самые нежные и заботливые впоследствии отцы, любовью назвать было нельзя. Это могла быть гордость, самолюбие, тщеславие, самодовольство, но только не любовь. Обычно ничего страшного в этом не было, но когда рождались недоношенные дети, порой случалось, мужья требовали, чтобы матери отказывались от них. Детей, на которых Бог ли, природа являла свою милость и чудо, даря им жизнь, бросали только потому, что родители страшились их выхаживать или у них оставались дефекты, хотя доктор мог бы привести сотню примеров, как из младенцев, весивших при рождении меньше буханки хлеба, вырастали умницы и крепыши. Он вообще считал, что в природе ничего не бывает про-

сто так, и недоношенные дети тоже нужны, они отмечены особой печатью, у них раньше начинает работать мозг, они впечатлительнее, восприимчивее, и если преодолеть самый трудный первый год, то родители будут вознаграждены сполна.

Но в последние годы все чаще и чаще несчастные младенцы попадали в дом ребенка, где, лишенные внимания и любви, которые им были необходимы вдвойне, вырастали калеками. Таких родителей мягкий, незлобивый доктор, похожий на Пьера Безухова, люто ненавидел и, будь это в его власти, в принудительном порядке подвергал бы стерилизации, чтобы не было у них никогда потомства. И пока был малейший шанс уговорить их от детей не отказываться, доктор не отступал.

Поджидавший его в вестибюле мужчина показался ему сперва довольно молодым и как будто посторонним.

— Вы кто будете? — спросил доктор как умел доброжелательно.

— Муж, — ответил мужчина, сглотнув.

— Значит, папа, — поправил доктор еще более благожелательно, и мужчина вздрогнул. — А живете вы где?

Он спросил это не из голого любопытства, а чтобы удостовериться в том, что сидевший перед ним человек был действительно тем, за кого себя выдавал. Бывали случаи, когда на этом месте оказывались не мужья, но папы или, наоборот, не папы, но мужья, и потом бывало много путаницы.

Мужчина посмотрел на него недоуменно-злобным взглядом и ответил. Доктор мельком поглядел в карту:

— А мы с вами соседи. Первый у вас ребенок?

— Да.

— Ну что ж. — Мужчине казалось, что он сейчас сойдет с ума — невыносимо было представить, что жизнь его сына была в руках этого толстого, любопытствующего человека с круглым бабьим лицом, пытавшегося своими дешевыми приемами его успокоить. — У вас родился сын. Роды преждевременные, ребенок недоношенный, можно даже сказать, глубоконедоношенный. Он находится сейчас в реанимации, и должен прямо вам сказать, что положение тяжелое.

«Это все», — промелькнуло в голове у мужчины, и он был готов к тому, что доктор его сейчас добьет, но тот деловито продолжил.

— В результате принятых мер нам удалось стабилизировать его состояние, мы контролируем ситуацию, и можно даже сказать, что наблюдается положительная динамика. Да, динамика положительная, хотя положение тяжелое.

Он точно кидал на весы два этих утверждения, и мужчине мучительно хотелось и одновременно страшно было спросить, чего же больше, положительной динамики или тяжелого положения, и что ждет ребенка.

Возникла небольшая пауза: доктор не знал, что сказать, а задавать вопросы мужчина избегал. Нужно было вставать и уходить, но больше всего ему не хотелось сейчас оставаться наедине с неизвестностью.

— Может быть, нужны какие-нибудь лекарства?

Вопрос был неуместный, но доктор обрадовался возможности переменить тему.

— Нет-нет, у нас все есть. Вы знаете, вам, в общем-то, повезло: вы попали в более или менее цивилизованный роддом. Мы занимаем второе место в Москве, — добавил он с гордостью, — первое республиканский центр, но у них такое финансирование, что нам и не снилось. А мы крутимся сами, и хотя аппаратура у нас западная, но методика вся наша, превосходящая западную. Жаль только, что таких роддомов единицы. И это при том, что у нас такая детская смертность и высокий процент осложненных родов.

«Боже мой, зачем он мне все это говорит, — подумал мужчина, — какая мне разница, какая у нас смертность — сто человек на тысячу или один, если мой ребенок может оказаться этим, одним-единственным?»

— В Москве-то еще ничего, а если проехать по России, я уж не говорю про Среднюю Азию.

— Да-да, — отозвался мужчина рассеянно, — скажите, а вы от меня ничего не скрываете?

— Вы успокойтесь, папа, ваш малыш получает все необходимое, он находится под постоянным наблюдением врача и пробудет в реанимации столько, сколько потребуется. Нам удавалось спасать самых тяжелых детей, и для вашего мы сделаем все, что сможем. Если бы ваш сын был безнадежен, я бы разговаривал с вами иначе, — добавил он, поднимаясь. — Самое главное, поддержите свою жену.

4

Послеродовое отделение, в котором лежала женщина, находилось на третьем этаже, и в отличие от предыдущего роддома здесь можно было переговариваться с мужем из окна. Но никакая сила не заставила бы ее сейчас посмотреть в его глаза. При этой мысли ей становилось нестерпимо стыдно. Она твердо решила, что если выйдет отсюда одна, то больше жить вместе с мужем не станет. Но когда наутро она увидела его из окна, растерянного, озирающегося и ищущего ее, она дрогнула.

Он так несчастно выглядел среди других мужичков, зычными голосами что-то орущих своим женам, сам на себя не похожий, маленький, пришибленный, и она подумала, что, возможно, ему даже хуже, чем ей, потому что этот человек, всегда живший весело и беззаботно, не знавший, что такое страдание, еще меньше готов к случившемуся, чем она. Он стоял и не уходил, курил и уже не пытался найти ее, а просто ждал, что она увидит его, и женщина с трудом удерживалась от того, чтобы не открыть окно.

Она не допускала мысли, что он разделит ее жизнь, она приучила себя к тому, что он ее бросит, заявит — это твои проблемы, сама все расхлебывай, и укатит в лес (доктор сказал, трудно будет первый месяц, полгода, год, но с каждым днем легче, как солнышко прибывает понемножку в день, так и ей с каждым днем будет легче), — но теперь, в эту минуту, она была благодарна ему за то, что он стоит и не уходит. Хотя бы пока не бросает ее.

Ей самой стоять было очень тяжело. Она чувствовала слабость и не могла отделаться от того кошмара, который испытала ночью в те предрасветные часы, когда ее отвезли в послеродовую палату и она, вздрагивая от каждого шага в коридоре, ждала, что сейчас придут и скажут: жаль, но так вышло... Мы не смогли ничего сделать... И это будет все, финал, конец ее жизни — этого она уже не переживет. Те несколько часов она лежала и молилась. Это была даже не молитва, а бессвязный поток повторяющихся слов и слез с мольбой сохранить младенца.

Так остро сознававшая всю беременность свое одиночество, она думала о том, что теперь одинок ее сын. Он лежал в двух шагах от нее в комнате со страшным названием «реанимация», он был впервые за свою жизнь с ней разлучен, и ей казалось, что в эту ночь она его предала, и она ненавидела себя, свое тело, не смогшее выполнить самое главное, что было на него возложено, и ту золотоволосую женщину, которая словно специально задержала ее до вечера. Если бы она отправила ее сразу же, если бы удалось что-то сделать и остановить роды...

Мальчик, ее маленький мальчик вместо того, чтобы жить в ней, набирать вес и получать все необходимое, был вышвырнут в мир и лежал теперь брошенный ею с первых своих минут.

«Матерь Божья, — жалобно говорила она, — Ты приди к нему, помоги ему, ему сейчас нельзя одному. Он никогда не был один, он не знает, что это такое. Он безгрешнее и чище любого живущего, пусть он увидит Тебя и перестанет бояться. Ему сейчас страшно, но если Ты к нему придешь, если Ты дотронешься до него, то он успокоится. Ты одна сейчас можешь

его спасти и не дать ему исчезнуть. Накажи меня чем хочешь, но только приди».

Время от времени женщина впадала в забытие, потом снова просыпалась и продолжала молиться, и иногда в голову ей западала жуткая мысль, что, быть может, она молится напрасно, потому что его уже нет. Она со страхом эту мысль гнала, она не разрешала себе так думать, а в ушах звучала подлая фраза, казавшаяся теперь особенно зловещей: да он у вас умрет, вы не почувствуете. Боже, Боже, кто бы ей сказал, что в ее жизни выпадет такая ночь и что от всего этого она не сойдет с ума. Она часто читала в последние недели Евангелие и хорошо запомнила одно место, когда Господь говорил ученикам — эти слова всегда утешали ее и точно опровергали то другое, пугавшее ее: *«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что человек родился в мир»*. И она верила, когда лежала в той больнице, когда ей было очень худо, когда просыпалась ночью от жутких снов, — она верила, что это только та скорбь, через которую предстоит ей пройти, а потом откроется радость. Но получилось все наоборот: скорбь лишь усилилась, и это было неправильно, несправедливо, это противоречило тому, что сказал Господь. Это значило, что ничто уже их не спасет, ни младенца, ни ее, — он родился тогда, когда рождаться было уже нельзя, не только потому, что она была слишком стара, но и потому, что мир вокруг лежал во зле. И в каком-то безмерном отчаянии она подумала, что не надо ей было креститься, не надо было ничего этого знать, она сама все напортила: грозному, злому Богу неуютны ее молитвы и слезы — Он жаждет для нее только наказания, Он отнимет ее дитя, которое не смогла отнять судьба, и она заплакала горькими, бессильными слезами.

Это было похоже на какое-то наваждение, смесь яви и сна, она точно лишилась опоры и висела над бездной отчаяния и страха, куда безвозвратно уходит человеческая душа, и над такой же бездной висел ее младенец. И она подумала, что если он упадет, то она уйдет туда вместе с ним. У нее не было сил больше терпеть и ждать — кругом нее было темно и тихо, она не знала, жив он или нет, сердце ее молчало, она снова попробовала молиться, но не смогла: кто-то или что-то мешали ей это сделать.

Маятник страдания, приблизивший ее к Богу несколькими часами раньше, отшвырнул теперь так далеко от Него, как она не была даже в той жизни, до своего крещения. Она пришла к Нему, чтобы уйти от судьбы и стать матерью, она переступила через себя, свой страх и стыд, когда беременная раздевалась в бассейнчике с мутной водой и на нее смотрели как на ненормальную. Она вытерпела все, чтобы заручиться Его поддержкой, но Он оставил ее в самую тяжкую минуту ее жизни. Она не чувствовала ничего, кроме одиночества и бездны, — это были ужасные часы, ей казалось, что она сейчас сойдет с ума, завоюет и бросится на того, кто войдет и скажет непоправимое про младенчика, как бросается медведица на безумцев, вздумавших играть с ее детьми.

Но потом наступило утро, и в палату вошел большой круглый человек в очках. Он быстро сел на кровать, взял ее за руку и сказал, что мальчик жив, он цепляется за жизнь, ему очень худо и очень трудно, но он цепляется и она должна обязательно ему помочь. Она должна думать только хорошее, не отчаиваться, и только нежностью и любовью она его спасет. Женщина заплакала и часто-часто закивала, но то, что доктор принял за надежду в ее глазах, было не надеждой, а благодарностью Той, Которая ее услышала, пришла к ее сыну и дала ему руку. Потому что если бы Она не дала ему руку, то он бы не смог уцепиться — она сама только что висела над этой бездной и знала, что без этой руки спастись невозможно. И это не она ему, а он, маленький, крохотный и слабый, помогал ей преодолевать отчаяние и страх. Случилось то, чего не должно было случиться, — чудо, потому что у

нее не могло быть ребенка, все происходило вопреки природе и вопреки судьбе: и то, что она зачала, и то, что не было выкидыша на ранних сроках, и то, что ей все время мешали, но не смогли помешать, и то, что все дается так трудно. Все это потому, что глупая и злая судьба не хотела отпускать свою жертву и насылала на нее бесплодие, старение плаценты, инфекцию, злобную врачиху в консультации, нелюбимого мужа...

Здесь она споткнулась и посмотрела в окно. Муж все еще стоял. Со всем понурый, наверное, думал, что раз она не хочет с ним говорить, значит, все очень плохо. Она хотела распахнуть окно и позвать его, но услышала за спиной окрик:

— Женщина, вы с ума сошли? Ну-ка марш в постель!

В дверях стояла заведующая отделением — седая, желтолицая, насквозь прокуренная.

— Да что тебе муж? — проворчала она. — Себя побереги. Еще набегаетесь.

— Вы думаете, он... — задохнулась она от радости.

— Загадывать рано, но в любом случае слава Богу, что он родился сейчас. Медицина не слишком это признает, но в народе-то есть поверье, что семимесячных легче выхаживать. А особенно мальчиков. — Она вздохнула и присела на кровать.

— Я хочу, чтобы он жил, — сказала женщина упрямо.

— Дай Бог.

«Тем более, что больше рожать тебе не придется», — подумала она, но вслух этого не произнесла.

5

Утренняя служба закончилась, но храм в стареньком арбатском переулке был открыт. Заходили люди, покупали свечи, ставили их перед иконами, листали брошюры и книги, разложенные на лотке, на скамеечке сидело несколько старух в валенках и шерстяных платках, и мужчина сначала растерялся. Потом взгляд его остановился на тоненькой, необыкновенно красивой девушке, стоявшей за свечным ящиком.

— Пожалуйста, — улыбнулась она, когда он, путаясь в словах, изложил свою просьбу. — Как зовут вашего ребеночка?

— У него еще нет имени.

— Так он у вас некрещеный?

— Он только родился.

— Сожалею, — ответила девушка печально, — помочь вам Церковь не может. Она молится о крещеных.

— Но ему нужно сейчас, понимаете?

— Это невозможно. Сперва вы должны его окрестить.

Он хотел ответить что-то резкое, сказать, что ребенок болен, при смерти и не дай Бог ей когда-нибудь такое испытать, но вдруг заметил, что лицо у нее никакое не нестеровское, как ему показалось вначале, а вышколенной, холодной служащей.

Он быстро вышел на улицу, но, куда теперь идти и что делать, не знал. Домой не хотелось, никого близкого у него не было, и весь этот студеный, ветреный день он бродил по улицам. Повсюду шла предновогодняя торговля украшениями, безвкусными импортными конфетами, парфюмерией, спиртными напитками, — все это было дико, ново для него, потому что он не был в центре несколько лет, и эти некогда любимые им бульвары и площади вызывали теперь отвращение.

К вечеру похмелье прошло окончательно, в маленькой булочной за бульварным кольцом он купил батон теплого хлеба и большими кусками, давясь, съел его почти целиком, а потом ноги снова понесли его к родному.

Здание показалось ему еще более громадным, чем днем. Оно уходило ввысь, в беззвездное, слепое московское небо, и трудно было представить, что где-то в его глубине находились два самых близких ему человека. Он обошел несколько раз вокруг, ноги замерзли, от выкуренных сигарет во рту стало гадко, но уйти отсюда он не мог. Исполнились ровно сутки с тех пор, как у закрытой двери, в другом месте, сказали, что его жена родит, и она родила. Теперь он снова ощутил острый стыд, оттого что в ту самую минуту, когда она лежала на столе и рожала, он спал пьяный, а не стоял под этими окнами, и в тяжелом, похмельном сне, сам того не ведая, превратился из обыкновенного и никому, кроме своей матери, не нужного, пустого и никчемного человека в отца. Но даже ребенок у него получился ущербным, и все это было не случайно, неспроста, все было заслужено им самим.

Ты сам во всем виноват, подумал он в порыве какого-то отчаяния, и если покопаться в самом себе, то все станет более или менее понятным. Ты был всегда завистлив, и даже не просто завистлив, хуже — злораден. Чужие горести тебя веселили, ты радовался, когда кому-то из твоих друзей было плохо, и чем ближе был тебе этот человек, тем больше ты наслаждался, хоть и пытался лицемерно изобразить сочувствие. Чужие неудачи были для тебя слаще собственных успехов, ты ими упивался — *поэтому* из тебя ничего не вышло и ты получил лишь то, что желал другим. Ты всем завидовал: одному, что он умен и талантлив, в то время как ты был просто способен и неглуп, другому, что он богат, третьему, что у него много женщин, — ты всегда находил повод для зависти и для разжигания зла в собственной душе. О, зависть, зависть, как она отвратительна, она есть смертный грех, она порождает убийство, она есть неблагодарность Богу за то, что Он дает, а потому у завистливого отнимется последнее и за твою зависть расплачиваться будет твой сын.

Мужчина вспомнил свой разговор с доктором и подумал о том, что если ребенок и выживет, то скорее всего останется инвалидом, умственно или физически отсталым. Жизнь кончится, кончится в тридцать шесть лет, толком и не успев начаться, бросить семью он не сможет и все оставшиеся годы будет привязан к больницам, врачам, лекарствам, специальным школам и интернатам, будет жить в вечных метаниях от отчаяния к проблескам надежды на какое-то чудо, целителя, но цена всему этому грош, и та радость жизни, те удовольствия, которые он так ценил, его независимость и покой, — все у него отнимется и никогда не придет. Так, может быть, лучше, обожгла его лукавая мысль, если дитя не будет мучить других и мучиться само, закроет глазки и навсегда уснет? А они его забудут, разведутся и забудут, и у каждого начнется своя жизнь, в которой и он и она будут удачливее? Боже, Боже, какая же мерзость лезет в голову! Неужели человек, так хладнокровно желающий смерти собственному сыну, и есть он? И именно так начинается, а может быть, и заканчивается его отцовство?

Им овладело какое-то враждебное чувство к жене. Он подумал, что его женитьба на ней была не просто ошибкой, а величайшим несчастьем, исковеркавшим его жизнь. Надо было давно от нее уйти и найти кого угодно, кто мог бы выносить и родить здоровое дитя. Он никогда не думал, что будет до такой степени хотеть ребенка, — но он хотел здорового, полноценного человека, и всю его жалость к жене, все, что он испытывал прошлой ночью, смыло ненавистью. В каком-то умопомрачении, ничего не замечая вокруг, он шел по улице, размахивая руками, что-то бормотал, выкрикивал отдельные бессвязные слова, и в один бесконечный ряд сливались перед его глазами глуповатое, круглое лицо детского доктора, хорошенькой девушки из церкви, старухи в приемном отделении, всех, кто пытались его утешить, но он отторгал теперь любое сочувствие — ему хотелось, чтобы из темноты кто-нибудь на него набросился, хотелось грязно ругаться, драться, злобствовать и проклинать.

«Боже, Боже, что это со мной? За что мне такое? Надо остановиться и взять себя в руки. Нельзя так распускать себя. Где я?» Он огляделся и увидел, что вокруг давно уже нет ни жилых домов, ни людей — только кое-

где горели скупые фонари и из-за высоких заборов лаяли собаки. Его окружали склады, ангары, строительная площадка, башенные краны и занесенные снегом, с выбитыми стеклами машины. Потом послышался шум, и он увидел электричку, слепящей фарой прорезавшую темноту, и летевшие на свет снежинки. Он пошел через рытвины вперед, спотыкаясь и падая, не видя ничего под ногами, и даже на какое-то время забыл о жене и ребенке, потом вышел на полотно железной дороги и побрел по шпалам. Он не знал, какая эта дорога и куда она ведет. По-прежнему вокруг не было ничего, кроме заборов с одной стороны и леса с другой, прошел встречный поезд, окатив его грохотом и запахом электричества. Наконец показалась впереди платформа, и он понял, что это была та самая железнодорожная ветка, возле которой они жили.

Когда он подходил к дому, то увидел в окнах свет. «Ну вот и все, ребенка больше нет, а ее привезли домой». И даже не разобрал, что в первый момент ощутил: ужас или облегчение. Только мелькнуло в голове: таких детей неужели тоже хоронят в гробиках?

В открывшуюся дверь на него смотрели два испуганных женских лица: его матери и матери жены.

— Это вы звонили вчера ночью? — спросил он хмуро.

— Я звонила, — сказала теща, — я очень волновалась — где...

— Она родила.

— Как родила? Кого? — воскликнула теща. — И сколько весит?

Он ответил.

— У меня-то были одна три с половиной, а другой четыре двести, — произнесла она с превосходством, заключавшим в себе всю прихотливость ее взаимоотношений с дочерью.

Мужчина с испугом посмотрел на мать: неужели и та не удержится и скажет что-нибудь подобное, но мать молчала, и ее обычно замкнутое лицо (она была этой замкнутостью похожа на жену или, вернее, жена была на нее похожа) показалось ему необыкновенно красивым и нежным. Ему захотелось сказать ей о своей душевной муке, ей, единственно его любившей и принимавшей таким, как есть, но его стесняло присутствие третьего человека, и он промолчал. Теща, истолковав тишину по-своему, стала что-то говорить, и мужчина ушел гулять с собакой.

6

Тревога усилилась в душе женщины, едва настали сумерки. Весь день она провела в возбуждении после того, как приходил доктор, — она ждала, что придет кто-нибудь еще, но в коридорах было тихо, только в пятом часу принесли полдник.

Потом она уснула, а проснулась оттого, что все было непривычно, и она не сразу поняла, где находится и что с ней. А когда вспомнила все, опять горько заплакала. Не только душа ее, но и тело не могли приспособиться к тому, что живот, занимавший все ее мысли, стал пустым — кончилась беременность и с нею кончилась тайна. Она по-прежнему осторожно поворачивалась и двигалась, машинально тянулись к животу руки — он был все еще большим, матка сокращалась в размерах не быстро, но она была уже совсем другим человеком, чем сутки тому назад. Из груди стало сочиться молозиво — несмотря на преждевременность родов, организм вырабатывал молоко. И ей нестерпимо захотелось увидеть младенца, взять его на руки и прижать к себе. Женщина накинула халат и вышла в коридор. Налево был небольшой холл с телевизором и креслами, где сидели и беременные, и уже родившие, а иные и потерявшие своих детей, направо — выход из отделения.

— Куда вы? — остановила ее медсестра. — В реанимацию вас не пустят.

Она пошла по коридору назад и остановилась у окна. Напротив, в соседнем крыле здания виднелась комната, освещенная синим светом. Спер-

ва она подумала, что это родильное отделение, но, приглядевшись внимательнее, поняла, что это и есть реанимация. Там был ее ребенок, и чтобы пройти к нему, надо было завернуть за угол и сделать двадцать шагов. В комнате мелькали фигуры людей, она изо всех сил напрягала глаза, пытаясь разглядеть, что они делают, но неожиданно свет погас.

Женщине стало страшно. Она ждала, что свет снова зажжется, но окна оставались темными, и она быстро пошла по коридору.

— Мамочка, — сказала медсестра, — вы успокойтесь. И идите к себе в палату. Я попрошу врача, если он освободится, вам разрешат взглянуть на ребенка.

Она кивнула, но пошла не в палату, а снова к тому окну, из которого была видна реанимация, и стояла до тех пор, пока свет не зажегся.

Теперь у нее появилась цель: она сидела на кровати и ждала, думая о том, что вчера ждала точно так же долго в эти вечерние часы «скорую» и была убеждена, что про ребенка надо забыть, это только так называется — преждевременные роды, на самом деле просто выкидыш. Но родился мальчик, она стала матерью, а все прочее не имеет никакого значения.

Было уже совсем поздно, никто не приходил, и она подумала, что про нее, наверное, забыли или сказали просто так, чтобы она не маячила в коридоре. Но потом дверь приоткрылась, и давешняя медсестра шепотом спросила:

— Мамочка, не спите?

Перед тем как войти в реанимацию, ей велели надеть халат, бахилы, пеленку на голову и марлевую повязку. Она увидела в кувезе красно-синий вздрагивающий комочек, опутанный проводами и с воткнутой прямо в голову иглой, вцепилась в руку врача и не могла вымолвить ни слова — она даже не представляла, до какой степени он мал и слаб. Казалось, жизнь едва теплится в крохотном тельце, и трудно было поверить, что из этого существа может вырасти человек. Но потом она пригляделась и увидела сморщенное личико, ротик, глазки, носик, ручки и ножки с изумительно тоненькими длинными пальчиками и ноготками. Она понимала, что долго оставаться ей здесь не разрешат, и смотрела с жадностью, пытаясь запомнить все до мелочей, любуясь им и любя это сонное, теплое тельце. Тоненькая, слабая струйка брызнула между его ножек, и ее захлестнуло неведомой, счастливой нежностью.

— Ой, пишет! — ахнула она.

— Он у нас молодец мужичок, — сказал доктор. — Подождите, он себя еще покажет.

«Матерь Божья, Матерь Божья, Господи, Господи, — бессвязно прошептала она, — это все Ты. Ты только не уходи пока. Ты еще побудь с ним. Пока мне не разрешают. А потом я приведу его к Тебе. Я расскажу ему, что это Ты его спасла, Ты его заступница. Я посвящу его Тебе, Ты только сохрани его».

Она вышла, не в силах сдержать свою радость и благоговение, и не слушала, что еще говорил худощавый врач про приборы и капельницу, она верила, что дело не в этих врачах и приборах, они лишь выполняют, сами того не ведая, волю свыше.

В коридоре она попросила, чтобы ей разрешили позвонить мужу, и, захлебываясь, как самому близкому и родному человеку, стала рассказывать ему про младенчика, путаясь в словах и перебивая саму себя, перекакивая с одного на другое и благодаря его за то, что он стоял утром под ее окнами. Она не помнила себя от волнения и хотела, чтобы и он понял, что их страдания не были напрасными, но муж молчал.

— Неужели ты не рад? — спросила она с досадой.

— Рад. Тут твоя мама. Позвать ее?

— Не надо. Потом.

— Спасибо, что позвонила, — сказал он тихо и повесил трубку, и, как несколько месяцев назад, она остро пожалела о своей откровенности.

Но если бы в эту минуту она могла его видеть, то его лицо поразило бы ее. Оно выражало безмерное отчаяние и отвращение к самому себе.

— Сволочь, — пробормотал он, — какая же я сволочь! Господи, как Ты такое только допускаешь.

Он подошел к окну, прижался к холодному стеклу и услышал гудок и шум электрички, уносившейся в сторону роддома, посмотрел вниз, где два случайных фонаря освещали свежий снег, выпавший прошлой ночью, открыл окно и несколько минут стоял неподвижно и жадно дышал морозным воздухом.

Затем взял вчерашнюю бутылку с остатками коньяка и плеснул в рюмку.

На часах было без четверти двенадцать. Этот бесконечный изматывающий день кончался, и мужчина подумал, что сегодня — день рождения его сына. Что бы ни было, у него родился сын, и этого уже никто не отнимет. Этот день рождения мог стать единственным и последним, но пока что он был, и он выпил глоток коньяка, упал на колени перед распахнутым темным окном и жадно зашептал:

— Господи, накажи меня как угодно, возьми, сколько Тебе надо, лет моей жизни, возьми мое здоровье, силы, возьми ту избушку — возьми все, только пусть он живет.

Часть третья

1

На третьи сутки угроза жизни младенца миновала, однако эти дни дались ему нелегко. В его организме все время шла отчаянная борьба между антибиотиками и вирусами, его лихорадило и трясло, из полутора килограммов он потерял почти пятую часть, но сыпь исчезла, левое легкое раскрылось и дышать ему стало легче. Он больше не нуждался ни в капельнице, ни в подаче распыленного кислорода, уменьшились отеки, и два дня спустя его перевезли из реанимации в специальное отделение по выхаживанию недоношенных детей, располагавшееся в маленькой двухэтажной постройке в пяти минутах езды от роддома. В тот же день женщину выписали домой.

Она вышла, ступая немного неуверенно, неуклюжая в своей тяжелой шубе, с постаревшим лицом и морщинами под глазами, в черном пуховом платке, резко оттенявшем ее бледность, и зарыдала — но не облегчающими сладкими слезами, а тяжелыми, глухими, полными отчаяния и ужаса. Случилось то, что она и в кошмарном сне побоялась бы увидеть: она вышла из роддома без ребенка на руках, воровато пряча глаза, точно преступница.

С первых дней своей жизни, несчастный, не получивший ее тепла и любви, ни разу ее не видевший и даже не дотронувшийся до нее, он попадал в чужие руки, а ей предстояло вернуться в мир, где все будут жадно допытываться и обсуждать, что с ней случилось, как, почему, злословить и притворно выражать сочувствие. Она с ужасом подумала о свекрови, о собственной матери, о телефонных звонках и неловких словах людей, не знающих, то ли поздравлять, то ли сочувствовать, и ей захотелось скрыться от людских глаз еще сильнее, чем в первые месяцы беременности.

Утреннее возбуждение, когда ей сказали, что ребенка переводят из реанимации и это очень хороший признак, прошло. Она сидела в электричке, полуотвернувшись от мужа, скорбная, сжавшаяся внутри и отрешенная ото всего. Дома, наспех поужинав и сцедив молоко, легла спать, но спала плохо, то и дело просыпаясь в бреду, и собственная квартира казалась ей чужой. А рано утром, едва зажглись первые огни в башне напротив, вышла на улицу и отправилась к станции.

На длинной широкой платформе она села в теплую электричку, и по мере того, как поезд над заснеженной поймой Москвы-реки и широким полем аэродрома, над застывшим каналом и шлюзом, мимо парка, инду-

стриальных завалов и задворок вез ее к нужной станции, в ней усиливалась тревога, и она не могла отделаться от предчувствия, что, пока она была дома, с ребенком что-то случилось. Она выскочила из электрички на платформу, где уже чуть-чуть началось брезжить и плотной толпой шли по скользкой дорожке в чудом уцелевшее НИИ чудом уцелевшие служащие, ускорила шаг и почти бежала, бежала как ненормальная со своими набухшими тугими грудями, стремительно разделась и бросилась в бокс, где лежал ее сын. Однако ей разрешили только взглянуть на него, и остаток дня она провела в комнате для матерей, среди таких же женщин, у которых тоже родились недоношенные дети.

Поначалу она держалась от них в стороне. Ей претили их беспечные долгие разговоры, легкомыслие и веселость, точно ничего страшного с ними не произошло, хотя у многих дела были гораздо хуже и хлебнули они больше, чем она. Роды не застали ее совсем врасплох, она рожала не дома, у нее не было кесарева сечения, не было родовой травмы ребенка, не было двойни, когда один из детей умирает, — она по-своему достаточно легко отделалась, и даже вес, с которым родился мальчик, считался по здешним меркам довольно приличным.

Но они все были моложе, беззаботнее или лучше умели скрывать свои чувства, и, просиживая с ними в этой комнате долгие часы от сжеживания до сжеживания за их болтовней о детском питании, одежде, колясках — о чем ей самой страшно было подумать и поверить, что ее когда-нибудь это все тоже коснется и кроме страха и тревоги существует быт, — за всем этим она потихоньку успокаивалась и отогревалась, приходила в себя после шока, и ко многим из этих девиц, не забывавших накраситься и одеться помоднее, она привязалась. На нее успокаивающе действовало, что она была не одна, все здесь друг другу сочувствовали и друг о друге заботились, и все они, и богатые и бедные, и образованные и необразованные, счастливые жены, за которыми приходили мужья, и матери-одиночки, — все были равны.

Но это чувство покидало ее, едва она выходила из больнички и ехала домой — позднее трех часов оставаться не разрешали, и ночами просыпалась от ужаса, от жутких снов, грохота набегающих и уходящих электричек, от мыслей, что ребенок не очень хорошо прибавляет в весе, вяловат и плохо сосет из бутылочки, а о груди нечего и думать. Она представляла, как ночами он не спит и плачет, никто к нему не подходит, и к утренней электричке от тревоги не чувствовала себя живой.

В ее глазах было столько страдания, что молоденькая ординатор, лечившая ее ребенка и державшаяся со всеми высокомерно и неприступно, относилась к ней совсем иначе, отвечала на все ее расспросы, утешала и разрешала бывать при младенчике дольше обычного.

Первые десять дней он лежал в кувезе, кислород ему больше не подавали, но поддерживали тепло, которое сам он покуда хранить не умел. Кормили медсестры, женщина только сжеживала и отдавала им молоко и полностью чувствовала себя в их власти. Она смотрела на каждую из них с безмолвной мольбой и в их отрывистых фразах пыталась почерпнуть хоть слово о лежащем в кувезе мальчике, но сестры держались еще более пренебрежительно, и в их отношении к себе она чувствовала какое-то превосходство.

Вскоре она узнала, что медсестры делятся на хороших и плохих, на добросовестных и недобросовестных, у каждой из них свой нрав, одна берет все подряд, другая — только деньги, третья вообще не берет ничего. И она, сама же презирая себя за брезгливость и неумение, с каким это делала, клала в карманы шоколадки и пятитысячные купюры, пыталась льстить и заискивать, но это удавалось ей еще хуже.

Так в тревоге она встретила Новый год, запретив себе считать его праздником, потому что праздника, пока дитя было с нею разлучено, быть не могло. Она легла спать как обычно, сцедив молоко, не сделав для этого дня никакого исключения и не накрыв праздничный стол, и заснула с од-

ной лишь мыслью и мольбою, чтобы все самое страшное осталось в том кошмарном, Богом и Россией проклятом году, и ее муж так и просидел один перед пустым столом и раздражающим экраном телевизора. Но когда в седьмом часу она встала, чтобы ехать в больницу, он сказал, что поедет вместе с ней.

2

Уже почти три недели он был отцом, но до сих пор ни разу не видел своего сына. Тот ужас и ошеломление, которые он испытал в первые дни после его рождения, сменились отупением, он жил механически, смирившись с тем, что произошло, и даже порою об этом забывая. Погруженная в свои тревоги, жена снова отдалилась от него, они почти не виделись и мало разговаривали друг с другом: она, приходя домой, ложилась вскоре спать, а он теперь много работал. Никому из своих знакомых, ни у себя на работе ни он, ни она не говорили о рождении ребенка, ничто как будто не изменилось в их жизни — только прибавилось недомолвок и взаимного отчуждения. В глубине души он считал ее виноватой и этой вины не прощал. Но новогодняя ночь живо напомнила ему другую ночь, когда, мучимый неизвестностью, он сидел и слушал в темноте стук часов, и теперь он испытал едва ли не физическую потребность увидеть если не самого ребенка — на это он и не надеялся, — то хотя бы то место, где он находился.

Больничка понравилась ему сразу же. Было в ней что-то трогательное, напоминавшее старые московские особнячки. Он вошел на низенькое крылечко, стряхнул снег и сразу за входной дверью на столике увидел большую потрепанную тетрадь, раскрытую посередине. Это был список всех детей с ежедневной отметкой о прибавке в весе. И среди этих фамилий мужчина увидел свою.

В первый момент он не понял, что под этой фамилией значился не он, а когда догадался, в глазах у него потемнело. Это было первое материальное свидетельство того, что он действительно был отцом и кто-то еще на земле носил теперь ту же фамилию, однако это вызвало у него не радость, не гордость и не восторг, а очень острое, болезненное чувство собственной незащитности.

— Что, папочка, на сына пришли взглянуть? — Он поднял голову и увидел красивую женщину в голубом халате.

Он не был уверен, что действительно этого хочет, но под пристальным и немного насмешливым взглядом врача разделся, надел поверх ботинок бахилы и по каким-то коридорам, поднимаясь и спускаясь по крутым лестницам, прошел в бокс.

Это меньше всего походило на явь: люди в халатах, много молодых женщин, боксы, детские кровати и похожие на аквариумы куветы — он шел и думал, что сейчас, быть может, произойдет самое важное событие в его жизни — он увидит своего сына.

В маленькой светлой комнате, где сидела полная старушка, врач подвела его к кувету.

— Ну смотрите, вот он, ваш красавец!

Он представлял сына пусть не таким упитанным и крепким карапузом, каких рисуют на коробках с детским питанием, но то, что он увидел, вызвало у него оторопь. Перед ним лежал и вздрагивал ручками одетый в беленькую распашонку и запеленутый по пояс красненький сморщенный старичок. Распашонка самого маленького размера была ему непомерно велика, и такой же большой была одетая на голове шерстяная шапочка. Он спал раскинув руки, чмокал губами и вздрагивал, но больше всего мужчину поразило то, что этот человечек был абсолютно точной копией его самого, но не маленького, каким он видел себя на младенческих фотографиях, и не теперешнего, а такого, каким ему еще только предстояло стать.

Врач, желая показать мальчика получше, засунула руки в кувет, сняла с младенца шапочку и приподняла его. Маленькая, испещренная венами,

масленая головка даже не откинулась, а просто закачалась из стороны в сторону, нижняя губа выпятилась вперед, на личике появилась недовольная гримаса, и мужчина испытал такое чувство неловкости и стыда, будто эти нахвалившие ребеночка женщины мучили и смотрели на него самого, беспомощного и слабого.

Надо было что-то сказать, поблагодарить, но он не мог вымолвить ни слова: ведь это был его сын, и неужели это был его сын? И он пожалел, что послушался эту красивую женщину и увидел то, что раньше времени видеть ему не следовало.

Выходя из бокса, он столкнулся с женой. Она, одетая в белый халат, несла в руках бутылочку с молочком. Он посторонился и пропустил ее, и его взгляд показался ей таким же растерянным, беззащитным и полным безмолвной мольбы, как несколько месяцев назад, когда только начались их злоключения и ее первый раз положили в больницу.

А женщина, глядя на ребенка, подумала, что теперь он уже не такой жуткий, как в реанимации. К концу третьей недели он догнал свой вес при рождении, ежедневно прибавляя по двадцать — тридцать граммов, ему начали делать массаж, но все равно представить, что настанет день и ей отдадут его, она сможет быть с ним столько, сколько захочет, и никто не будет ее контролировать, женщина не могла.

Она уже привыкла и к этой больнице, и к врачам, и к сестрам, они не казались ей больше такими страшными и жестокими, она приходила сюда как домой, приносила угощение к чаю, охотно разговаривала с другими мамами и даже как будто помолодела на десять лет, потому что к ней обращалась на «ты» даже годившаяся ей в дочки, родившая ребенка в старшем классе, насквозь прокуренная девица. Сюда, в этот особнячок, казалось, не проникало ничего, чем жил большой и грязный город: по коридору на первом этаже бродили толстые и важные серые коты, в полдень приезжала машина и привозила для кормящих матерей обед не хуже домашнего, детей выхаживали и растили, пока они не набирали двух с лишним килограммов, — все это повторялось изо дня в день, и иногда наступал праздник, когда какая-нибудь из мам, одетая в этот день особенно нарядно, приносила для всех остающихся торт и на глазах у всей больницы торжественно забирала своего малыша, завернутого в самую красивую пеленку, два одеяла и укутанного так, что еле-еле было видно крохотное, с кулачок личико.

3

Накануне Рождества младенца перевели из кувеза в его первую кроватку, и матери впервые разрешили взять его на руки. Она взяла очень осторожно, боясь оступиться и уронить, и крохотное тельце показалось ей почти невесомым. Она держала его, бережно прижимая к груди, и думала о том, что теперь уйти от него домой будет во сто крат мучительнее.

Весь вечер она проплакала — перенести столько и быть разлученной с сыном теперь, — Боже, Боже, за что и сколько же еще эта мука будет продолжаться?

Сама она, не вполне оправившаяся после родов, держалась из последних сил, но каждый день в семь утра выходила из дому, чтобы успеть нацедить к утреннему кормлению молока. Ему обязательно надо было давать грудное молоко, чтобы он рос и с каждым днем отползал все дальше и дальше от той страшной бездны. Она снова молилась теперь на свое тело — только бы не кончилось молоко, только бы хватило хоть на первые месяцы. Наперекор всем ее страданиям, страхам и тревогам. Ни одна смесь заменить его недоношенному ребенку не могла, и она сумела расцедить груди до такой степени, что молока было в избытке, хотя вся ее жизнь постепенно превратилась в какое-то полурастительное существование: она много пила, потом сцеживала, снова пила, и так каждые два-три часа. Но молоко было жирным, и в каждом глотке, в каждой капле, попа-

давшей к младенцу, была жизнь. Теперь, когда он лежал в кровати, ему уже больше не вводили молоко через зонд, а давали сосать из бутылочки. Он сосал плохо, быстро утомлялся и засыпал, она расстраивалась, а та самая красивая врач, что показывала ребенка ее мужу, в ответ на жалобы грубовато отвечала:

— Мамочка, ваш мальчик — конь. Плохо сосет — значит, время ему не пришло. Он лучше нас с вами знает, когда и что ему делать.

Этот тон ее успокаивал: если бы дело было плохо, с ней бы разговаривали иначе.

И еще был один счастливый день, когда ей первый раз разрешили приложить его к груди, без особой надежды на успех — из бутылочки-то лилось струей, а тут надо было работать. Но когда она приблизила его ротик к груди, он вдруг открыл глазки, точно птенок, клонул сосок, обхватил его и стал сосать. Он сосал с открытыми глазами, тихонечко дышал — она чувствовала, как убывает молоко, и только молила Бога, чтобы он не бросил грудь, не устал. Но он продолжал сосать сосредоточенно и очень важно, и когда после кормления его взвесили, оказалось, что он прибавил целых сорок граммов. Она была так счастлива в тот день, что это можно было бы назвать наградой за все ее лишения. Материнство приходило к ней не сразу, а постепенно, так что она успевала прочувствовать и обрадоваться каждой из тех вещей, которые обычно наваливаются на женщину скопом. Эти радости были редкими, но когда они были — мальчика посмотрел невропатолог и сказал, что у него нет никаких отклонений, похвалила скупая на похвалы массажистка, дежурившая в ночь медсестра сказала, что вечером он хорошо кушал и за сутки прибавил целых тридцать граммов, — когда ей случалось услышать или узнать что-нибудь приятное, она не ходила, а летала по этим коридорам и забывала про свою усталость, свои хвори, про то, что сама держится из последних сил.

Тот доктор в роддоме был прав: дни становились длиннее, и дитя росло все лучше и лучше, к середине января он набрал два килограмма, и заведующая заговорила о выписке. «Мать Божья, Мать Божья, — шептала женщина благоговейно, — это все Ты. Ты не оставила его и здесь. Ты приходишь к нему, когда меня нет». И страх, казалось, навсегда пронизавший все ее существо, стал уходить, она больше не боялась, что, придя однажды утром в больницу, услышит, что случилось несчастье. Она постепенно поверила, что у нее родился сын, никто не отберет его и она будет с ним жить, кормить, пеленать, гулять, будет его купать — все это придет, и даже то, что все стоило ей стольких кошмарных часов и дней, уйдет в прошлое и станет просто воспоминанием.

Тогда же она решилась на то, на что очень долго не могла решиться: дать мальчику имя, и впервые между нею и мужем возникло разногласие и невидимое, но отчаянное соперничество.

Она инстинктивно очень боялась этого момента. До сих пор она не была уверена в том, что муж станет относиться к ребенку как к своему сыну. За этот месяц она привыкла, что все лежит на ней, к тому же она плохо представляла этого человека стирающим пеленки, моющим пол или ходящим на молочную кухню, в нем слишком сказывалось его барское воспитание, эгоцентризм и презрительное отношение к любой домашней работе. Но отстранить совсем она его не могла, и в загс они отправились вдвоем, в тот самый загс, где последний раз были тринадцать лет назад, и до сих пор не могли разобраться, ошибочным или правильным был их визит туда. Молодая пожилая дама выписала свидетельство о рождении, и сочетание фамилии и двух имен, одного, данного женой, — оно не слишком ему нравилось, но возражать он не стал — и другого, его собственного, окончательно узаконило существование ребенка и повлекло за собой вещи, в обычных случаях совершенно непримечательные, но казавшиеся им чудесными: прописку, получение пособия. Снова надо было сидеть в очередях, записываться на прием, составлять заявления и ждать, но от этих бюрократических процедур они получали необыкновенное удо-

вольствие, потому что никому из угрюмых чиновников, скучающих при виде их простого, не таящего подводных камней и, следовательно, не сулящего вознаграждения случая, дела не было до того, в какой срок и с каким весом родился младенец. Он был просто один из десятков тысяч рождающихся в России детей, рождающихся вопреки нищете, братоубийству, грязи, лжи и грозным пророчествам о близящейся кончине мира.

4

Из больницы его выписали в середине января. Последние несколько дней мужчина и женщина ездили по магазинам, убирали квартиру и покупали все подряд: коляску, кровать, ванночку, бутылки, детскую одежду и постельное белье, женщина шила из марли подгузники. Однако чем ближе был назначенный день, тем беспокойнее ей становилось. Она боялась теперь, что не справится с ребенком, все казалось ей неготовым, необузданным, она не была уверена, что сможет сама переодеть, накормить и искупать его. Она привыкла к тому, что каждый день в больнице мальчика смотрели врачи, теперь же она оставалась один на один с этим слабеньким, тихо дышащим существом, жизнь которого была для нее почти такой же непостижимой и таинственной, как и в пору беременности. И если тогда она сходила с ума и все время прислушивалась, толкается он или нет, то теперь точно так же прислушивалась, дышит или не дышит.

В комнате было тепло, но ей казалось, что он мерзнет. Она положила в кровать грелку и села рядом. Потом перепеленала его, и хотя прежде делать этого ей не приходилось, все получилось довольно ловко. В положенное время она приложила его к груди, он жадно зачмокал и тут же у груди уснул. Теперь он уже не был таким страшеньким: под кожей образовался небольшой слой жира, она расправилась, исчез пушок на щечках, и он стал походить на обыкновенного младенчика, только очень маленького.

Звонила ее мама, звонила свекровь, она что-то механически отвечала им, а сама не сводила глаз с кровати. Рядом стоял большой стол, приспособленный ею для пеленания, и на этом столе все необходимое: подгузники, вата, крем, бутылочка с простерилизованным подсолнечным маслом. Это был теперь ее маленький мир, в котором ей предстояло жить вместе с ребенком, и она постаралась сделать его как можно более удобным, обжитым и безопасным, и никого кроме мужа в него не пускала. Ни матери, ни свекрови прийти и взглянуть на внука она не разрешила.

Вечером его понесли купать. Он открыл глаза и первый раз за весь день поглядел на склонившиеся головы родителей. Мужчина осторожно его держал, а женщина мыла. Она боялась его переостудить, нервничала, но все выходило как нельзя лучше. Большим куском марли они вытерли его: она тельце, а он головку, поросшую светлым пушком и все еще податливую и мягкую на ошупь. Младенчик хныкал: он хотел кушать и никак не мог вытерпеть, пока мать его запеленает. Он чувствовал близкое тепло и запах ее груди, эта близость томила и возбуждала его. Но только он жадно набросился на грудь, как тотчас же ее отпустил и заплакал. Испуганная женщина прижала его к себе и стала уговаривать поесть, но он корчился и выгибался на ее руках. У него схватывал от боли животик, он плакал, потому что хотел, но не мог есть, и только спустя некоторое время успокоился и взял грудь. А ночью снова проснулся от боли, она носила его на руках, он плакал и не успокаивался, и тогда мужчина положил его себе на живот, боль сразу же стихла, и он так и проспал на животе у отца до следующего кормления.

Женщина боялась, что муж может уснуть и неловко повернуться, но мужчина не спал. То, что он переживал в те первые часы, когда младенец был дома, оказалось самым сильным потрясением за всю его жизнь. Никогда и никого, ни мать, ни отца, ни жену, он не любил такой безумной инстинктивной и животной любовью.

Это даже нельзя было назвать любовью или счастьем, ни одно из обычных человеческих понятий к испытываемому им не подходило, было гораздо глубже и сильнее. Все то, чему он поклонялся и верил, что воспитывал в себе годами, катилось под откос, и женщина с удивлением и недоумением наблюдала, как ее уравновешенный, брезгливый муж с необыкновенно серьезным и воодушевленным видом кипятит, тщательно отполаскивает и развешивает в ванной и на кухне пеленки и подгузники, каждый день делает в комнате влажную уборку. Он забросил и лес, и свои любимые газеты, без которых прежде не мог жить, а читал исключительно книги по уходу за детьми. К своему ужасу, она вдруг обнаружила, что он считает себя более сведущим во всем, что касалось младенца, он тиранил и преследовал ее: сколько и как она кормила, гуляла, сколько он спал и какой у него стул, он мучил ее какими-то наставлениями, давал советы — откуда уж он их брал, начитался в этих книгах или додумался сам, она не знала, но снова вдруг ощутила, что ребенок как бы ей и не принадлежит. Прежде за нее все решали врачи, теперь муж, а она оставалась тем, чем была, — кормящей матерью, единственная забота которой снабжать ребенка молоком.

Они давно не ссорились, потому что ссориться им было не из-за чего: у каждого была своя жизнь и жизни эти не пересекались. Теперь же ссоры вспыхивали в доме постоянно, и лежавшее в кровати дитя не ведало, что было причиной этих ссор.

А мальчик рос. Пока что разница между ним и обыкновенным месячным ребенком была слишком велика, но он набирал свои граммы и прибавлял сантиметры роста гораздо быстрее, чем доношенные дети, стремясь догнать тех, кто родился одновременно с ним, и вместе с ними начать ползать, вставать, ходить и говорить. Однако за это отчаянное стремление его организму приходилось платить слишком высокую цену, он страдал от нехватки микроэлементов, недополученных в два последних месяца беременности, и в детском тельце опять стало накапливаться неблагополучие.

Уже на следующий день после их приезда из больницы пришла участковая врач, не слишком молодая и, должно быть, изрядно повидавшая на веку, и в ее глазах женщина прочла неподдельный ужас. Сама она уже давно привыкла к ребенку, и он не казался ей ни очень слабым, ни очень маленьким, она помнила, каким он был в кувезе месяц назад и как сильно с тех пор переменялся. Но врач, осторожно развернув пеленки, боясь дотронуться до него, слегка пощупала печень, послушала легкие и ушла, неуверенно пробормотав, что ребенок должен находиться под наблюдением заведующей отделением.

Потом пришла и сама заведующая, высокая, властная, стремительно и увереннодвигающаяся по квартире, и так же уверенно и властно звучали ее слова. Тщательный уход, избегайте любых контактов, малейшая простуда, температура, отравление — то, что доношенные дети переносят сравнительно легко, у вас выльется в самые тяжелые формы.

Она говорила это, глядя женщине прямо в глаза, она точно готовила ее к самому худшему, разрушая уютный и тихий мир, который они построили в своем доме. На улице зима, по Москве гуляет страшный грипп, дифтерия, ни вы, ни ваш муж не застрахованы от вирусов, у ребенка шум в сердце и увеличенная печень, его организм не полностью адаптировался, и адаптация происходит с большим трудом. От вас зависит многое, но предусмотреть все нельзя, и ребенок, помяните меня, дастся вам большой кровью. Вы должны это хорошо понимать, я вас не запугиваю, я просто говорю вам все как есть.

В какой-то момент женщина перестала слушать: ей было достаточно и десятой части этих медицинских угроз. Она лишь повторяла про себя одно слово: уход, уход, уход. «Маленький, ты только не уходи, — взмолилась она, прижав его к себе, — ты только останься с нами».

Она валилась с ног от усталости, от разорванного сна, от постоянного напряжения и нагрузок, но засыпала и пробуждалась с одной молитвой:

«Мать Божья, если Ты хотела отнять его от меня, это надо было бы сделать сразу. Тогда у меня еще были силы, но теперь я не смогу, если с ним что-то случится. Ты вытаскила его из бездны тогда — не дай же ей взять его обратно. Отведи от нас беду, Заступница. Пусть мы грешные, пусть мы живем без закона и без любви, дитя не должно расплачиваться за родительские грехи. Я согласна страдать сколько потребуется еще, я знаю, просто так ничего не бывает и я была наказана за свою холодность, но только не дай совершиться беде, огради его от зла».

Иногда, засыпая прямо в кресле, покормив его, она пробуждалась оттого, что вспоминала: не успела дочитать молитву, и снова молилась, и плакала, и убеждала, убежденная сама, что только этими молитвами дитя и спасается и проживает каждый новый день. Она загадала себе, что им надо дожить до весны, пережить зиму, как когда-то надо было пережить ночь, и тогда уже никакая бездна их не настигнет. Но сколько ни отгоняла она беду, сколько ни молилась и ни каялась, беда пришла.

5

С утра молоденький лаборант из детской поликлиники взял у младенца кровь на анализ, и они ушли гулять, а вскоре после их возвращения раздался звонок в дверь. Быстро, так что мужчина даже не успел помочь им раздеться, вошли заведующая отделением и участковая. Спящего ребенка велели распеленать, пощупали печень, заглянули в ротик и склеры глаз.

Все это происходило без каких-либо объяснений и сопровождалось отрывистыми вопросами и командами: где можно помыть руки, разденьте, переверните, и было похоже на бандитский налет или действие оперативников.

Потревоженный во время глубокого сна, младенец заплакал, женщина взяла его на руки, и заведующая, не глядя на нее, найдя глазами мужчину, еще более жестко, чем в предыдущий раз, сказала:

— Ребенка надо госпитализировать!

— В больницу? — вскрикнула женщина. — Ни за что!

— Вы хотите его потерять? Значит, слушайте меня, папа, внимательно. У вашего ребенка очень плохой анализ крови. Очень. Гемоглобин в два раза ниже нормы плюс вчетверо повышенный ретикулоцитоз. И желтушность на лице. Это одно из двух: либо инфекционный гепатит, либо идет гемолиз. И то и другое — прямая угроза его жизни.

— Но ведь он себя хорошо чувствует, — возразила женщина, отбиваясь от страшных слов, значение которых она точно не понимала.

Мужчина же не слышал ничего. У него зазвенело в ушах, и он ощутил еще большую слабость, чем в тот вечер, когда стоял под дверью приемного отделения и до него доносились такие же жестокие и резкие слова.

— Госпитализировать надо немедленно. С таким гемоглобином не живут, понимаете? У него страдают ткани, страдает мозг, организм недополучает кислород, и эти последствия могут стать необратимыми. Поверьте мне, сейчас вам кажется, что он чувствует себя хорошо, но через час случится гемолитический криз и он на ваших руках умрет.

— Еще одной больницы я не выдержу, — сказала женщина безучастно.

— Выдержите, — ответила врач жестко. — Вы что хотели, в тридцать недель родили и думаете, легко отделаетесь?

В ее голосе прозвучало осуждение, но женщина с мукой поглядела в злые глаза заведующей, и та смягчилась, точно притупив свою жестокость об это страдание.

— Вы не отчаивайтесь. Печень у него не очень увеличена, значит, пока что прямой угрозы нет.

Она пошла к телефону, стала звонить в Морозовскую больницу, с кем-то долго ругалась и доказывала, что ребенка могут спасти только там.

Младенец больше не просыпался, пока они ждали «скорую», потом они завернули его в одеяло и пуховый платок и понесли в машину, ехали через пол-Москвы, надолго застревая в пробках, и только когда в приемном отделении молодой дежурный врач ловко, играючи развернул его, он потянулся, зевнул и захныкал.

— Ну, зеваает, значит, ничего, здоров, — усмехнулся врач.

Женщина не поняла, говорит ли он это серьезно или в шутку, но то, что он не глядел на нее сумасшедшими глазами, ее обнадежило.

Их отвели в бокс, она положила мальчика в которую по счету казенную кровать и в первый момент не обратила внимания ни на грязные стены и потолок, ни на разбитый кафель, ни на духоту, в которой им теперь предстояло жить. Главное, никто не собирался разлучать ее с ребенком. Она вышла в коридор и простилась с мужем, снова, как полтора месяца назад, успокоила его и велела привезти завтра необходимые вещи, потому что даже постельного белья в больнице не давали.

Мужчина вышел на улицу, где стало еще морознее, и в темноте побрел между корпусами к выходу. Больница оказалась неожиданно большой. На ровных аллеях горели фонари, проходили запоздалые посетители, и везде, в больших и маленьких, в новых и старых корпусах, лежали больные дети. Он подумал об этих детях и почувствовал необыкновенную нежность и грусть. Ему хотелось в эту минуту утешить каждого из них, успокоить и взять на себя их страдание. Где-то за освещенными окнами мелькали детские головки, он подолгу стоял и смотрел, потому что торопиться домой не хотелось.

Стоило только представить пустую квартиру, пустую детскую кроватку, ванночку, бутылочки, соски, пеленки — то, что являло для него отныне высшую вещественную ценность мира, как его охватывала безудержная тоска. Он прежде любил оставаться один в квартире, но теперь это одиночество ужасало его, и если бы не собака, он ни за что бы не вернулся домой, а поехал к матери или сестре. Он бывал у них очень редко, потому что и в той, и в другой многое его раздражало, а им, верно, претил его эгоизм, но сейчас он подумал, что раздражительность и эгоизм, страстность, неуступчивость и нетерпимость друг к другу происходят лишь оттого, что люди не знают цены истинным вещам, таким, как здоровье и жизнь детей, заслоняются чем-то надуманным, пока несчастье не откроет им глаза. Он решил, что как только ребенок выздоровеет, то сразу же поедет к двум забытым им родным женщинам, и весь вечер они станут пить чай и говорить о хозяйственных заботах, о детях, о домашних делах, о чем-то простом и незамысловатом, из чего отныне будет состоять на долгие годы его жизнь.

Легкий снежок сыпал откуда-то с вышины, покрывая все следы на земле. Он уже совсем потерял дорогу и не знал, где находится, но спросить было не у кого, и он просто шел и шел бездумно и наугад и вдруг наткнулся на приземистое здание и тускло блеснувшую вывеску: «Патолого-анатомическое отделение».

К горлу подступила тошнота, он представил холодные голые тельца и бросился бежать прочь, боясь, что в череде его мыслей и навязчивых картин мелькнет образ сына. Через дыру в заборе он вывалился на какую-то улицу около стадиона, пошел глухими дворами и переулками. Район был нежилой, со всех сторон его обступали громадные корпуса, он уже совсем потерял ориентир, пока наконец не оказался на трамвайной линии. И все его покаянное благодущие смыло этой жуткой картиной.

Он не спал до самого утра. Сидел на кухне под веревками, на которых сохли пеленки, боясь войти в комнату и взглянуть на пустой детский угол, курил, снова мучительно ждал и тут же, опустив голову на стол, уснул, а разбудил его телефонный звонок, и он не сразу узнал голос жены — низкий, отрывистый и хриплый:

— Плохо. Они сказали, что очень плохо. Немедленно приезжай.

Он был уверен почти наверняка, что не успеет. Бежал до метро, потом по переходу, волоча с собой сумку, набитую детской одеждой и вещами жены, сумку, казавшуюся ему теперь уже совсем не нужной. Когда врачи говорят «плохо», значит, в действительности дело обстоит еще хуже.

И там, в вагоне метро, зажатый людьми с чемоданами, колясками и тележками — они все ехали торговать на барахолку в Лужники и заполнили целый вагон, — в грохоте поезда, ругани челноков и обыкновенных пассажиров, во всей этой сутолоке, в которой его, верно, тоже принимали с его баулом за торговца, неожиданно подумал об одной вещи, прежде от него ускользавшей. Он подумал, что ему нужен не просто ребенок, не просто сын для продолжения рода или удовлетворения честолюбия, ему нужен именно *этот* ребенок, *этот* младенец, которого он за полтора месяца полюбил, и что бы с ним ни было, что бы ни ждало его в будущем, большой ли, здоровый, это его сын и никого он не будет любить так, как его.

На той станции, где делали пересадку мешочники, его вытолкали из вагона, и толпа понесла по платформе. Он стал продираться назад — его хватили, толкали и что-то кричали, он цеплял всех своей сумкой, но ему нужно было в вагон. Он очень боялся, что не успеет и все произойдет без него, как произошло в тот раз. На следующей остановке он пробился к выходу и по огромному подземному переходу, под шириною проспекта, сквозь сплошной ряд торговцев газетами, календарями, книгами и порнографическими плакатами, изображениями сладких кошечек, мимо очереди за обменом валюты, дорогих магазинов, дипломатических домов и дипломатических машин, расталкивая прохожих, он шел к больнице. И чем ближе он был, тем становилось ему страшнее, точно его вели на собственную казнь и где-то уже собралась возле виселицы улюлюкающая толпа.

Жутко хотелось курить, но он боялся задержаться хотя бы на секунду, пока будет доставать сигарету и прикуривать, и почти бежал по скользкой обледеневшей дорожке к двухэтажному ветхому корпусу, в левом крыле которого на первом этаже располагалось грудничковое отделение. Он опасался, что потеряет время на idiotские объяснения и уговоры какой-нибудь дежурной медсестры, но никто не стал задерживать его, когда, скинув куртку на руку, он пошел по коридору. Больница была полна хохочущими молодыми студентами, проходившими практику, и он быстро затерялся среди них. С обеих сторон долгого коридора располагались стеклянные боксы, и на каждой двери висела табличка с фамилией ребенка, возрастом, диагнозом и температурным листом. Студенты деловито переписывали данные в толстые тетради, и в этой суматохе он не мог отыскать свой бокс. Напряжение его достигло уже такой степени, что он не чувствовал своего тела и точно не шел ногами, а что-то его несло. Наконец у нужной ему двери он остановился, потом неслышно приоткрыл ее и скользнул в душное помещение. Жена сидела на стуле спиной к входу, детская кроватка была пуста.

6

- Где он? — спросил мужчина, едва ворочая языком.
- Ему делают пункцию костного мозга.
- Зачем?
- Я не знаю.

Она сцеживала молоко и не поворачивалась к нему, голос ее показывая ему враждебным.

- А что говорят врачи?
- Ничего не говорят.
- Но ведь вчера же... — возразил было мужчина.

— Не знаю, что вчера, — она повернулась и посмотрела сухими горячими глазами. — у него с утра взяли столько крови из вены — он весь си-

ний, холодный, еле живой. А теперь еще костный мозг. Я не понимаю, как так можно.

Молоко струйками стекало по стенкам бутылочки, и он подумал о том, что, наверное, зря она сцеживает и вообще все, наверное, зря: и страдания, и молитвы. Все зря, потому что если не суждено ему быть отцом, то никуда от этого не денешься, сколько ни бейся. Он сел на кровать, обхватил руками голову и некоторое время сидел не двигаясь. Пункция костного мозга, кровь из вены... Самому ему, когда у него брали обыкновенный анализ крови из пальца, становилось дурно, из вены у него не брали никогда.

— А он зевает? — спросил он глупо и поднял голову.

— Да при чем тут это? — заплакала женщина. — Я ничего здесь не понимаю. Они прибежали сюда с утра как сумасшедшие человек пять, смотрят его, между собой что-то говорят, а мне ни слова. Только сказали, раньше надо было в больницу, теперь может быть уже поздно.

— Что с ним такое?

— А спроси у них! Плохо, говорят, и больше ничего.

— Тут очень душно, — сказал мужчина, расстегивая воротник. — Давай проветрим, пока его нет.

По коридору ходили какие-то люди: матери в ярких халатах, сестры, врачи, студенты.

— Да сколько ж можно-то?

В дверь постучали — они оба вздрогнули, но вошедшим оказался парнишка в очках.

— Меня интересует история вашей болезни.

— Нет у нас никакой болезни, — отрезала женщина.

Потом наконец принесли ребенка. Женщина покормила его, перепеленала и уложила в кроватку, и они снова стали ждать, что к ним вот-вот придут и начнут что-то делать, но никто не приходил. О них словно забыли. К двум часам коридор опустел, обессиленный, потерявший столько крови младенец не то спал, не то лежал в забытьи.

— Надо поесть, — сказала женщина, — ты хочешь?

Он хотел, но покачал головой: есть в этой ситуации казалось абсурдом.

— Я тоже не хочу, но мне надо, чтобы не пропало молоко.

— Как зовут нашего врача? — спросил мужчина, поднимаясь с кровати.

— Кажется, Светлана. Светлана Васильевна.

Он нашел ее в коридоре на посту. Она сидела за столом и писала историю болезни: маленькая, тщедушная, сама похожая на студентку, из тех, у кого мужчина вел семинары, читал лекции и принимал экзамены.

— Ну что вам? — проговорила она недовольным голосом. — Я все объяснила вашей жене. Положение очень серьезное, но пока ничего определенного мы сказать не можем.

— Но ведь вы же ничего не делаете! — возразил он. — Вы говорите, что положение тяжелое, и никак не лечите его.

— Послушайте, вы кто по профессии? Врач?

— Нет.

— Тогда не надо мне указывать, что я должна делать.

Она опустила голову и снова стала писать.

— Светлана Васильевна!

— Вениаминовна, — поправила она.

— Скажите, он будет жить?

Она пожала плечами:

— Не знаю. Мы только что взяли анализы. Они в работе и будут готовы через несколько дней. Тогда что-то станет ясно и можно будет начать лечение. Скорее всего, у него какая-то разновидность гемолитической анемии. Некоторые из них вылечиваются, некоторые нет. Но если и вылечиваются, то не до конца. Курс лечения в больнице, ремиссия, несколько месяцев дома — и снова больница.

— И так всю жизнь? — спросил он дрогнувшим голосом.

— Иногда удается добиться улучшения.

Он закурил и вышел на крыльцо. И за эти несколько часов погода переменялась. Подул юго-западный ветер, с крыш закапало, над корпусами, голыми деревьями и аллеями завис туман. Было сыро, неудобно, в нескольких шагах от него стояли ярко покрашенные студентки и курили дорогие сигареты. Прошла Светлана Вениаминовна, не глядя ни на него, ни на студенток, — простучали по сырому асфальту каблучки. Кричали вороны, где-то вдалеке гудели автомобили.

Больной ребенок, у меня больной ребенок, повторял он, приучая себя к этой мысли. У него тяжелое, неизлечимое заболевание крови. Это хуже, чем почки, печень, сердце, легкие, — это кровь. Даже если он останется жить, то будет лишен сотни радостей, обыкновенных для здоровых людей. Прикованный к жуткому графику — несколько месяцев дома, несколько в больнице, — он не будет нужен никому, кроме матери и отца.

Сигарета кончилась, он достал другую, прикурил. И все-таки лучше это, чем ничего. Любое бытие лучше небытия. И в такой жизни можно будет открыть для него радость — только бы они смогли хоть что-нибудь сделать.

Он с неприязнью посмотрел на студенток. Врачи, клятва Гиппократа, курящие, покрашенные девицы, заигрывание, хохот, а рядом умирающие дети. Господи, Господи, пусть он только живет.

7

Он приезжал в больницу каждый день к девяти утра и привозил две сумки с продуктами для жены: термос с супом, термос со вторым и термос с компотом из сухофруктов, потому что именно такой компот способствует лактации, и сидел в боксе до поздней ночи, пока его не прогоняли дежурные медсестры. Сидел возле кровати, давая жене немного отдохнуть, иногда носил ребенка на руках, иногда что-нибудь читал, кипятил чай, мыл пол в боксе, стирал и лишь изредка выходил на улицу курить, туда, где то капала с крыш капель и висели туманы, то задували ветра и валил снег, а то наступали морозы и зимнее солнце лениво и бездумно скользило над верхушками деревьев.

Он находился при жене и при ребенке как бессменный часовой, и женщина, глядя на него, с непонятно откуда взявшимся в ее нынешнем состоянии удивлением думала о том, что этот холодный, равнодушный человек, привыкший к заботе только о себе или к тому, что о нем заботятся другие, избалованный своей матерью, изнеженный, не то чтобы переменялся или стал другим, но в нем точно открылось что-то глубоко спрятанное, затаившееся и никогда, быть может, не узнанное, если бы не эта больница.

Они ждали результатов анализов, сначала одних, потом других, затем еще повторных. Каждый день с утра приходила медсестра с лиловыми глазами, молча забирала ребенка и уносила в лабораторию. Они не слышали и не знали, что она там делает, но всякий раз его приносили измученного, холодного, такого же лилового, и от собственного бессилия, от того, что они ничем не могли помочь и ни во что вмешаться или отдать свою кровь, можно было сойти с ума. Женщина с трудом удерживалась от того, чтобы не вырвать его из рук этой сестры, завернуть в одеяло и унести прочь, в свой дом, не открывать дверь, не подходить к телефону.

Однажды кровь брали из пальчика прямо в боксе. Нужно было собрать в двенадцать маленьких пробирок: сначала он терпел и не плакал, но потом, когда кровь с усилием пришлось выдавливать, жалобно заплакал. Их уверяли всегда, что он чувствует боль совсем не так, как большие дети, она ее не осознает и не страдает от нее, но она была готова поклясться, что ребеночек плакал и просил, чтобы она защитила его. С каждой новой про-

биркой он плакал все отчаяннее и громче, мужчина беспокойно задвигался, и сестра, не поднимая головы, резко сказала:

— Выйдите в коридор, если не можете смотреть! Что вы думаете, мне это доставляет удовольствие?

Однако и неделю спустя ясности не прибавилось. Гемоглобин не падал и не поднимался, желтушность не уменьшалась и не увеличивалась, патологии обнаружено не было, и никаких лекарств младенцу не давали. Они просто лежали в этой больнице, каждый день с утра его смотрели, щупали печень и селезенку, несколько раз уносили в большую учебную комнату, где его осматривал аккуратный, доброжелательный профессор, что-то объяснял студентам, а мужчина и женщина стояли рядом, и профессор спрашивал их про наследственные заболевания.

К ним здесь привыкли, и больше не приходил вечерами дежурный врач, который всегда осматривал тяжелобольных детей, но все равно каждый раз, когда мужчина в утренних мерзлых сумерках шел по аллейке к больничному корпусу, стараясь не думать о неприметном здании в дальнем углу, он ничего не мог поделать с охватывавшим его ужасом, что за ночь что-то случилось и он придет к пустой кровати.

— Ты меня ненавидишь? — спросила его женщина однажды.

— Почему?

— Потому что это я во всем виновата.

Он ничего не ответил и только вяло махнул рукой: кто был виноват во всем, что с ними произошло, да и была ли вообще чья-либо вина, его больше не интересовало. Он смотрел на маленькое желтое личико спящего мальчика и точно пытался его запомнить, изучить до мельчайших подробностей.

Светлана Вениаминовна уже не была такой холодной и неприступной с ними, она навевалась довольно часто просто так — они привыкли и ждали ее, ища утешения и поддержки, хотя ни того, ни другого дать она не могла.

— У вас очень странные анализы. Они все время дают пограничные результаты, а почему и с чем это связано, сказать никто не может. Надо смотреть дальше, наблюдать за динамикой, ждать — ничего другого не остается. Перелить мальчику кровь или эр-массу, что делают при низком гемоглобине, мы не можем, потому что в этом случае смажется вся картина и истинная причина заболевания вообще останется неясной.

Анализы делали неделями. Несколько раз мужчина возил пробирки с кровью в другие больницы и научно-исследовательские институты, холодеет при мысли, что где-нибудь в сутолоке его толкнут, пробирка опрокинется или разобьется и у мальчика снова возьмут кровь. Сколько же они ее уже взяли... И иногда ему казалось, что они делают все это не для младенца, а для удовлетворения собственного любопытства, чтобы продемонстрировать студентам случай редкого заболевания или собрать материал для научного исследования.

Постепенно он и сам начал вникать в какие-то сложные вещи: процессы кроветворения, биохимический анализ крови, прямой и непрямой билирубин, размеры эритроцитов, число нейтрофилов и тромбоцитов. Обо всем этом рассказывала ему Светлана Вениаминовна старательно и связано, как на экзамене. Слушая ее увлеченные, толковые объяснения, он рассеянно думал, что, должно быть, из нее выйдет хороший врач, но все же видеть интересное в том, что было для него горем, казалось патологией и заключало в себе что-то отталкивающее.

Они мучились от неизвестности, от постоянного ожидания добрых или злых вестей, и это было так тягостно, что иногда хотелось одного: скорей бы им объявили диагноз и кончилась эта пытка.

А потом однажды в сумерках, когда врачи уже ушли, они не ждали никаких известий и поэтомо спокойно сидели и пили чай — она на единственном стуле, а он на краешке ванной, — дверь в бокс распахнулась и влетела медсестра:

— Только что позвонили из лаборатории. У вас очень плохая биохимия. Я вызвала врача.

«Вот и все», — подумал он и со страхом посмотрел на спящего мальчика: даже взять его на руки он теперь не решился бы.

Сестра вышла, и они остались в темноте.

— Может быть, заберем его отсюда? — сказала вдруг женщина.

— Как? — не понял мужчина.

— Я им не верю. Они только мучают его. А если что случится, то пусть лучше дома.

Он не успел ничего ответить: вошла Светлана. Она была очень нарядно одета, с высокой прической на голове, которая совсем не шла к ее красивому узкому лицу и придавала ее облику что-то очень провинциальное, но он посмотрел на нее с мольбою, как на фею.

Она не торопясь вымыла руки, распеленала младенца, посмотрела его и недоуменно пожала плечами.

— Что с ним? — выдохнул он.

— Не знаю. На взгляд, никаких изменений не произошло. Когда у вас брали анализ?

— Позавчера.

— Этого не может быть, — сказала она спокойно. — Такой анализ может быть только у ребенка, умершего сутки тому назад.

По спине пробежали мурашки.

— Произошла ошибка. Кровь взяли позавчера, а анализ делали сегодня, за двое суток она просто прокисла.

— О, Господи!

— Ничего, привыкайте, бывает и не такое.

Она посмотрела на них совсем не строго, не как врач и с грустью сказала:

— А я от вас ухожу.

— Куда?

— Еще не знаю. Наверное, в районную поликлинику. Вызовы на дом, прививки, простуды, рецепты. Кончилась моя ординатура.

— Ну что же, — он замаялся, не зная, что лучше сказать, — нам будет вас очень не хватать здесь.

— Вас теперь будет вести заведующая отделением. Она очень опытный врач, но я хочу сказать вам одну вещь. Я перерыла за эти дни гору литературы, и мне кажется, что все это время мы слишком глубоко копали. Это такой принцип: сначала ставить все возможные диагнозы, а потом их исключать. — Она посмотрела на женщину: — Поймите меня. Мы ведь тоже переживаем. Знаете, как врачи радуются, когда диагнозы не подтверждаются. Так вот, по-моему, у вашего ребенка просто незрелость костного мозга на фоне недоношенности и затянувшаяся желтушка новорожденных. Со временем это пройдет само собой.

— Вы так говорите, чтобы на прощание успокоить?

— Не только. Конечно, полностью исключить вероятность инфицирования, пока нет всех анализов, я не могу, но думаю, все будет у вас хорошо.

Но поверить словам этой молоденькой женщины он себе не позволил. Эти метания от отчаяния к надежде настолько его вымотали, что он снова почувствовал, как им овладевает какое-то оцепенение. Он вернулся в бокс, где жена перепеленывала сына, текла в ванной вода, в сумерках на столе и на полу появились тараканы. Лучшая больница страны, грязь, воровство, бестолковость, блат — все одно и то же, одно и то же, сколько бунтов, революций, реформ, перестроек и диктатур ни произойди. Хорошую, умную девочку засунут в районную поликлинику, вместо нее возьмут какую-нибудь бестолочь — в этой стране родился и прожил свою жизнь он, проживет, если только проживет, свою его сын — но кому нужна такая жизнь? Мы просто вымираем, подумал он, у нас рождаются недоношенные, больные уже в утробе матери дети, мы все подвержены анемии, гемолизу, ра-

хиту, если не физическому, то душевному, — это есть наша судьба и наше предназначение среди других народов, где ни один уважающий себя человек не позволил бы, чтобы его ребенок находился в таких условиях или чтобы беременная женщина три часа ждала «скорую помощь». И ни одна власть такого бы не позволила.

А мы все терпим, со всем смиряемся, мы все запуганы или запугиваем других, в нас нет не только любви, но элементарного уважения друг к другу. Для этих врачей я ноль, ничтожество, они входят в бокс к моему ребенку и в упор меня не видят и не воспринимают как страдающего человека. Даже эта Светлана стала относиться к нам по-человечески только время спустя, когда мы сумели тронуть ее сердце, и то лишь потому, что оно еще не очерствело. Наша повседневная жизнь ужасна, особенно если случается что-то очень затрагивающее нас, но мы этого не замечаем, мы устремлены в прошлое ли, в будущее, мы толкуем о великой России или идеалах свободы и демократии, мы забалтываем все, что можно заболтать, мы упиваемся своим красноречием, особой избранностью и духовностью, а за наше словоблудие расплачиваются дети этими нищими больницами, смрадом, тупостью и грубостью. Дети и их матери, которым просто больше не от кого рожать, кроме как от убогих российских мужчин, тем более интеллигентов. А новых русских или сентиментальных иностранцев на всех не хватит. Я должен отсюда уехать и увезти их, жену и сына. Куда угодно, в какую угодно страну, где я буду последним эмигрантом, где меня станут еще больше презирать и в грош не ставить, хотя можно ли больше, чем здесь и сейчас, но остаться после всего этого я не смогу. Я всегда с гордостью говорил, когда при мне ругали Россию и называли ее страной непуганых идиотов, что это моя страна и, какая бы она ни была, она мне родина. А то, что мы живем в нищете и рабстве, — это наш удел и наша расплата за грехи соблазненного равенством и справедливостью поколения. И я был готов по этим долгам платить, но это только до тех пор, пока у меня не стало ребенка. Ребенок чист и по моим грехам платить не обязан, и если я там не нужен, то пусть хоть он вырастет человеком.

Он уже не заметил, как начал говорить с самим собой, и задремавшая было жена проснулась и беспокойно спросила его:

— С кем это ты? Кто здесь?

— Спи, никого, — ответил он шепотом и присел на кровать.

Она снова задремала, и он с нежностью и виною посмотрел на ее усталое, измученное лицо. Она уже много дней не выходила из бокса, постаревшая, осунувшаяся, — кто она ему, родная, чужая? Но он вдруг почувствовал что-то вроде благодарности за то, что она выхаживает или сопрождает до конца его ребенка.

8

Итак, гепатит. Вероятно, в роддоме занесли вирус. Все оказалось гораздо проще и страшнее, чем она предполагала. Гепатит, который у недоношенных младенцев дает такую тяжелую клинику, что моментально перерастает в цирроз печени, и дети умирают, в сущности, от той же болезни, что и закоренелые алкоголики.

Заведующая отделением держала в руках карту с только что с опозданием полученным анализом и думала о родителях. Нет, эти скорее всего судиться не станут и нервы никому мотать не будут. За два десятка лет работы она уже научилась объявлять подобные вещи не прямо, но достаточно жестко, так что умные люди ее понимали. Если ничего сделать нельзя, значит, нельзя. К слезам и мольбам ей было не привыкать, но все же истерик она не любила и больше уважала тех, кто принимал ее приговоры молча и достойно.

— Пришел положительный ответ на австралийский антиген, — сказала она женщине на утреннем обходе.

Женщина не сразу поняла, что это значит, ее сбило с толку слово «положительный», и она только спросила:

— А мы долго здесь еще пробудем?

— Послушайте, — разозлилась заведующая, — вы же не будильник принесли в ремонт. У ребенка тяжелейшее заболевание — инфекционный гепатит.

— Это очень серьезно? — Женщина выпрямилась, и лицо ее побледнело.

— Это очень неприятно, — ответила заведующая, покусывая нижнюю губу. — Очень.

— Я хочу его окрестить.

— В церковь нести? Да вы что? Его из бокса выносить никуда нельзя!

— Я позову священника сюда.

Заведующая хотела резко возразить, но поглядела на спящего мальчика и едва заметным движением пожала плечами:

— Если вы так настаиваете, я могу сделать для вас исключение.

Это было ранним утром, мужчина еще не пришел, и до его прихода она носила спящего мальчика на руках, а потом велела мужу немедленно идти в храм и искать любого священника, который бы согласился прийти в больницу.

— Ты веришь в то, что это его спасет? — спросил он горько.

— Я хочу, чтобы он был крещеным.

Снова он шел по долгому коридору мимо врачей, сестер, практикантов, ординаторов и мамаш в халатах и спортивных костюмах, кто-то сделал ему замечание, что он не снял верхнюю одежду и не переобулся — в тот день ждали комиссию из министерства, — в боксах был шмон, и женщинам велели убирать продукты с подоконников, выгоняли родственников и всех посторонних, и заведующая пожалела, что разрешила позвать попа, хотя потом рассудила, что по нынешним временам поп — это даже хорошо и его могут засчитать в ее пользу.

Мужчина же шел и думал о том, что его жене, наверное, не безразлично, умрет ребенок крещеным или нет, быть может, она верит, что если его не окрестить, то он не попадет на небо и не увидит Бога. Но он думал совсем о другом. Какой смысл был в жизни двухмесячного младенца, не видевшего ничего, кроме больницы, уколов, боли, перенесшего столько страданий, и все это должно окончиться смертью от гепатита, в сущности, обыкновенной желтухи, которой болеет каждый второй и вылечивается, но по чьей-то идиотской халатности ему занесли смертельный вирус, и ни одно лекарство не сможет этот вирус остановить.

Смерть торжествовала, как ни пытались они ускользнуть от нее, как долго им это ни удавалось, это была только игра жестокого мальчишки с уползающим жучком. Два месяца страдания, боли — и смерть. Жена велела ему торопиться, но торопиться не хотелось. Он точно стремился оттянуть тот момент, когда призовет к кроватке умирающего ребенка чужого и равнодушного человека, для которого этот младенец будет одним из сотен крещенных им детей, а то, что он умрет, — кому какое дело. Так же равнодушно этот или другой священник совершит отпевание. Мы попадем в ту половину статистики, что отвечает за детскую смертность, и увеличим ее еще на одну единицу. И больше ничего — день рождения, день смерти и могилка, чтобы ездить туда два раза в году. И вся наша оставшаяся жизнь, независимо от того, доживем ли мы ее вместе или порознь, превратится в воспоминание об этих двух месяцах, и нам останутся его имя, распашонки, бутылочки, кроватка...

Потом он подумал, что, когда мальчик умрет — подумал спокойно, как об уже свершившемся факте, — врачи произведут вскрытие, чтобы подтвердить правильность диагноза и чтобы все эти студенты и практиканты, все будущие доктора знали цену ошибки и никогда бы не заноси-

ли австралийского вируса в детскую кровь. И кого-то, быть может, тронет история *этой* детской болезни и наше страдание, и из такого человека выйдет хороший врач или добросовестная медсестра, но если вся жизнь моего сына и все его муки нужны были только для того, чтобы отучить от халатности врачей в стране, где по халатности взрываются атомные станции, тонут пассажирские пароходы и морские паромы, сталкиваются поезда, разбиваются самолеты и горят газопроводы, — если эту задачу государственной важности надо решать такой ценой, то я ничего не понял. Пусть даже завтра за все страдания мой сын увидит Самого Бога и сядет у Его Престола, который никогда не увижу по своим грехам и маловерию я, то я все равно ничего не понимаю. Возможно, мою маленькую, любящую, праведную жену это утешит и она будет до конца своих дней молиться и, как Иов, благодарить Небо за дар страдания и когда-нибудь тоже попадет туда и там они встретятся и обнимутся на глазах у всего ангельского сонма, — мне это не грозит: ни будущей жизни, ни Царствия Небесного я не заслужил и не заслужу, равно как и не заслужу вечных мук. На мою долю выпадет только небытие, ибо в конечном итоге я убежден совсем в ином. Убийца моего сына — природа. Та самая природа, которую я боготворил и к которой убежал из этого мерзкого города. Это она не захотела рождения ребенка, но лукавые люди не дали ему, обреченному по ее законам на смерть, умереть. Они хотели ее обмануть и перехитрить, но не знали, с кем имеют дело: она вершит свой отбор, невзирая на все наши представления о высшей целесообразности, чуде и милосердии, и если моему ребенку нет места на этой земле, то тем или иным способом она свершит свое дело. На это так же глупо жаловаться и искать виноватого, как обвинять в убийстве землетрясение, извержение вулкана или лавину. Любая болезнь, любой вирус есть не что иное, как способ, посредством которого регулируется численность людской популяции, а занимается ли этим старик с бородой, или дьявол с хвостом, или медоточивый Будда — в этом ли дело?

9

Церковь была закрыта. Мужчина постучался в дверь, за которой слышалось нестройное пение — верно, шла спевка церковного хора, но ему не открыли, и тогда он вошел через калитку за церковную ограду и направился к домику причта. Никто не остановил его, он вошел в прихожую и открыл дверь в просторную комнату. В этой комнате за большим столом под иконами, в окружении нескольких старух в белых платочках сидел аккуратненький, ясный старичок с пушистой бородой, в черной рясе и пил чай. Старухи рассказывали ему что-то жалобное, а он прихлебывал из блюдечка и как будто не слушал их. Он ласково посмотрел на мужчину и улыбнулся ему.

Старухи тотчас же обернулись и замахали руками, двое вскочили с места и попытались вытолкнуть его за дверь, раздались возгласы и возмущенные восклицания, но мужчина уперся руками в косяк и не двинулся.

— Ну-ка тихо, расшумелись, — сказал старичок, — вы ко мне?

И тотчас же старухи опять загалдели, стали кричать, что батюшка давно на покое, требы не совершает, а о том, чтобы в больницу ехать, и речи быть не может, но чем больше они кричали, тем больше мужчина убеждался, что жене нужен именно такой человек.

По дороге он рассказал священнику всю историю сына, но старик слушал так же невнимательно, как и жалующихся старух. Придя в бокс, он велел остаться только матери. Через полчаса священник вышел. Женщина шла рядом с ним, поддерживая его под руку, и мужчина услышал обрывок их разговора:

— Я только хочу, чтобы он не мучился. За что ему это?

— Ты вот что, — сказал старик строго, — ты не дури и вопросов лишних не задавай. Все равно никто тебе не ответит. А врачей не шибко слу-

шай — не их ума это дело, кто и когда пред Богом предстанет. Ну, Господь с тобой.

— По-моему, он такой старый, что так ничего и не понял, — заметил мужчина с грустью.

И началась еще одна, уже третья по счету неделя в больнице. Снова приходили профессора, врачи и студенты-практиканты, и все спрашивали одно и то же: какого цвета моча и кал младенца, рассматривали его язык, небо и склеры глаз, но никаких явных признаков гепатита не было.

Потом их снова оставили в покое, потеряли интерес и точно забыли. Никто не говорил, сколько осталось младенцу жить, инкубационный период мог и затянуться — надо было снова ждать. И снова каждый раз, когда утром мужчина шел в больницу и нес сумки с термосами, он не знал, что скажет жена и не случилось ли за ночь чего-то страшного.

Никогда он не думал, что человек способен страдать до такой степени и так долго — это страдание вбирало в себя все: и его горечь, и ненависть, и любовь. Он с ним засыпал и просыпался, оно присутствовало в каждом мгновении его жизни, что бы он ни делал, не притупляясь и не ослабевая. Но потом, в минуту какого-то просветления — это было ранним утром, перед тем как войти в отделение, самое ужасное, что было в его нынешней жизни, ибо именно утром он не знал, живого или мертвого увидит своего сына, — в эту минуту он остановился перед дверью и не ускорил шаг, как обычно, а достал сигарету, неторопливо выкурил ее, потом поднял голову к низкому, хмурому небу, опиравшемуся на верхушки голых и сырых деревьев, и вдруг почувствовал, что он не одинок. «Страдание есть знак нашей неоставленности Богом», — подумал он.

Мимо него смеясь прошли две молоденькие медсестры — они уже хорошо знали его в лицо и приветливо поздоровались, — проехала машина, и из нее вышла женщина с ребенком на руках, подошла к нему и спросила, как пройти в отделение. Он объяснил ей и подумал, что и сам сейчас возьмет сумки и пойдет по коридору, где на него давно уже никто не обращает внимания, кивнет молоденькой девочке в боксе напротив, дочка которой лежала уже несколько месяцев с тяжелейшим пороком сердца, войдет в бокс и отпустит жену на весь день домой, пусть она отдохнет, примет ванну, а он покормит сцеженным молоком. Странно, но молоко у жены не исчезло, она продолжала кормить семь раз в день каждые три часа с небольшим перерывом на ночь, она начала давать ребенку по капле яблочный сок и на кончике ложки творожок — первый прикорм. Она учила его следить глазами за игрушкой, улыбалась ему, гугукала, она относилась к нему так, как будто никакой болезни не было, и он подумал, что его жена оказалась гораздо мудрее и перестала бояться. Совершенная любовь не знает страха. К этому очень долго и трудно идти, но, перенеся столько страданий, испытываешь только одно чувство — благодарности.

Он открыл дверь и вошел в вестибюль, где стояли коляски и висела новогодняя газета, снял куртку и переобулся. Был самый обыкновенный день — сколько будет таких дней еще, сколько им отпущено, он не знал и старался не думать, как они уйдут отсюда без мальчика. Есть вещи, которые непосильны даже для самой совершенной любви...

Жена сидела, как и в первый день, спиной к двери и кормила младенца. Он позвал ее, она обернулась, и он увидел, что она плачет. Мальчик спал у нее на руках, а она плакала обиженными детскими слезами, всхлипывала, как — вспомнилось почему-то ему — в их первую ночь. Он был тогда убежден, что не первый ее мужчина, и в душе с этим смирился, но она оказалась девственницей, и оттого ли, что он повел себя неумело или ей было очень жаль себя, но она проплакала до самого утра, и возникший между ними разлад они так и не смогли преодолеть.

Он подошел к ней, обнял и прижал к себе ее и ребенка и подумал, что это и есть, наверное, счастье, но у них его никогда не будет.

Она плакала, не могла остановиться, но все время пыталась что-то сказать, а слезы ей мешали, и он, прижимая ее к себе, качал головой и точно говорил: не надо, не надо ничего.

Но она отстранила его от себя и, глотая слезы, глядя на него с любовью и благодарностью, проговорила:

— Нет, совсем другое, не то, что ты думаешь. Утром приходила заведующая... Оказывается, они все это время... Они брали повторные анализы... Тот первый... Он не подтвердился... Это была ошибка или я не знаю... В общем, у него ничего нету.

* * *

Он уже привык к этой затененной и жаркой комнате, к своей железной, покрашенной белой масляной краской кровати, к разным женщинам и мужчинам, приходившим его смотреть, к ползавшим по прутьям тараканам и очень удивился, когда однажды его завернули не просто в пеленку, а в пуховый платок и два одеяла и вынесли в коридор. Это было в тот самый день, когда его полной жизни исполнилось ровно десять лунных месяцев, и в больших городах и деревнях, в измученной светлой стране, по всему пестрому, многоголосому и многоцветному миру рождались дети, зачатые одновременно с ним, кричали первым криком, хватали материнскую грудь и жадно вгрызались в жизнь, не зная ничего из того, что успел узнать он.

Женщина несла его по коридору и прощалась с больницей, с врачами и сестрами, на которых давно уже не держала зла. Была середина февраля, Сретение, зима встречалась с весной, старец Симеон с младенцем Иисусом, и значит, они перешли тот рубеж, которого она боялась, — смерть осталась за спиной, и умиротворенный ребенок засыпал у нее на руках. Он скользнул своим смысленным взглядом по зеленоватым стенам, остановился на мерцающих тусклых лампах, на морщинистом лице сестры-хозяйки и зажмурил глазки, когда на улице ему брызнуло в лицо светом весеннего солнца, прибывавших дней, капли и гомонящих птиц, и теплый поток сна понес его дальше, в жизнь, наполненную грохотом, свистом, ветром и светом, которого было так много, как не было еще никогда.



БУЛАТ ОКУДЖАВА

*

ПО ВОЛЕ ВОЗРАСТА И РОКА

Из лирического дневника

* *
*

Мой дом под крышей черепичной
назло надменности столичной
стоит отдельно на горе.
И я живу в нем одиноко
по воле возраста и рока,
как мышь апрельская в норе.

Ведь с точки зрения вселенной
я мышь и есть, я блик мгновенный,
я просто жизни краткий вздох...
Да, с точки зрения природы
ну что — моя судьба и годы?
Нечаянный переполох.

* *
*

От стужи, от метелей и от выюг,
от полчищ соплеменников несчастных
зимой нужно улетать на юг
для поисков пристанищ безопасных.

Так жили мы в иные времена,
но давние привычки позабыты,
и к северу торопится война,
и юг сожжен, и компасы разбиты.

* *
*

Покуда на экране куражится Сосо,
история все так же вращает колесо.
Когда же он устанет и скроется во тьму,
мы будем с прежней страстью прислуживать ему.
И лишь тогда, пожалуй, на место встанет все,
когда нас спросят внуки: «А кто такой Сосо?»

* *
*

Я живу в ожидании краха,
унижений и новых утрат.
Я, рожденный в империи страха,
даже празднествам светлым не рад.

Все кончается на полуслове
раз, наверно, по сорок на дню.
Я, рожденный в империи крови,
и своей-то уже не ценю.

* *
*

Часики бьют так задумчиво,
медленно, не торопясь.
И в ожидании лучшего
жилка на лбу напряглась.

Но понимаю, естественно,
счастья желая себе,
сложится все соответственно
вере, слезам и судьбе.

* *
*

Дойдя до края озверения,
в минутной вспышке озарения,
последний шанс у населения —
спастись путем переселения.

* *
*

Лучше безумствовать в черной тоске,
чем от прохожих глаза свои прятать.
Лучше в Варшаве грустить по Москве,
чем на Арбате по прошлому плакать.

* *
*

Красный снегирь на июньском суку —
шарфик на горлышке.
Перемолоть соберусь на муку
хлебные зернышки.

И из муки, из крупитчатой той,
выпеку, сделаю
крендель крылатый, батон золотой,
булочку белую.

Или похвастаюсь перед тобой
долею тяжкою:
потом и болью, соленой судьбой,
горькой черняшкою.

А уж потом погляжу между строк
(так, от безделия),
как они лягут тебе на зубок,
эти изделия.

* *
*

Возражение — не спор,
лишь желанье потасовки.
Это темный коридор,
где укрыты мышеловки.
Идиоту без сноровки
не везет в нем с давних пор:
чем старательней уловки,
тем значительнее вздор.

* *
*

Раз и два.
Нынче ты одна, Маруся, в доме голова.
Раз, два, три.
Ничего, что денег мало, — в поле собери.

Раз и два.
Ты одна, моя Маруся, в доме голова.
Раз, два, три.
Ничего, что горя много, — плюнь и разотри.

* *
*

Смилуйся, быстрое Время,
бег свой жестокий умерь.
Не по плечу это бремя,
бремя тревог и потерь.

Будь милосердней и мягче,
не окружай меня злом.
Вон уж и Лета маячит
прямо за ближним углом.

Плакать и каяться поздно.
Тропка на берег крута.
Там неприступно и грозно
райские смотрят врата.

Не пригодилась корона,
тщетною вышла пальба...
И на весле у Харона
замерли жизнь и судьба.

* *
*

Украшение жизни моей:
засыпающих птиц перепалка,
роза, сумерки, шелест ветвей
и аллеи Саксонского парка.

И не горечь за прошлые дни,
за нехватку любви и ласки...
Все уходит: и боль, и огни,
и недолгий мой полдень варшавский.

* *
*

Не пробуй этот мед: в нем ложка дегтя.
Чего не заработал — не проси.
Не плюй в колодец. Не кичись. До локтя
один вершок — попробуй укуси.

Час утренний — делам, любви — вечерний,
раздумьям — осень, бодрости — зима...
Весь мир устроен из ограничений,
чтоб от везений не сойти с ума.

Мнение пана Ольбрыхского

Русские принесли Польше много зла,
и я их язык презираю...

Анонимная записка из зала.

— Язык не виноват, заметил пан Ольбрыхский,
все создает его неповторимый лик:
базарной болтовни обсевки и огрызки,
и дружеский бубнеж, и строки вечных книг.

Сливаются в одно слова и подголоски,
и не в чем упрекать Варшаву и Москву...
Виновен не язык, а подлый дух холопский —
варшавский ли, московский — в отравленном мозгу.

Когда огонь вражды безжалостней и круче,
и нож дрожит в руке, и в прорезь смотрит глаз,
при чем же здесь язык, великий и могучий,
вместилище любви и до и после нас?

* *
*

Поверь мне, Агнешка, грядут перемены...
Так я написал тебе в прежние дни.
Я знал и тогда, что они непременны,
лишь ручку свою ты до них дотяни.

А если не так, для чего ж мы сгораем?
Так, значит, свершится все то, что хотим?..
Да, все совершится, чего мы желаем,
оно совершится, да мы улетим.

* *
*

Ничего, что поздняя поверка, —
все, что заработал, то твое.
Жалко лишь, что родина померкла,
что бы там ни пели про нее.



ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН



КОРМЛЕНИЕ СТАРОГО КОТА

Рассказы

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в 1966 году в роддоме на Соколе, в Москве. Надо было, конечно, родиться в роддоме имени Крупской, рядом с улицей Горького, где я потом жил. А потом я жил около Парка культуры имени Горького. И снова на улице Горького. Это, наверно, важно.

СЛОВО О СПОКОЙСТВИИ ПИСАТЕЛЯ

О себе писать неинтересно.

А о литературе не то что писать — говорить страшно, так огромна тема. Рассуждение на общие темы выходит обыкновенно пошлым, как пошлыми выходят всегда посвящения и тосты.

Я буду говорить о спокойствии писателя.

В год моего рождения, год, зажатый между оттепелью и танковой прогулкой в Прагу, Юрий Казаков написал очень короткий рассказ. Он называется «О мужестве писателя».

Ничего хорошего в замещении слова «писатель» словом «литератор» я не вижу. Скомпрометированных слов не бывает.

Итак, Казаков пишет о мужестве.

Почти ничто в этом рассказе не устарело, только мужества нужно все больше и больше. Немного погодя я скажу о том, что писателя все учат, что ему делать. Даже сейчас он, особенно тот, кто только начинает, идет, как по лезвию бритвы, между привлекательной многим коммерческой литературой и литературой, называемой «авангардом», который часто бывает не менее коммерческим. Одна литература привлекательна достатком, а другая — возможностью скалтурить. Один неплохой человек говорил мне однажды (он был музыкант):

— Фальшивых нот не бывает, главное вовремя крикнуть, что играешь авангард.

Все это — разные пути, пути писателя, каждый из которых не хуже и не лучше другого и не хуже и не лучше любого другого выбора.

А для выбора нужно мужество.

Теперь — собственно о спокойствии, которое не исключает ненависти.

А ненависть — тоже очень нужное чувство. Только ненависть бывает разная — можно ненавидеть истерически, с пеной на губах, с рваной на груди рубахой. Есть и другое чувство. Снайпер не может позволить себе истерики — его задача заключена в выполнении задачи. Он должен смотреть в прицел спокойно и терпеливо.

Впрочем, один политический деятель уже сравнивал писателей с автоматчиками. Это сравнение принесло мало пользы литературе.

У меня много военных сравнений, но я не чувствую в этом вины. Время такое — оно едко пахнет гарью и порохом.

Очень хочется, чтобы эти запахи остались только запахами. Но приходится ненавидеть, это становится обязанностью. Однако человек за чистым листом бумаги похож на врача, не имеющего права ненавидеть больного — ему нужно ненавидеть болезнь.

Можно жить иллюзиями, но желательно знать, что живешь иллюзиями.

Это попытка исцеления.

Рассказывали про одного старичка, который лечил людей на расстоянии. Они посылали ему письма, исповедовались в них и выздоравливали. Психические расстройства, по крайней мере, прекращались.

Оппонент написал старичку ругательное письмо — и тут же с ужасом почувствовал облегчение.

Облегчение наступает тогда, когда слова вошли в пазы, предназначенные для них, заняли свое место. Но это временное улучшение состояния, которое в медицине называется ремиссия.

В армии на вооружении еще стоит карабин СКС.

СКС — это самозарядный карабин Симонова. Им вооружаются войска связи и ПВО. Может, еще кто-нибудь. Заряжается карабин так. Достается из подсумка обойма — железная пластинка, на которой стоят патроны, и солдат начинает кормить оружие с руки, запихивая патроны в металлическое брюхо карабина. Патроны сдвигаются по железяке. Если это делать неумело, они перекосятся, и вокруг солдата на стрельбище начнет бегать командир, брызгаясь грязью. Самое неприятное — это стрельба в дождливую погоду, когда надо лежать животом в луже.

Но это к слову. Слова в строке занимают всегда определенное место, как патроны в магазине, который не закроется, если хотя бы один из них перекосит.

Варлам Шаламов говорил о том, что ненавидит писательское ремесло за то, что писатель, выливая на бумагу свою боль, избавляется от нее.

Это — верно.

Я знал одного человека, который очень любил чистоту. Он мылся столько же раз, сколько потел. Он мылся везде — дома, на даче, на работе... На работе, я думаю, он тоже мылся.

Его убили.

Убийца был мясником и очень любил разделывать туши.

Убил он просто так.

И я вспоминаю Шкловского.

В своем «Сентиментальном путешествии» Шкловский несколько раз вскрикивает: «Мне скажут, что это к делу не относится, а мне-то какое дело. Я-то должен носить все это в душе?» Он писал о гражданской войне.

Иногда думаешь — этого не вынести. Пора умирать.

Через год такие переживания переделываются для героя. Герой чувствует, дышит, пьет водку в чужой квартире.

Я издеваюсь над героем.

Я подслушиваю под дверью.

Теперь надо сказать о идеологии. Литература — одна из областей жизни, в которой качество часто заменяется идеологией. Идеология, впрочем, стала иной — идеологией группы, коммерческих интересов, политической тусовки. Исповедовать идеологию можно искренне. Поучать, например, что место писателя у токарного станка или в монастыре. Искренне говорить, что всем, дескать, нужно писать так-то и так-то.

Про это давно сказал Пушкин. Он сказал, что место писателя у письменного стола, в своем кабинете. Это не означает затворничества. Это означает спокойствие и мужество писателя, занимающегося своим делом.

Только он один отвечает за результат — и никто не знает загодя об этом результате.

Дальше я хочу говорить об обучении. Так или иначе, нужно учиться у того, что уже написано.

Мне повезло — я застал еще человека, который говорил прилюдно:

— Я вашего Пастернака не читал, но, как великий писатель земли русской, должен сказать по этому поводу вот что...

Мне неизвестно, знал ли он анекдот образца 1957 года (это был довольно молодой человек), но история непридуманная.

Я говорю это, потому что проблема осознания себя стоит сейчас перед тем, кто начинает писать, очень остро. Писать так, будто до тебя не было мировой литературы, — невозможно. Да и незачем.

Классический пример этому — судьба романов Хемингуэя в России. Он импортил и продолжает портить многих писателей.

Хемингуэй — очень сложный писатель, а ведь часто он кажется простым. Он такой же загадочный, как фраза из Библии «время жить и время умирать». В этом Хемингуэй, а вовсе не в цитате из «Фиесты», которую никто не помнит, но она постоянно приходит в убогие мозги разных людей: «Пиво оказалось плохим, и я запил его коньяком, который был еще хуже».

Был я Хемингуэю благодарен, потому что провел с ним несколько вечеров — таких, когда перебираешь записную книжку в поисках тех, кто не спит. Время шло, и количество тех, кто не спит, сокращалось: одни уехали, а другие вышли замуж.

И в эти ночи читать Хемингуэя было интересно, так же, как глядеть на стариков.

Я люблю глядеть на стариков, с их сухими костистыми телами. Именно сухими и костистыми, потому что худые старики живут дольше.

Худые становятся старше.

Они красивы.

А у Хемингуэя в «Иметь и не иметь» есть место, когда жена главного героя, не очень молодого человека без руки, занимается с ним ночью любовью. Потом он засыпает, потому что он контрабандист и на следующий день ему нужно заниматься своим опасным делом. На следующий день его убьют, но об этом не знает никто. А пока жена говорит ему, спящему, о своей любви. Хемингуэй написал это так, что очень хорошо представляешь себе эту женщину, то, какая она.

А потом другой персонаж, писатель, сочиняет сценарий, сидя у окна. Он видит на улице безобразно толстую, расплывшуюся женщину. Писатель воображает, что это жена героя его будущего сценария.

«Вот она, похожая на броненосец, — думает писатель, — а вот он, ее муж, который ненавидит свою безобразную жену и засматривается на еврейку-социалистку, выступающую на митингах».

Дальше Хемингуэй пишет просто: «Женщина, на которую смотрел писатель, была Мария, жена контрабандиста Гарри Моргана».

Так пишет Хемингуэй.

Писатель обучается двумя способами — самостоятельно и средой. Про первое говорить бессмысленно, на то оно и самостоятельное. Вот про среду говорить можно много. Мне очень нравится история, рассказанная Николаем Чуковским. Он пишет: «Был у серапионов такой обычай. Если одному из них что-нибудь в разговоре казалось особенно любопытным, он кричал:

— Моя заявка!

Это означало, что любопытное событие или меткое слово, услышанное в разговоре, мог использовать в своей литературной работе только тот, кто сделал на него заявку. В непрерывной оживленной трескотне, не замолкавшей на первоначальных серапионовских встречах, возглас «Моя заяв-

ка!» раздавался поминутно. Иногда двое или трое одновременно выкрикивали «Моя заявка», и возникал спор. Это не означало, что все эти заявки действительно использовались. Тут скорее было кокетничание своей силой: все, мол, могу описать, что только захочу».

Дальше Чуковский пишет о том, что перед серапионами лежал новый мир, который нужно было изобразить, целина.

Но я читаю эти строки с завистью, потому что не вижу новых серапионов. Не потому что их нет, они, видимо, есть, должны быть, но мне неизвестны.

А учиться надо — хотя бы самостоятельно.

Мир, который окружает писателя сейчас, действительно новый, целина. Мир с болью и кровью, которых стало больше.

С ненавистью и любовью, которых тоже немало.

СУББОТНИЙ СБОР ЯБЛОК

Собственно, почему субботний? Чаше всего это бывало в будни. Славные студенческие будни, пространство между лекциями. Это потом он стал субботний, но, так как все это было довольно давно, будет справедливо кое-что и домыслить.

Итак, начиналось все ранним утром, под стук сапог по асфальту.

О сапогах нужно сказать особо. Впрочем, не только о них.

Кроме сапог надевались широкие зеленые штаны с огромными заплатами наколенников, тонкий свитер и тоже тонкий старый ватник, блещущий разномастными пуговицами — от золотой офицерской до темно-серой, почти матовой, частицы дамского пальто, пуговицами, нашитыми, впрочем, в полной симметрии. Оставалось сбоку привесить, пока на одно только плечо, громоздкую раму с брезентовым мешком — и с полевой яблочной формой мы разобрались. Кроме сапог, разумеется.

Сапоги были исторические, принадлежавшие некогда полковнику инженерных войск, занятому очень секретными делами. Между командованием такими же секретными объектами, получением совершенно секретных Государственных премий полковник не уследил за своими яловыми полковничьими сапогами, и его дочь, втайне, разумеется, от самого полковника, подарила их мне.

Это были замечательные, государственно-секретные сапоги. Что и говорить, теперь таких сапог нет.

В утреннем мраке, под шум хлебных фургонов и мерцание фонарей я, стуча сапогами, путешествовал к метро. Не суть важно, в каком направлении я, собственно, ехал. Все это перемешалось, и сейчас мне кажется, что все мои родственники жили в одной дачной местности, на разных, правда, участках или, может, на соседних улицах.

Я садился в электричку, устраивался поудобнее на своем армированном металлом рюкзаке и старался вздремнуть под людское шевеление и постанывание вагона.

Первое путешествие было к Тете. Хотя она была никакая не тетя, а скорее бабушка, да и то не родная, а с какой-то сложной степенью родства, я называл ее именно так.

Главным было точно выбрать время посещения.

Тетя где-то работала, иногда ночью, зарабатывая себе приварок к пенсии. Ее расписание работ менялось постоянно, и я с отупением слушал: «Сегодня я в ночь... Значит, завтра в день. Послезавтра тоже, а потом выходная...»

Так что ехал я всегда наобум.

Тетя много говорила.

Голос ее то стихал, то усиливался. Так она бормотала, постоянно шурясь, и казалось, все время подмигивала собеседнику, которого находила

езде — в трамвае, очереди или электричке. Тетя что-то бормотала, а попутчики шарахались от нее.

Рассказывала же она следующее: «Бабушка получала двести пятьдесят грамм, а я — четыреста. Голод был такой, что не приведи Господи. Привезла я пол-лошади... Так и ела, когда карточки потеряла. Шкурку с конины сдерем, отварим. Это я из командировки в Малом Ярославце привезла. Так и поехали за картошкой на грузовике. Дали нам овец, гречку помолоти. Еще один военный говорил: «Я Верочку очень люблю, и если буду жив, она будет моей женой». Интересный такой военный, он полковником был, и вот где-то у Хорова он погиб, а извещение пришло на мое имя. А то была бы я как жена военного... А тогда мы все ходили в метро прятаться, недостроенное метро «Измайловская». Я тогда уже встречалась с другим военным — кавалеристом, он меня провожал, даже оставался, если не успевал на трамвай. Он служил в Манеже. Вот откуда я Буденного знаю... Потом-то мама получила на нас отдельную комнату. Она ходила к Булганину, а в его приемной снимала башмаки. Мама прошла в чулках по всем его коврам, и Булганин все подписал... А тогда, осенью, мы прятались в метро. Дядя Паша был в армии, и как ахнула бомба — пятьдесят девять человек, все мои подружки.

А меня Господь спас — сидели мы и играли в карты. Дежурили. Военные прибежали откапывать, а он стрелял по ним бредущим полетом, чтобы не откапывали. Литусовы-то все погибли, а отец с ума сошел... И Мара умерла. А мы пошли тетю Шуру, армянку, выкапывать. А дядю Сережу так и не нашли. Зато меня отметили. Я всегда рядом с директором была. Директор наш был очень умный человек. Ему финны, эти... дятлы, которые с ружьями на деревьях сидели, ему, нашему директору, голову отстрелили. Чирк — и голова отвалилась... Но ему все обратно залечили, и он стал у нас директором».

Жила Тетя за городом, в часе ходьбы от маленькой станции, где редко останавливались поезда. Она жила вместе с двумя собаками и котом. Ели они, кажется, из одной миски, и холодильник, дверца которого была подвязана веревкой, был постоянно набит костями.

Потом одна собака умерла, и в одном из февралей я, надев рукавицы, копал ей могилу под забором. Тело собаки стало плоским и твердым, и это было первым моим удивлением от смерти.

Сняв яблоки, мы укладывали их на втором этаже ее дома желто-красным ковром. Там воцарялся невозможный одурманивающий запах, такой, что у меня кружилась голова, а Тетя спускалась вниз, и вместо нее на узкой лестнице появлялся огромный растрепанный кот, а за ним приходила собака.

Эти двое внимательно смотрели на мою работу, Тетя же кричала снизу:

— Ну ты представляешь, что они сегодня уделали... Ну, умрешь над ними, ну, умора.

Тетя постоянно судилась с соседями. Она навещала Москву редко, но обязательно везла в сумке на колесиках папки с документами, решениями и письмами к прокурору. Путь ее был вечен, и даже потом, когда она не могла выбраться из дома, все писала, писала, писала бесконечные заявления...

Потом она окончательно сошла с ума: решила судиться и с нами — за квартиру. Упрекала нас в том, что мы срезали пуговицы с ее платьев, чтобы она простудилась...

Голова ее так же тряслась, собака бегала по дому, стуча когтями, но странная ненависть к миру поднялась со дна тетиной души.

И вот она превратилась в маленького тирана.

Уже давно не возил я яблок из дачной местности, а, наоборот, все вез и вез туда что-то.

Потом и вовсе перестал бывать там.
Яблоки гнили на чердаке в деревянных ящиках.

Второе путешествие было близким — через несколько улиц. Оно имело целью квартиру, огражденную от мира коричневой огромной дверью с изумрудной, загадочной ручкой, которую хотелось лизнуть, а потом отвинтить и спрятать и которая мерцала в лестничной темноте своим мягким светом.

Скрипнув паркетом в прихожей, я оказывался на развилке: налево вел путь в кухню с маленьким чуланчиком — царство приходящей домработницы. Кухня была чужой и холодной — так впервые я начал понимать, что кухня — это не там, где едят, а там, где еду готовят и хранят.

Даже в то далекое время, когда я стучался носом о зеленовато-прозрачную ручку, меня не тянуло в эту кухню, к ее кладовым и настоящему чулану, по величине превосходящему мою комнату.

Прямо лежала дорога в кабинет, где стояли шкафы с витражными стеклами, прикрывая светлое дерево панелей.

Стояли там также какие-то немислимые кушеточки, асимметричные, с маленькими колоннадками, серыми пыльными подушечками, похожие на греческие развалины. Некоторую строгость комнате придавал похоронный черный короб с надписью «Underwood», прижавшийся к зеленому сукну письменного стола.

Сверху на все это великолепии смотрели портреты серьезного человека с бородкой, орденом и тремя ромбами в петлицах и другого человека, тоже серьезного, тоже в кителе, но с черной, похожей на пистолет трубкой в сохнувшей руке.

Направо вела дорога в столовую (или гостиную — теперь я уже сомневаюсь, каково было настоящее название этой комнаты, впрочем, и то и другое верно). Гостиная держалась на стульях. Как на стульях держались гости — мне не ясно до сих пор, хотя спинки у них были высокие, такие высокие, что гость чувствовал себя народным заседателем. Сиденье было твердым и чрезвычайно узким, вертикальная спинка отбрасывала зазевавшегося грудью на стол, к стопке тарелок его прибора, салфеткам, серебряному ножу, лежавшему на также серебряных козелках (как они точно назывались, я не знал никогда). Так гость и сидел, опасно поглядывая по сторонам, сознавая себя между кабинетным роялем и буфетом, похожим на дикого зверя, огромного и страшного, под фарфоровыми блюдечками и другими портретами уже известных лиц на стенах.

Много позднее я узнал, что буфет принадлежал одному из великих князей и был нестеснительно позаимствован из его апартаментов по соседству с Дворцовой площадью.

Хозяйка всего этого, моя вторая тетя или тоже бабушка, почти совсем растворилась в этих комнатах и смешалась с их воздухом, хотя я помню ее лицо и что-то вроде халата, окутывавшего маленькую фигуру...

Она рассказывала свое:

— Что первое я помню? Пожалуй, вот что. Я стою у большого окна нашей квартиры и вижу, что на Литейном мосту стоит городской и не пускает никого на другую сторону, потому что началась японская война.

Я не знаю, почему она помнила именно это, ведь тогда ей было уже шесть лет.

Но что она помнила — то рассказывала, поскольку дневники и письма она давно сожгла.

И вот она говорила дальше, дальше...

— Когда лил дождь, в саду клали доски, и мы, ступая по ним, совершали обязательный моцион перед завтраком. Иногда к нам подходила наставница в форменном платье и приказывала пересказать прочитанную книгу, а пересказывать приходилось на немецком, впрочем, на следующий день это нужно было делать уже на французском... Так было заведено.

Потом литерный поезд увозил ее в сытую Варшаву, от которой только что откатилась Конармия.

Отель «Ржимский» приютил советское консульство.

В консульстве устраивали танцы.

Человек с армянской фамилией, значившийся по документам как делопроизводитель, жал ей в темноте руку.

— Пшекляты большевицы! — кричали за окном демобилизованные поляки в конфедератках, и сыпалось в отеле стекло. На следующий день приходил стекольщик, но вечером в ресторане кто-то заказывал «Боже, царя храни», а в дверях появлялся Борис Савинков, не замечая пристального взгляда фальшивого делопроизводителя.

Варшава казалась раем после голодного Петрограда, и бывшая смольнянка задумчиво разглядывала витрины, отправляясь гулять в Лазенки.

Человек с армянской фамилией уехал в Москву доучиваться в Военной академии, и за ним уехала девушка.

Ай-вай, Азербайджан... военные лагеря...

Ай-вай, яблоки.

Теперь уже с сочным надкусом моего деда, перебравшегося к сестре в Баку.

Фамилию бывшего делопроизводителя знал каждый пионер, она была воспета в тысячах стихов и выбита на граните, ибо — принадлежала и его отцу. Ромбы же на петлицах сына прибавлялись, и на смену Баку явился Ленинград.

Фамилия спасала его жену и тогда, когда уже сам делопроизводитель превратился в портрет на стене, удачно умерев за год до гибели своих друзей.

И умерев, разумеется, своей смертью.

Третье путешествие было внутриквартирным — маленькими шажками я осваивал пространство. Сначала кухня с коричневым саркофагом швейной машинки на окне, такой же огромной, как и машинка для печатания букв, буфетом, в котором дверь была пустой формальностью, так как время растворило в себе ее витражное стекло, и центр кухни — кувшин с кипяченой водой, постоянно пополняемый.

Представить себе кухню без этого кувшина невозможно.

Маленькая комната была наполнена книгами.

Моя жизнь протекала в ней, ограниченная раскладушкой и уродливым столом, покрытым линолеумом. В этой комнате мне надевали отвратительные колготки с мешками на коленях.

На самой большой, пустой, стене висел огромный ковер погребальной черно-красной расцветки. На ковре жили тяжелый охотничий нож и боевая рапира. Сломанная потом, она стала первым горем моей жизни, детскими слезами и гневом отца.

Я отправлялся в плавание длинным коридором, уменьшенным книжным стеллажом с растрепанными журналами, оставив на траверзе ванную и оглянувшись на люк в потолке — ход на загадочные антресоли, где хранились во множестве...

Чего только там не хранилось.

В заплятанном вещмешке лежали разноцветные сопротивления и конденсаторы, стояли чемоданы с электролампами, лежали старые лыжи и вещи непонятные, продолговатые и круглые, нужные для воспитания моей созерцательности.

Я выходил в большую комнату как в океан, мимо скрипящей панцирной сеткой дедушкиной кровати и такой же бабушкиной. Бабушка редко вставала с постели, и постель эта тоже была особенной — груда одеял и подушек. Дедушка лежал рядом и смотрел телевизор. Они вообще любили смотреть телевизор, и, казалось, им было безразлично, что именно он им показывал. Главное было — движение фигур на экране. Позднее я понял, что они не всегда могли уследить за сюжетом, а иногда, сбившись, начи-

нали болеть за компанию негодяев и оттого — сердились на непонятный фильм.

Больше всего старики любили спорт. До последнего времени дед отжимался утром, тяжело дышал, кричал, и это дыхание вошло в мое сонное детство началом дня. Я слушал его в темное зимнее утро, просыпаясь на маленьком диванчике, куда, ближе к балконной двери, я переселился из маленькой комнаты.

Но огромная рука набоковского шахматиста вынимала меня из упоительного путешествия по комнатам.

Надо было идти в магазин. Посылала меня туда мать, вручив авоську и рубль с мелочью.

Для того чтобы купить сливочное масло, нужно было спуститься на дно улицы Горького и пройти три минуты до так называемого «инвалидного» магазина.

Все магазины назывались по-особенному: «Чешская» булочная, где лежало сливочное полено в окружении ирисок «Золотой ключик», трюфелей, шоколадных зайцев и конфет «Ласточка»... Шоколадные зайцы там обмахивались веерами шоколадных плиток, и в маленькой витрине масляно светились разноцветные торты... Впрочем, это было уже в другом магазинчике, на углу Горького и Большой Грузинской, там, где раньше ходил трамвай. Магазин «Динамо», он же просто «Спорт»... «Динамо» склонялось: говорили — «в Динаме».

Загадочный ресторан «Якорь» манил швейцарским кантом и фуражкой. Швейцар, обороняясь от очереди, твердил что-то невнятное.

О детстве отца я так ничего и не узнал, оно осталось с ним, и там, в нем, катился в яму Трубной площади трамвай, который вагоновожатый тормозил ручным тормозом. Он ехал мимо стены Рождественского монастыря, на которой висел плакат, призывающий есть вкусных и полезных крабов. Москва была наполнена этими плакатами — и это все, что я знаю об этом детстве.

Детство его отца, второго моего деда, я почему-то представлял себе более отчетливо. Дед писал воспоминания, которые хранились у меня на дне шкафа в пяти зеленых папках.

Эта рукопись отмечена несмываемым гадостным стилем партийной печати и партийной литературы: «Через сорок лет мне удалось снова побывать в Валунцах. Теперь я не шел, а ехал в комфортабельной машине и тоже — через перелески и небольшие речушки, минуя обширные поля, по гудроновой дороге. Был август 1970 года. Уборка зерновых уже закончилась, но кое-где виднелись комбайны...»

Листы машинописи с хорошо пропечатавшейся буквой «ять» сливаются в одно — перечисление газетных и партийных работников. Писал он с обезоруживающей откровенностью.

«...И пошли у нас хутора и хуторишки, правда, эта практика правых была потом разоблачена А. А. Ждановым. Корчевать кулаков Ашихиных поехал сам Миронов, пригласив меня с собой».

Внезапно, оборотной стороной листа, в текст вклинивается совсем другое: «...бежать на самолете в СССР вместе с семьей и нач. Генштаба, но самолет потерпел аварию над территорией Монголии, и маршал погиб. Все говорит о том, что в Китае идет ожесточенная борьба за власть, и не последнюю роль в этом играет Джоу Эньлай». И тут же другая вставка: «...на станции от беженцев я узнал, что нашего города Вилковшис не существует с 22 июня. Занят немцами Вильно, враг под Ригой».

«А народ — мужчины и женщины (так написано) — принаряженные, веселые, все идет и идет. Вот промчалась группа колхозников на велосипедах, проскочил урча чей-то мотоцикл. Мчатся колхозники на тарансах из Мухинского сельсовета. А вот проехала большая телега, в которой полно женщин в разноцветных одеждах. Да, есть чем вспомнить жизнь в

городе Горьком в тридцатых годах, полную журналистского напряжения и творческого огня».

Летом тридцать седьмого он уехал в Москву по вызову ЦК. В вагоне у него украли брюки. Это единственная деталь повествования, сближающая его с жизнью.

Он мне непонятен. Гораздо яснее я вижу мальчика, разглядывающего через плетень толпу нищих, бредущих за огромной железной телегой, на которой, в кованом черном окладе, стоит икона Яранского Спаса. Мальчик смотрел, задумчиво жуя яблоко, как икону вносили в избу и суетливые нищие шарили по полкам. Один из нищих, главный, был страшен.

В галошах на босу ногу, в пыльном пиджаке (великая редкость для тех мест), с фиолетовым лицом, он наводил ужас даже на попа, шедшего с иконой. Пьяный поп вырывался из цепких рук нищего и замахивался на него крестом.

Но мальчик не боялся его.

Скоро настал голод, и люди паслись на полянках, засеянных клевером. Мальчик жевал сосновые опилки, но не плакал. Они с отцом, бежав от голода, отправились в далекий путь через всю Сибирь, но под Екатеринбург бандиты пустили состав под откос. Мальчик вылетел из переворачивающегося вагона и повис на придорожных кустах.

И он не плакал, что-то было в нем, что не позволяло ему плакать. Может, это был полузабытый вкус яблок, из той сытой, давней поры.

Мальчик не плакал, лежа на верхней полке рядом с недоехавшим переселенцем. Мертвый переселенец лежал неподвижно, и его нечего было бояться. Мальчик заплакал только тогда, когда, споткнувшись о рельсы, понял, что не успеет догнать свой набирающий ход эшелон.

Оказалось, что паровоз подали под водокачку.

И мальчик больше не плакал.

Поезд шел по Сибири мимо разбитых вокзалов и матерей с неживыми детьми на руках.

Мальчик был спокоен и тогда, когда на берегу далекого Енисея брат, чтобы прокормиться, продал его в сыновья к богатому чалдону. Перезимовав в юрте, мальчик убежал.

Вернувшись домой, он пошел по злобной комсомольской дорожке, и вкус яблок оставил его навсегда.

Воспоминания моего деда кончаются в поезде.

Эта онтологическая деталь моего семейства — пути сообщения со-здали его.

Детство матери было более отчетливо, как тепло ее руки, ее дыхание. Она поселилась — глагол, придающий ребенку большую, чем необходимо, самостоятельность, — в этой квартире в сорок шестом, когда дом, еще недостроенный, лишь готовился к приему номенклатурных рабочих номерного завода.

Сначала маленькая комната, затем, после болезни бабушки, рокировка, в ходе которой моя мать услышала утренний плач соседней и каменный радиоголос траурного сообщения на старом месте, в маленькой и ближней к кухне комнате, но, дойдя до Трубной мимо грузовиков и улиц, усеянных шапками и галошами, вернулась уже в большую, освобожденную прежними жильцами, комнату.

От жильцов осталось лишь воспоминание да мое позднее удивление, как их многочисленная семья умещалась между коридором и балконом, оставляя, впрочем, свою домработницу спать в ванной, на положенных поперек досках.

Спала домработница в одежде, без белья, тяжело дыша в сени газовой колонки, висевшей на стене и похожей в темноте на самоубийцу.

Время протекало по трубам коммунальной квартиры, оно отменило раздельное обучение, школьные гимнастерки, подворотнички и фуражки, канули в небытие кители старшеклассников, но остался дом, люстра...

Да газовая колонка, кажется, осталась...

Осталась дорога к магазинам, по которой, цепляя ногу за ногу, я шел, намочив в потной ладони рублевую бумажку.

Если была зима, в рукава на длинной резинке мне продевали варежки. Так же, на веревочке, но уже на шее, висел большой ключ, похожий на отвертку. Сверху водружалась моя гордость и предмет зависти всего двора, от страшного полуподвального подъезда домоуправления до гаражей в другом его конце, — летный шлем с меховой подстежкой, черный и блестящий.

Все было подвешено на веревочках, все двигалось, подобно маятнику, возвращаясь от зимы к зиме, от одного дачного сезона к другому.

Пока до лета было далеко, приходилось привыкать к магазинным яблокам.

В апреле, чуть только сходил снег, мы отправлялись на дачу — маленький участок с домиком, который грунтовые воды медленно оборачивали вокруг гигантской березы. Если бы не эта береза, то тщедушное строение давно уплыло бы за пределы забора.

Дачные яблоки нарезались дольками и, заполнив собой трехлитровые банки, перемещались в погреб. К осени погреб заполнялся водой, и я, подросший мальчик в джинсах с изображением автомобильчика на толстой попке — паллиатив настоящего фирменного знака, принимал участие в ужении — яблочной ловле.

Из-за шкафа доставался сачок на длинной палке, в полу открывался люк, за которым, близко к лицу, стояла черная подземная вода.

Незадолго до моего совершеннолетия погреб начал самовольно разрастаться и чуть было не поглотил не только очередной яблочный урожай, но и сам крохотный домик в придачу.

Погреб засыпали, но мне чудилась заветная банка, лежащая на глубине, забытая и обойденная хитроумным сачком.

Там, в песке, недостижимые, остались яблоки того года.

Дед пытался воплотить на своем участке идеал его юности — показательный огород-парк, наполненный гипсовыми пионерами и байдарочниками. Он сажал картошку, и в детстве я часами блуждал среди ботвы.

Там жарким летом мне достался свой Траур, скорбное лицо деда и протяжная музыка из радиоприемника — хоронили космонавтов.

Существовали тогда особые запахи.

Дед мой появлялся на изгибе дачной дороги с двумя сумками. Одна пахла продуктами — колбасой, молоком, свежим хлебом.

Из другой доносился запах типографской краски, свежего партийного слова, «Правды» и «Известий».

Запах яблонь встречал эти запахи у калитки и, вплетаясь в них, существовал согласно.

Осенью, когда близился поздний отъезд в страну магазинов, мы разбирали сарайчик и навешивали сборные щиты, из которых он состоял, на окна нашего домика.

Это было ритуальным действием, защитой от хулиганов, воров и прочей зимней напасти, и происходило оно под тягучий звук далекого самолета, звук, который означал конец лета.

Я боялся этого звука.

Потом мне уже самому приходилось заезжать на дачу, чтобы привести в город бабушкины простыни и захватить из ящиков в доме яблоки. Тогда, снова надев на себя станковый рюкзак, я выходил рано утром из дома и ехал в метро, изучая прохожих.

Ящики стояли на остекленной веранде, заполняя диванчик, старый и ветхий, по которому, перебирая ножками, училась ходить моя мать и на котором спал потом я, утыкаясь головой в стену, а ногами в дачный холодильник, злобно урчащий и хрюкающий по ночам.

Он урчал и хрюкал так, что казалось, будто он переваривает положенные в него продукты.

Потом из ящиков я доставал матовую огромную антоновку и мелкую желтую китайку.

Стукнула калитка.

Вдоль стены моего дома, шурша листвой и цепляясь за сухой виноград, прошел сторож. Отдуваясь, он плюхнулся на крыльцо. Наконец, выпустив несколько раз воздух, посучив ногами, чтобы залезть в брючный карман за папиросами, он спросил: «Давно?..»

Могло это означать что угодно. Ну хотя бы, давно ли я тут сижу, давно ли приехал или, наоборот, давно ли не был.

Раз я жил здесь зимой, и был январь, но холодные созвездия прятались не в яме, а в белых ночных тучах.

Большая луна светила сквозь решетчатые ставни, а я засыпал у гаснущей печки на огромной дохе (потом появилась кровать, старая, неподъемная, с шишечками и резьбой — в дальнем углу комнаты), рядом со звенящим приемником. Каждую ночь передо мной вставал вопрос, оставить ли вьюшку открытой и выстудить комнату или пропрыгать по холодному полу несколько шагов и, исполнив короткий танец-бой с трубой и вьюшкой, снова нырнуть в постель.

Я исправно выполнял второе, но, кажется, в последнюю ночь забыл и утром точно знал, когда температура перевалила через ноль, — по вставшим электронным часам, снятым с руки.

В мир той зимы, утреннего станционного магазина, чтения стихов на безлюдной дороге и ночного приемника однажды ворвался скрип валенок на дорожке. Это был он, наш сторож.

— Один? — заинтересованно спросил он.

— Один, — вежливо ответил я.

Он долго и внимательно смотрел на меня, закладывая нижнюю губу под верхнюю и проводя внутри рта какие-то странные операции языком.

— Мороз? — наконец жалобно спросил он.

— Это да, — опять вежливо ответил я.

Он переступил, осмотрел внимательно свой валенок, потом им оставленный отпечаток на снегу, потом снова валенок, старый, весь какой-то мохнатый и покрытый пухом. Осмотрев его, сторож снова разлепил губной рулет:

— Снега-то, снега... Много снега. Холодно. Мороз... А я вам яблоньку окопал, — вдруг неожиданно сообщил он. — Померзнет иначе яблонька-то...

И он снова уставился вниз и снова спросил:

— Один?

— Один, — радостно сообщил я.

Сторож развернулся и исчез в утренней белизне.

Много позже я догадался, что ему было нужно, и было, было это у меня, но вот беда — не хватило сообразительности, а то как знать, какие бы истории я узнал в тот день.

Впоследствии я постиг, что утренний сторож разительно отличается от вечернего и с заходом солнца его, сторожа, лаконизм пропадает.

Прошло несколько лет, и вот он присел рядом на крыльцо и уже успел обвонять меня сплюсненными папиросами.

— Молод ты и не знаешь жизни, — наконец сказал он.

И тут же, утешая, прибавил:

— И никто не знает. Не горюй.

— Ладно, — согласился я.

— Не горюй. Все, кто думает много, — того... — И он постучал почему-то по сапогу. — Вот работал я на заводе — был у нас один инженер. Умный. — Помолчал и добавил: «Очень». — Так тоже: тронулся. Сядет у себя в загородке и начнет себя гладить. Гладит, отряхивает, каких-то тараканов с пиджака снимает — а там и нет ничего. Я как-то зашел к нему, так и обомлел: инженер наш, видать, все с себя счистил, снял башмак и ну его вытряхать под столом. Я над ним стою, а он под столом сидит, сопит так сердито и башмаком — шлеп, шлеп...

Потом дружок его пришел, слава Богу, положил ему руку на спину и просто так говорит: «Не надо, Саша...»

Тот башмак надел и ну по синьке указания давать. Дельный мужик был. Дальше слушай. Был как ты — за художницей ухаживал. Картинки в книжках рисовала. Таланта — пропасть. Руки — золото. А я только с флота пришел тоже... Вот. Смотрю — дело неладно. Бойтся кого-то. Ну, думаю, разберусь, и не такое бывало... А она мне: «Меня, говорит, враги хотят убить...» Какие, думаю, враги? А она-то отвечает: «В булочной за мной наблюдают и специально в буханку ухо запекают, чтобы слышать все». Эге, опять думаю, шутит! Ан нет. Потом позвонили ей — Сережу спрашивают, а она и говорит: «Сейчас позову», а сама слушает, слушает, думает — притворяются, в трубке-то. Почтальону никогда не отпреет, а про соседок кажет, что они буровом стену сверлят, чтобы в темноте газ пустить. Я сначала думал, она меня так отшить хочет, а потом решил: а ну ее к лешему! Вдруг это еще заразное. Жалко, конечно. Она красивая была. И зарабатывала прилично. Ты слушай, слушай. Видать, не веришь, а вот знай — их все больше. Как кто поумней, так все — съехал. Молодой, не знаешь, а я вот узнал.

Глаза его сверкнули, и незаметно для себя он раздавил пальцами свою папиросу.

— Недавно узнал — сказали. Добрые люди сказали. Кто — не выдам. Может, во всей стране три человека знают — да вот ты со мной... Это спутник. Неизвестный спутник. Он летит и вычисляет по специальным локаторам всех ученых людей. Как вычислит — пускает луч. Бац! — и человек спекся. Тронулся. Только тот спасется, кто сможет защитить свою башку. И я обхитрил эту заразу, видишь (он, сняв с головы кепку, показал гладко выбритую голову), видишь — *отражает!* Отражает! Некоторые пытались зеркало на шапку присобачить... Но шапку снимешь — и бац! — ходит человек, как нормальный, — ан нет! Облучен! И сам не свой, а его жизнью управляют. Понял?!

А теперь поклянись, что не скажешь никому!

Но я не сдержал клятву.

Сторож ушел пить свою яблочную наливку, а я сижу на крылечке и курю, прощаясь с дачей.

Весной здесь несколько иначе, но тоже пусто.

Лес прозрачен. Кто-то разбил большое зеркало, рассыпав осколки между берез. Березы растут вверх и вниз в окружении луж. Вниз и вверх.

Вода кругом.

Потом к костру у пруда, близ ржавого троллейбуса, подойдут мои соседи — юфти и груфти. Подойдут озабоченные хипы. Подойдет аппаратная комсомолка и дембель. Подойдет спортсменка и оперативник. И каждого будет по паре.

Осенью и зимой, в гулкой тишине умирающего леса...

И ежи исчезли. Совсем исчезли. Оставлен ежами. Обойден летом.

Осень. Осень в дубовых лесах. Осень в подмосковных лесах. Осень в ленинградских парках. От Царского Села до Павловска пошуршать листвой...

Побродить без тропинок.

Этот воздух можно сушить между страниц. Засохшие пластины будут выпадать при переездах, покрывая пол красно-желто-коричневыми пятнами. Нет, лучше осень в буковых, далеких крымских лесах... Далеко они, вот ведь как. Совсем далеко. Все одно к одному.

Под ногами старый костер. Труп костра. Скелет костра. Давно сгнивший костер... Я смотрю на него и вспоминаю забайкальские костры в тайге, с рогульками, поросшими мочалой. Ржавая проволока трухлявых лагерей. Осенний прах и тлен. Забор здесь тоже порос мочалой. Дом врос в землю, деревья проросли. Мочала выросла. Осенняя пустота и тишина.

Гулко и — далеко слышно.

Я сижу, вдыхая пряный, настоящий на жухлых травах, упавших, павших, падших листьях винно-сладкий осенний воздух. Золотая осень.

Дачный, а вернее, садовый участок был засыпан листьями. Все было в ожидании сна — холодная старость цветов и грядок.

Лето умерло, и состарилась даже осень.

Я приехал сюда за яблоками в дни начала старости года, прощаясь с прежним временем.

И вот я иду к костру и ложусь на старый ватник, прижимая приемник к уху. Он говорит:

— Продолжаем цикл «Все сонаты Бетховена». В исполнении Артура Шнабеля вы услышите...

Темные вершины деревьев скрываются в темноте.

Падают в саду последние забытые яблоки, и с серебряным шелестом слетают с неба звезды.

Под бетховенские молоточки шествуют под пологом леса сонные ежи. Выбежала и исчезла деловитая собака. Пролетела над костром большая птица, медленно взмахивая крыльями.

В Час Перемены Времени на все это начинает падать снег.

СТАРООБРЯДЕЦ

Молодого инженера разбирали на собрании.

Дело состояло в том, что его тесть был старообрядцем. Один из друзей инженера, побывав на недавнем дне рождения инженера, сообщил об этом обстоятельстве в партком.

В заявлении было написано, что в доме у члена партии и при его пособничестве собираются религиозные мракобесы.

Тесть тогда действительно молился в своем закутке, не обращая внимания на гостей, которые с испугом глядели на него.

Пил он всегда из своей специальной кружки, и это тоже всех раздражало.

Инженер и сам не любил тестя — сурового человека, заросшего до глаз бородой, высокого и жилистого, но его возмутило предательство друга.

Инженер наговорил глупостей, и дело запахло чем-то большим, чем просто исключение из партии.

Однако счастье инженера состояло в том, что по старой рабочей привычке (ибо он стал инженером на рабфаке, придя в вуз по комсомольскому набору) он крепко выпил, идя с собрания, и свалился в беспамьятстве.

Врачи объявили диагноз его жене, фельдшеру, которая и сама понимала: белая горячка. Исключенный и уволенный инженер переждал свою беду, валяясь на больничной койке.

Его тестю повезло меньше. На исходе короткой летней ночи за ним пришли и увезли вместе со святыми книгами.

Через несколько месяцев началась война, и тюрьмы начали этапировать на восток. Вот тут старообрядцу повезло. Его не расстреляли, как многих других, поскольку у него не было даже приговора, а посадили в эшелон и повезли в тыл.

В другом эшелоне, идущем прямо вслед тюремному, ехала его дочь, снятая с учета как родственница социально опасного элемента. Ее муж, попав в ополчение, погиб на второй день, и сейчас она ехала в эвакуацию с сыном, на станциях задумчиво глядя на вагоны, в одном из которых спал ее отец.

Старообрядца везли сквозь Россию. В вагоне им никто не интересовался, и называли его просто — старик. Он не знал, где его везут, и видел в забранном решеткой окошке только серое осеннее небо. Его, впрочем, это мало волновало.

За Владимиром их разбомбили. К тому моменту весь эшелон был в тифу, и те, кто уберегся от бомб, лежали в бреду на откосе. Этих больных без счета вперемешку с мертвыми закопали в ров.

Путевой обходчик и его помощник увидели на следующий день, что из рва вылез седой старик, и, не зная того, что он в тифу, положили его на дрезину. Его привезли в поселок, и обнаружилось, что старик забыл все и даже не мог сказать, как его зовут.

Дочь, обосновавшись в рабочем поселке, тем временем отправилась на базар продавать платье и услышала о каком-то человеке, лежащем у складов. По странному наитию она повернула в закоулок, прошла, измочив башмаки в осенней грязи, и увидела на земле кучу тряпья.

Это был ее отец.

Старообрядец поправился довольно быстро, но память долго не возвращалась к нему, и он, с болью вглядываясь в лицо дочери, твердил древние молитвы.

Но вернулась и память. Вернее, она пришла не вся, рваная, как его ватник, с лезущей в неожиданных местах ватой, но свое прежнее столярное дело к весне он вспомнил.

Дочь плакала и пыталась заставить его вспомнить что-нибудь еще, а старик не слушал ее. Это было для него не важно.

Понемногу он начал вставать и, опираясь на штакетину от забора, вылезал во двор, шурясь на зимнее солнце.

Кроме них в бараке жила еще одна эвакуированная — молодая женщина. Она приехала из Киева, где была учительницей. Женщина гуляла с офицерами местного учебного полка, и они часто оставались ночевать в ее комнате. Оттого жизнь этой эвакуированной была сравнительно сытой. Хозяйка, суровая женщина маленького роста, хмуро говорила про нее: кому война, дескать, а кому мать родна...

Весной третьего года войны началась совсем уж невыносимая бескормица. Старик сидел в своем отгороженном углу и молился. Сперва ему приносили заказы на мебель, но скоро и этот источник дохода иссяк. Их маленькая семья жила на больничный паек дочери. Старик высох, но в его глазах все так же горел огонь веры.

И вот он молился.

Из-за перегородки время от времени раздавался плач младенца, которого родила соседка этой весной. Сама она куда-то вышла, а дочь старика повезла внука к родне мужа, в деревню неподалеку. Это был лишний шанс продержаться. Деревня была лесная, в ней не пахали и не сеяли, а по малости лет — в три года — трудповинности мальчик не подлежал.

Поэтому старик не ощущал вокруг никого.

Был погожий день, и, помолвившись, старик вышел на крыльцо. Он медленно прошелся по двору и, отворив дверь сарайчика, увидел на уровне своего лица круглые колени соседки. Старик внимательно осмотрел лицо молодой женщины. Теперь оно приняло обиженное выражение. Постояв так, он вернулся в дом.

Старик пошел к хозяйке. Хозяйка с испугом взглянула на него. Она впервые видела, чтобы ее квартирант заговорил с кем-то, кроме своей дочери и внука. Старик коротко объяснил, что случилось.

Женщина всплеснула руками. Война вытравивала из нее болтливость, и она молча пошла за стариком.

Одноногий муж хозяйки, железнодорожник, отправился за милиционером. Милиционер был безрукий. Так они и шли по лужам — безрукий поддерживал безногого, помогая ему выдирать из земли деревяшку, а когда милиционер обрезал веревку в сарае, уже безногий помогал ему, безрукому, снимать твердое негнущееся тело и класть его на земляной пол.

Женщину накрыли рогожей, милиционер составил протокол и дал его подписать всем присутствовавшим. Он пробовал заговорить со стариком, но тот молчал, и безрукий милиционер ничего не смог от него добиться. Он отстал от старообрядца только тогда, когда хозяева объяснили ему, кто их жилец.

Ребенка нужно было сдать в детский дом, но милиционер не мог его нести и обещал скоро прислать телегу.

Хозяевам нужно уже было уходить. Безногий поковылял в свои мастерские, а женщина отправилась мыть полы в ту же больницу, где работала дочь старика. Перед уходом женщина попросила было его последить за ребенком, но натолкнулась на отсутствующий взгляд квартиранта.

Старик думал о грехе. Он думал о том, что теперь ребенок будет страдать за грехи других людей, за грехи своей матери и даже за грехи тех людей, которые начали первыми стрелять в этой войне. Все равны перед Ним. Все от Него и к Нему. Всех будет Он судить, и страшна будет кара Его. О себе старик не думал. Он не мог вспомнить о себе многого и поэтому не держал своего зла на людей, а знал лишь, что за грехом должно следовать наказание. Он помнил свои молитвы и то, как нужно держать рубанок. Для него этого было достаточно, а рассказам плачущей дочери старик не верил.

Все ушли, но за перегородкой снова раздался крик ребенка.

Старик внезапно понял, что он должен пойти на этот крик.

Ребенок замолчал, он смотрел на старика немигающими глазами, а потом снова зашелся в крике.

Старик взял свою тщательно сберегавшуюся в чистоте ложку и начал кормить ребенка.

Сначала у него не получалось, но вскоре дело пошло на лад.

Старик завернул его в новую тряпку и унес на свою половину. Он осторожно положил сверток на верстак, когда понял, что ребенок уснул.

Тогда старик вышел на двор и, сев на крыльцо, снова стал думать о своей вере, о тяжких людских грехах. Он продолжил свои мысли с прерванного места.

Была настоящая весна. Солнце, отражаясь в лужах, било ему в глаза. Снег совсем сошел и чернел только в глубоких ямах у забора. Что-то было с ним в эти дни тогда, в его прошлой жизни.

Это воспоминание не было для него сейчас необходимым, и он вспоминал спокойно, без напряжения, будто перелистывая обратно страницы своих книг.

Он начал вспоминать и наконец вспомнил.

ЖИЗНЬ ПРАВЕДНИКА

Это случилось тогда, когда наш друг еще не хватался поминутно за левую сторону груди, не носил с собой в кармане сразу несколько коробочек с таблетками и не пил своих отваров до еды и после.

Это случилось тогда, когда он еще не ложился на обследование аккуратно два раза в год — весной и осенью, когда он еще не знал наизусть названий своих болезней и не откладывал себе на тарелку только нежирное и несоленое.

Это случилось тогда, когда мы путешествовали по кавказским горам и он, пыхтя, семеня за нами, топчя жесткую траву роскошными башмаками с самодельными набойками.

Мы догоняли своих и торопились выйти на Магистраль.

Из экономии времени мы шли до темноты, а потом просились на ночлег в летние домики пастухов.

Старики, заметив сразу нашего друга, отмечали его из нас троих и задумчиво говорили, качая бараньими шапками:

— Рахаат, ингерман гар. Та гар, рахаат...

Это, безусловно, имело отношение только к одному из путников.

Однажды, проснувшись раньше всех, я услышал, как временный наш хозяин молится своему неведомому богу и, среди резких гортанных слов своего языка, рассыпающихся, как камни на склоне, повторяет имя нашего друга.

Старик молился за него.

Иногда они молча сидели поодаль — очередные люди в бараньих шапках и он, неуклюжий путешественник, жмурящийся на солнце и поминутно протирающий очки. Его коротко стриженная круглая голова сочилась потом.

Другой мой товарищ, без зависти глядя на них, говорил:

— Святой. У него нет пороков. Пожалуй, кроме порока сердца.

Но мы вышли наконец в поселок и вдохнули жаркий воздух автостанции, пропитанный запахом очереди.

Очередь пеклась под жестяной крышей уже не первый час, и мы стояли вместе со всеми, посадив нашего друга в тень.

Итак, приблизившись к заветному окошку, мы позвали близорукого святого, и он полез через толпу.

В тот год он уже дышал тяжело, но внезапно, подобравшись, вдруг прицелившись, наступил на голую ступню во вьетнамке стоявшего спиной к нам курортника в панаме.

Курортник оказался толстым мужчиной лет сорока. Он тут же заголосил, размахивая руками, закричала его жена, стоявшая у стены с двумя чистенькими детьми, вступились невеста откуда взявшиеся старухи.

Очередь возмутилась. Наш спутник виновато развел руками, и мы вышли.

К вечеру, когда наша компания доехала на попутке до какого-то пересечения дорог и расположилась на ночлег, мы спросили его наконец. Мы спросили его, потому что весь день не могли опомниться от изумления, так не вязался этот поступок с характером нашего друга.

С детства он говорил «извините», когда ему самому наступали на ногу. Его не осмеливались трогать даже самые отъявленные хулиганы — так он был добродушен.

Мы спросили, и наш праведник рассказал следующее.

Он служил в дальнем гарнизоне, где офицерам, при том еще изобилии продуктов, выдавали сыр два раза в год — на 7 ноября и День Советской Армии. Сыр выдавали по триста грамм — на семью. Оттого офицеры пили постоянно, а полком заправляли прапорщики.

Один из них, хозяин ремонтной роты, ненавидел нашего друга за очки, косолапые движения в строю и полное неумение надеть противогаз.

Били близорукого праведника, как и всех, может, даже и меньше других — в силу его покладистого характера, успев, правда, добавить отбитые почки к уже в армии пережитой желтухе.

Но вот однажды он, неловко вылезая из трактора, опрокинул на своего хозяина банку с маслом.

Банка перевернулась в воздухе и плеснула на роскошную фуражку прапорщика.

Той же ночью прапорщик пришел к ним в казарму.

Первогодков подняли с постелей, и они, испуганные, смотрели, как двое азербайджанцев и краснодарский блатарь «опускали» нашего друга.

После того как они кончили свое дело и застегнули штаны, прапорщик удовлетворенно крякнул и полил свою жертву машинным маслом из той же самой жестянки.

Вот этого-то прапорщика на отдыхе и встретили мы в очереди за билетами.

— Что ж ты нам этого не сказал! — закричали мы, готовые бежать по этой мусульманской дороге обратно, чтобы найти толстяка и бить его, бить, бить по его голове в панаме, пока это слепое бешенство не оставит нас.

Мы чувствовали, будто «опустили» нас самих, будто надругались над самым сокровенным, дорогим, что мы носили внутри себя.

— Убить его мало! Зачем ты ему на ногу наступил-то?!!

— Должен же я был что-то сделать, — ответил наш друг, все так же близоруко шурясь на солнце.

БАННЫЙ ДЕНЬ

У высокого крыльца бани народ собирался уже к шести часам. Продажа билетов начиналась в восемь, но солидные люди, любители первого пара и знатоки веников, приходили, естественно, раньше остальных.

Первым в очереди всегда стоял загадочный лысый гражданин. В бане он был неразговорчив и сидел отдельно.

Бывший прапорщик Евсюков в широченных галифе с тонкими красными лампасами держал душистый веник и застиранный вещмешок.

Был и маленький воздушный старичок, божий одуванчик, которому кто-нибудь всегда покупал билет, и он, благостно улыбаясь, сидел в раздевалке, наблюдая за посетителями. Эта утренняя очередь была единственной ниточкой, связывавшей старичка с миром, и все понимали, что будет означать его отсутствие.

Я сам звал такого старичка. Он был прикреплен куда-то на партийный учет и звонил своему секретарю, переспрашивая и повторяясь, тут же забывая, о чем он говорил. Секретарем, по счастью, оказалась доброй души старушка, помнившая многие партийные чистки и так натерпевшаяся тогда, что считала своим долгом терпеливо выслушивать всех своих пенсионеров. Готовя нехитрую одинокую еду, она, прижав телефонную трубку плечом, склонив голову набок, как странная птица, внимала бессвязному бляению.

Но, вернувшись к нашей бане, надо сказать, что множество разного народа стояло в очереди вдоль Третьего Иорданского переулка. Первые два были уже давно переименованы, а этот последний, третий, остался, и остались наши бани, отстроенные еще сто лет назад и вокруг которых в утренней темноте клубился банный любитель.

Стояли в очереди отец и сын Сидоровы. Отец в форме офицера ВВС, а сын — в только что вошедшей в моду пуховке, стояли горбоносый Михаил Абрамович Бухгалтер со своим младшим братом, который, впрочем, появлялся редко — он предпочитал сауны.

Стаховский в этот раз привел своего маленького сына.

Толстый Хрунич постоянно опаздывал и сейчас появился, как всегда, в последний момент, когда настало великое Полвосьмого, дверь открылась, начало очереди сделало несколько шагов и уперлось в окошечко кассы. Кассирша трагически закричала: «Готовьте мелочь!», быстро прошли желающие попасть на вечерние сеансы, а получившие в руки кассовый чек с надписью «Спасибо» (завсегдаги брали сразу два — на оба утренних сеанса) побежали вверх по лестнице с дробным топотом, на ходу раздеваясь и выхватывая из сумок банные принадлежности.

Спокойно раздевался лишь Евсюков. Хрунич суетился, снимая штаны, щеголяя цветными трусами, искал тапочки и производил много шума.

Рюкзак братьев Бухгалтеров извергали из себя множество вещей, не имеющих по виду никакого отношения к бане. Вот пробежал в мыльню старший Сидоров, волоча за собой сразу три веника. Стаховский торопливо расстегивал курточку своего сына.

— Дай мне твоего Розенкранца! — Не ожидая ответа, Хрунич схватил губку Евсюкова и зашлепал резиновыми тапочками по направлению к мыльной.

— Чего это он? — удивился Евсюков, аккуратно складывая ношеное белье на скамейку.

— Это Хрунич хочет свою образованность показать, — сказал Сидоров-младший и, собрав в охапку веники, устремился за Хруничем.

Хрунича за глаза звали Хруничем, на что он очень обижался. Хрунич-Хрунич был музыкант, то есть по образованию он был математик и десять лет потратил на то, чтобы убедиться, что играть на скрипке для него гораздо приятнее, чем крепить обороноспособность страны. В нашей компании было много таких, как он, и на это уже никто не обращал внимания. Один Сидоров-младший, который учился в том же самом институте, что и Хрунич, был равнодушен к теме перемены участи. Дело было в том, что Сидоров и сам не сильно любил свою *alma mater*, но бросить ее боялся и от этой нерешимости всем завидовал.

Завидовать-то он завидовал, но показать это было неловко, и он молчаливо двинулся за всеми в дверь мыльного отделения.

Евсюков же, пройдя в мыльню, стал напускать в таз горячую воду. Он положил свой веник в один таз, а затем прикрыл его другим, так что осталась торчать только ручка, перетянутая веревочкой и подрезанная, чтобы никого, упаси Бог, не поранить в парной. К веникам Евсюков всегда относился серьезно. Как-то, в конце весны, он приехал в Москву и тут же организовал поход за вениками.

Евсюков уверенно шел по подмосковному майскому лесу с огромным невесомым мешком за спиной. Он искал особые места, у воды, где росли березы с тонкими и гибкими ветками. Евсюков обрывал листики с разных деревьев, облизывал, сплевывал и, если листик был шершавым, переходил дальше, снова пробовал листья языком, пока не находил искомым — бархатистых и нежных.

Евсюков учил меня тогда отличать глушину от банной березы, а я вместо этого пил весенний воздух и совсем не думал ни о березовых вениках и их очистительных свойствах, ни о вениках можжевельных, ни о вениках эвкалиптовых и дубовых. Не думал я и о вениках составных, с вплетенными в них ветвями смородины, которые так любил вязать Евсюков.

Я думал о любви, и лишь треск веток прервал тогда мои размышления. Это сам Евсюков обрушился с березы, на которую он не поленился залезть за искомыми веточками.

Евсюков сидел на земле, отдуваясь, как жаба, и отряхивая свой зеленый френч. Так нелегко давались ему уставные банные веники.

У меня на даче мы повесили их, попарно связанные, под чердачной крышей, прошитой незагнутыми гвоздями, так что приходилось все время вертеть головой. Евсюков уехал к себе, наказав следить за вениками. Им он пользовался, приезжая в Москву.

И сейчас, взяв один из них, хорошенько уже отмокший в тазу, ставший мягким и упругим, он поторопился в парную.

В парной Евсюков забирался на самую верхотуру. Он сидел в уголке у черной стены, не покидая своего места по полчаса. Евсюков имел на это свои резоны.

Лет восемь назад бравый прапорщик Евсюков несся над землей, сидя в хвосте стратегического бомбардировщика. Сидел он там не просто так, а посредством автоматических пушек обеспечивая безопасность себя и своих боевых товарищей. Евсюков занимался этим не первый год, но восемь лет назад прозрачная полусфера, под которой он сидел, отделилась от самолета, воздушный поток оторвал прапорщика от ручек турельной установки и

поташил из кабины. Вряд ли бы он сидел сейчас с нами на полке с душистым венником, если бы не надежность привязных ремней. Пока бомбардировщик снижался, с Евсюкова сорвало шлемофон, перчатки и обручальное кольцо. Когда его смогли втянуть в фюзеляж, Евсюков был покрыт инеем. Висотный холод поморозил Евсюкову внутренности. Провалившись три месяца в госпитале, он был комиссован, но с тех пор приобрел привычку медленного, но постоянного сугрева организма.

Летом после парной Евсюков употреблял арбуз, а в остальное время — моченую бруснику.

Теперь он сидел в уголку, рядом со стенкой, дыша в свой венник, прижатый к носу.

— Ну ты че, ты че, когда это в Калитниковских банях было пиво? — пробился через вздохи чей-то голос.

— Болтать начали, — сказал сурово старший Сидоров, — пора проветривать.

Мы начали выгонять невежд дилетантов из парной. Незнакомые нам посетители беспрекословно подчинялись, пытаюсь, однако, проскользнуть обратно.

— Щас обратно полезут, все в мыле... — отметил мрачно Хрунич. Наконец вышли все.

Начали лить холодную воду на пол. Евсюков, орудуя старыми венниками, сгонял опавшую листву с полка вниз, а Сидоровы погода захлопали растянутой в проходе простыней.

Дилетанты столпились у двери и, вытягивая длинные шеи, пытались понять, когда их пустят внутрь.

И вот Хрунич стал поддавать, равномерно, с паузами, взмахивая рукой. Поддавал он эвкалиптом, у нас вообще любили экзотику, или, как ее называл Сидоров-старший, «аптеку». Поддавали мятой, зверобоем, а коли ничего другого не было — пивом.

— Шипит, туда его мать, смотри, куда льешь!.. — крикнул кто-то. — По сто грамм, по сто грамм, уж не светится, а ты все льешь...

— Пошло, пошло, пошло... Ща сядет...

— Ух ты...

— Эй, кто-нибудь, покрутите венником!

— Да не хлестаться... Ох...

— Ну еще немножко...

Много времени прошло, пока наша компания выбралась из парной и двинулась обратно в раздевалку. Михаил Бухгалтер был сегодня освещен особенной радостью. Неделю назад у него родился внук. Дочь Михаила Абрамовича вышла замуж, по его понятиям, поздно, в двадцать четыре года, и ровно через девять месяцев принесла сына. Михаил Абрамович разложил на коленях еще не обрезанные фотографии.

На них была изображена поразительно красивая женщина, держащая на руках ребенка, и темноволосый молодой человек, стоящий на коленях перед диваном, на котором сидела его супруга. Молодой человек положил голову на покрывало рядом с ней. Все трое, видимо, спали.

— Библейское семейство, — вздохнул Хрунич.

Михаил Абрамович поднял на нас светящиеся глаза.

— Вот теперь мне — хорошо, — сказал он.

— Мы принесли водочки, — произнес его брат.

Заговорили о войне, продаже оружия арабским странам и проблеме отказников. Торопиться было некуда, время мытья, массажа, окатывания водой из шаечек и тазов еще не пришло, и можно было просто беседовать о том и о сем.

Так мы всегда беседовали, попарившись, потягивая различные напитки — чай со сливками, приятно увлажнявший сухое после парной горло,

морсы всех времен и народов, пивко, а те, кто ей запасся, — и водочку. Теперь мы пили водочку за здоровье семейства Бухгалтеров.

Сейчас я думаю — как давно это было и сколько перемен произошло с тех пор. Перемен скорее печальных, чем радостных, поскольку мы столько времени уже не собирались вместе, а некоторых не увидим уже никогда.

Убили Сидорова. Самонаводящаяся ракета влетела в сопло его вертолета, и, упав на горный склон, он, этот вертолет, переваливался по камням, вминая внутрь остекление кабины, пока взрыв не разорвал его пятнистое тело.

Убили, конечно, Сидорова-старшего. Сидоров-младший узнал об этом через месяц, когда вместе с бумагами отца приехал оттуда его однополчанин. Однополчанин пил днем и ночью, глядя на всех злыми глазами. Подробностей от него добиться не удалось, а сухое официальное извещение пришло еще позже.

Так что мы не знаем, как все произошло.

Младшему Сидорову хотели выплачивать пенсию как приварок к его стипендии, но выяснилось, что до поступления в свой Радиотехнический институт он таки проработал год, и пенсию не дали. Его мать давно была в разводе с майором Сидоровым, майора похоронили за границей, и на том дело и кончилось.

Сема, Семен Абрамович, уехал в Америку. Путь его за океан начался на берегу Малой Невы, в доме сталинского ампира, рядом с пожарной каланчой. Там, при знакомстве с Джейн Макговерн, началась его новая жизнь. Последний раз мы увидели его в Шереметьево, толкающего перед собой тележку с чемоданами. Он еще обернулся, улыбнувшись в последний раз. Отъезд в Америку равнозначен смерти. Это давно отмечено.

А пока они сидят все вместе на банной лавке, отдуваясь, тяжело вздыхая, и время не властно над ними.

Уже появился из своего пивного закутка банщик Федор Михайлович, похожий на писателя Солженицына, каким его изображают в зарубежных изданиях книги «Архипелаг ГУЛАГ». Он появился и, обдавая нас запахом отработанного «Ячменного колоса», монотонно закричал:

— Па-торапливайтесь, па-торапливайтесь, товарищи, сеанс заканчивается...

Не успевшие высохнуть досушивали волосы стоя у гардероба. Хрунич все проверял, не забыл ли он на лавке фетровую шляпу, и копался в своем рюкзаке. Евсюков курил. Наконец все подтянулись и вышли в уже народившийся весенний день. Грязный снег таял в лужах, и ручки сбегали под уклон выгнувшегося переулка. Мартовское солнце внезапно выкатилось из-за туч и заиграло на всем мокром пространстве между домами.

— Солнышко-оо! — закричал маленький сын Стаховского, и вся компания повалила по улице.

ИСТОРИЯ ПРО БУНИНА

Пришла пора сдачи заказа, и меня отправили в командировку.

Возвращаться пришлось вдвоем. Вместе со мной с военного объекта ехал толстый военпред, шелестевший фольгой от курицы. Когда стемнело, он забрался на верхнюю полку и, открыв на полную мощность свет, стал читать вслух Бунина. Поезд шел где-то у Подольска, совсем недалеко от Москвы, а прибывал в три.

Я еще надеялся поспать хоть час, меня клонило в сон, а военпред бубнил над ухом, сморкался, вскрикивал от восхищения:

— Ну ты смотри, ты смотри!.. Вот любовь, а?!

Я сразу возненавидел его.

— Плачут, мучаются, — продолжал он. — Моя вот, как женился, ни разу не плакала. Ни слезинки не дал пролить, вот! А тут — возлюбленная нами, как никакая возлюблена не будет... Ну чисто дети... Дела-а.

Возлюбленная нами, подумал я. Возлюбленная нами, как...

Тогда мы лежали на узком диване. Это было ворованное время, и лишь к двум часам ночи мы понимали, что никто нам не помешает. Мы так уставали, что сил ни на что уже не оставалось, но уснуть уже не могли и курили, передавая сигарету друг другу.

В головах я ставил маленький приемник, взятый без спроса у одного моего друга. Мы отчаивались разобрать русскую речь «Свободы» в грохоте глушилок и начинали искать музыку. Через пять минут волна почему-то менялась, и приемник одиноко звенел на столе.

Обычно я лежал ближе к стене. Однажды она внезапно крепко прижалась ко мне, и я почувствовал, что она плачет. Мне не хотелось ее ни о чем спрашивать, есть вещи, о которых нельзя спрашивать. Тогда я стал губами сушить ее мокрые веки, чувствуя, как она успокаивается.

Мы были совсем дети, жаловались друг другу, ссорились, как дети, и надували губы, как дети, и сейчас она обнимала меня, как большой ребенок.

Беззащитный запах волос, подтянутые к животу колени — все выдавало в ней ребенка, хотя мы считали себя совсем взрослыми.

Той ночью на улице мело, и в комнату проникал белый свет от снега, ставшего стеной за окном. Когда стало светать, она наконец уснула, уткнувшись носом в нашу единственную подушку. Дождавшись этого, я сразу же провалился в забытие, успев подумать, что мы все-таки украли эту ночь.

Я успел подумать, что любовь — это воровство, она вне закона и, не украв, нельзя любить.

А утром нам снова никто не помешал, мы спали долго, а проснувшись, вышли из дома не позавтракав.

Через два года она уехала, а еще через год ее и случайного попутчика, сидевших в автомашине у бензоколонки в пригороде Рамаллаха, расстрелял в упор, прямо через ветровое стекло, какой-то палестинец.

Отчего-то я хорошо представляю, как бился в его руках «калашников» и осыпался внутрь машины белый, сразу ставший непрозрачным триплекс.

Хотя нет, у меня еще есть надежда: один из знакомых недавно видел ее в метро, а другой рассказывал мне, что столкнулся с ней у автобусной остановки.

Я думаю, что она вернулась в Москву, и я непременно встречу с ней, как только приедем.

Наверное, она случайно окажется на вокзале, когда я, отпихнув своего толстого попутчика, вылезу из вагона.

Пусть он читает Бунина и радуется своей жизни — что нам до него?

Она будет там, думал я.

Куда она могла уехать?!

Конечно, она будет там, возлюбленная мною, как никакая другая возлюблена не будет.

ЧИТАТЕЛЬ ШКЛОВСКОГО

Читаю Шкловского.

Он пишет о своем детстве.

Все воспоминатели начинают с этого.

Шкловский пишет: «Фамилии подрядчика не помню, фамилия архитектора, про которого не рассказывали анекдотов, — Растрелли».

Это про Смольный.

Анекдот появился. «Архитектор — расстрелян».

Еду в метро, пересаживаюсь и снова еду.

В туиковом конце станции на скамейке сидят двое — худощавые серьезные ребята лет двадцати. Заполняют какие-то ведомости, бланки, говорят о своем, спокойно и неторопливо.

В руках у одного вдруг мелькает пачка денег. Присмотревшись, вижу, что это аккуратная банковская упаковка сторублевков. А сторублевки... «Сто штук по сто, — сообщаю я, — это десять тысяч рублей».

И иду дальше.

Мимо меня, встречным курсом по эскалатору, спускаются иностранцы.

Кепки на них русские, майки с изображением университета, но продолговатые лица, загорелые и ухоженные, сразу дают понять — иностранцы.

И эта речь — невнятно доносящееся голубиное воркование английской речи: орри, хайрри, райрри...

Я читаю Шкловского в метро, по дороге на дачу.

Надо мне на даче ночевать, а вернувшись в Москву, еще заехать кое-куда.

Я еду в метро, а напротив меня сидят две уверенные в себе женщины. Сидят и о чем-то болтают, помогая себе взмахами рук с длинными пальцами. На пальцах — тоже длинные, хорошо наманикюренные ногти.

Лицо одной из них покрыто бронзой южного загара, который выглядывает также в зазор между белым носочком и брюками.

Одеты женщины дорого — в тонкую черную кожу, тонкие свитера, с тонким золотом на пальцах.

На ногах — роскошная спортивная обувь.

Едут напротив меня две дорогие женщины.

Я читаю Шкловского сидя на станции.

На платформе, опустив огромные уши по щекам, стоит собака. Я знаю, что эту собаку зовут бассет-хаунд.

Знаю, хорошая это собака.

Проходит поезд. В специальном окошечке на переднем вагоне написано: «Нахабино». Этот поезд можно пропустить.

Я читаю дальше. Вот подошел другой.

Теперь в окошечке написано: «Волоколамск».

Я вхожу в вагон.

Часто, приехав на дачу, я заставал дверь закрытой — дед с бабушкой спали после обеда. Тогда я уходил на грядки — кормиться.

В конце крохотного участка, около леса, росла малина, и было похоже, что по ней уже погулял медведь.

Росли бестолковые кусты черной смородины.

Я ел и дожидался, когда дверь откроется.

И это было детство.

Во всяком учреждении есть такое место, где люди собираются кучками и курят. Если рядом есть буфет, то они пьют светло-коричневое пойло. Называется оно — кофе.

Одно такое я помню очень хорошо.

Имя его было — «сачок».

Почему «сачок» — непонятно.

На даче же стояла сторожка — зимний дом с печью.

На ступеньках сторожки, под крышей, мы курили в детстве.

Сменилось уже несколько поколений, своими джинсами вытирая ступеньки сторожки.

Вот я подхожу к нашим наследникам.

— Здравствуй, Володя, — говорит мне девица сексуального вида.

Лежит она, закинув на стену длинные красивые ноги.

Под головой у девицы лежит какой-то мальчик.

— Здравствуй, здравствуй, — говорю я и медленно подхожу ближе...

Я читаю Шкловского и думаю о любви.

Нет, не о любви я думаю, а о привязанности.

Шкловский пишет о любви — а получается о литературе.

Так и мои письма превращаются в дневники, а дневники превращаются в письма.

Женщина, которой писал Шкловский, в его воображении отвечала так:

«Любовных писем не пишут для собственного удовольствия...»

К друзьям для собственного удовольствия не пишут тоже.

Зачем я позвонил?

Непонятно.

Позвонил и договорился о встрече.

И не то чтобы у меня были какие-то надежды, совсем нет. Или, наоборот, я ей нравился...

А вот — начал прибираться в квартире.

Пыхтя, залез с тряпкой под диван.

Выбрался из дома и купил на рынке килограмм помидоров за семь рублей и огромный блин мадаури — грузинского хлеба.

Я добросовестно выходил встречаться с ней к метро.

Изредка накрапывал дождик — большими и крупными каплями.

Дождь выбрасывал в воздух эти капли и на время успокаивался.

Книга писем Шкловского к одной женщине, любимой им, называется «Зоо».

Зоо — это зоопарк.

Моя одноклассница, ставшая потом преподавателем истории КПСС, называла зоопарк тюрьмой зверей.

Довольно давно я работал рядом.

Я работал по ночам, когда подходила моя очередь.

В те ночи я выучил мрачное дыхание зоопарка.

Это был запах сена, навоза и звериного нутра.

В темноте пронзительно скрежетали павлины и тяжело ухал усатый морж.

Однажды, открыв окно, я увидел, как идет снег.

Было первое апреля, хмурый день. Лебеди под казенным окном возмущенно кричали...

Сейчас улица, разделяющая зоопарк на две части, раскопана и перегорожена. На ней лежат бетонные блоки и трубы.

Внешне это похоже на баррикаду.

Такие баррикады возводились у Белого дома.

Случился военный переворот, а во время переворотов полагается возводить баррикады. Вышли они на этот раз хлипкие, слабенькие.

Модно было гулять на баррикадах.

Какая-то девица сидела на танковой пушке, сверкая капроновыми чулками. Другие, в трико и белых свитерах, гуляли с парнями.

У костров грелись лохматые люди в штормовках, а в небе болтался аэростат.

На антенной привязи аэростата висело четыре флага: большой трехцветный российский, поменьше — жевто-блакитный украинский, за ним — литовский и еще какой-то, неразличимый в вышине. (Потом этот аэростат оторвался и путешествовал по московскому небу самостоятельно. Его принимали за летающую тарелку.)

Товарищ мой встал на баррикаду, чтобы осмотреть окрестности. Она зашаталась под ним.

Начали записывать в десятки и сотни. Появились командующие люди. Люди благоразумные с ужасом представляли, как их будут хватать по этим спискам.

Шкловский пишет: «Много я ходил по свету и видел разные войны, и все у меня впечатление, что я был в дырке от бублика.

И страшного никогда ничего не видел.

Жизнь не густа.

А война состоит из большого взаимного неумения».

Стоять и дежурить ночью — занятие неприятное.

С военной точки зрения это бессмысленно.

Холодно, дождь.

Стоишь и куришь.

Курили много. За ночь выкуривалось три пачки.

Я курил трубку. Курить трубку выгодно — не просят сигарет.

Ночами слушали хрипящее и булькающее радио. Мой коротковолновый приемник был за большие деньги куплен неделей раньше. Назывался он символически — «Вильнюс»!

«Радио Москвы» то появлялось, то пропадало.

Первый страх пришел, когда начали глушить независимые станции — одно «Радио Свобода» пробивалось в эфир.

Лил проливной дождь, и вместо того, чтобы выходить из-за козырька здания — посмотреть, я прижимался ухом к динамику. Сообщение шло по трассе Москва — Мюнхен — Москва. Корреспондент закордонной радиостанции сидел на одиннадцатом этаже Белого дома и рассказывал в прямом эфире, что происходит за углом.

Потом включилось через резервный передатчик российское радио.

Итак, все курят. И все бессмысленно. Однако кому-то нужно умереть.

Тут важен момент физического прекращения чьей-то жизни. Это оселок, на котором проверяется серьезность происходящего.

Надо кого-то убить.

Теперь несколько слов о танках.

Что люди ложатся под их гусеницы, довольно страшно.

В первую очередь тем, кто стоит вокруг.

Из танка лежащих не видно. Так было в Вильнюсе.

Когда человек не успевает увернуться от гусеницы, его просто наматывает на нее. Это происходит быстро, и ничего героического в этом нет. Если несколько десятков танков проезжают по одной задавленной собаке, она раскатывается, как блин.

Это я видел.

А младший сержант Акаев заснул на броне во время ночного марша. Он упал под гусеницы, и танковая рота сделала его совершенно плоским, толщиной с фанерку.

Младший сержант Акаев занимал несколько квадратных метров.

Я не верю в воодушевление и подъем человеческих чувств от созерцания погибших под танками.

В своем «Сентиментальном путешествии» Шкловский несколько раз вскрикивает: «Мне скажут, что это к делу не относится, а мне-то какое дело. Я-то должен носить все это в душе?» Он писал о гражданской войне.

Наутро объявилось огромное количество героев.

Количество подбитых танков приблизилось к сотне.

Снова начались народные гуляния.

Через день одна радиостанция ругалась с другой.

— А вот и секс опять разрешили... — трепался один из ведущих.

— Позвольте, коллега, — вступал другой, — вы неправильно произносите это слово. Говорить нужно не «сэкс», а «сЕкс»... Ну да все равно, поздравляю вас, дорогие слушатели, с окончанием внепланового дня танкиста.

«Разговор настоящий, непридуманный, — писал про это Шкловский. — Память у меня хорошая. Если бы память была хуже, я бы крепко спал ночью».

Я читаю Шкловского и думаю о времени.
 Есть такая игра — постукалочка.
 Не знаю, что это такое.
 Постукалочка имеет для меня свой, особенный смысл.
 И не надо объяснять ничего, я слушать не буду.
 Постукалочка — это звук проходящего времени в стуке ночного сторожа.
 Стук-стук.
 Время идет.
 Что-то проходит мимо меня.

Раньше — не то. А теперь можно прийти в булочную и не обнаружить там хлеба. Вот как.

Наконец я еду обратно.
 Платформа пустынна и залита солнцем.
 Мимо нее одновременно едут два состава — один порожний, собранный из разноцветных цистерн, обшарпанных вагонов, пустых автомобильных платформ, платформ с огромными пузырями, на которых написано по слогам: «По-ли-ме-ры», и платформ просто пустых.
 Другой состав, в два раза короче первого, сбит из одинаковых коричневых вагонов, покрашенных свежей краской.
 Но вот вслед за этим вторым пришла и моя электричка.
 Вот я вижу ее, приближающуюся, проседающую и клюющую носом при торможении.
 Я надеваю майку и выбираю вагон — нужен тот, с рогами.
 Отчего-то известно, что он не моторный, а значит, в нем меньше трясет.
 Вот Шкловский, тот любил технику. Он много писал о ней, перечисляя марки автомобилей, звучащие как слова мертвых языков: «испано-сю-иза», «делоне-бельвиль», «паккард», «делаж»...
 Он писал о технике, как о женщине.
 В тамбуре стоит потный солдат-армянин. Он стоит прислонившись к стене и держит обеими руками фуражку.
 На дне фуражки написано: «Калинин».
 Дача моя, оставленная за спиной, вновь появляется в окне и тут же исчезает.
 Я уезжаю.

Уехал и мой друг в поисках обетованной земли.
 Он уезжал под адажио Альбиниони, в день похорон.

Опять еду в метро.
 Рядом едет девушка.
 Ее тонкие ноги захватаны синяками.
 Суровая женщина, разведя колени, читает антисемитскую газету.
 Вошли два человека странной национальности.
 Один, стриженный ежиком, в джемпере с двумя рядами золотых пуговиц и неясным гербом на сердце, сразу начал ковырять в носу.
 Входят, выходят...

Девушка с зонтиком, повешенным через плечо — как винтовка.
 Милиционер с оскорбленным лицом.

Парень со сжатыми кулаками. Старуха с котенком в сумке.

Человек с автоматическим зонтом. Чешет им за ухом. Сейчас зонт раскроется, и... Нет, человек уже вышел.

Снова старуха, на этот раз в тренировочном костюме.

Снова милиционер. Теперь с дубинкой.

Опять девица в мини. Мини-бикини. Сверху на бикини надета майка, на ногах те же синяки, только теперь в шахматном порядке.

Холодно мне что-то. Холодные ночи этим летом. Холодные ночи погубили Петра — он вышел из темноты к костру, чтобы погреться. У костра тепло, но нужно оттрекаться.

Холодной ночью всегда тянет выйти к костру.

И об этом писал Шкловский.

Но холодно — мне.

Куда это меня занесло?

Метро «Измайловская». Пути в три ряда. Между ними — серебряные фигуры. Одна из них — русский мужик в армяке, с большой дубиной. Очевидно, дубина эта — народной войны.

На стенах станции керамические розетки. Сюжеты розеток однообразны — автомат, выглядывающий из кустов, пулемет, выглядывающий из кустов, неясный «фрейдовский» предмет, выглядывающий из кустов...

Голос в метро говорит:

— Булыгин, зайдите к дежурному по станции...

Кто этот Булыгин?

Инвалид стоит на трех ногах: два костыля и грязная брочина, оканчивающаяся рваным кедом.

Я вчера проводил друга. Он уезжал с Киевского вокзала, стоял в толпе своих горбоносых родственников, доплачивал за багаж.

Совал носильщикам сотенные.

Носильщику нужно дать сто пятьдесят. И проводнику тоже нужно дать, иначе на таможене багаж перетряхнут до последней нитки, а евреи, уезжающие с Киевского вокзала, везут много.

Друг мой вез на пальцах чужие кольца, а его беременная жена — две тысячи долларов на вздутом животе.

И был, надо сказать, довольно веселый денек, несмотря на то что в это время на Ваганьковском кладбище хоронили убитых во время военного переворота.

Друг мой за большие деньги переоформил билет на неделю раньше, ибо еврею в России нужно поворачиваться.

Поезд просверкнул стеклами, ушел, изогнувшись, на Будапешт, а я остался на Киевском вокзале — инвалидом.

А вот я еду обратно. Вагон пустой. Сидят в нем пьяненький старичок, похожий на Эйнштейна, да две трезвые девушки.

Одна из них улыбается.

Пьяный Эйнштейн подсаживается к девушкам, обнимает одну из них за плечи, пытается дотянуться до другой.

Нет, девушки все-таки не очень трезвые.

Надену я тибетейку.

Надел.

Девушки мне положительно нравятся.

Оставлю-ка я про них.

Но тут я начал уже совершенно неприлично ржать, тем более что...

Вышел.

Еду дальше, дальше...

Тут уже другое. Женщина в спущенных чулках сидит на лавке пустой станции. Оглядываясь, она засовывает руку в сумку, вынимает и слизывает с ладони что-то длинным языком.

Снова поехали.

Сонная парочка у двери — высокие ребята. Мальчик с девочкой, совсем дети.

Наконец я вышел из метро на пустынную площадь Маяковского. Передо мной был город после большого дождя.

Этот город стоял в одной большой, медленно испаряющейся луже.

И я пошел домой.

ШКОЛА

Тогда я работал в школе. Работа эта была странной, случайной, совсем не денежной, но оставлявшей много свободного времени.

Вот уже кончался год, и школьники мои стали сонливыми и печальными, да и у меня на душе было как в пустой комнате, застеленной газетами. В комнате этой, куда я возвращался из школы, уныло светила над пыльной пустотой одинокая сорокаваттная лампочка.

Как избавления ждал я снега. Он выпал, но вместе с ним пришла и зимняя темнота, когда, выехав из дома рано утром, я возвращался обратно в сумерках.

Итак, приходилось вставать рано, пробираться мимо черных домов к метро, делать пересадки, лезть в автобус...

Он приходил несколько раньше, чем нужно.

Я прогуливался у школьного здания с внутренним двориком.

Небо из черного становилось фиолетовым, розовело.

Толпа детей с лыжами и без тоже ждала человека с ключом.

Мимо, по тропинке, покрытой снегом, проходил юноша в очках. Он всегда проходил в это время. Если я опаздывал, то встречал его у самой остановки, если шел вовремя, то на середине пути.

И, видимо, зачем-то он нужен был в этой жизни. Молодой человек был студентом — часто я видел его с чертежами или тетрадью под мышкой.

Учителей в школе было шестьдесят или семьдесят, но я знал в лицо только десять. Среди моих приятелей был один из трех математиков, высокий и лысый, студент-информатик и литератор в огромных очках. Мы курили в лаборантской, и белый сигаретный дым окутывал компьютер «Электроника».

Преподаватель литературы часто изображал картавость вождя революции. Выходило комично, и многие смеялись. Делал он это часто, и его «товаиш» и «батенька» бились в ушах, как надоедливые мухи. Приходил и милый мальчик, похожий на Пушкина, но с большими ушами, отчего его внешность также была комичной. Ушастый мальчик учился в каком-то авиационном институте, а сам учил школьников компьютерной грамотности и премудростям стиля кекошинкай.

Приходил, впрочем, еще один математик, в измазанном мелом пиджаке, весь какой-то помятый и обтерханный.

Математик по ночам работал на почте и всегда появлялся с ворованными журналами. Они, эти журналы, всегда были странными, странными были и путаные речи математика.

Сколько я ни напрягался, все равно я не мог восстановить в памяти их смысл.

Много позднее, уже к концу года, я увидел других учителей.

Перед 8 Марта, странным днем советского календаря, когда даже название месяца пишется почему-то с большой буквы, учителя собрались в кабинете домоводства.

На свет явились доселе мной не виданные крохотные старушонки, плоскогрудые преподавательницы младших классов. Выползли, как кроты из своих нор, два трудовика.

Стукнули граненые стаканы с водкой, выписанной по этому случаю из соседнего магазина. Остроумцы приступили к тостам. Я тоже сказал ка-

кую-то гадость и сел на место, продолжая спрашивать себя: «Зачем я здесь?»

Стало светлее. Стаял снег, и я обнаружил, что тропинка, по которой я ходил в школу, была вымощена бетонными плитами. Отчего-то это открытие поразило меня.

Я продолжал все так же ездить в школу, входить в светлеющий утренний класс, но странные внутренние преобразования происходили во мне самом. В какой-то момент я понял, что научился некоторым учительским хваткам.

Это не было умением, нет. Похоже это состояние было скорее на чувство человека, освоившего правила новой игры.

А в школе происходили перемещения, шла неясная внутренняя жизнь. Она не касалась меня.

Однажды я заглянул в учительскую и обнаружил там странное копошение.

Оказалось, что учительницы разыгрывают зимние сапоги. Происходило это зловеще, под напряженный шепот, и оставляло впечатление какой-то готовящейся гадости.

Одна дама со злопамятной морщиной на лбу тут же, у двери, рассказала мне историю про учительскую распродажу, про то, как сеятельницы разумного, доброго, вечного с визгом драли друг другу волосы и хватали коробки из рук.

Рассказчица говорила внятно, четким ненавидящим голосом.

Сапог ей не досталось.

Кстати, после дележа выяснилось, что одну пару сапог украли...

Сидя за партами, мальчики и девочки смотрели на меня, ведая об этой особой жизни, и наверняка знали о ней больше меня. Они смотрели на меня беспощадными глазами учителей, ставящих оценку за поведение. Иногда их глаза теплели, иногда они советовались со мной, как сбежать с уроков.

Впрочем, и учителя внезапно выбрали меня председателем стачечного комитета несостоявшейся забастовки...

Однажды я сидел на уроке и отдыхал, заставив учеников переписывать параграф из учебника.

Солнце било мне в спину, в классе раздавались смешки и шепот. Почему-то меня охватило чувство тревожного, бессмысленного счастья.

И чего это я радовался...

В этот момент я читал воспоминания одного литературного чиновника. Я читал их и представлял свою дорогу домой — на автобусе, затем метро и снова путь пешком.

Нищие, надо сказать, наводнили город.

Они наводнили город, как победившая армия, и, как эта армия, расположились во всех удобных местах — разматывая портянки, поправляя бинты и рассматривая раны.

Один из них сидел прямо у моего подъезда и играл на консервной банке с грифом от балалайки. От него пахло селедкой, а звук его странного инструмента перекрывал уличный шум.

Пришел любимый мой месяц, длящийся с пятнадцатого марта по пятнадцатое апреля. Начало апреля стало моим любимым временем, потому что апрель похож на субботний вечер.

Школьным субботним вечером я думал, что у меня еще остается воскресенье.

А после прозрачности апреля приходит теплота мая, лето, праздники и каникулы.

Апрель похож на субботу.

В этом году он был поздним, а оттого — еще более желанным.

На каникулы школьники отправились в Крым, а я с ними.

В вагоне переплетались шумы, маразматически-радостным голосом дед говорил внуку:

— У тебя с Антоном было двадцать яблок, ты дал Антону еще два...

К проводнику же приходили из соседних вагонов товарищи и однообразно шутили-кричали:

— Ревизия! Безбилетные пассажиры есть?!

Ходили по вагонам фальшивые глухонемые — настоящих глухонемых мало. Фальшивые заходили в вагон и раскидывали по мятым железнодорозным простыням фотографические календарики, сонники и портреты Брюса Ли.

Поезд пробирался сквозь страну, а я думал о том, что вот вернулись старые времена, вломился в мой дом шестнадцатый год, и так же расплодился колдуны и прорицатели, и вот уже стреляют, стреляют, стреляют...

Настал день последнего звонка. Во внутреннем дворике школы собрали несколько классов, вытащили на крыльцо устрашающего вида динамики, а директор спел песню, аккомпанируя себе на гитаре. Вслед за директором к микрофону вышла завуч и заявила, что прошлым вечером у нее «родились некоторые строки».

Я замер, а подъехавшие к задним рядам рокеры засвистели. Завуч тем не менее не смутилась и прочитала свое стихотворение до конца. Плавающие рифмы в нем потрясли мое воображение, и некоторое время я принимал его за пародию.

Праздник уложился в полчаса. Побежал по двору резвый детина с маленькой первоклашкой на плечах, подняли свой взор к небесам томные одиннадцатиклассницы, учителей обнесли цветами...

И все закончилось.

Через несколько дней я встретил завуча в школьном коридоре.

Улыбаясь солнечному свету и ей, я остановился.

— Почему вы вчера не вышли на работу? — спросила меня завуч. — Вы еще не в отпуске и обязаны приходите в школу ровно к девяти часам, а уходя, отмечаться у меня в журнале.

Я поднялся на третий этаж и открыл дверь своим ключом.

В пыльном классе было пусто и тихо.

Я посмотрел в окно и увидел, как по длинной дорожке от остановки, по нагретым солнцем бетонным плитам, мимо школы идет юноша в очках. В одной руке юноша держал тубус с чертежами, а в другой — авоську с хлебом.

Проводив его взглядом до угла, я достал лист бумаги и положил перед собой. Лист был немного помят, но я решил, что и так сойдет. Еще раз поглядев в окно, я вывел:

Директору школы № 1100
г. Москвы Семенову П. Ю.
от Березина В. С.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу уволить меня по собственному желанию.

Затем я поставил дату и расписался.

МАЙОР КАЗЕЕВ

На Москву навалился внезапный снег, стали белыми крыши.

На той, что напротив моего окна, видны снежные вмятины.

Они были похожи на след упавшего дворника.

Говорят, что снег не падает на сухую землю.

Значит, в природе что-то изменилось, сначала октябрь поменялся местами с сентябрем, и вот теперь неожиданным воскресеньем выпал снег.

Зима сразу сменила осень, а осень была долгая-долгая.

Еще случился у моего кота день рождения.

Я купил бутылочку водки и пришел домой.

Мы с дедом нарезали тонкими ломтиками кусочек желтого сала и чокнулись. Кот смотрел на нас зелеными немигающими глазами.

В квартире было тепло и пахло промокшей известкой от потолка, гречневой кашей с кухни и пылью — от кота.

Тем же вечером мне позвонил давний и старший товарищ, бывший прапорщик Евсюков. Евсюков служил егерем далеко-далеко от Москвы и вот приехал к нам в гости.

Но был еще и другой повод для звонка.

Надо было помочь Бортстрелку.

Впрочем, звали его просто Стрелок.

Стрелок получил квартиру, и теперь нужно было перетащить его нехитрый скарб через несколько улиц. Нужно было бережно посадить на этот скарб его жену и ветхую бабушку, и нужно это было сделать в субботу, потому что Стрелок уже договорился о машине.

Я встал и, напившись пустого чая, надел свою старую офицерскую шинель со споротыми погонами.

В этом не было рисовки — на моей китайской куртке сломалась молния, а другой одежды у меня не было. А еще я надел крепкие яловые сапоги и стал похож на мальчишку-панка, потому что волосы у меня успели отрасти.

Я шел к метро и поймал себя на том, что невольно твердо, плоско подошвой ставлю ногу.

Это была вечная армейская память о топоте подкованных сапог на плацу, когда моя ладонь дрожала у виска и мимо плыла трибуна с гербом.

За мной точно так же, как и я, сто двадцать раз в минуту бил в асфальт коваными сапогами мой взвод.

И вот время строевого шага ушло.

Что-то окончательно подгнило в русском государстве, и я видел, как изменились часовые Мавзолея.

Они вылезали из-за елок и так же исчезали, сменив церемониальный шаг на быстрый топоток.

Через три дня после описываемых событий они пропали совсем.

Тогда мне говорили, что я мрачен и похож на танк Т-80, ведущий огонь прямой наводкой по Белому дому.

Об этом мне говорили часто.

Я видел эти танки.

Из стволов вылетали снаряды двенадцати с половиной сантиметров в диаметре и разрывались внутри здания.

Из окон вылетала белая пыль, и порхали птицами какие-то бумаги.

Несколько десятков тысяч зрителей разглядывали это действие, а над головами у них время от времени жужжало шальное железо.

Над всеми, золотые на белом, застыли, показывая три минуты одиннадцатого, равнодушные часы.

А я вовсе не был мрачен, я шуршал листвой у Нового Иерусалима, я шел вместе с женщиной, которую любил, вдоль железной дороги по сухой тропинке.

Мы грели еду в холодной пустой даче, а в это время в Москве еще стреляли и отстреливались.

Старые дачные часы печатали маятником шаг и, казалось, отбивали комендантский час...

Улицы вокруг были все знакомые — рядом стояли авиационные заводы, МАИ, Ходынка, Центральный аэродром и суровые здания секретных КБ.

Названия вокруг были — «Аэропорт», «Аэровокзал», даже метро «Сокол» казалось чем-то авиационным.

Из окон старой квартиры нашего приятеля были видны одни предприятия, а из новой — другие, но суть была та же.

У подъезда стояла старая заводская машина, и у ее борта переминался бывший прапорщик Евсюков. В комнате, перевязывая последние коробки с немудреным скарбом, суетился Стрелок, а жена его уже ушла на новое место их жизни.

Следующим, кого я увидел, был майор Казеев.

Впрочем, он давно не был майором, но звание прикрепило к его фамилии намертво.

И мой рассказ — о нем.

Все молчаливо признали начальство майора и взялись за тяжелое и легкое.

Мы быстро погрузили и разгрузили вещи и быстро подняли их по узкой лестнице на четвертый этаж.

Маленькая компания таскала вещи споро и ухватисто, перетаскав их множество в прошлой жизни, и скоро закончила работу.

Новая квартира Бортстрелка была вдвое меньше, чем его прежняя комната, и, когда мы наконец уселись вокруг крохотного стола, мне не хватило стула.

Пришлось устроиться на новеньком белом унитазе.

Но, опять же, мой рассказ не об этом застолье, а о майоре Казееве.

Майор Казеев в своей прежней жизни служил в войсках постоянной боевой готовности.

И он был готов к своему назначению всегда.

Майор Казеев всматривался в жизнь через зеленое окошко радарного индикатора, и жизнь его была крепка.

Он даже позволял себе выделяться трезвостью среди других офицеров.

Его перевели под Москву, и маячила уже академия, когда его вызвали и предложили командировку.

Это была непростая командировка.

Нужно было лететь на восток, а потом на юг, одевать чужую форму без знаков различия, а в это время его зенитно-ракетный комплекс плыл по морю в трюме гражданского сухогруза.

Потом майор Казеев внимательно всматривался в знакомые картинки на экране локатора, и пот ручьями стекал на панели аппаратуры.

Чужая земля лежала вокруг майора, чужая трава и деревья окружали его, и лишь координатная сетка перед его глазами была знакомой.

Зеленые пятна на ней перемещались, и теперь майор знал, что за каждой из этих точек — самолет, в котором сидят такие же, как он, белокожие люди, и еще он знал много другого об этих самолетах.

Зенитно-ракетный комплекс вел огонь, а потом майор со своими товарищами рубили кабели топорами, и мощный тягач перетаскивал комплекс на новое место.

Часто они видели, как на старое ложились ракеты, выпущенные белокожими людьми из своих самолетов.

Однажды при перемене позиции на майора Казеева упал металлический шкаф с аппаратурой.

Майор потерял способность к нормальному передвижению, а на следующий день к нему приехала инспекция.

Инспекция состояла из пяти генералов, каждый из которых гордо нес на груди по несколько звезд.

Звезды были большими, а генералы — маленькими.

Они лопотали у майора над ухом, мешая сосредоточиться.

Ракета ушла в молоко, а цель была потеряна, потому что бомбардировщик поставил активную помеху.

Экран перед майором мельтешил точками и линиями, а цель исчезла.

Майор подбирал нужную частоту, генералы говорили о чем-то своем, и вот на экране снова возникла точка отдельно летящего бомбардировщика, по которому он промахнулся. Внезапно точка разделилась на две — одна осталась на прежнем месте, а другая, меньшая, начала путешествие в сторону майора Казеева. Это была самонаводящаяся ракета «Шрайк», охотница за зенитчиками.

А между тем майор увидел, что весь обслуживающий персонал, пятеро генералов и их спутники, покинули его и бросились к вырытому вдалеке окопчику.

Майор не мог двигаться, и надеяться ему было не на что.

Он стал сбивать ракету с курса, включая и выключая локатор, уводя своего врага в сторону от направления излучения.

Все, кроме азартного состязания, перестало существовать.

Он обманул ракету, она отвернула от комплекса и попала точно в окоп с маленькими желтолицыми генералами.

Когда над окопом взметнулось пламя, он понял, что прежняя его жизнь кончилась.

Его вернули на родину и уволили из армии по здоровью.

Новая жизнь началась для майора. Он вернулся в свою квартиру, оказавшуюся вдруг не вне, а внутри Москвы.

Майор вставал по привычке рано и начинал блуждание по улицам.

Спал он спокойно, и во сне к нему приходили слова из его прошлой жизни.

Слово «дивизион» и слово «станция». Слово «боезапас».

Эти слова шуршали в его снах, как шуршат газетой тараканы на ночной кухне.

Медленно проплывало совсем уже невообразимое «фантастрон на пентагриде».

Майор Казеев любил эти сны, потому что, пока его измученное лихорадкой тело лежало на влажной простыне, рука нащупывала на невидимой ручке управления кнопку захвата цели.

Кнопка называлась «кнюппель», и это слово тоже приходило к майору Казееву ночью.

Друзья помогли ему устроиться на завод.

Завод был режимный, почтовый ящик, и располагался среди десятков таких же заводов и предприятий.

И еще завод был авиационным.

Сперва майору Казееву было непривычно создавать то, что он привык уничтожать в воздухе, но выбирать не приходилось.

Впрочем, слово «оборона» было не хуже слова «армия».

Он хорошо работал — руками и головой — и притерся к новой жизни.

Но все же это было что-то не то.

Одинокого, его любили посылать в командировки, теперь уже простые, хотя в его паспорте все время лежала серая бумажка допуска.

Майор любил эти казенные путешествия поездом или военно-транспортным самолетом — обычно на юг, в жару летно-испытательного полигона.

Однажды майор Казеев познакомился с вдовой погибшего летчика и просто сказал ей: «Пойдем». Женщина легко оставила военный городок посреди степи и выжженное солнцем кладбище у летного поля.

Новые товарищи майора работали хорошо, и многие были влюблены в свои самолеты. Майор был равнодушен к самолетам, но ракет он не любил тоже.

Дело было даже не в том, что, глядя на подвеску самолетов, он примеривал их на себя или на других зенитчиков.

Просто охотники не влюбляются в патроны.

Они любят ружья.

А ракетчики не любят ракет.

Майор Казеев любил не ракеты, а момент ее подлета к цели, когда запущен радиовзрыватель и через несколько секунд зеленая точка на экране начнет уменьшать одну из своих координат — высоту.

И теперь он спокойно смотрел на самолеты и на те тонкие длинные тела, которые крепились у них под крыльями.

Его дело было — сбивать самолеты, а не строить.

А ракет он не любил.

Зато он любил работу на стенде, то, когда он спокойно глядел в окошечко шлейфового осциллографа и щелкал тумблерами.

Надев маску с лупой на глаза, он сидел в канифольном дыму.

Точность вернулась в его руки — вернее, в кончики пальцев. И вернулись некоторые слова — не все. Но вернулся даже странный фантастрон.

Эта точность нашла вдруг странное применение.

Друг попросил его сделать колечко из старого полтинника. Для того чтобы переплавить монетку и отлить колечко, понадобилось всего полтора часа.

Через месяц-другой приятель принес серебряный стаканчик. На стаканчике ящерица гналась за паучком. Паучок не мог убежать от ящерицы — лапки его уничтожило время.

Майор Казеев оснастил паучка лапками, и теперь они с ящерицей совершали вечное перемещение по стенкам стаканчика.

Работа с серебром нравилась майору все больше и больше.

Хозяева брошей и колец откупались от него водкой, которую он приносил нам.

Майор по-прежнему не пил.

Если работы не было, он сидел и рисовал закорючки на листе бумаги. Они соединялись в кольцо или ожерелье, и это соединение должно было быть точным. Тонкие нити серебряной проволоки, как и линии вольт-амперных характеристик, были понятны майору Казееву.

Это был его язык, родной и простой, но не было в его работе опасности. Линии не состязались с майором в уме и проворстве.

Однажды друг привез к нему женщину в шубе.

Женщина положила на стол ожерелье.

Экзотический сувенир, память о туристической поездке, серебряное ожерелье было сделано на Востоке.

Маленькие Будды были его звеньями, они улыбались маленькими губами и сводили по-разному маленькие тонкие руки.

Но цепь разорвалась, и один из человечков отлучился навсегда.

Майор Казеев несколько часов смотрел на тридцать серебряных человечков. Он смотрел на них не отрываясь.

Ночью майор снова искал рукой ручку с кнопкой, и перед его глазами стояли деревни с отрывистыми названиями да разбитые, но улыбающиеся каменные Будды.

Жена печально клала ему ладонь на лоб, и тогда он успокаивался. Следующим днем было воскресенье. Майора позвали к телефону.

Что-то изменило ему, и он, привыкший все делать сам, попросил жену кинуть цепочку в чашку со слабым раствором соляной кислоты.

Майор хотел просветлить серебро и убрать грязь.

Он ушел, а его жена перепутала бутылки и погрузила ожерелье в царскую водку.

Тридцать маленьких Будд все так же улыбались, соединяясь с HCl и HNO_3 .

Вернувшись, майор Казеев сразу понял, что произошло.

Голова его заработала ясно и четко, будто он увидел на экране радара американский бомбардировщик.

Он сел за рабочий стол и положил перед собой чистый лист бумаги.

Занеся над ним автоматический карандаш, он несколько раз нажал на кнопку, будто бы захватывая цель, и начал рисовать.

В понедельник он пошел на заводскую свалку. Там, со списанной электроники, он почти не таясь ободрал серебряные контакты и вернулся домой.

Через неделю приехала заказчица.

Она не заметила подмены и долго не понимала, почему ювелир не хочет брать с нее денег.

В этот момент майор Казеев понял, что он снова нашел нечто важное — уверенность.

Он сразу же забыл лицо заказчицы, потому что главное было найдено, это было ему ясно видно, как попадание в цель на экране радара, — уверенность в себе не покинет его никогда.

И вот теперь он сидел за столом вместе с нами.

Бортстрелок надел песочную куртку от своей старой формы, и я предсказал, как потом он будет дергать струны и серебряно-голубой рыбкой будет биться у него на груди медаль.

Устраиваясь поудобнее на своем унитазе, я знал уже, как хозяйка будет сыпать по тарелкам картошку.

В этот момент, думая о Казееве, я понял, что его отличало от многих людей, виденных мною в жизни.

Майор Казеев не умел ничего делать плохо.

Мы оставили государство, набитое танками и ракетами. Это государство, как дипломат с откушенной головой, еще двигалось по инерции, но уже разваливалось, падало набор.

Мы оставили рычаги и кнопки смертоносных машин, а за наши места сели халтурщики.

И в жалости по этому поводу не было проку.

Нам остался устав, правила поведения, и они не имели отношения к конкретному государству.

У каждого из нас была своя история и свое прошлое.

Вместе мы образовывали одно целое, и поэтому недовольство не проникало к нашему столу.

А что погон у нас нет, так это ничего.

КОРМЛЕНИЕ СТАРОГО КОТА

Февраль похож на весну. Эта фенологическая мысль посещает меня при разглядывании солнечного дня за окном. Плакатное голубое небо, золотой отсвет на домах — в такую погоду опасно, как в известной песне — волнам, предаваться философическим размышлениям.

Однако — холодно. В середине февраля ударили морозы, да такие, что я пробегал по улице быстро, зажимая ладонью дырку в штанах.

Морозный и весенний февраль в этом году.

Я сменил жилье, переехал в маленький четырехэтажный домик рядом с вечной стройкой.

В этой квартире умерла моя родственница, оставив семье рассохшуюся мебель и множество своих фотографий в девичество. Квартира эта была выморочной, как перезаложенное имение.

Скоро ее должны были отобрать.

Пока же по стенам там висели портреты человека с орденом Красного Знамени в розетке.

Был и человек с трубкой — но пропал не так давно.

Еще унаследовал я kota — пугливого и пожилого.

Именно здесь, глядя из окна на незнакомый пейзаж — серый куб телефонной станции, офис без вывески и мусорные ящики, — я открыл, отчего февраль похож на весну.

Он похож на весну оттого, что нет в Москве снега.

А День Советской Армии переименовали в День Защитника Отечества.

В наступающих сумерках по Тверской двигалась демонстрация. Красные флаги вместе с черными пальто придавали ей зловещий вид.

Продавцы в коммерческих киосках споро собирали свой товар и навешивали щиты на витрины. Я купил у них бутылку водки и пошел домой.

Там моя жена уже варила гадкие пельмени. Пельмени эти снаружи из белого хлеба, а внутри из черного.

Друг мой тоже принес какую-то снедь, и, сразу захмелев, все присутствовавшие вспомнили фильм нашего детства, где советский разведчик пек картошку в камине.

Тогда мы запели «Степь да степь кругом» — протяжно и хрипло.

За окнами зимний вечер расцветал салютом, а мы тянули печальные солдатские песни.

Длился и длился этот час в начале масленицы, час, за которым открывался новый день, спокойный и пустой.

Наутро я пошел по своим хозяйственным делам.

Я шел мимо нищих. Были, впрочем, и не нищие.

В Москве откуда-то появилось много цыган.

Нет, не то чтобы их не было раньше, но новые цыгане были другими.

У здания гостиницы «Белград» хорошо одетых прохожих окружали стайки детишек, мгновенно вырывая сумки, сбивая шляпы, и тут же исчезали.

Обороняться от них было невозможно.

Единственное, что имело смысл, так это схватить самого неуклюжего, и тогда в ближайшем отделении милиции состоится обмен малыша на принесенные цыганским бароном вещи.

Одна иностранка, изящная молодая девушка, когда ее окружили толпой цыганята, начала хладнокровно расстреливать их из газового баллончика.

Была она изящная, можно сказать — грациозная.

Потом я узнал о ней много другого.

Губы ее были на службе у правительства.

Того, далекого, правительства.

Официально она занималась Мандельштамом и Пастернаком, но эти занятия пахли чеченской нефтью и артиллерийским порохом.

Еще ее интересовал Афганистан.

Мы говорили о нем и о русской литературе, а мой одноклассник уже шестой год лежал в горной местности, где топонимы раскатисты, как падение камня по склону.

Вернее, он был рассредоточен по одному из таких склонов, но это не тема для разговора с иностранкой.

Каждый день я хожу мимо нищих.

Нищие приходят на свои места, как на работу, в урочное время, расшариваются, расчесывают, готовясь, свои язвы.

Они курят, будто солдаты перед боем, и переговариваются:

— Твои пошли, я беру на себя левого...

Однажды, на Мясницкой, я забрел в блинную.

Пухлая деревянная баба в кокошнике печально смотрела со стены.

Облезлый кот грелся у батареи, и он был похож на моего старого кота.

И это было место кормления нищих.

Напротив меня сидел кудлатый старик и переливал чай из одного стакана в другой, щурился, закусывал принесенной конфетой. Еще один, в кавалерийской шинели, сидел справа, двигал под столом ногой в валенке.

Нищие хмуро смотрели на деревянную бабу, прикидывая дневной заработок.

Блины наши были покрыты одной и той же жидкой кашницей яблочного сула.

И мы были одной крови — я и они.

Итак, я шел мимо нищих, мечтая, между прочим, заработать сколько-нибудь денег.

Для этого мне нужно было пройти под железнодорожным мостом, гудящим от электричек, пересечь скверик и войти в арку большого старого дома.

Нужно было бы идти дальше, но на моем пути возник покойник. Он лежал аккуратно, но в неудобной позе.

И по виду он был тоже нищим.

Окровавленный палец выбился из-под дерюжных покровов, и покойник грозил им кому-то.

Впрочем, никого не было.

Из подъезда вышла старуха и сурово сказала:

— Убили. Вчера еще.

— Ну-ну... — ответил я и пошел дальше через двор, чтобы заработать немного денег.

Это печальная история, я расскажу другую.

Это будет история про кота.

Однажды у меня поселился кот. Это был толстый, лохматый кот Васенька, десяти лет от роду. Это был кот моей двоюродной бабушки. И это был партийный кот, который питался исключительно партийным мясом из партийного распределителя.

Однажды он съел макаронину, и его вырвало.

Так он жил у нас, пока хозяйка лежала в больнице. Наконец настала пора отправлять его обратно.

Я уминал кота в сумку, как тесто в квашню. Из сумки торчали голова и задняя лапа.

Кот хмуро рассматривал прохожих.

В воздухе пахло черемухой и духами. Женские платья, противно законам физики, уменьшались в размерах с ростом температуры.

Я так подробно рассказываю это оттого, что зимой хорошо вспомнить летнее тепло.

Итак, по аллее Миусского сквера шла молодая мать и курила, волоча за собой детскую коляску. Табачный дым был похож на дым паровоза с прицепным тендером.

Кот молчал и смотрел на троллейбусное гнездо имени Щепетильникова.

Я тащил кота в сумке, где, под ним, в газетах, лежало партийное мясо.

А в нашем доме от кота остался клочок шерсти на диване и болотный запах.

Но оказалось, что мы снова встретились с ним.
Хозяйка кота умерла, и он достался мне в наследство.
Была в нем, видимо, моя судьба.

Так вышло, что в детстве у меня не было никаких животных — ни собаки, ни черепахи, ни попугая, ни хомяка.

Теперь у меня появился кот.

Звать его теперь стали Василий Васильевич Шаумян.

Моего подопечного отличало то, что он вошел в мою жизнь печальным дедушкой, испуганным старичком.

Коту минуло уже тринадцать, и он встретил свой день рождения лохматым некастрированным девственником.

Нечто мистическое было в этом существе.

Ранним утром я вышел в коридор и увидел его стоящим на задних лапах. Кот в одиночестве учился прямохождению.

Нет, я слышал от одной девушки историю о кошке, которая открывала холодильник, доставала яйца и целыми тихо клала в хозяйские тапочки. Но кот, который на старости лет учится ходить на задних лапах, — это слишком.

Как-то я заметил, что он сидит перед мышью и грозит ей лапой. Поймать ее он не мог.

Был он также невоспитан, гадил где придется и удивлял всех безмерной пугливостью.

Однажды он исчез, и мы уже прошлись по морозным февральским улицам в его поисках, уже повесили в подъезде объявление: «Кто приютил старого глупого кота...»

Уже разошлись не поднимая глаз по комнатам, уже всплакнули, уже печально легли спать, как я, замешкавшись, увидел несчастное животное.

Кот вылезал из-за буфета, где просидел сутки.

Сначала появилась задняя лапа, нащупала пол, за ней вылез хвост, появилась вторая лапа...

И тут Василий застрял. Он жалобно вскрикнул, и слезы навернулись мне на глаза. Никому-то он не нужен на этом свете...

Я вынул кота из-за буфета и посадил на ободранное кресло.

Будем вместе жить.

Однажды моя иностранка подвозила меня домой и зашла посмотреть на кота.

Кот испугался ее и сразу спрятался в безопасное место — за буфет.

В квартире было тихо. Моя жена куда-то уехала, а друг пошел в гости — к своей бывшей жене.

Через некоторое время я понял, что лежу и гляжу в потолок, глядя свою гостью по волосам. Это давно и хорошо описанная сцена, и об этом я больше ничего говорить не буду.

Кот все же вылез из-за буфета и жалобно, по-стариковски мяукнул. Шлепая босыми ногами, я пошел на кухню и достал из холодильника кусок рыбы.

Кот ел воровато оглядываясь — он боялся моей гостью.

Иностранка подошла ко мне сзади и облокотилась на мое плечо. Спиной я чувствовал прохладу ее кожи.

Понадобилось еще много дней, чтобы кот привык к ней, но через месяц он даже начал брать еду из ее рук.

За это кот хранил нашу тайну.

Как-то я сидел на столе и наблюдал за ними — старым дряхлым котом и красивой молодой женщиной, не в силах понять, чем она займется сегодня — русской поэзией, шпионажем или любовью.

Но пока мы, странно связанные, были вместе.

Я расскажу еще одну историю. Чем-то она напомнила мне историю кота.

Еще через некоторое время я поехал в совсем другое место, правда, с прежней целью — заработать несколько денег.

Я перемещался по длинному переходу между станциями, где играют на гармонике и продают газеты.

На гармонике играл нищий, похожий на Пастернака. Он сурово смотрел на толпу, бредущую мимо него, и выводил вальс «На сопках Маньчжурии».

Он стоял на одном конце перехода, а на другом сидел нищий, похожий на Мандельштама. Мандельштам не играл и не пел, а просто сидел с протянутой рукой, уставившись в пол. Голова Мандельштама поросла грязным пухом, и он был невесел.

Перед мраморной лестницей меня встретил печальный взгляд. Уворачиваясь от людского потока, стоял на костылях молодой инвалид.

Я подошел к инвалиду, и он улыбнулся.

Прижав костыли к груди, он обнял меня за шею, нежно и бережно, как девушка.

Был он странно тяжел и пригибал меня к земле.

Когда я начал задыхаться, инвалид принялся шептать мне на ухо: «Терпи, братка, терпи, еще долго, долго идти, экономь силы, силы надо экономить...»

Непросто в мире все, очень непросто.



ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

*

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ И СЛЕЗ

Выход

выйди ночью из дома под дождь если хочется плакать
нацепив грубый вязаный свитер на голую кожу
выйди ночью из дома под дождь если хочется выпить
а на кухне подруга твоей заигралась любовью

выйди ночью под дождь если дом оказался капканом
выбирайся сама по себе изувеченным зверем
к изголовью метро на глазах просвещенных прохожих
утирай шерстяным рукавом атмосферные слезы

выйди ночью из дома под дождь если некуда деться
только синий троллейбус способен тебя успокоить
только красный трамвай только белая скорая помощь
только черные рельсы испытанный транквилизатор

выйди ночью на млечный проспект полюбуйся на кошек
посиди между ними на мокрой зеленой скамейке
пусть научат тебя безболезненно жить на свободе
выйди ночью под дождь ибо это единственный

ВЫХОД

Августовской Москвой

августовские любовники в красных рубашках
с полуоткрытыми ртами

И. Бродский.

Москва отдыхает бесстыдно в августовских объятьях
при современных онегиных вронских штольцах
августовские девочки плачут о подвенечных платьях
августовские женщины об обручальных кольцах

августовские супруги спешат разорвать со страстью
в августовском Эдеме окно до земли открыто
в каждом московском любовнике в августе виден мастер
в каждой московской любовнице маргарита

эмма марина клер и соланж в зависимости от типа
личности отношений но это уже вторично
августовская любовь либо августовская липа
либо она фатальна зла и эгоцентрична

августовской порой словно вирус в московских венах
 в поисках счастья которое обронила
 просишь судьбу чтобы в августовских же стенах
 снова свела с кем насмерть соединила

L'enVIE

как всякий упавший с луны я схожу здесь с ума
 входящие в ад оставляют надежду в прихожей
 бесплодием боли на нет себя сводит сама
 по-пытка не помнить тебя неслучайный прохожий

этап расставания ссылка в себя как в сибирь
 где дни тяжелы как огромные белые камни
 и падает в сумрак слезами протертый до дыр
 звезда как удолбанный супрематический ангел

звезда за звездой из созвездия белых ночей
 забытого где-нибудь в верхнем течении леты
 попавший под скорую руку душевных врачей
 эдем то есть наши сплетенные корни и ветви

и мы не рабы но неверные рыбы любви
 хрипим и хватаем губами непрошенный воздух
 желанное дно под ногами и жабры в крови
 и разные очи над нами и разные звезды

* *
 *

выбрось монетку — на счастье несчастье а все же
 выбрось твоя ностальгия не стоит гроша
 больно душа вылезает из прожитой кожи
 долго и муторно куртку меняет душа

кто положил что призвание сердца веками
 биться в закрытую дверь так что из носу кровь
 ты научилась любить и не трогать руками
 ты понимаешь что это уже не любовь

бредя подводным течением орфеевых песен
 и отпеванием в лету стекающих дней
 рвешь без оглядки тернистые бредни депрессий
 плачешься не плачешься а смотришь
 туда где видней

«Я не то что схожу с ума...»

альтер эго

Я не то что схожу с ума, но, устав за зиму
 от черного цвета платьев, от белого цвета окон,
 не в силах себе представить иной картину,
 в очередной надрыв продираюсь боком:

между печалью, болью, вымыслом, дурью, лажей
в узкий пробел протискиваюсь устало.
Я не то что схожу с ума, но, меняя кожу,
я не то что... не то... я боюсь, что меня не стало.

Вместе с тобой когда-то я потеряла имя,
и уже ни за что не вспомнить, как меня звали прежде,
и никому — другие зовут другими,
неправда, что дело не в имени, не в одежде.

Я не то что схожу с ума, но устала бежать по кругу,
помнить чужие книги, петть не в своем регистре.
Жизнь научила нас подходить друг другу,
не приближаясь при этом более чем на выстрел.

И, пытаясь пробраться в себя на словах, а значит,
отыскать тебя по адресу этой речи,
я не то что схожу с ума, но безумно хочу назначить
внесловесное место, местное время встречи.

* *
*

серый день натяни словно серый чулок
запоздавшего сна в одеяла заройся
в этом городе каждый как ты одинок
приучайся платить за пустое геройство

о любви — не пытайся создать сотворить
и тэ дэ и тэ пэ если нет априори
так о ней говорят ни к чему говорить
ведь она умирает в глухом разговоре

а тоска по родным берегам все равно
что тоска по любви не случилось которой
лучший выход из памяти выход в окно
шаг в пространство под времени скорый

или выход в стихи малодушный побег
от себя приводящий к себе неизменно
замыкается круг возвращается снег
под мостом Мирабо тихо катится Сена

ждешь кого-то но голос сорвал телефон
встреча повод к разлуке а к вечеру утро
бытие (место время и действие — фон)
до ума доведенное чувство абсурда

The little girl lost¹

взрослая девочка теперь тебе ничего не нужно
и не для кого пожалуй что все это городить
все обезболено все на корню застужено
все что могло болеть ну хватит хорош хандрить

¹ В. Блейк, «Маленькая девочка потерялась».

грустная девочка ходит глядит потерянно
тебе говорят кокетка — ты просто смотрела сквозь
тебя утешают мол все это молодо-зелено
как будто не видят что нет и не будет слез

что осадков — не слышат — не ожидается и по области
даже литературных то есть которых нет
что все это называется патологическое одиночество
когда ты на собственный голос выходишь в свет

ты пыталась уйти от любви к тому кто тобой не болен
глупая девочка ты ушла от любви
и когда связистка вещает неправильно набран номер
ты говоришь ну вот это голос самой судьбы

и другим отвечаешь нет вы не туда попали
это не так но у них-то видать собрания номеров
и повзрослела слышится как устала
от графоманских романов
от мертвых слов

По поводу хорошей погоды

Весна. (О да!) И сухо, и легко.
Но это все, конечно, не причина
чернила проливать, как молоко,
переводя природу — в мертвечину.

Весна. (Какой удобный механизм!)
Попробуй оглянуться. (Рифма — плетка!)
Весна обозначает оптимизм,
а почему... пусть Фрейд ответит четко.

Весна. Ну вот. А что еще сказать?
Что временно покинуто подполье.
Что можно не строчить и не вязать,
разинуть шкаф — и расквитаться с молью.

Что можно угодить в водоворот.
(А лучше сразу броситься под поезд.)
Что просто нужен резкий поворот,
ну если не роман — хотя бы повесть.

Весна. Но, слава богу, до поры,
до времени каких-нибудь осадков.
И — снова не вылезать из норы,
чтоб волосы забыли об укладках,

а главное, глаза — о зеркалах,
саму себя раскладывать на части,
писать стихи, запутаться в делах,
не думая о выдуманном счастье.

По поводу первого снега

Покров посыпал снегом желтизну
и блеклость простудившейся округи.

Но, несмотря на все его потуги,
река и лужи неподвластны сну.

По лужам я и шествую к подруге.
(Потом мы вместе бродим по дороге,
растаптываем листья, месим грязь
и час, и два, и три, разговорясь.

Хотя, конечно, промокают ноги.)

На небе, словно чуждый чарам челн,
мелькает ворон, голосист и черн.
А может быть, ворона. Но — увы —
иду, не поднимая головы.

Как будто век учусь или учу,
мой разум от чужих ломится слов.
Осенняя пора... пора к врачу.
И под ногами хлюпает покров.

Неподражание

превозмогая желанье сознанием невозможности
в месте где резко расходятся противоположности
после сближения видишь прозрачный край
и не по-русски думаешь ду ю край
и принимаешь меры предосторожности
ввиду безответности тщетности безнадежности
срыва в места заключения своей любви
и не по-русски думаешь се ля ви
остается глушить тоску по родным болотам
по родным костелам пескам площадям да что там
по маяку волнорезу по первым родным вообще
видеть себя у моря в чужом плаще
и повторять напряжно с завистливой болью в горле:
«Я родился и вырос в балтийских болотах, подле...»

Послание

Уходи. Я тебя не люблю.
Уходи, мне не нужен пьеро,
лучше пса в переходе куплю,
одиночество — перескриплю,
перееду последним метро.

Надоело. Давай без соплей,
уйди, я хочу на Арбат,
без тебя — без тебя веселей,
отвяжись от меня, дуралей,
отвали, неудачливый брат.

Уходи без иллюзий и слез,
без наркоза — за это прости,
и не надо навеки всерьез,
обойдется без всяких колес,
и получится перерастить.

Уходи, я сказала. Кретин.
Лопоухий дворняга... Пошел!
Ты не первый, и ты не один.
Закрываюсь. Учет. Карантин.
Уходи. Неудачное шоу.



ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО

В МАЛЕНЬКОЙ СТОЛОВОЙ НА КРАЮ ПУСТЫНИ

*** *

Киевский вокзал в цветах и тортах.
Если фонари включают рано,
получаются гомункулы в ретортах.

Проводницы, пахнувшие углем,
ласточками, вспаханной землею,
чем-то непопробованно-утлым,
Запорожьем, ночью и золою.

Ноль часов, секундный черный коллапс.
Я не выходила здесь ни разу.
Бабочка наматывает эллипс
на клубок светящегося газа.

И любовь прокалывает пальцы
быстро, как машинная иголка,
а потом кончается на рельсах
и блестит в бутылочных осколках.

*** *

Когда скользящую бутылочною ночью
в пустой троллейбус сретенский войдешь,
то кажется, случайно можешь сесть
к незримому кому-то на колени,
к давно ушедшему со света человеку
на рытвинном сиденье у окна.

И вот себе представишь, как он видит
фрагменты освещенных интерьеров,
лепнину, люстры, стены старых книг,
мирки уютных коммунальных нор
с лучистой нищетою голых кухонь.
Но Сретенка сойдет на нет, на площадь,
и в пади засияет Самотека,
как невозможность, брошенная в свет.

А впереди Большой канал проспекта,
и снова замелькают окна комнат
с достойным человеческим сиротством,
с мещанской дремой тех самаритянок,
что медленно во времени живут.

И постепенно за распутным Рижским
нас примет на себя Крестовский мост,
и развернется даль с ее путями,
с пронзительной сиренью семафоров,
Плеядами ночных прожекторов
притянет имя светлого Платона,
но ветки зачеркнут и это царство,
растительный орнамент чугуна
промчится, и в открывшиеся двери
он выйдет, этот странный имярек.
Слегка пройдет назад и повернет
навстречу колокольне и участку
закрытой одинокой глухоты.

* *
*

Что стоит за развеянной жизнью?
Что шуршащая римская осень
продает индульгенции в парках?
То, что сохнет вода дождевая
на рентгеновских снимках деревьев?
И доньне летают сильфиды
там, где балки разрушенных зданий,
а за окнами ровное небо,
точно шелк на каминных экранах?
Что литье на чугунных решетках
так похоже на кроны деревьев,

в чьих холодных угрюмых узорах
отлетевшие птицы зимуют?

В теле прошлого спрятано сердце,
безмятежно-прозрачное сердце,
где в пустых коронарных сосудах
протекает аморфное время.

По пути на базар из ломбарда,
видя остов бывшего трамвая,
хоть бы раз эту жизнь мы обняли,
притянули к себе, замирая.

Памяти О. М.

Кто небом проходил, взмутив лазурь, как воду,
неся заплечный груз пространных облаков?
Я попаду в сентябрь, пройдя по небосводу,
пустому, как простор хоперских казаков.

Пусть небеса полны невидимых субстанций —
прозрачных плавных рыб, бесполок юных тел, —
заусеницы звезд, задев орбиты станций,
стараясь сорвать целебный чистотел.

Но строгий карантин Пастером именуя,
Земля идет назад в зубчатый мир кротов,
смешно через стекло поцеловав больную,
не открывая дверь, не передав цветов.

Мир делает гробы, и вкусно пахнет стружкой,
мне этот парадокс до ужаса знаком,
и вот вечерний сад, плетенный на коклюшках,
застыл в крахмале дня и стал воротником.

Кто осень наделил холодной рыбьей кровью,
и есть ей не давал, и обносил вином?
Осенний мир горит ярчайшей блицлюбостью,
когда, отдав себя, ты плачешь об ином.

За спинами подруг, стоящих на атаке,
с астрологом на час, статистом молодым,
кто небо проходил в одиннадцатом классе?
Оно в чужих руках казалось голубым.

* *
*

Я узнала в музее бусы.
Я не видела их лет триста.
А стекла они голубого,
и мне стало ужасно больно.

Я жила на краю лагуны,
непонятная итальянка.
Захотев умереть от счастья,
я от горечи умерла.

Элегия

Я помню, как я сильно Вас любила.
Тогда земля ложилась и болела,
вся черная, в горчичниках листвы.

Я душу убережь свою пыталась
от Ваших комнат с книжными шкафами
и с пыльным осликом, висевшим на гвозде.

Я письма никогда не отправляла,
а, приходя, бросала прямо в ящик
в подъезде гулком, где на плитке пола
читалась надпись: «Мюр и Мерилиз».

Я никогда не позабуду вида
дождливых прутьев, голых, как и я,
скорбевшая на отмели постели.

Я до сих пор люблю туда звонить
и длинными спокойными гудками
ходить по дому в тишине дневной.

* *
*

И лежал он в своем глинобитном доме на овечьей подстилке так долго,
что любовь из груди испарилась, а похоть, как масло, прогоркла.

И сваялся, как войлок, колтун на затылке Катулла.
И остались, увы, без ответа стихи и шкатулка.

Если камни запястий умеют блестеть на манер скарабеев,
куртизанки по-детски хотят их иметь
от шумеров и римлян, критян, египтян и евреев.

Ошельмованный Пульхрой, желтухой любви и стихами, застрявшими
в горле,
он качался в бредовой корзине, в которой качались и мерли
золотые поэты, тяжелые мальчики цвета сожженного сердца,
испытавшие кванты любви и терцины в течение терций.

В ежевике огней и в морошке предсмертного света
то им Лета петляла, как лента, то лента — бездушней, чем Лета.

* *
*

Все спать легли. Москва в полночной шкуре
из рек своих жестоко пьет.
Ей душно в нынешнем июле
у Сретенских ворот.

Ей тошно колесить в Каретном,
где в парке пыль и курослеп,
а чтоб забыться сном, наверно,
мешает свет.

Все спать легли в моей Гоморре,
трудом утомлены,
напившись нежности и крови,
и видят медленные сны.

И вот отпущенной женою
вхожу в партер Москвы пустой.
Я дара этого не стою,
чрезмерный город мой.

* *
*

Дух отлетевший проданной дачи так далеко.
В сумерках флоксы — точно флаконы светлых духов.

Темно-зеленое тело времянки трогает мрак.
Не различить, где повешен под елями старый гамак.

Горлышком нежным долго цикада песню поет,
мне в настоящее звук посылает, как эхолот.

* *
*

В самом сердце осени, у печки,
с тарелкой оладий на коленях
сижу и смотрю на искры.

Выгребая золу, замечаю,
что она похожа на Харьков.

Принесу с террасы холодных яблок —
вспомню — мой юный брат в могиле.

Побережье карего Крыма, мы идем,
и плечи становятся цвета гитары.

Полдень полынно поет:
— Я тебя отмолю!..

На дороге лежит богомол.

Смерть любит ставить крестик
на башенке избранника славы,
и нас не миновал ее провозвестник.

Я хочу быть огоньком на конце шлагбаума,
и фонарем в руке обходчика, и звездой.
А еще до помрачения ума моего
я хочу быть с тобой.

* *
*

В маленькой столовой на краю пустыни,
когда я уже вырасту — через десять лет,
ветер нам насыпет песка в стаканы,
и ты будешь молча на меня смотреть.

Я не верю, что люди не знают друг друга
до того, как друг друга они узнают.
В задних комнатах будут стены из досок
с круглыми окнами пустых кают.

Ты мне скажешь, что нет ничего выше,
ничего выше юности и любви.
Я тебя вижу, как я тебя вижу
и предзнаю слова твои.

Надо только пройти по коридору,
по ненужному коридору десяти лет
и к этому дню быть ничьей на свете,
свободной, как свет.

Я буду сидеть и слушать банджо
долго-долго, пока ты не войдешь.
И мне мое будущее станет не важно,
и ты свое прошлое к черту пошлешь.

От огня все будет желтым, а за окнами синим.
И мы забудем, что у нас ничего нет.
В маленькой столовой на краю пустыни,
когда я уже вырасту — через десять лет.

* *
*

Ты помнишь, жизнь была старинной,
а корабли держали курс
на юность и она в гостинной
стихи читала наизусть?

Мы вместе шторы отводили,
чтоб посмотреть на циферблат.

Куранты легонько звонили,
а за окном снега слепили
и вьюга делала шпагат.

И, словно зернышко граната,
звезда Кремля была кисла
и, как на Рождество когда-то,
на поклонение звала.



ВЕРА ЧАЙКОВСКАЯ



НОВОЕ ПОД СОЛНЦЕМ

Повесть

Не могу себе отказать в удовольствии...

Из бесед последователей Эпикура.

Глава 1. ПРИЕЗД

На станцию прибыли электричкой, а затем, уже от станции с синей краской намалеванным названием «Косцы», добирались пешком через лесок. Шли и молчали: тучного Андрея донимали жара и комары, а Максимилиан был, по обыкновению, погружен в свои мысли. Изредка Андрей поглядывал на спутника, словно прикидывая на глазок, какое впечатление тот произведет на отца, которому (вот чудак!) был важен фасад, или, как он выражался, эстетика облика. Сам Андрей в смысле этой самой эстетики не слишком ему импонировал: чрезмерно жирный, обросший густым курчавым волосом, свисающим с подбородка какими-то малоопрятными лохмами. К тому же он постоянно курил и кашлял, сплевывая прямо себе под ноги, случалось, что и на паркет. В горле при этом что-то клокотало. Отец устал делать ему замечания и высокомерно отворачивался, когда Андрей сплевывал и выделывал горлом клокочущие фиоритуры. Даже свое «тебе бы обратиться к ларингологу!» отец уже не говорил — может быть, окончательно уяснил, что подходящего для сына специалиста в Союзе, так сказать, не имеется в наличии. Впрочем, Андрею этой зимой улыбалась стажировка в Штатах (выхлопотанная не без помощи отца), да и Максимилиан Кунцевич обещал прихватить его в Лондон на конференцию молодых ученых-искусствоведов. Кунцевич был одним из ее организаторов. Пока же Андрей прихватил приятеля к себе «в усадьбу», как он говорил, несколько кичась аристократическими замашками Косицкого-старшего. Кстати сказать, фонетическое созвучие названия сельца Косцы и фамилии хозяев, скорее всего, и было наиболее убедительным доводом в пользу покупки этой «усадьбы». Между тем хибарка была не из завидных, состояла всего из трех комнат и недостроенного чердачного этажа, горячая вода отсутствовала, и «удобства», как деликатно выражался Арсений Арсеньевич Косицкий, находились на дворе.

Обычно отец морщился, когда узнавал, что на даче ожидается какой-то очередной лохматый Андреев приятель, но, услышав имя Максимилиана Кунцевича, сделал большие глаза и кивнул благосклонно. Очевидно, слухи о Кунцевиче достигли и его академических вершин. И вот теперь Андрей пристрастно и любовно, как женщина жениха, охаживал взглядом несколько долговязую, но не худую, а мускулисто-спортивную фигуру приятеля, его сухошавое породистое лицо со светлыми и короткими бровями, его большие руки с грубоватыми запястьями (почему руки такие большие? — фиксировал Андрей отцовское недоумение) и рыжеватые волоски, выглядывающие из распахнутой на груди ярко-розовой рубашки с

широким белым кушаком на поясе. Кунцевич одевался весьма изобретательно, причем моду для себя определял сам, не сверяясь с тем, что сейчас носят в Париже или Лондоне. Он легко нес небольшой саквояж, вероятно, набитый рукописями и выписками, — он собирался в дачной тиши готовиться к пленарному докладу на лондонской конференции. Андрей же с трудом, пыхтя, волочил большую сумку с продуктами. Обычно он старался всячески избегать «продуктовых» поручений, но приезд Кунцевича подстегнул его рвение. Ему хотелось задобрить мать. Продукты были скудными, то, что удалось получить в заказе от Союза, — рис, печенье, вареная колбаса, банка растворимого кофе — и несколько буханок хлеба, купленного в пристанционном магазинчике. Хлеб так аппетитно пах, что Андрей, несмотря на свою нагруженность, ухитрился время от времени отщипывать кусочек ржаного и всю дорогу жевал, чем, вероятно, несколько раздражал Кунцевича. Тот на него порой оглядывался, но ничего не говорил.

Наконец показалось село, окруженное голубовато-сизым облаком, которое можно было принять за летнее жаркое марево. Кунцевич потянул носом и чихнул.

— И тут дымы.

Нагнавший его на тропинке Андрей впервые, хотя наездами отдыхал здесь уже два года, заметил столбики дыма, со всех сторон окружавшие котловину села. Он тоже чихнул и смачно плюнул. Пейзаж был довольно зловещим.

— Вообще-то воздух тут ничего, мать хвалит.

Андрей сослался на мать, так как его собственный нюх был притуплен курением и постоянным, скорее всего, аллергическим насморком.

— Бывает и хуже, — рассмеялся Кунцевич. — Приехали?

Они действительно почти уже добрались, невдалеке виднелась недостроенная башенка с озорным желто-фиолетовым флажком на крыше, и рыжая породистая собака, стремительно оторвавшись от крыльца, кинулась к ним навстречу и уткнулась мордой в колени незнакомого ей Кунцевича. Тот бросил саквояж в траву, присел на корточки и ласково потрепал собаку между ушами.

— Признал, смотри-ка!

Андрей хозяйски посвистал собаке, но та, не задерживаясь, потрусила к дому.

— Вот пес хороший, — заключил Кунцевич, и Андрей всю оставшуюся дорогу думал, что бы это значило — село плохое, что ли?

На крыльце столпились все обитатели «усадеб», Арсений Арсеньевич Косицкий, стройно-легкий, в изящной белой, свободно спадающей полотняной куртке и белых брюках, по обыкновению, нервно прохаживался от веранды к крыльцу, а приблизившись к сыну и Кунцевичу и пробормотав что-то неотчетливое, тут же от них отбежал и затаился в тени цветных верандных стекол. Тогда к ним, переваливаясь, подошел небольшой горбатый человек неопределенного возраста, но скорее пожилой и чопорно протянул руку сначала гостю, потом Андрею.

— Пьеров, живописец, — представился он Кунцевичу.

— Перов? — переспросил тот с какой-то задорной интонацией, которая, очевидно, задела горбуна. Громким каркающим голосом он пояснил, что он не Перов, а Пьеров. — Россия, понимаете ли вы, богата на самые расчудесные фамилии. Есть, между прочим, и Вампировы, и Ведьмовы, и...

— Кашеевы, — продолжил Кунцевич.

— Лягушаткины, — подхватил Андрей и так выразительно квакнул, что разрядил обстановку, почему-то сразу накалившуюся.

Наконец явилась хозяйка, Лидия Александровна, в черном, потерявшем вид и форму тренировочном костюме, худая и чем-то раздраженная. Она проворно схватила саквояж Кунцевича и куда-то припустила. Тот — за ней, стараясь выхватить саквояж, а за ним рыжий Маркиз, а уж потом, приотстав, ухмыляющийся Андрей. Мать была в своем репертуаре.

Сразу брала быка за рога, дабы гость не подумал, что поселится в гостиной или столовой. Лидия Александровна определила его в небольшом флигельке — недостроенной баньке, которая в этом своем недостроенном состоянии находилась третий год. Косицкий-старший там иногда работал — стол, стул и продавленный диван там имелись, имелись и веселенькие занавесочки на окошке. Но в баньке, по мнению Лидии Александровны, было для Арсения Арсеньевича несколько сыровато, и он перебрался в дом.

— Здорово!

Кунцевич бегло оглядел помещение, в этот миг залитое солнцем, сумрачно-веселое. Саквояж, который ему так и не удалось выхватить из рук хозяйки, стоял теперь на дощатом полу.

— Нравится?

Лидия Александровна улыбнулась несколько разочарованно и тут же удалилась, мимикой, руками, всей фигурой в затрапезном тренировочном показывая, что дел у нее невпроворот. А Кунцевич с Андреем разместились на подоконнике, раздвинули занавески, окно распахнули настежь и закурили.

Глава 2. СПОРЫ

Старинный автор стал бы, очевидно, подробно описывать знакомство Максимилиана Кунцевича с семейством Косицких, описал бы обед, обеденные привычки каждого из сидящих за столом, его манеру держаться и говорить, прошлое и настоящее. Но нам, признаться, недосуг, да и скучновато все это описывать. Да и нынешний читатель длиннот абсолютно не выдерживает — ему бы поскорее к «горячему». К тому же теперешняя подмосковная трапеза столь скудна и далека от истинных вкусовых пристрастий едоков, на этот раз вынужденных довольствоваться молочной лапшой и тепловатым лимонадом, закупленным Арсением Арсеньевичем в местном магазинчике, что описывать ее — дело неблагодарное.

Есть, однако, некоторые неистребимые привычки, которые возобновляются с каждым новым поколением, какой бы скудной и неподходящей ни была внешняя обстановка: это российская привычка к спорам. Впрочем, Кунцевич в данный момент не имел к ним ни малейшей расположенности. Единственное, чего он, отдохнув с дороги, хотел, — это быстренько проглотить стакан крепкого чаю (от лимонада он отказался), съесть несколько кусков белого хлеба с джемом (от молочной лапши он тоже отказался) и нырнуть в свою баньку, дабы погрузиться в книги и выписки. Но так просто дело не обошлось. Лидия Александровна, задетая пренебрежением к ее молочной лапше, поинтересовалась, что это за поясок такой у гостя на талии. Тот, усмехнувшись, ответил, что смастерил его из старой сумочки жены и ленты дочери.

— Так вы... — подхватила было Лидия Александровна, но осеклась, напоротившись на хмурую гримасу Кунцевича.

— В разводе, — ухмыльнулся Андрей.

Последовала пауза. Не то чтобы все сидящие за столом так уж не одобряли институт развода — но просто неизвестно было, стоит ли дальше затрагивать тему, а другой не находилось. Лишь Арсений Арсеньевич пробормотал:

— Ибо враги человеку домашние его, — чем вызвал гримасу уже у Лидии Александровны.

Тут опять вмешался Андрей, успевший съесть громадную миску лапши и нахально допивавший молоко прямо из тарелки.

— Макс потому и приехал, что ему работать негде. Ему должны что-нибудь дать от Союза — квартиру или хотя бы комнату.

На это Арсений Арсеньевич, занимавший в Союзе ответственный пост, кратко заметил:

— Безнадежно.

— Я и не особенно в этом нуждаюсь. — Кунцевич отсел от стола и развалился в кресле.

— Меня зовут на два года в Гарвард, есть предложения из Испании, Англии.

— Уедете из России? — Горбун, выпучив огромные глаза, подскочил к нему и встал чуть поодаль, словно готовый наброситься.

— А почему бы из нее не уехать? — медленно и отдельно произнес Кунцевич.

Арсений Арсеньевич опередил рвущегося что-то выкрикнуть Пьерова. Занавеска в столовой слегка колыхалась, и он вперился в нее близоруким взором.

— Вы же, кажется, Максимилиан Геннадиевич, русским искусством занимаетесь, не так ли? Будь вы физик или химик, и разговору бы не было. Бегут. Я ведь не говорю — родина, нельзя покидать родину. Я уже давно остерегаюсь произносить такие слова. Но кому там, на Западе, черт поberi, нужно русское искусство? — вот для меня загадка сфинкса. Кто там его понимает? Да и как заниматься современностью в отрыве от корневой системы, простите за банальность?

Андрей выпрямился и хрипло захохотал, несколько даже испугав отца.

— Да нет у нас никакого искусства, пойми, не было и нет. Пойми, и не было. Когда Левитан с Серовым писали свои картинки, в Европе уже возник совершенно другой язык. Они сразу были архаичны. И то же самое у современных мазил. Задворки мира. Здесь вообще ничего нет. Остров погибших кораблей.

— Вы, вы — нигилисты! — все-таки выкрикнул свое Пьеров, сжав длинные пальцы в кулаки.

Арсений Арсеньевич оглядел находящихся в комнате невидящим рассеянным взглядом и пробормотал:

— Что-то, друзья, на старый роман смахивает.

— Да, нигилисты! — внезапно подхватил Кунцевич. — Я рад, что это слово произнесено. Оно вернее, чем русофобы. В России действительно все повторяется. Тысячу раз одно и то же. И отрицание уже было. Но наши предшественники никогда не доходили в своем отрицании до конца — даже Чаадаев. А мы — дошли. Мы отрицаем самих себя. Нужно вырваться из этого порочного круга.

— Почему же порочного? — вскричал Пьеров. — Где, в какой стране вы найдете, понимаете ли, такие бездны и такие взлеты, такую духовную напряженность и любовь к человеку, как это у нас?

Кунцевич улыбнулся язвительно:

— От слова «духовность» меня физически тошнит, и я вас очень прошу не употреблять его в моем присутствии. В особенности за обедом. Вот вы, Арсений Арсеньевич, говорите, что никому на Западе не нужно русское искусство. Совершенно согласен. Не нужно. Так только — для экзотики. Но еще более не нужно — наше искусствознание. Это же непрофессионально. Ни терминологии, ни аппарата, ни философских знаний. Откроешь статью — сплошная духовность, душа, человек. Но мало того, что это профессионально негодно, это еще и наглая ложь. Где в нашей жизни вы видели духовность и уважение к человеку? Мы вот на станции зашли в магазин, а там продавщица лапшу насыпает руками и этими же руками деньги считает. И ничего. Все терпят. Где же тут — не говорю уж об уважении к человеку, а простая гигиена? В русской деревне до сих пор уборная во дворе, а порой и вообще нет никакой будки. А мужички-то рукастые. Блоху могут подковать. Что же из этого следует? А то, что и не нужно никаких удобств, никакой гигиены, никакого уважения. Заметьте, я не о революции говорю — она только продолжила давнее. Это в генах сидит, в подкорке. Тупиковая ветвь, дает эффект саморазрушения. Человечество идет к разуму, свету, творчеству, жизни и радости, а мы ко всяким там «безднам», к иррациональности и хаосу, а точнее — к смерти. Недаром

у нас авторы обычно кончают сожжением своих творений. Кому нужно такое искусство?

— Так чего же вы хотите? — вскричал Пьеров. — Уехать на Запад и запеть с их голоса?

— Вот именно. Запеть с их голоса, — отозвался Кунцевич, потухая.

— И в этом весь ваш нигилизм?

— Именно в этом!

Кунцевич вскочил с кресла, дернул головой, как бы пародируя старинный поклон, и исчез в дверях. Андрей выкатился за ним, не удостоив оставшихся и этого полупародийного жеста. Он нагнал Кунцевича на тропинке, ведущей к станции.

— Ты куда? Уезжаешь?

— С чего бы это? Уже надоел? Или родителям твоим не пришелся?

Андрей только захохотал, выпятив живот.

— А кто этот? — спросил Кунцевич и рукой очертил дугу.

Тут Андрей и рассказал ему про дальнего родственника (а может быть, просто знакомого) отца, Льва Моисеевича Пьерова. Арсений Арсеньевич — просвещенный либеральный критик, никогда не был с ним особенно близок и довольно холодно отзывался всегда о его живописи. Пьеров был так задавлен обстоятельствами, что малевал всю жизнь какую-то дрянь для Комбината, и платили ему за нее гроши — но платили.

— Представляешь, малевал то Брежнева, то Хрущева и вдруг несколько лет назад стал писать, по словам отца — я не видал, — какие-то сногшибательные полотна. А ему сейчас сильно к шестидесяти. Он успел даже в сталинской тюрьме побывать.

— Да ты что, горбун?

— Ничего не значит. Посадили за милую душу. Ему было лет шестнадцать. Еле выкарабкался. Говорит, какая-то женщина спасла, врач. И тут, заметь, мать намекает на какую-то женщину. Мол, все из-за нее. Отец это называет духовным распрямлением. Хотя Лева, наверное, предпочел бы физическое. Папаша в нем принимает большое участие, отдал ему наш чердак под мастерскую — Лева живет в коммуналке, там и работает. Пишет свои шедевры. Хотя, думаю, такое же дерьмо. И так всю жизнь.

— Вот они — бездны, — пробормотал Кунцевич. — В коммуналке ни одна здравая мысль в голову не придет. Истерика в воздухе.

— Да, характерец у Левы еще тот, — согласился Андрей и по неисповедимому ходу мысли добавил: — А ты чего развелся?

Кунцевич вздернул светлые брови, словно размышляя — достаивать ли ответом, и повторил фразу, уже сказанную сегодня Арсением Арсеньевичем:

— Ибо враги человеку домашние его. А, каково сказано? Семья — спрут, он опутывает, связывает, делает мелким, завистливым, зависимым, пошлым. Уже нет ни свежих идей, ни желания творчества, хочешь только покоя. Не женись, Андрей!

— Никогда! — Андрей поднял руки кверху и поклонился какому-то лесному божеству. Кунцевич толкнул его локтем в выпяченный живот, тот ответил, и оба, свалившись в траву, завозились, как дети.

Глава 3. ЗАНЯТИЯ

Если они не спорили с «отцами» — извечный российский спор, то ходили на речку — купаться. Впрочем, Андрей предпочитал дрыхнуть в шезлонге, с учебником английского на коленях, а высокую и сразу загоревшую фигуру Кунцевича в желтых шортах и белой футболке можно было встретить часов в семь утра на тропинке к реке. Впереди бежал рыжий Маркиз, который обычно тоже купался. Потом Кунцевич сам наливал себе чай (от услуг Лидии Александровны, к крайнему ее неудовольствию, он отказался), после завтрака играл с Андреем в теннис или катил по проселочной дороге на старом велосипеде, прежде валявшемся без надобности в

углу баньки. Маркиз и тут старался не отставать, а временами даже вырывался вперед и громко радостно лаял, поджидая Кунцевича. И только часов в одиннадцать утра, энергичный, бодрый, обтершийся холодной водой или даже успевший вторично искупаться в реке (правда, речная вода его не удовлетворяла, он подозревал, что в нее что-то сбрасывают), Кунцевич сел за работу и работал не прерываясь часа три. Тут даже Андрей к нему старался не заходить: не то чтобы Максимилиан сердился — просто не замечал. В эти часы Андрей с удовольствием предавался летнему безделью и лениво перебранивался с матерью, которая заставляла его то принести воды, то вынести ведро. Вообще-то Андрею тоже нужно было заниматься — учить язык, например, но он ленился, все откладывал, дремал на веранде или пасся на грядках клубники, выбирал созревшую, измазанную снизу землей сочную ягоду. Захаживал он и к Лева «на чердак», но к живописи Льва Моисеевича интереса не проявлял, а тот зорко следил, чтобы все было укрыто от взоров «нигилистов», как он окрестил Андрея и Максимилиана. Болтали о том о сем, но, боже упаси, не о политике — Пьеров начинал горячиться, и Андрей предпочитал уклоняться от политических тем. Тем более что все, что происходило здесь, его уже абсолютно не интересовало. Пьеров не работал, а словно чего-то ждал — не вдохновения ли? — ухмылялся про себя Андрей, — пока что грунтовал холсты и временами впадал в задумчивое оцепенение. Андрей курил в форточку и томился. Однажды Кунцевич выразил желание побывать «на чердаке». Андрею пришлось довольно долго упрашивать Пьерова, втайне польщенного. Договорились, что Кунцевич поднимется наверх один, без Андрея. А уж тот посмотрит картины как-нибудь потом. Оба понимали, что это «потом» может вообще не наступить, но не особенно огорчались.

Кунцевич явился «на чердак» с утра, смотрел картины очень быстро, изредка задавая короткие простые вопросы типа: «Масло?», «Когда написана?», «Название есть?». Пьеров отвечал тоже односложно, ничего не объясняя. Он был мрачен и сосредоточен. Непонятно было, откуда в этом хилом теле брались силы ворочать большие холсты. Причем делал он это ловко и бесшумно. Сосредоточен, даже нахмурен был и Кунцевич. И деловит — словно собирался устраивать международный аукцион и отбирал нужные экспонаты. Весь осмотр занял не более сорока минут. (Лев Моисеевич показал только свою «классику» — картины за два последних года.)

К завтраку Кунцевич стремительными шагами спустился с чердачной лестницы, за ним тяжело топал горбун. Арсений Арсеньевич, Андрей и Лидия Александровна уже сидели за столом и ели молочную лапшу — любимое блюдо Лидии Александровны, которое она особо выделяла за простоту приготовления и сытность. Ждали оценки Кунцевича. Арсений Арсеньевич посматривал на своего молодого коллегу с взволнованным любопытством. Андрей предвидел забавную сценку и наблюдал за надувшимся, побагровевшим Пьеровым, который привалился к стене возле лестницы.

— Профессионально, — быстро сказал Кунцевич, присаживаясь к столу. — Но об этом даже говорить неприлично, и я о другом.

Он схватил со стола кусок черствого черного хлеба и стал жевать, отламывая небольшие куски.

— Вы заметили, Арсений Арсеньевич, одну особенность современных западных вернисажей? Ими так нас сейчас угощают, что можно никуда не выезжать.

— Лучше все же уехать, — вставил Андрей.

— Конечно, заметил, — оживился Косицкий-старший. — Гигантомания.

Кунцевич кивнул, но ждал, видимо, другого ответа.

— Гигантомании и у нас хватает. Я о другом. Исчезло человеческое лицо. Вообще человеческая телесность. В веке эдак восемнадцатом лицо было вообще всеобщим изобразительным модулем, даже пейзаж писался с позиций лица — осмысленным, живым, меланхолическим. А теперь...

— Душу утратили, — пробормотал Арсений Арсеньевич.

— Опять эта ваша душа! Да души осталось сколько угодно, только она, простите за каламбур, ушла не в пятки, а в ум. Художники нашего столетия изображают не телесное пространство человека, а интеллектуальное пространство мира — комбинации самых разнообразных его элементов. В ход пошла интеллектуальная комбинаторика.

— К чему вы это, Макс? — не выдержала Лидия Александровна. — Вам Левина живопись понравилась или нет?

— Я о ней и говорю. Она архаична по менталитету. Это все еще телесное пространство. Мир измеряется преимущественно человеческим лицом. Причем лицом женским. Вся чувственность сосредоточена в лице. Нет тела, нет наготы, как у венецианцев или Рембрандта. Одно лицо.

— Ну, женское лицо — это и сейчас самое прекрасное, что есть... что может быть, — пробормотал Арсений Арсеньевич.

Лидия Александровна подавилась лапшой и долго откашливалась.

— Мне неприятен этот разговор! — Голос Пьерова прозвучал глухо, как карканье. — Что бы вы ни сказали о моем искусстве, я буду делать свое дело.

Кунцевич с живостью к нему повернулся:

— Разумеется. Искусствоведы вообще существуют не для художников. Это, знаете ли, самостоятельная профессия. Я строю свой мир, отталкиваясь от вашего, — только и всего.

Арсений Арсеньевич выскочил из-за стола и пробежался по столовой легкой побегкой.

— Разве вы не ощутили великой любви, о которой все в этой живописи вопиет? Эти мощные удары кисти, кипение красных и черных тонов, тончайшие градации эфирно-голубого?

— Любви тут сколько угодно, — прервал его Кунцевич. — Но какой? Опять этой нашей душевной, страшной, иссушающей. Любить у нас — значит мучить и мучиться. Какое-то бесконечное обсасывание муки и греха. Ничего светлого, творчески озаренного. Подумайте: на Западе Лаура и Беатриче способны пробуждению лучших творческих озарений. А у нас — какая-нибудь Грушенька-паучиха, греховное, пагубное начало. Да даже Татьяна довела Онегина до умоисступления! А ведь Пушкин — самый европейский из наших писателей. Вот вам наша любовь и наши женщины. Только грех, смерть и катастрофа!

— Вы ничего... вы ничего не понимаете в любви! — выкрикнул Пьеров и с обезьяньей проворностью стал вскарабкиваться на свой чердак.

— Лева, погодите, поешьте же лапшу! — закричала вдогонку Лидия Александровна.

— Я и не хочу понимать в такой любви!

Кунцевич искрошил весь хлеб и разбросал его по столу, не замечая сердитых взглядов хозяйки.

— От такой любви и дети не рождаются, — захохотал Андрей.

— Ну, положим, Лаура и Беатриче — тоже не для продолжения рода, — заметил Арсений Арсеньевич.

— Там возникает творческий плод, а здесь одна пустота, — запальчиво отозвался Кунцевич.

Сверху полетела банка с сухой краской, по счастью никого не задевшая. Это Лев Моисеевич разрядил свой гнев. Кунцевич выскочил из комнаты, сел на велосипед и укатил, профилонив все три своих рабочих часа.

Глава 4. НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Недели через две Кунцевич уехал на какой-то семинар в город, обещав к вечеру возвратиться. Все, не исключая и Андрея, который в присутствии приятеля постоянно ощущал свою бездеятельность, вздохнули с некоторым облегчением, но странное дело — Кунцевича одновременно и не хватало, словно его присутствие придавало этому лету, этим разговорам и настроениям, хозяйственным заботам Лидии Александровны, живописи

Пьерова, не вылившимся пока что на бумагу размышлениям Арсения Арсеньевича (уже довольно давно он ничего не писал) какой-то более важный и глубокий смысл.

Андрей слонялся по «усадебке» с еще более неприкаянным видом и чаще сплевывал, Лидия Александровна окучивала картошку и полола морковь с еще более ожесточенно-смирненным выражением, Арсений Арсеньевич забился в свой темноватый, заваленный книгами кабинетик, вытащил из-под кучи книг новенький коричневый томик Бердяева из приложения к «Вопросам философии» и углубился в чтение, особенно подстегнутый тем, что Андреев приятель сего автора, по словам Андрея, терпеть не мог.

Пьеров «на чердаке» принимал гостей — толстого рыжего американца, одетого почти с такой же непрезентабельностью, что и Лидия Александровна, только его костюмчик был более яркой расцветки; сопровождал толстяка восторженный очкастый юнец, не то переводчик, не то что-то вроде новейшего артдилера. Гость прошелся от картины к картине — их выстроили вдоль стен, как невест перед царем, — подымил трубкой и что-то негромко проговорил юнцу.

— Все покупает. До единой, — объявил Пьерову юнец и икнул от восторга. — Дает сто тысяч долларов и предлагает поездку в Америку для работы. Соглашайтесь! Это сенсация. Он крупный коллекционер и делает на вас ставку. Вы будете известнее Брускина, вот увидите. — Упоминание Брускина, видимо, сильно не понравилось Льву Моисеевичу, он пальнул в юнца огромными глазами, но ответа не дал. Вообще его словно пришибли. Безмолвно он взял визитную карточку американца и телефон его секретаря в Москве, безмолвно выслушал переведенные юнцом похвалы коллекционера и сидел за обедом с каким-то совершенно убитым видом, глазамолнии, которые так его всегда молодили, прикрыл рукой... В общем-то, его состояние понять было можно. Всю жизнь бедствовал, не продал в Союзе ни одной настоящей своей картины, пробавлялся халтурой на Комбинате — и вдруг такая «перемена участи».

Все прочие за обедом были очень оживлены. Лидия Александровна строила планы совместной поездки Пьерова и Андрея в Штаты, где Андрей будет Пьерова опекать. В глубине души она, напротив, надеялась, что Пьеров последит за Андреем и будет поддерживать его материально. Как она узнавала, деньги Андрею во время стажировки полагались минимальные. Арсений Арсеньевич вспоминал прошлогодний вояж в Италию, он долгие годы был в опале, за границу его стали выпускать лишь недавно, и путешествие в Италию было для него подлинным потрясением. Он советовал Леве съездить в Италию.

— Всю жизнь я упоминал в статьях о старых итальянцах, но даже не подозревал, какие они на самом деле, — повторял он, по обыкновению ни к кому не обращаясь.

Андрей советовал Пьерову хранить деньги в иностранном банке, чтобы наше милое государство не смогло при каком-нибудь новом повороте «борьбы с собственностью» или с чем-нибудь еще их оттяпать. Лучше всего снять квартиру в Нью-Йорке, там можно хорошо заработать на живописи, при соответствующей рекламе, разумеется. Лев Моисеевич молчал.

На обед ели куриные котлеты с лапшой. Лидия Александровна в честь такого случая расщедрилась и разделала уже давно припасенную курочку. Арсений Арсеньевич заварил какой-то особый чай, настоянный на смородинном листе.

Всем нестерпимо хотелось, чтобы поскорее вернулся Кунцевич и услышал об обруганном им художнике такую потрясающую новость. Даже Андрей испытывал нечто вроде злорадного чувства, хотя живопись Пьерова ему самому едва бы понравилась. Однако проверить свои догадки по этому поводу он не торопился.

И вот что интересно: Кунцевич в это же самое или почти в это самое время вел беседу о Пьерове.

После бестолкового семинара, где его выступление о радикальном нигилизме (термин был им введен не без подсказки Пьерова) было встречено бурным негодованием как правых, так и левых («Что же теперь, вся страна должна эмигрировать?» — вслух возмущался один из участников), Кунцевич в превосходном настроении отправился на вокзал. Отсюда он позвонил матери и, узнав, что у нее все хорошо и Павел Анисимович уже ходил сегодня за продуктами со своей ветеранской книжкой и кое-что достал, громко сказал в трубку (мать плохо слышала), что и у него все нормально. Потом они немного помолчали, мать, видимо, что-то хотела спросить или ждала, что он спросит, но он не спросил, передал привет Павлу Анисимовичу и повесил трубку. Рука сама стала набирать телефон его все еще не разменянной квартиры, но, набрав номера, он дал отбой, повесил трубку и угнездився в полупустой электричке, останавливающейся в Косцах. Впереди через два ряда сидела женщина. Что-то в ее лице задержало внимание Максимилиана Геннадиевича. Электричка тронулась. Кунцевич поднялся и пересел на скамью рядом с женщиной. Было заметно, как она испугалась этой выходки, судорожно схватила сумочку и, видимо, собралась бежать из этого вагона, спрыгнуть на любой станции, — но электричка пронеслась мимо подмосковных платформ без остановок.

Он мысленно поиграл в эту игру: он — злостный хулиган и эта бабенка в пустом вагоне ему приглянулась.

— Я вас знаю. — Кунцевич чуть улыбнулся, светлые короткие брови дрогнули. Женщина резко повернула в его сторону голову и вроде бы немного успокоилась.

— Странно, но я вас тоже знаю.

— Э нет, не пойдет. Меня вы не знаете. А вот я видел ваше лицо на картинах одного художника.

— Разве можно узнать? — удивилась женщина. — Он все придумывает, фантазирует. Я сама себя не узнаю.

— Можно, — отрезал Кунцевич. Между тем он про себя отмечал различия. Она была далеко не так юна, как у Пьерова, на лице видны тени, впадины, морщинки, две-три веснушки, пушок — все не так, как там, и все несравненно лучше, живее. Но какой тихий, ломкий голос, замедленные интонации, вздрагивает при малейшем постороннем звуке. А его-то как испугалась!

— Пьеров придумывать как раз не умеет, — продолжал Кунцевич, все еще разглядывая сидящую напротив женщину. — Это очень точная фиксация того, что он думает и чувствует. У меня даже есть ощущение, что я могу расшифровать его картины, как врач-рентгенолог читает рентгеновский снимок.

— Вам эта живопись нравится?

— Она мне совершенно не нравится. Вернее, «не нравится» — не то слово. Она мне внутренне враждебна. В ней слишком много «души», как сказал бы Арсений Арсеньевич. Вы его, наверное, тоже знаете?

— Знаю. — Она усмехнулась каким-то своим мыслям. — Но разве может быть души слишком много? Разве не в душе суть искусства?

— Они вас уже обработали?

Женщина не поняла:

— Кто они? Мне припомнилось... — и запнулась, точно сомневаясь, продолжать ли.

— Ну же, смелее, — подхватил Кунцевич.

— Лет десять назад... Какая я уже старая, боже мой! Один молодой лектор читал лекции у нас на курсе... Постойте, как она называлась? Об иррационализме русского искусства или что-то в этом роде. Как же он меня поразил тогда своей лекцией. Буквально душу перевернул.

Обычно малоподвижное загорелое лицо Кунцевича странно просияло, но тут же снова закрылось облачком.

— С тех пор много воды утекло.

— И из Савла получился Павел, да?

— Вы очень точно формулируете.

— Я — филолог. Преподаю в школе, к несчастью. Наверное, потому и формулирую.

Так состоялось это знакомство. Скажем несколько слов о случайной попутчице Кунцевича. Он правильно заметил некоторую усталую заторможенность ее движений при крайней нервной возбудимости. Людмиле Гехман вообще казалось, что следующую зиму (голодную и холодную, как пугали в печати) она не переживет, а работать в школе вообще не сможет. Что-то с ней творилось уже несколько лет — худела, бледнела, теряла интерес к жизни. Может, это было следствием плохой московской воды, пищи, отравленной химикатами, отсутствия нормального воздуха, изматывающей работы в школе? Или это было результатом каких-то личных неудач и разочарований? Врачи ничего серьезного у нее не находили, советовали побольше бывать на свежем воздухе. Она скользила по их непроницаемым лицам удивленным взглядом — где они видели «свежий»? Она не была замужем и жила с матерью, и врач-ларинголог предположил, что жалобы на горло вызваны у Людмилы неустроенной личной жизнью. Эта пышная крашенная блондинка посоветовала Людмиле родить ребеночка и выписала какое-то тривиальное полоскание, которого, однако, не было ни в одной аптеке. Уже несколько лет ей казалось, что с ней все кончено. Но, изредка попадая в компании, где были мужчины, она с удивлением обнаруживала, что не кончено, почему-то она еще нравилась, возбуждала интерес. На людях у нее и сил становилось побольше, и порой она впадала в ту нервную веселость, которая так не нравилась всем остальным дамам и создала ей репутацию едва ли не соблазнительницы. Впрочем, она старалась не вылезать из своей норы, ей казалось, что она мешает, надоела, назойлива, и даже у Косицких предпочитала появляться внезапно и затем надолго исчезать.

Непонятно было только, что делать с матерью и где взять денег на жизнь, если силы окончательно оставят. А они таяли, растворялись в гнилом осеннем тумане, в одиноких зимних вечерах у старого телевизора. Вдобавок у матери только-только нашли лейкоз. Случай считался запущенным, и врачи (в неофициальных беседах) советовали везти мать в Германию. У нас даже, мол, обезболивающих и то на всех не хватает. Было ясно, что мать Людмилы, скромная пенсионерка, едва ли попадет в число тех, кому достанутся обезболивающие. Летом Люда с матерью, как и в прошлом году, сняли дачу в Косцах. Это место им рекомендовал Пьеров — старинный знакомый матери. На даче было скучно, уныло, неблагоустроено, но плохо было и в Москве, куда Люда временами наезжала за почтой и продуктами. Ни здесь, ни там. В сущности, это было извечным Людиным состоянием — невозможность примириться с любой данностью.

— Подъезжаем, — сказал Кунцевич, выглядывая в окошко. — Уже и родные дымы видны. Вы ведь в Косцах на даче, я угадал?

Люда кивнула.

Глава 5. В «УСАДЬБЕ»

Договорились, что Кунцевич проводит Людмилу до ее дачи — в другом конце сельца, а затем подождет, пока она приведет себя в порядок (о, недолго! — смеялась Люда), и они вместе отправятся к Косицким. Идея была Людина. Она всегда с большим внутренним усилием оставляла дом и мать, но в сопровождении Кунцевича это сделать было легче. К тому же она давно не была у Косицких, и Лев Моисеевич, вероятно, ждет ее не дожидается. До ее дачи было около получаса ходьбы — ему не всегда под силу, но иногда он все-таки прибредал, вынимал небольшой альбомчик, карандаш и тут же начинал ее рисовать. Люда не хотела надоедать Косицким своими визитами, что-то ее там смущало, но сегодня она решила пойти из-за Кунцевича — он ее очень заинтересовал, тем более что она о нем не забывала все эти годы, но помнила она совсем другого Кунцевича — го-

раздо более открытого и горячего. Во всяком случае, он тогда производил такое впечатление. А каков же этот? К чему пришел? Чего хочет? Нет, ей определенно нужно было идти к Косицким.

Кунцевич перебрасывался словами с Людиной матерью, спокойной, неторопливой женщиной, еще не старой на вид и какой-то очень «уютной», пока Люда переодевалась в темном закутке, откуда доносилось шебуршение.

Ида Марковна все пыталась понять, кто он Косицким. В сущности, понять она хотела нечто другое, связанное, видимо, с дочерью, но Кунцевич терпеливо отвечал на все вопросы, прислушиваясь к шебуршению. Люда вышла в белом легком платье с голубой полоской у ворота, как школьница.

— Кофточку накинь, прохладно! — кричала вдогонку Ида Марковна.

Кунцевич вернулся и взял тонкую шерстяную кофтенку из рук Иды Марковны — пригодится, когда будут возвращаться вечером. Он ведь ее, очевидно, и назад проводит. Перспектива этой вечерней прогулки радовала. Вообще, какое легкое, милое, замечательное знакомство.

Шли очень быстро, как Кунцевич привык. Внезапно Люда остановилась.

— Постоим, а? Сердце сильно колотится.

Постояли, прислонившись к какому-то некрашеному забору. Вниз свешивались розовеющие вишни. Пахло крапивой и коровьими лепешками. Кунцевич с непонятной тоской подумал, что будет вспоминать что-нибудь вроде этого дурацкого забора, глупое и ненужное. Люда отдышалась, и они почти побежали к даче Косицких. Шерстяная кофточка болталась в руке Кунцевича.

Он не ожидал, что Люда у Косицких так популярна. Ее тянули в разные стороны — Лидия Александровна, Арсений Арсеньевич, Лев Моисеевич, который оскорбленно сверкал в сторону Кунцевича глазами и пытался забрать у него Людину кофточку. Но Кунцевич, разозлившись, не отдал. Вообще этот общий ажиотаж вокруг Люды ему сильно не нравился, и он решил устраниваться, тем более что и Люда словно забыла о его существовании и тихо смеялась, о чем-то беседуя с Арсением Арсеньевичем. Пьеров, мрачный, стоял рядом, прислонясь к стене.

— Что здесь так сегодня торжественно? — вполголоса спросил Кунцевич Андрея.

В самом деле, даже Лидия Александровна принарядилась, нацепив какой-то куцый серенький костюмчик с крупными бусами вместо неизменного тренировочного. На столе стоял кекс — вероятно, плод ее трудов. Арсений Арсеньевич сиял светлым костюмом и оживленным лицом.

— У нас хорошие новости, — встряла в разговор Лидия Александровна, не дав медлительному Андрею что-либо произнести. — Все — вы поняли? — все картины Льва Моисеевича покупает один американский миллионер. Нет, кажется, он коллекционер. Но наверняка и миллионер. Он за них выкладывает... сколько бы вы думали? Сто тысяч долларов!

Пьерова словно в воздух подбросило от слов Лидии Александровны:

— Я отказываюсь! Отказываюсь продавать свое искусство! — Он почти визжал, брызгая слюной. — Я не продаю. Пусть это останется у нас, в России. Филонов, Филонов, он же умер с голоду, но не продал, не продал, понимаете ли. И в какие года!

Он ковыляя подбежал к телефону, дрожащими длинными пальцами набрал номер и, едва в трубке откликнулся голос секретаря, почти крикнул, задыхаясь:

— Я отказываюсь от предложения вашего шефа. Не передумаю, понимаете ли. Никогда на свете. — (Лев Моисеевич, когда волновался, начинал путаться в словах.) И повесил трубку.

Воцарилась тишина, только где-то тихо выла собака. Но оказалось, что это плачет Люда. Кунцевич хотел подойти, но утешителей хватало.

— Что вы, Людочка, что случилось? — Арсений Арсеньевич сунулся к ней с блюдцем черносмородинового варенья.

— Мама, мамочка моя, — повторяла Люда, рыдая все безутешнее. Лидия Александровна решительно протиснулась между Арсением Арсеньевичем и Львом Моисеевичем и увела Люду в свою комнату.

Через какое-то время Люда вышла к гостям с лицом умытой послушной девочки и скромно присела к столу, где стояла ее чашка с остывшим чаем и блюдец с вареньем. Кунцевич сидел с другого края. Друг на друга они не глядели. Хозяйка все с тем же торжественным видом что-то прошептала сначала Арсению Арсеньевичу, потом Льву Моисеевичу. Один явно огорчился, зато второй словно воспрял духом, оглядел Люду каким-то сверкающим взглядом, покосился на Кунцевича, невозмутимо пившего чай с вареньем, и громко сказал, что у него есть новый замысел, гораздо более глубокий, понимаете ли, чем все прежние. Нужно одно: чтобы Люда ему помогла.

— Я всегда готова, как пионерка, — рассмеялась Люда.

— Да-да, Люда, да, — повторял Пьеров. — Вы должны мне помочь. Я вас очень прошу взять. Вы должны это сделать, Люда, для меня.

Тут он с неожиданным проворством вновь достиг телефона, быстро набрал какой-то номер и произнес, громко глотая слюну:

— Скажите своему шефу... Да-да, это я. Скажите, что я согласен на все сто. Не долларов, понимаете ли, а процентов. Сто процентов. Чего вы не понимаете, понимаете ль? Я согласен продать свое искусство. — И громко, ликующе ударил трубкой о рычаг.

— Продались? — спокойно спросил Кунцевич.

— Макс, зачем? — Арсений Арсеньевич сморщился, как от кислого.

— Я просто употребляю терминологию Льва Моисеевича, — заметил Кунцевич. — По мне, это обычная сделка. Правда, несколько странная. Скопом картины не покупают. Это случайно был не Кеслер? Я про него слышал, когда был в последний раз в Нью-Йорке. Одержим фрейдистскими идеями и покупает любую работу, где, как ему кажется, чаще всего только кажется, женщины похожи на его мать. Видимо, Лев Моисеевич угодил в самую точку. Тем более что портретных изображений на Западе сейчас почти нет.

— Пойдемте, Людочка. Я вас посвящу в свой новый замысел.

Лев Моисеевич проковылял мимо Кунцевича, гордо оттопырив верхнюю губу, словно ни словечка не слышал. Люда сорвалась со стула и, бросив робкий взгляд на оставшихся, поднялась за ним наверх. Белое платье с голубой каймой у горла исчезло за чердачной дверью.

— Вот кто продался, — ловко сплунув в форточку, шепнул Кунцевичу Андрей. Тот только вздернул короткие выгоревшие на солнце брови.

Поздно вечером Андрей, проводив Людмилу Гехман до ее дачи, забежал к Кунцевичу в баньку. Там было темно, Кунцевич лежал на диване, отвернувшись к стене.

— Проводил? — спросил он из темноты.

— Угу. — Андрей рассмеялся своим жирным благодушным смехом и присел на подоконник. — Жаль, что ты не досмотрел это кино.

— Интересно?

— А то как же! Мой милый дядюшка и эта Гехман спустились со своих чердачных высот, и дядюшка стал просить мамá и папá, чтобы они уговорили названную Гехман взять его конвертируемую валюту. Учти, он ее еще не имеет, да и будет ли иметь, под большим вопросом. Мамá в основном напирала, что у «тех» клиники хорошие. У Гехман мать больна чем-то малоизлечимым в условиях гнивающего социализма. Папá напирал, что ей, мол, самой нужны впечатления, и строил какой-то идеальный проект совместного путешествия в Италию. В прошлом году он, между прочим, тоже ей предлагал ехать, специально выбил место.

— И?

— Отказалась в последний момент.

Кунцевич присвистнул.

— От Италии отказалась? Что же мы здесь имеем? Муж, дети?

— Холостячка, — рассмеялся Андрей. — Мне про нее родители все уши прожужжали. А по мне, ужасная дура.

Насмешливый голос Кунцевича продолжил характеристику:

— И психопатка, наверное, не хуже...

— Что?

— Да так, вспомнилась еще одна психопатка.

Он не был вполне искренен. Возможно, впервые он увидел женщину, которую воспринимал как равную себе. Но одновременно он ощущал исходящую от нее опасность тех самых «бездн», которые так привлекали Пьерова и которые самому Кунцевичу были глубоко противны. Нужно было не поддаваться голосам сирен с их вкрадчивым, затягивающим пением, сохранить трезвую голову и ясный ум. В эту ночь Кунцевичу приснился сон, который он запомнил.

Ему снился нескошенный деревенский луг, заросший ромашками и васильками. Это был свой, российский луг, за которым он наблюдал откуда-то из Гарварда или из инобытия. Кроме ромашек и васильков тут оказался еще один цветок. Это был не цветок, а настоящее фиолетовое пламя на длинном стебле. Когда-то давно, в детстве, он уже видел этот цветок, и сейчас ему хотелось разглядеть его поближе. Но тут появилась какая-то женщина, ее лица он не мог рассмотреть, так как оно было наполовину закрыто соломенной шляпкой — как на маминой довоенной фотографии. Сейчас будет вкушать от моего сердца, подумал он с ужасом и радостью. Но нет, это не была Беатриче. Женщина прошла по лугу, остановилась возле фиолетового цветка и рассмеялась:

— Какая у вас забавная душа!

И вот уже цветок приколот к ее платью, а она легко и беззаботно идет по проходу мимо пустых скамеек, вполуха прислушиваясь к глухим голосам из тамбура...

Он стонет, плачет, скрежещет зубами, сучит ножками, вопит что есть мочи. Прибегают няньки, суют ему соску, а он все надрывается...

Утром в дверях «усадебь» он столкнулся с Людой. Этого он совсем не ожидал и взглянул оторопело.

— Здрасьте! — опередила она его с приветствием.

— Постойте, я вам кофту вынесу. Вчера забыл отдать.

— А я-то мерзла всю дорогу.

В ее тоне чувствовалась досада и принужденность, от милой приветливости — ни следа. Он сбегал во флигель и принес кофту, которая всю ночь висела на спинке дивана. С некоторым сожалением он отдал ей кофту.

— Вы случайно не к Пьерову?

— К нему. А что?

— Да нет, идите. Эти картины Лев Моисеевич продаст уже вдвое дороже.

— Они бесценны!

Это Люда выкрикнула стоя на чердачной лестнице и рукой опираясь о перила.

— Людочка, браво! — Арсений Арсеньевич неслышно в мягких шлепанцах подскочил, изящно отцепил Людину руку от перил и поднес к губам. — Утро доброе. А чай пить?

— Потом, потом. Мы договорились со Львом Моисеевичем с утра поработать. У него прямо лихорадка.

И исчезла за чердачной дверью.

За утренним чаем все сидели молча, словно все еще переживая вчерашние бурные события. Внезапно послышался тонкий женский вскрик. Кунцевич барсом бросился к лестнице. Лидия Александровна преградила ему путь.

— Только не вы. Поднимусь я и... — Арсений Арсеньевич поднял голову и, что с ним бывало очень редко, взглянул прямо на жену. — Идем, Андрей.

Они поднялись наверх, дверь в мастерскую была заперта, но кто-то открыл — либо Люда, либо Пьеров. Кунцевич места не находил от злости и негодования и сам удивлялся себе: что это с ним?!

Через несколько минут Андрей спустился за стаканом холодной воды и со смехом сообщил, что ничего страшного — просто у Льва Моисеевича закружилась голова от духоты. Легкий обморок, но сейчас уже оклемался и решил героически продолжать работу.

С решительным лицом спустилась Лидия Александровна и со вздохом принялась отхлебывать чай.

— Лева так выкладывается, — сокрушалась она. — Столько сил отдает работе.

— Гехман как? — вполголоса спросил Андрея Кунцевич.

— Лучше всех.

Андрей откашлялся с хрипом и клокотаньем и громко продекларировал:

— «Какие плечи, что за грудь», как писал в прошлом веке некто Пашкин. Именно так называет сего автора мой английский фрэнд Джэф.

Арсений Арсеньевич поморщился:

— Что за язык!

И встретился глазами с Кунцевичем.

Чашка в руке Арсения Арсеньевича дрожала.

Наконец вниз спустились художник и его модель, оба возбужденные. Людины щеки, обычно бледные, пылали.

— Пошлó? — с запинкой спросил Арсений Арсеньевич.

— Не знаю, не знаю. Посмотрим, понимаете ли...

— Как здоровье? — поинтересовался Андрей. Но было ясно, что он издевается. Пьеров и не ответил.

— Можно взглянуть? — спросил внезапно Кунцевич.

— Э нет, сейчас нельзя. Дайте мне закончить.

— Когда? — спросил Кунцевич.

— Что «когда», молодой человек?

— Когда закончите?

— По-разному бывает, понимаете ли. Да я вам-то, может быть, и вообще не покажу.

Пьеров задергал головой, словно хотел боднуть Кунцевича.

— Ну так я увижу в Нью-Йорке, — рассмеялся тот.

— Распылилась, распалась Россия, — не очень впопад пробормотал Арсений Арсеньевич.

— Нужно умереть, чтобы родиться, — помните, где сказано? — откликнулся Кунцевич. — Нужно все старое отбросить, вырвать с корнем привычки и привязанности. Отказаться от вялости, бездеятельности, максимализма, иррационализма... в первую очередь иррационализма... — Он взглянул на Люду, как бы напоминая ей о той давней лекции, пафос которой был совершенно иным. — Нужно стать другой страной, другим народом.

— Невозможно, — произнес Арсений Арсеньевич убежденно.

— Невозможно, — эхом отозвалась Люда.

— Тогда смерть без возрождения. Просто смерть и распад.

Кунцевич говорил с раздражением, его задевало, что Люда так явно на их стороне.

— Гоголь это назвал «заколдованное место», — пророкотал, захлебываясь кашлем, Андрей. — Во всем мире прогресс и цивилизация, и только у нас все останавливается. Никакой вестернизации.

— Мне кажется, они еще к нам вернуться, — тихо проговорила Люда и запыхала сильнее, даже уши покраснели.

Кунцевич вскипел:

— А вы, простите, где за границей были и когда? Это же чушь, ей-богу! Это бред сумасшедшего, которому кажется, что его сумасшедший дом лучше всех.

— Нигде я за границей не была. — Люда отставила чашку, встала и быстро ушла. Пьеров проковылял проводить ее до ворот.

— Зато скоро будет, — произнесла со значительностью в голосе Лидия Александровна, провожая их взглядом.

Глава 6. ВЗАИМНЫЕ УСЛУГИ

— У меня к вам просьба. — Лидия Александровна схватила Кунцевича за руку и втокнула в кресло. Сама встала рядом, маленькая и деловитая.

— Тогда и у меня к вам небольшая просьбишка, хорошо? — Кунцевич придвинул стул, пересел на него, а Лидию Александровну вежливо усадил в кресло.

— Валяйте!

Лидия Александровна подперла подбородок кулаком, давая понять, что вся — внимание.

— Чур, вы первая, — рассмеялся Кунцевич, — да у меня, собственно говоря, пустяк.

— Скажите, Максимилиан, фрейдизм — это когда сыновья влюблены в мать, я не путаю?

— Вы сильно упрощаете, но положим, что так.

— В прошлый раз вы говорили про Кеслера. Вы уверены, что к нам приходил тот самый Кеслер?

— Приходил все-таки Кеслер?

Лидия Александровна неопределенно покачала головой, что можно было истолковать по-разному. Кунцевич истолковал как жест утвердительный.

— Тогда это именно нью-йоркский галерейщик. Он действительно миллионер и, по рассказам, человек довольно экстравагантный. А вам на что, как говорится?

Лидия Александровна принялась рассматривать ногти и между делом цедила:

— Дня через два он снова припожалует. Хочу показать ему нашу Людмилу.

— Что??

— Да ведь вы сами говорили, что он ищет похожих на мать.

— В живописи ищет, Лидия Александровна, в живописи.

— Ну, это мы посмотрим, где он ищет.

Кунцевич не усидел на стуле:

— Лидия Александровна, вам-то зачем так затрудняться?

Она рассмеялась и погрозила острым пальцем:

— Это вы, мужчины, все только для себя, большие эгоисты. А я хочу ее устроить. Еще неизвестно, выгорит ли со Львом. Он такой непрактичный. Может упустить этот шанс.

— Да, кстати, вот и моя просьба, — быстро сказал Кунцевич. — Я в своей статье собираюсь упомянуть... Словом, я хотел бы на минутку попасть в мастерскую Пьерова. Он, вы знаете, ревниво относится к посещениям... моим.

Лидия Александровна поманила его пальцем:

— Идемте, пока его нет. Он отправился за Людмилой, хотя еле-еле ковыляет. Хочет, чтобы она и вечером ему позировала. Просто зуд какой-то напал. Хотя, если это так ценится, отчего бы не потрудиться, верно? Да и Людмиле нет резона отказываться, все равно дома бездельничает, а тут — такие перспективы. Я узнавала: громадные деньги.

Кунцевич стрелой взлетел наверх, захлопнул дверь мастерской перед носом (весьма длинным) Лидии Александровны, словно не заметив ее

стремления совместно с ним проникнуть в мастерскую, и минут через пять был уже внизу, невозмутимо переговаривался о чем-то с Андреем.

Казалось, что он кого-то ждет. Но не Люду. Когда она прошла наверх за совершенно измотанным, задыхающимся Пьеровым, он продолжал беседовать с Андреем и даже головы не повернул. Потом пошел поработать в баньку — но не работалось. Пошел на местный пруд, «лягушатник», где купались деревенские ребяташки вместе с утками и гусями. Ребяташки выныривали из воды и показывали на него друг другу — его шорты и яркая футболка их поражали, а он бросал камешки в воду, вдыхал болотный запах, памятный с детства, и все к чему-то прислушивался, словно отсюда можно было услышать голоса в доме Косицких. В «усадьбе» в это время было тихо. Арсений Арсеньевич читал и изредка поднимал голову и тоже прислушивался. Андрей дремал в кресле, открыв вверх ногами учебник английского. Лидия Александровна сушила половики во дворе. И наверху было тихо — ни крика, ни вздоха, ни шороха. Кунцевич подоспел с «лягушатника» как раз, когда Люда прощалась. Он вызвался ее проводить. Лев Моисеевич с недовольной миной поплелся к себе наверх.

— У меня сегодня кто-то был, — разнесся оттуда его громкий ворчливый голос. — Волосок на столе сдвинут. Я сразу заметил, как пришел.

— Ах, это я была, — отозвалась со двора Лидия Александровна, размахивая венником.

— И я заходил, Лева.

Арсений Арсеньевич выглядывал из дверей своего кабинета и, задржав голову, кричал наверх:

— Чисто профессионально хотелось взглянуть, ты уж извини, пожалуйста.

Кунцевич остановился у калитки, сложил руки рупором и закричал в сторону чердачного окна:

— И я был! Вот вернусь — и сговоримся насчет дуэли! — И сразу же поспешил знакомой дорогой к Людмилиной даче, не оглядываясь на спутницу, которая за ним не поспевала. В нем клокотала ярость. Маркиз радостно кинулся следом, но он криком отогнал собаку, и та, обиженная, затрусилась к дому.

— Зачем вы смотрели незаконченное? — догнал его Людин голос. — Лев Моисеевич этого не любит.

— А мне наплевать, любит он или нет, — выпалил Кунцевич. — Давайте-ка присядем на минутку.

Они шли по тропинке, сокращающей путь. Тропинка вилась по лугу, тут можно было присесть на старом бревне. Кунцевич подстелил для Люды свою куртку, а сам сел на траву рядом. Люда оказалась на возвышении и растерянно вертела головой, заранее испуганная.

— Почему вы так странно живете? — с налету начал Кунцевич. — Вы — красивая, молодая...

— Как вы сказали? Я? Вы... действительно так думаете?

Он запнулся.

— Не важно. Что вы к словам цепляетесь. Ну зачем вам этот Пьеров.

— Но он же замечательный художник!

— Скажите, вообразил себя Тицианом. Я уже говорил, что читаю его картины, как рентгеновский снимок. Каждое его тайное движение... и ваше, между прочим, тоже. Вы же не профессиональная натурщица, чтобы соглашаться ему позировать в его... для его гениальных замыслов. Он и натурщиц-то, скорее всего, не писал, ощущается это непреодоленное тягостное чувство, как у школьника, подглядывающего в замочную скважину. Неужели все из-за его мифического гонорара?

— Что вы? — с тихим недоумением вскрикнула Люда. — Не хочу я брать его денег. Это он меня умоляет взять для мамы, но я не хочу. И мама говорит — это чужие деньги. А я ему нужна, понимаете? Без меня у него ничего не получится. У него ничего больше нет и никогда не было. И мне хочется дать ему хоть что-то.

Кунцевич прервал, задыхаясь:

— Вам ему? Не смейте, слышите. Это опять наш общий морок, наш бред, наше неумение нормально... Я уж не говорю счастливо — просто нормально жить. Неужели вокруг вас нет ни одного нормального человека?

— Нормального? — Она задумалась. — Нет.

— Господи боже, да ведь даже Андрей лучше.

— Андрей? Вы так считаете?

Кунцевич опомнился:

— Да нет, я, собственно, так не считаю.

— Да-да, Андрей Косицкий. Как же я забыла? — говорила Люда с каким-то странным оживлением. — Он — нормальный и уже подкатывался, между прочим.

— Люда!

— Что, дорогой лектор? Да, дайте-ка я вам все-таки скажу, чего вы не увидели на этом вашем рентгеновском снимке. Я как бы проваливаюсь куда-то. Меня нет. Только раскрепощенность, блаженство, пылание, только радость бесконечного существования и вечной любви. Понятно вам?

Кунцевич хотел что-то возразить, но Люда вскочила с бревна и побежала по тропинке.

— Не провожайте дальше, я дойду.

Кунцевич все-таки ее догнал — бегала она неважно. На языке вертелись какие-то дурацкие слова о глупой и безумной любви. Но произнести их было совершенно невозможно, так же невозможно, как перенестись в прошлый век.

— Я уеду скоро, — сказал он возле ее дома. Люда не откликнулась и быстро исчезла в глубине.

Преждевременный эпилог

Эпилог получается преждевременный. Но что делать? Автору наскучило последовательно и дотошно описывать мелкие события, потрясшие в то лето «усадьбу» Косицких. А автор намекнул, что пишет только из удовольствия. Итак, завершим повествование несколькими штрихами из вскоре последовавшего. Самым удивительным для всех, включая и самого виновника, было приключившееся с Косицким-старшим. Он разъехался с женой. В искусствоведческих кулуарах поговаривали, что был какой-то дачный роман, но не совсем удачный для Арсения Арсеньевича. Все были уверены, что Арсений Арсеньевич вскоре вернется в семью, тем более что, по словам Лидии Александровны, он был совершенно не приспособлен к обыденной жизни, не знал, что надеть, что поесть. Лидия Александровна ходила по общим знакомым и сразу так и выпаливала: «совершенно не приспособлен», «как малое дитя».

Косицкий-старший сидел на даче у знакомых (знакомые уже переехали в город) и писал книгу о позднем Пьерове, которую называл своей лебединой песней.

Лев Моисеевич продал все свои поздние картины, включая и последний, «итальянский», цикл, миллионеру Кеслеру. Получил уйму денег в твердой валюте. Хотел было укатить в Америку, да так и застрял по неизвестной причине в Москве. Картин не пишет и, по слухам, пребывает в черной меланхолии. Доллары его лежат в отечественном банке, что заставляет сильно сомневаться в их сохранности.

Людмила Гехман, по слухам, серьезно хворает, и мать за ней ухаживает. Необходимость выхаживать дочь ее, как это ни странно, вылечила, впрочем, возможно, что страшный диагноз был ошибочным.

Андрей как-то встретил в Гарвардском университете Кунцевича и едва его узнал: вялые движения, отсутствующий взгляд. Кунцевич ему не обрадовался и ни о ком не спросил. Тогда Андрей сам сообщил кое-что из но-

востей, например, о папá, который чуть было не ушел из семьи. Но, кажется, все налаживается, и в ближайшее время Андрей ждет родителей у себя в Нью-Йорке. Дело в том, что он собирается жениться на племяннице Кеслера. Кунцевич (одет он был крайне неряшливо и выглядел старше своих лет) не выразил ни малейшего любопытства по поводу свадьбы приятеля или сочувствия Лидии Александровне, с которой Арсений Арсеньевич столь невежливо обошелся.

Потом, в кафе, он немного встряхнулся и спросил об «итальянском» цикле Пьерова, где, мол, он хранится. Оказывается, законченного цикла он не видел, но само название «итальянский» принадлежало ему и каким-то образом закрепилось за циклом. Андрей был рад, что цикл в целом Кунцевичу не знаком. Он хотел первым опубликовать о нем ряд заметок в нескольких нью-йоркских газетах. Из расспросов Андрея выяснилось, что Кунцевич ведет кочевой образ жизни, переезжая из одной европейской столицы в другую и читая в университетах лекции о русском апокалипсисе.

— Ищу, — буркнул Кунцевич с улыбкой. И улыбка была другая, мрачно-усталая.

— Чего ищешь, Макс?

— Душу, чего же еще.

Андрей рассмеялся, помня, как его друг относился ко всем словам с этим корнем, и подозревая в ответе подвох. Кстати, смеялся он уже без клокотания и хрипов. Американский специалист вылечил ему гортань и носоглотку, отчего Андрей лишился части своего фальстафовского обаяния.

— Послушай, а дача ваша еще существует? — спросил Кунцевич, проявляя странный интерес не к людям, а к месту.

— Что ты, продали! Экологически грязный район. Радиация намного выше нормы. А помнишь Гехман? Кеслер забросал ее приглашениями, а она не едет, вот дура!

Но Кунцевич не поддержал разговора о Гехман, а Андрей не настаивал.



АЛЕКСЕЙ ПУРИН



ОСЯЗАНИЕ

* *
*

Алексею Алимкулову

Мне зеленая Босния снится —
в буроватых потеках, Шуша —
неживая... Мешает ресница
биться сердцу, душманит душа —
и в ушке карандашном теснится,
душный ужас исчиркать спеша.

Слыша трубчатый шорох Ташкента,
дробь Дербента и дрожь Душанбе,
ощущаю: пожизненна рента,
что с пристрастием числят тебе;
и аорта — не липкая лента —
обвила урожай на гербе.

Ты в одной из рычащих империй
жил. Распад — не разъезд, а распад.
Потому и клянутся потерей

у гробниц — как в саркоме хрипят.
Не вернуть плоскогорий и прерий —
и не нужно, но точно распят.

И как после падения Рима —
не дождется Византий письма...
Утешаться ли тем, что незримо
и за гранью земного ума:
тем, что смертью одной оборима,
только крестными муками тьма?

Да и столь ли блажен посетивший
здешний пышно цветущий погост
в роковые часы — опустивший
пред ордой небожителей мост,
зрящий сумрак, полмира застывший,
и закат вампирических звезд?

Преображение

1

Твоя ладонь полубезвольная
и пальцев гибкие побегии —
напоминание окольное
о жалобе ночной и неге.

Любовь, со всеми недомолвками,
таю, как рану ножевую,
в июле, здесь — на поле Волковым,
сжимая — лживую, живую.

Так капля жалуется желобу
листа, чуть сложенного жалом,
стекая к мрамору — тяжелому
в своем забвеньи залежалом.

Не за горой Преображение
и неизбежность отторженья —
разъятие бережного жжения,
дыханья легкого, скольженья...

И я, держась за сухожилия,
за дорогую эпидерму:
— В разлуке выживу, скажи, ли я?
А ты? — пытаю изотерму

венозной сини — убегание
ее, чтоб стать артериальной
в юдоли смертной полигамии
и первородности повальной...

Что жизнь? Лишь оболочек радужных
сличенье в жарком биатлоне,
соломинка полувзаправдашних
гаданий влажных по ладони?

2

Сердцебиенья ль откровенного,
тепла ль, которым дорожили,
желать от тока переменного,
бегущего в латунной жиле? —

Ни тел, ни льна, телами смятого,
ни горьких уст, ни остального...
И — словно лед браслета снятого,
почти остывшего, стального, —

пугаюсь я прикосновения
к твоей разгоряченной коже...
Нисколько это говорение
на то молчанье не похоже!

Скамейка в парке вороватая,
пригорок, где мы целовались...
Но даль — стыднее соглядатая:
стоит, насмешливая, пляясь.

Ложись и на бедро мне голову
клади, необладаньем муча...
Сродни расплавленному олову —
в лазури созревает туча.

Вот так пещеристый, наверное,
и ад горит — не догорая,
мечтой прельщая эфемерною
о трогательных куцах рая.

3

Мы шли вдоль пляжа волейбольного —
речного, в Ораниенбауме.
И за твоими было больно мне
следить зрачками: на шлагбауме,

закрывшем железнодорожные
пути, так скачут вспышки красные...
О, эти мускулы подкожные,
тела мучительно-прекрасные!

И нежная твоя бесстыжая
ладонь была такой горячею,
что сердце вздрагивало: вижу я —
ты хочешь убежать, и плачу я —

как тот сатир с ракетой теннисной,
из Юты в ад переезжающий...
Ужасен миллиарднопенисный,
тебя манящий и терзающий

наш мир — оптово-одноразовый,
феноменальный... Жарким шепотом,
ах, убивай — еще рассказывай
о том, что называют «опытом»!

Вмещай же боль продолговатую,
души тоска ноуменальная, —
копи терзанья: станут платою
твоей — за обобщенье свальное...

Кровоподтеками засосными
цветет закат, как в пасторали; и
внизу, за розовыми соснами,
играют в полый мяч реалии.

4

И умерли — и похоронены.
Не веришь? — погляди на плиты,
на склепы — Кроноса хоромины...
Тесней, чем страстной ночью, слиты.

Сильней ладоней Диоскуровых
соединились — шуйца в длани...
Что, Свидригайлов, в Троекуровых
рычащем мы найдем чулане?

Смотри на Тютчева с Некрасовым,
в Ничто сошедшихся — не в Ницце,
и не мечтай об одноразовом
придурочно-счастливым шприце! —

Всех-всех одною спицей ржавою —
туда, где первогрешно бьется:
сорвавший яблочко державою
земной — подземной выдается.

Но, ядовитое, тогда уже
давай сгрызем напропалую:
пусть стыд оттягивает за уши,
а в губы жадно поцелую!

Как хорошо мне и мучительно
тобою быть в твоём аркане
все сорок умопомрачительных,
в рай возвращенных задыханий!

ИЗ ЦИКЛА «ТАРО»

1. Висельник

Брат Иуда, отец мандрагоры,
 знаю: дело твое керосин!..
 Палестинские синие горы
 и серебряный шорох осин...
 И паломник немой очарован
 дымкой новозаветных высот.
 Но не им, а тобой поцелован
 Тот, Кто крест всепрощенья несет...
 Вижу: целое море заката
 и огней золотистых щепоть...
 Увеличена так и разъята
 у задушенных грешная плоть!..
 Жизнь — лишь помесь синкопы и смуты:
 тех — повесить, а этих — распять...
 Но на сходе последней минуты
 Он тебя поцелует опять.

2. Молния, или Небесный огонь

Долго башня гордая строится —
 быстро рушится и горит...
 Здравствуй, чистое пламя Троицы —
 Слово, Дух Святой, Параклит!

Чем утетишь?.. Сердце расколото,
 не разъяв Любви и греха,
 и течет никчемное золото —
 амальгама, плазма стиха.

Это мнилось пресуществлением? —
 Пресен хлеб и кисло вино...
 Даже к Отчим припасть коленям я
 не могу — уже не дано. —

Ни стигмата, ни теплой ветоши,
 ни борений потных в ночи,
 ни кормлений, ни брений нет уже —
 лишь поля, разряды, лучи...

Знать хотя бы — какой заряд несу?
 Кто добрей — помолится ль за?..
 К небольшому, частному Патмосу,
 назревая, скачет гроза.

3. Солнце

Не волной морской, не петлей, не пулей, —
 а сейчас вот сердце в груди
 разорвется... Все, что не ты, на стуле,
 на полу оставь — и иди
 вязким светом в липкий постельный улей...
 По ночам у нас не темно в июле —
 я хочу тебя, погляди!

Хорошо, в разметанной плоти лежа,
как в овсах, тобою дыша,
умирать... Все это — лишь дрожь и кожа,
но внутри, ты знаешь, — душа.
И на жаркий шепот она похожа —
на волшебные эль и ша...

Мотылька ладонью ловил ночного —
и теперь вот пальцы в пыльце...
Как сияет брызгами соли слово,
как слепит, кончаясь на це!
Спи... А солнце светит с востока снова —
и все славно будет в конце.

4. Мир, или Обратная перспектива

Чешуя сазанья, перо фазанье...
Но не ясно: как там — в огне, в земле? —
Расскажи, послушник, про осязанье,
про резьбу морозную на стекле...

Мастер прозы вкрадчивой (с листопадом
среднерусским сравнивали), свечным
язычком согрет ли ты за распадом —
благовестным солнцем ночным?

О, поведай: шире ль вдали аллея,
чем вблизи; воскрес ли отвес;
флорентийской Флоры-весны милее
наважденье зыбких небес?

Гностик, мистик оптики, сдутый листик,
пленник свастик, формул схоласт, —
хорошо ли Слову в сетях баллистик?
Не гнетет ли азбук балласт?..

Не сужу. И я ведь Отца и Сына
позабуду ради словца,
ради прелести... Шелести, осина! —
Начинается мир с конца.

И, пытаюсь зримое слить с незримым,
мы встречаем бесов в лесу, —
потому и названы Третьим Римом:
за красоты — соты, красу.

Аполлон в мехах

Это ведь Феб постучался к нам в дверь
прекрасной стопою.

Каллимах, «К Аполлону».

Барская шуба — барсова шкура.
Мцыри, в рычащем меху
вьющийся. Марсиева синекура...
Ху, разберемся, ис ху? —
Дафнины лавры и бурка хевсура,
Бозио в зимнем пуху...

Кто же, в тулупчике заячьем ката —
 словно Назон в зипуне,
 светит мохнатой звездой заката
 заледенелой стране —
 родине лютопевучего мата;
 кто же в кизячном огне
 шепчет: смотри, первородство — космато
 и чечевично вполне?

Сжатый небесной Медведицей, в ахе
 чуя лишь с агнецом связь,
 кто мусоводит здесь в снежной папахе —
 ох, не валлахский ли князь?..
 Что Леопольд их и Сад в прибабахе —
 жалкие язъ и карась!

Наш-то похлеще вервольф и подлещик —
 в шубе вороньей песец голубой,
 щук оперенных скорняк и нарезчик
 славы, по сердцу ведущий резьбой
 страха, пером бородастым, — помещик,
 мнимости в Крым выводящий гурьбой!

* *
 *

Виноградники Арля, луга Живерни —
 чистота ослепительной тверди...
 Где мучительный зной, и тупые слепни,
 и тоска, и отчаянье смерти?
 Но скажи: это бегство из тесных одежд,
 ускользанье от тягостной жизни —
 наилучшая из воплощенных надежд
 на бессмертье иль скрипка на тризне?

Шоколад принесут, прочитают письмо,
 поразят Ниагарой фасада...
 Или самосознание презрело само
 умиранье, за гранью распада
 продолжаясь неверным свеченьем гардин,
 фосфорическим — о, непосильно! —
 разложеньем подземным, как думал один
 евразиец безумный из Вильно?

На холщовое счастье гляжу не дыша.
 И, гонимая Светом с Востока —
 ей тут нечего делать, — уходит душа.
 Но не слишком ли плата жестока —
 претерпеть перламутром кишащих мазков
 и пуантами мертвого света
 воскрешенье в чаду миллионов веков —
 за истому короткого лета?

* *
*

Четыре, две и три —
загадка для Эдипа.
Скорей с лица сотри
гримасы прототипа,
из-под тяжелых век
расчисленного рока
смотри: се — Человек,
у смертного порога
Небесного Отца
молящий: «Или, или!..» —
как будто два конца
углем соединили.

Зеницы меркнет шар,
и голень перебита...
Но углеродный дар
горящего графита,
как и слиянья пыл,
не скрыть под пеленою.
Кто парус округлил
беременной волною —
для крестного костра
и пламенного лова,
Десятая Сестра,
рождающая Слово?

* *
*

Целовались в парке — и страх стыда
трепетал, метался и гас.
Пусть текут прохожие, как вода,
изумленно глядя на нас:
положи мне голову вот сюда —
вот сюда, я спячу сейчас!

Аравийский запах твоих кудрей
и Кааба черных зрачков
говорили, кажется: ночь мудрей
очевидной толщи веков;
ночь сама прошепчет: «Бери скорей!» —
Но я днем пылал, бестолков.

А когда темнело, то я немел,
замирал, не смел, не умел —
неумел, несме́л: лишь пучок омел,
а не мрамор крепкий, не мел...

Все слова — лишь звонкая медь монет,
все писанья — ветер, прости.
Ничего на трепетном свете нет,
кроме сердца в тесной сети
смертоносной плоти: Творцу вослед
я могу рукой провести —
от ребра к бедру, миллионы лет
и все расы стиснуть в горсти!

* *
*

Колотилось сердце — и я зачал,
и рожаю в муках слова...
Как в начале тех золотых Начал,
нас с тобою — три, а не два...
Слепо билась лодочка о причал.
От любви не умер едва.

Так приносит ангел Благуя Весть
под широким шумным крылом.
И боюсь, да угль утешенья весь
принимаю я: поделом
эта боль и радости! Еще отвесь...
Пусть живым нас свяжут узлом.

Или мы не знаем: зачем сердца
прижигаем, ночью кого
ищем — жадно, суетно, без конца
и начала, тычась? — Его...
Твоего во тьме отличить лица
невозможно от моего.

* *
*

Как зрачок — сужается, немея,
осязанье, раненное влет:
алый спирт укола Саломея
ледяной соломинкою пьет.

Чтобы плоть пугливо обомлела,
опусти зеленые глаза,
соловей с иглою, Филомела,
коновалка дактилей, оса!

Эсмеральда милая... К лицу ей,
кровососке, саван голубой,
лунный хлопок... Ладно, потанцуем —
пусть мое становится тобой.

Не стекло, а крылышко Амура,
стрекозино слито со стеклом, —
и растет стеклярус Реомюра,
ледяным питается теплом.

Кто сказал: не хватит капилляра? —
Мир — универсален, погляди:
весь — из боли-сладости-кошмара-
соли-льда-стеснения в груди.



ПУБЛИЦИСТИКА

ВАЛЕРИЙ ПИСИГИН

*

ХРОНИКИ БЕЗВРЕМЬЯ

I

(О) сенью 1994 года популярная московская газета опубликовала любопытную заметку, в которой сообщалось, что дорожники, ремонтирующие Московскую кольцевую автодорогу, решили заодно измерить и ее длину. В результате выяснились ошеломляющие обстоятельства: большинство километровых столбов на МКАД расставлены как попало и определить по ним точное расстояние абсолютно невозможно. Есть места, где между столбами всего 500 — 600 метров, кое-где — 1200, а в одном месте почти два километра!

Может, и не стоило бы останавливаться — примеры есть и почище, — но здесь дело вот в чем.

Несмотря на обнаруженную явную нелепость и откровенный идиотизм, столбы решено не переставлять. Утверждается, что это создаст неудобства для сотрудников ГАИ, уже привыкших ориентироваться по столбам и определять с их помощью свое местоположение («Московский комсомолец», 1994, 14 октября).

Вот все то время, пока столбы менять и расставлять по местам нельзя «по целому ряду причин», и есть образное выражение того, что я понимаю как «безвремье».

Мы сейчас переживаем именно такой период, нечто вроде «искривления пространства и времени». Разумеется, по-разному, но то, что переживаем все, — точно. Все говорим друг другу (открыто и в сердцах): «Надо переждать это время».

Почему «Хроники безвременья»?

«Хроники» — оттого, что статья построена на фактическом материале, взятом из прессы, и потому может считаться документальной.

С «безвременьем» — сложнее. Если бы речь шла о том, чтобы назвать статью, скажем, «Хроника смутного времени», было бы намного проще и яснее. Смута, беспредел — это хорошо знакомое из истории и потому вполне представимое. А кроме того, такое название нашего сегодня уже вошло в обиход и принято многими. Тем не менее я склонен называть нашу сегодняшнюю жизнь именно безвременьем.

Почему?

«Смутное время» — определение исторической эпохи. Такое название больше подходит для истории и историков, для тех, кто будет наше время изучать потом, после нас. Будущие исследователи, может, и нарекут наше время именно так. Им со стороны будет казаться виднее. Но нам, изнутри, — чувственнее и ближе. И не обязательно то, что окажется названным «смутой» потом, является «смутой» сейчас: кто поймет наше ощущение безысходности?

Для бурной, динамичной, часто сменяемой околоставной и околполитической жизни, на фоне бесконечного телеэкранного мелькания «людей успеха», на фоне борьбы опоздавших, чтобы еще успеть, нынешнее время с туманным и неопределенным «безвременьем» явно не соотносится. Им, как и историкам, разумеется, ближе «смута» и «беспредел», но это всего лишь отражение их внутреннего психологического состояния.

Однако круги этой «смуты» расходятся не дальше московских окраин. За ними — другое измерение и иное бытие. Да, напасти людские — производное действий политиков, и уже не только московских, — они давно множатся и воспроизводятся без них, разведя власть и общество по разным углам.

Проблемы страны гораздо сложнее и грандиознее личностей, взявшихся за их решение. Вместе с тем никогда еще в России не было столько талантливых и духовно раскрепощенных граждан. Наша общая невозможность и неспособность изменить этот очевидный и роковой парадокс, привести в соответствие масштаб проблем и масштаб личностей есть симптомы безвременья.

Безвременье — это само ощущение современников «смутного времени», видящих пути выхода из него, но остающихся не услышанными остальными и потому оказывающихся невостребованными. Это когда не у дел остаются как раз люди дела.

Искать первопричины наших бед в «плохой власти» — слишком тривиально. Власть наша и без того заслужила много внимания: от кратких эпитетов до объемистых фолиантов. Оставим кесарю кесарево.

Меня интересует другое: что же еще должен пережить наш народ, чтобы перестать мириться со своим униженным состоянием? Какие еще трагедии и какие уроки у него впереди? Или мы обречены?

Ответьте, сколько раз на сетования по поводу нашей безытности каждому из нас приходилось слышать уверенно-обреченное: «А чего ты хочешь? Здесь иначе быть не может!»

Кажется, всех одолевает усталость. Но от чего?

В один день с политической карты ушла в прошлое «страна героев, мечтателей и ученых». Покончили с тоталитарным коммунистическим режимом. Настала пора строить новый порядок — цивилизованный, демократический.

Но кто строители и что за материал?

Материал — это мы, оставшийся от той несуществующей страны народ. А строители — это те из нас, кто взялся нами руководить, наши большие и малые начальники. Все они из того же несуществующего государства. И мы им, и они нам остались в наследство. И их и нас еще очень много, и еще сколько времени пройдет, пока нас всех станет меньше, чем тех, кто родился и вырос в новой России!

Но пока строители нового, вчерашние победители и триумфаторы, как-то приуныли...

Может, только сейчас дошло, что вместе с СССР должны были бы уйти вьевшиеся привычки, старые слова, надежды и иллюзии?

Или вдруг обнаружили в себе затасканные ценности и стандарты, потрапанные от употребления средства и намерения?

Или неожиданно для себя поняли, что вместе со старой политикой и экономикой надо было выкинуть набившие оскомину формулы, опустить измятые выражения и заскорузлые фразы, изъять из обращения вколотенные в головы тезисы и законы?

А может, догадались-таки, что нельзя было брать с собой в будущее не только все это гиблое наследство, но и носителей его, то есть нас и себя самих?

Конечно, коммунистический режим был ненавидим, как традиционно ненавидима в России всякая власть. Но в непосредственном конфликте с ним 90 процентов людей (а то и больше) не находились. Творческие работники, часть интеллигенции, искатели правды из той же коммунистической среды, может, редкая часть хозяйственников худенковского типа да, может, еще кое-кто. А в целом народ с режимом не конфликтовал, потому что не соприкасался с ним непосредственно.

Мы могли критиковать кого угодно и сколько угодно: начальника цеха (это поощрялось и нравилось директору), самого директора (это поощрялось и очень нравилось райкому), только нельзя было трогать сам режим — в смысле его устоев. Так нам чихать было на режим.

Теперь мы можем нынешний режим, того же президента, ругать где угодно и сколько угодно, и против этого никто не возражает. Но попробуй задеть своего начальника, хотя бы насчет зарплаты, — вмиг вылетишь. И жаловаться некому.

Страх попасть в тюрьму за «антисоветизм» сменился страхом быть выброшенным на улицу по прихоти начальника. А человек и его семья всегда жили

и живут частностью. Настоящее и насущное оказалось важнее всех «политических процессов» в стране, Москве и Кремле.

Когда еще было так далеко до царя и так высоко до Бога?

Получилось, что в своем честолюбивом порыве наши демократические строители так рванули вожжи, так ускакали в своих представлениях и чаяньях, что остались наедине с собой. Оглянулись, а вокруг — аборигены, наш поистине девственный народ, для которого, собственно, и старались. Ему же, оказывается, и дела до того нет.

Плох оказался президент? Но сколько раз из «демократического лагеря» раздавалось: «Нет альтернативы!»

Не подумали в свое время, что таков вообще лозунг Моновласти?

А ведь у нашего народа альтернатива есть. И не одна — множество. И аграрии, и коммунисты, и либерал-демократы, и социал-демократы, и просто демократы, и монархисты, и еще много чего такого, и все со своими лидерами, вождями. Мало у кого столько альтернатив.

Беда-то совсем в другом — не у народа¹, а у наших начальников, прошлых и будущих, нет абсолютно никакой альтернативы: их жребий predetermined и всякий из них обречен на то, чтобы иметь дело с нашим народом! Он же — целостен и монолитен в своей разнонаправленности и апокалиптичности. И любой реформатор, прежде чем решить проблему выдвинутых им преобразований, должен решить проблему своего народа. То есть проблему всех нас, грешных.

Те «экономические реформы», которые проводили, проводят или собираются проводить наши страждущие политики, наверное, возможны. Наверняка есть большой резон им следовать.

Но лишь с одним условием: нас, народ, надо сначала... убить. С такими, какие мы есть, такие реформы невозможны, а переселить нас, аборигенов, некуда. И ничего крамольного или немилосердного в том нет. Страшнее и крамольнее как раз обратное — проводить все эти реформы с нами и для нас.

Америка строила свою цивилизацию очень резво и со знанием дела. В этом строительстве места для тамошних аборигенов не было. Поэтому их, непригодных для демократии, предусмотрительно истребили, чтобы начать с «чистого листа». Это вечный и хорошо скрываемый грех Америки. Непригодными были целые слои и для «дела социалистического строительства» в России. И для национал-социализма в Германии, и для Пол Пота в Камбодже.

Люди, не отягощенные интеллигентской риторикой о «реформировании» и «стабилизации», понимают, о чем речь.

Сынку и штатному помощнику одной из наших «альтернатив» задают вопрос:

«— Ты думаешь, твоему отцу удалось бы сделать так, чтобы всем было хорошо?»

Сын за отца отвечает:

— Он сумеет. Эта проблема, ты знаешь, решается очень просто: не методом издания каких-то указов или обращения к населению с экрана телевизора. Это решается по типу «хрустальной ночи».

— Это как? — намеренно наивничает журналист.

— Как в Турции: там был один период, когда за ночь вырезали несколько миллионов неугодного населения.

— Это ты серьезно говоришь?

— Абсолютно. Была бы моя власть, я так бы и сделал...» (См. интервью с сыном Жириновского в «Комсомольской правде», 1994, 25 октября).

¹ Определений у понятия «народ» — множество. Взгляды на сам народ — разные. «Сверху» видится одно, «снизу» — совсем другое. Мы будем здесь и далее придерживаться замечательного определения, данного народу деревенским мужиком Денисом Григорьевым, чеховским «злоумышленником», во время его допроса следователем в суде:

«— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?»

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

— Кто это — мы?

— Мы, народ... Климовские мужики то есть».

Не беда, что мальчик не знает, где и когда была «хрустальная ночь». Учит-ся ведь не на географа или историка, а, как папа и дедушка, на юриста. Там же, как и в политике, знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.

* * *

Теперь перейдем к нам, то есть от альтернатив к безальтернативности.

Вот заметка из газеты «Труд»: «С вилами и кольями отстояли свое овечье стадо от военнослужащих из Ленинградской области жители глухой новгородской деревеньки Колчигино. Следуя в Вологду для закупки оборудования, трое военнослужащих увидели близ селения пасущееся стадо и пристрелили одну овцу для шашлыка. Местные мужики пытались взять в плен стрелявшего из пистолета прапорщика, но операция по захвату не удалась, более того, се-ляне понесли потери: в борьбе был ранен пастух. И все-таки гражданские по-бедали, вооруженные разбойники бежали в сторону города Пестово, что на границе с Вологодской областью» (1994, 20 июля).

Это невинные сводки с нашего севера.

А вот наш юг. «На окраине Ростова на одну из опор высоковольтной ЛЭП средь бела дня забрался неизвестный мужчина и начал заниматься весьма не-скромными вещами, вызывая улюлюканье зевак. Чтобы спустить вниз явно ненормального человека, потребовалось обесточить огромный район. Сотруд-ник электросети, приблизившийся к нему, получил два ножевых ранения. Один из приблизившихся милиционеров также отступил с ножевой раной. Уже в полночь решили применить оружие. Стреляли по ногам «Тарзана». Он упал вниз и разбился насмерть. Им оказался некто Блякин, 47 лет, приехав-ший из Тернопольской области Украины» («Российская газета», 1994, 13 июля).

Представьте, какие страсти бушевали на окраине Ростова: и жизнь парали-зована (без электричества огромный район!), и сколько душевных и физиче-ских сил истрачено и недюжинного интеллекта (стреляли-то не в голову — по ногам!), наконец, сколько неподдельного гуманизма проявлено в те часы (ведь и со стыдом боролись, и человека заблудшего спасали). И жертвы были, и кровь, и пресса. И власть поработала, и народ поулюлюкал.

А в тот же день и, возможно, в то же самое время, когда заезжий гражда-нин суверенной Украины грешил на Ростовской ЛЭП, в подмосковной Ку-бинке (это наш центр) происходило следующее:

«...30-летний капитан ВВС Алексей Топал произвел несанкционированный взлет транспортного самолета Ан-26. 4 часа «транспортник» находился в воз-духе, делая круги над местностью на высотах от 100 до 600 метров. На запро-сы с земли офицер не отвечал. Лишь после того, как к нему приблизился ис-требитель Су-27 из дежурного звена, Топал сообщил о желании покончить с собой. Свое решение капитан объяснил конфликтом в семье. Уговоры сослу-живцев не возымели действия. В 20.46, выработав топливо, самолет упал неда-леко от деревни Ляхово и разбился. Офицер погиб. Других жертв и разруше-ний нет» («Вечерняя Москва», 1994, 14 июля).

И в этом случае можно поднапрячь воображение: заменить самолет, ска-жем, на сверхзвуковой ядерный бомбардировщик, да повысить пилоту звание, да начинить бомбами и махом покончить с конфликтами и в своей семье, и заодно со всеми конфликтами в «семье народов» вообще.

Или вот еще — к вопросу об интеграции — сообщение из Белоруссии. (Это наш бывший запад.)

В Могилеве «искатели полезных ископаемых» сперли кабель спецсвязи Комитета государственной безопасности Белоруссии. Там комитетчики кину-лись выявлять шпиона, а телефоны не работают — кабель сперли. И никто не плачет, наоборот — все смеются. Эка невидаль, когда медь в цене. На тихой улочке могут запросто троллейбусные провода срезать прямо средь бела дня. И грех не срезать. Троллейбусы сейчас редко ходят («Московский комсомолец», 1994, 18 августа).

Так это форменное преступление, откровенное воровство. А в Петропав-ловске-Камчатском (это наш восток) народ пошел по грибы, с лукошками и водочкой, так без всякого воровства нашел совершенно исправные, но неохра-

няемые ракетные установки — брошенные или забытые. Специалисты, срочно вызванные на место находки, пришли к выводу, что ракеты, радиус действия которых составляет несколько сот километров, совершенно исправны. То есть бери и стреляй себе на радость. Ракеты-то, учитывая российские пространства, совершенно безвредные. А совсем недавно, продолжает тот же источник, в другом районе Камчатки найдены брошенные артиллерийские снаряды, часть которых растащили местные детишки. Попробуй теперь, родитель, не дай на «Сникерс»! («Сегодня», 1994, 1 октября).

Все эти сюжеты — не тенденциозная подборка, не специально проведенная работа, а так, из попавшейся месячной кипы ненужных газет.

«Это — священное шествие, стройная пляска праздной тысячеокой России, которой уже нечего терять; всю плоть свою она подарила миру и вот, свободно бросив руки на ветер, пустилась в пляс по всему своему бесцельному, непридуманному раздолью...» (Александр Блок, «Безвременье», 1906).

Подобные проявления нашей душевной специфики можно продолжать бесконечно. Я это к тому, чтобы хоть немного обратить внимание «строителей нового» на материал, с которым приходится (или придется) работать и который для них прямо никудашный. Скажу более того: падающий с моста, стреляющий из танков, попадающий в авто- и авиакатастрофы, дирижирующий оркестрами, наконец, не разбуженный для встречи с премьер-министром некой страны, наш президент находится в полной гармонии со всем этим и, значит, со своим проголозовавшимся в свое время за него народом. А то, что сейчас большинство народа президента ненавидит, — не беда. Для того и избирали тогда, чтобы было кого ненавидеть сейчас. А кого любили? Сталина?

* * *

Безвременье — коварно. Сегодня это расплывающаяся бацилла равнодушия, отчужденности и безысходности. Это разрушающий сердце и душу гнет не востребованности и никчемности, униженности и оскорбленности. От него — брезгливость к неудачникам, неустроенным, несостоявшимся, к аутсайдерам новой жизни и новых ценностей. От него же — патологическая любовь к успеху, рабское почитание сильного, готовность не задумываясь отдать душу «золотому тельцу».

Все дальше полюса, все глубже пропасть.

Безвременье — это всеохватывающий страх и воспроизводство страха. От страха же и беззащитность, и от него же — ответная агрессивность к слабейшему, привыкание к «малой крови», к «легкой смерти». Внутри страны — террор. Вокруг — войны.

Не одно, как раньше, большое «красное колесо» крутится — а множество. Разной величины, с разной скоростью, в разные стороны... Попробуй не пропади! Уже не искушения толкают в пропасть, а элементарная нужда. Безвременье, оставляя людей в одиночестве, насилует их, выворачивает наизнанку, уродует, и уже самые близкие не узнают тебя.

«...и сини дали, и низки тучи, и круты овраги, и сведены леса, застилавшие равнины, — и уже нечему умирать и нечему воскресать. Это быт гибнет, сменяется безбытностью...» (Александр Блок, «Безвременье»).

Когда после долгого мрака вспыхивает перед глазами яркий свет, человек слепнет. Из привычного неведения он попадает в неведение непривычное. И, ослепший от избытка света, человек теряет даже те ориентиры, которые у него были до того.

Это ощущение безвременья: ты был только что зрячим с открытыми глазами, но не видел ничего из-за окружавшей тебя тьмы. Теперь же знаешь, что тьма рассеялась и есть возможность увидеть мир, но глаза твои видят не его, а лишь огненный шар да искристые круги... Ты все еще слеп!

Нужен только один доктор — время, чтобы организм привык, и только одно качество — терпение, чтобы не оступиться и не пропасть вовсе. После вернется и разум.

Но трижды терпеливым должен быть тот, кто готов позвать еще не прозревшего за собой. Даже если точно знает, куда и зачем. Терпение здесь — высшее проявление разума, потому что милосердно.

Безвремя — внешне очень тяжелое, серое, безрадостное время. Это как бы провалы истории. Но они-то и есть самые важные, самые значительные. Вот теперь, когда старое исчерпано, а нового еще нет, становится очевидной истинная цена всем и каждому: самое «знаменательное и эпохальное» может оказаться тривиальным и скоро забытым, в претендующем на высокое звание реформатора внезапно обнаружится средней руки чиновник, а «выдающийся экономист» на проверку окажется заурядным бухгалтером.

В будни, а не в праздники формируются и происходят действительно исторические события. Они не обставлены с помпой, к ним не приковано внимание прессы, и происходят они в стороне от власти.

Кто сумеет внимательно присмотреться к их туманному, плохо различимому образу, прислушаться к едва уловимому шороху? Какой пытливый ум сможет отличить их среди воя и скрежета, выявить из всеохватывающей меланхолии и самообмана? А выявив, сможет ли донести до людей? Но даже тогда — окажется ли ими услышан?

II

Где-то в дальневосточной глуши есть поселок Амгунь. Живет там примерно семьсот душ, съехавшихся в те края со всех концов страны на стройку века БАМ. Были надежды, мечты, романтика... Журналисты, волей обстоятельств побывавшие в Амгуни, так описывают жизнь поселка:

«Нормального жилья нет, снабжение никудышное, в телевизоре сплошные помехи, а самое главное — заработков нет. И уезжать уже некуда. От жизни такой мужики чуть ли не повально запили. И мрут как мухи. А женщины, что никого уже не удивляет, накладывают на себя руки. Когда мы приехали, — продолжают журналисты, — то столовой там не оказалось, а в магазине последнюю банку консервированных кальмаров недавно съели. «Сходите на поминки, — посоветовали нам обыденно, — там и поедите».

Многие здесь как окаменели, каждый бьется со своей бедой, часто не выходящая другого» («Комсомольская правда», 1994, 23 ноября).

Можно и из этих скупых строк представить себе картину поселка Амгунь. Безрадостность, безысходность, безытностность...

И от этого — одни пьют, а другие накладывают на себя руки. Выбор небольшой...

Но вот тринадцатилетняя девочка из этого поселка, с белорусским именем Олеся, оказалась одна в тайге. Оказалась вынужденно: после того, как неожиданно у нее на глазах умер от разрыва сердца отец, с которым они вдвоем отправились на грузовике по ягоды.

Семь суток по холодной осенней тайге, без еды, босиком, без теплой одежды и спичек, без ориентиров шла Олеся и при этом еще несла на руках своего верного друга — маленькую собачку. В конце концов, выбившись из сил, она вышла к землянкам, которые уже не надеялись увидеть ее живой. В тот же день у нее умерла больная мать, не выдержавшая переживаний.

Описать все, что пережила Олеся, в состоянии лишь тот, кто смог бы попасть в аналогичную ситуацию и не потерять при этом способность излагать мысли. Поэтому «Комсомолка» крупными буквами на первой полосе, как могла, обобщила: «Девочка Олеся из дальневосточного поселка Амгунь вынесла испытания, которые сломали бы Рэмбо, Рокки и Терминатора вместе взятых». «Испытания» этих всем хорошо известны, так что теперь уже будет понятнее, что там произошло в тайге.

А между тем Олеся, почти ребенок, выдержала суровые испытания для того, чтобы остаться живой и вернуться в родной для нее поселок Амгунь... где женщины накладывают на себя руки от безысходности, а мужчины беспробудно пьют.

Обреченную, Бог предпочел все же оставить в нашем жестоком мире. Но для чего и для кого?

Для того, чтобы ее запросто так, из-за чьей-то забавы, лишили жизни? или чтобы ею овладел насильник? или чтобы, родив в муках ребенка, она потеряла его от рук убийцы? или чтобы ее сына увели на чужую войну? или чтобы, прожив жизнь, наша Олеся просила подаяние на оживленных улицах, кланя

страну, в которой живет? Наконец, чтобы она, как ее землячки, наложила на себя руки?

Как скоро наступит день, когда она, лишившись надежд, проклянет тот час, когда вновь вернулась к людям? И что мы, люди, еще успеем сделать, чтобы этот час не настал?

Наверное, выжила Олеся все же для другого: она совершила свой подвиг для нас, показав жителям заброшенного в тайге поселка и всем нам, что сообщество людей, пусть жестоких и огрубевших, все же лучше царства зверей и холода.

В лице девочки к людям, не только из таежного поселка, вернулась надежда на спасение и редкостный шанс задуматься над тем, что есть наш российский человек, наш народ и для чего мы вообще живем на этом свете.

Олеся, как истинный праведник, явилась тихо, незаметно, в стороне от столичного шума, в таежной глуши. Явилась в свой опустевший дом, в свой поселок, к людям. А что они?

* * *

В существующей неразберихе, где, кажется, все заняты лишь сведением счетов (политических, морально-этических, уголовных), в бесконечном потоке имен, фамилий, званий, должностей и кликух почти не затрагивается некто один, самый непререкаемый, важный, авторитетный и даже великий. Не затрагивается не потому, что кто-то его уж очень боится, а потому, что традиция и горький опыт других свидетельствуют: лучше этого героя обходить стороной.

Видные политики и выдающиеся деятели, лидеры различных партий, движений и блоков, политологи и литераторы предпочитают говорить о нашем герое только хорошее. Вроде того, что он «всегда прав», что он «мудрый и справедливый».

А между тем известно, что эти самые политики в действительности не ставят его и в грош. Лишь интеллигенция именем его учит всех остальных, тогда как «простые люди», хотя и относятся к нему с показным почтением, на деле отмахиваются от него в порыве откровенности.

Словом, мы имеем странный, будто бы идущий из глубины веков авторитет, своего рода высшую инстанцию, с которой вынуждены считаться и к которой апеллируем, призывая в высшие судии, когда чуть что не так, не по-нашему.

Кто же, наконец, этот герой?

Это тот, кого мы привыкли называть словом «народ».

Мне кажется, настает время, когда надо всерьез задуматься о нем и высказаться откровенно, безбоязненно, даже безоглядно. Пусть переусердствовать, но сказать все, что накопело, и все, что он, наш народ, действительно заслуживает.

Народ, который мы видим вокруг себя и сами принадлежим к нему, — не лишь русский, потому что многонационален. Его скорее можно бы назвать «советским», и когда коммунистические комедиологи говорили о новой общности — «советском народе», они были отчасти правы. Отчасти, потому что и до появления коммунистов наш народ нельзя было назвать каким-то единым словом.

Не могу забыть публикацию времен «холодной» войны: некий американский школьник, далекий от исторического (и иного) понимания, выразил детское недоумение: «А как так получилось, что какой-то Сталин смог весь народ огромной страны (половину карты занимает!) загнать в тюрьмы, в лагеря, казнить миллионы, — и почему народ допустил над собой такое насилие?» И далее несмышлениш сделал и вовсе странный вывод: «А может, не Сталин, а сам народ во всем виноват?»

«Хорошо там, где нас нет», — гласит наша же народная пословица.

«Там, где нас нет, — там и хорошо!» — поправляет, обобщая, наблюдательный юморист.

Все претензии к себе наш народ воспринимает (если вообще воспринимает) лишь в форме юмора и сатиры. От дедушки Крылова и комедий Гоголя — до Райкина и Хазанова. Сатира — тот язык, которым только и можно разгова-

ривать с народом, вызывая у него же смех... нет, не над собою. Над тем, кто рядом, где-то возле, только что здесь был среди нас. Смех, и тут же — нескрываемая гордость и даже восторг: такой вот МЫ народ!

Потому что если не сатира, если ругают серьезно — то обижают. Оттого серьезно разговаривать (будь ты даже Гоголь) — смысла почти нет: пройдет мимо уха народного.

Вот и мы, может быть, обидим, спросив: а кто стоит за всеми проявлениями наших умопомрачительных экспериментов, вивисекций, социальных революций? Не сам ли народ?

Да, его соблазняют, вовлекают, его ведут. Но не первые ли два шага? Дальше-то уже он идет сам. И попробуйте не пойти с ним...

С молчаливого согласия кого творятся все беззакония, произвол и насилие? Не с его ли, народа?

Что скрывается за знаменитым «народ безмолвствует»?

Непослушание и ненависть, готовые вылиться в бунт? Или рабская покорность и отчужденность от происходящего? Наш народ способен одновременно ненавидеть, терпеть, одобрять и поддерживать.

Это состояние хуже равнодушия, потому что в нем присутствует постоянное ожидание агрессии извне и готовность к агрессии изнутри. Странное состояние: не сама агрессия, а ожидание ее и готовность к ней!

То, что режим тоталитарный, — споров и разговоров о том много. Наш народ тоталитарный — вот о чем надо говорить!

И этот тоталитаризм не от Ленина или Сталина. Потому что не лагеря и тюрьмы, а отсутствие свободы печати и не моноэкономика, а отсутствие обратной связи в замкнутой системе — вот что такое тоталитаризм.

Это когда глас вопиющего: НЕ УБИВАЙ! НЕ НАСИЛЬНИЧАЙ! А в ответ ему — народ безмолвствует! (Да, даже и без кавычек. Просто безмолвствует.)

Ужасно, но скорее Ленин и Сталин (как, впрочем, и все тираны до них) и сама их система с насилием и произволом — от народа, от его сохи.

Философ Рассел задавался вопросом: «Хотите узнать, что такое русская революция?..»

И вопросом же отвечал: «Задайтесь прежде: а как еще можно управлять персонажами Достоевского?»

Действительно, как еще? Только так и можно. Более того, по-другому — опасно!

* * *

Вот еще несколько заметок из наших газет.

Одна из них сообщает о некоем Кошелкине, помощнике машиниста из Белогорского локомотивного депо. Так вот, этот Кошелкин отправился однажды сдавать в ремонт свой электровоз.

Перед тем на станции Уруша (есть где-то и такая станция) проводился обычный медицинский осмотр, и его из-за нетрезвого состояния вполне законно отстранили от работы.

Ну, отстранили — и делов-то. Проспись и приходи завтра. Порядок, он и в Африке порядок.

Но то в Африке. Читаем дальше: «Недовольный таким оборотом дела, Кошелкин решил расквитаться с урушинцами. Действуя по принципу: цель оправдывает средства, он стал перекрывать концевые краны в поездах, находящихся на станции. А затем, сжигаемый жаждой мести, запрыгнул в электровоз и, разогнав машину, срезал две стрелки. Выехав на готовый маршрут, Кошелкин выпрыгнул из электровоза, который через несколько минут врезался в грузовой состав. Подобного Забайкальская ж. д. еще не видела» («Гудок», 1994, 3 июня).

Что же творилось в потемках души бедняги Кошелкина? Какая невероятная обида сидела внутри неприметного и безызвестного до сей поры пом. машиниста и только ли пара стаканов понадобилась для того, чтобы, всколыхнувшись и вырвавшись наконец наружу, эта обида смогла в одночасье прервать мирную и тихую жизнь глухой забайкальской станции?

Или еще пример. «...в семь часов вечера неизвестный мужчина, прогуливающийся по двору, неожиданно извлек из кармана гранату и, выдернув чеку,

метнул ее в близлежащий кустарник, после чего скрылся. Случайно поблизости оказался 10-летний мальчик. Он получил осколочное ранение живота и был госпитализирован.

На следующий день злоумышленника удалось задержать. Им оказался 31-летний неработающий москвич, проживающий в соседнем доме, который объяснил, что таким образом хотел избавиться от гранаты» («Московский комсомолец», 1994, 9 августа).

То есть шел человек по улице, прогуливался, дышал воздухом, не пьяный, не сумасшедший. Вдруг вытащил гранату и бросил в кусты.

— А что? Хотел, — говорит, — от гранаты избавиться. А куда ж ее, как не в кусты?

И действительно, не в троллейбус же?

Другой случай. Работник гродненского пивзавода — видимо, от избытка чувств — сунул шланг работающего компрессора аккуратно меж ягодиц нагнувшемуся напарнику. Естественно, что под сильным давлением воздух сразу проник в кишечник, произошел разрыв внутренних тканей и от этого внутреннее кровоизлияние. Бедняга сразу потерял сознание и скончался через несколько часов.

Спрашивается: для чего убил человека?

Может, умалишенный? Нет. Ведь не себе засунул. Равнодушен и жесток? Наоборот, проявил чувства. Думается, что убил просто так, для забавы.

Но это индивидуальные проявления, а вот, что называется, массовые. Спустя год стали публиковать документы и приводить разные факты о событиях 3 — 4 октября 1993 года в Москве, когда воевали между собой «ветви власти».

Во время сражения у «Останкино» несколько парней, включая погибшего здесь же американского журналиста, стали под перекрестным огнем вытаскивать раненых, чтобы попытаться их спасти. Камеры, работавшие за спинами снайперов и автоматчиков изнутри здания, зафиксировали переговоры.

«— Мужики, — кричит снизу парень, щупающий пульс у одного из раненых, — этого можно вынести?

— Ну выноси, — разрешает ему ответственный за этот сектор спецназовец.

Но едва спасатель приподнимает тело, — над его головой пронесится вереница пуль в сопровождении радостного ржания. Это ребята так развлекаются. Мужчина залегае.

— Ребята, ну разрешите людей вынести, — опять просят снизу.

— Так мы и не запрещаем, — отзываются в одном из окон защитники и, увидев малейшее шевеление, опять нажимают спусковой крючок...

...А в это же время совсем рядом — народные гулянья с аккордеоном...» («Комсомольская правда», 1994, 16 ноября).

Вот это и есть наш народный тоталитаризм. Не равнодушие, а именно тоталитаризм. Равнодушие — это что-то другое. Ведь у людей было огромное любопытство ко всему, что происходило у «Останкино» и у Белого дома. Толпы буквально ходили и мешали стрелять, путаясь под ногами автоматчиков. Какое же здесь равнодушие? А ржание, а аккордеон? Нет, маска равнодушия — совсем другая.

Равнодушия в черте нашего характера тоже достаточно. Но уже и не оно правит бал.

* * *

Ну вот и договорились. Народ у нас плохой. Как откровенничал высокий деятель: «Реформы хорошие, народ плохой». И вторили ему (и до него): «Тяжела ноша реформатора! С таким народом каши не сварить...»

Но «плохой» он или «нехороший» не оттого, что не принимает реформы, а оттого, что в вождях у него посредственности, что кормчие его — не соль земли, а накипь и что народ терпелив к ним так же, как и к своему унижительному существованию. И вот уже комплиментарный аргумент: реформы не принимает? — так это, напротив, от его, народа, высокого ума: какой же народ такие-то реформы принимать станет? Вождей своих терпит? Черта с два. Он их как раз терпеть не может.

— Чого я за Жириновського? — радуюсь, говорит хохол из Воронежа, — а так собі! Нехай буде кінець світу!

Действительно, хочется чего-нибудь необычного. Назло всем, начальству в особенности.

Люди плохо живут и не хотят даже знать, что такое жить хорошо. Неумелые руководители, преступные вожди, зарвавшиеся депутаты, обнаглевшие аппаратчики, проворовавшиеся начальники, коррумпированные органы, продажная интеллигенция...

А вот страничка из дневника:

«— Смотрел хоккей сборная ССР Швеция — итог 4 — 2 в пользу ССР. Смотрел «программу времени». Ужин — сон». (Орфография сохранена.) Это из дневника Брежнева («Совершенно секретно», 1994, № 5, стр. 3). Стоял 17 лет во главе великого государства и великого народа. Не помри, так и до сих пор бы правил.

И уже после него: референдумы, «первые демократические выборы», «первое посткоммунистическое правительство», еще одни «первые демократические выборы» и еще одно «посткоммунистическое правительство», и тоже «первое», конституция и еще референдумы, и все именем народа, все с известной ссылкой, с апелляцией к твоему, Народ, «волеизъявлению»:

— Как же развалили СССР, когда народ проголосовал против?

— Как же против, если он проголосовал против коммунистов?

— Как же проголосовал, когда он игнорировал выборы?

И так далее, и так далее...

Уже и мальчики изорались: «Король гол! Король гол!» И один кричит, что это не король вовсе...

А что, собственно, сам народ?!

Мне видится он закисшим и неумытым гуттаперчевым мальчиком, с хитрецей в глазах, этаким двенадцатилетним дедом Шукарем, вопрошающим всякий раз у заезжего начальника: «А улучшенище-то когда будет?» Привыкший к тому, что всё «дают» (от колбасы до сроков), он иначе и не представляет свою жизнь. Он готов смертельно обидеться, если ему отказывают в такой «даче» по причине наказания, но он пускается во все тяжкие, если ему «не дают» по причине отсутствия подачки. Народ наш не прощает тому, кто не способен «дать», и эту характерную «черту» хорошо усваивают его пастыри. Они так и говорят: «Надо сперва накормить народ!»

Злосчастный спикер говорил с ласковой озабоченностью в телеинтервью: «У нас замечательный народ, терпеливый. Ему ведь немного надо: колбаски, маслица, хлебца...»

А Сталин как-то и тост произнес за терпеливый русский народ. Все наши политики прославляют наш народ и его терпение. Ведь это то, что им надо, это то, что как раз подходит, об ином народе и мечтать-то политику грешно.

Но кто из них, во все времена, письменно ли, устно, в откровенной или скрытной форме, шепотом или громкогласно: «Холостных залпов не давать! Патронов не жалеть!»

А для всех начальников у народа всегда в свое оправдание: «Рыба гниет с головы!»

Тезис между тем касается сдохшей рыбы. У человека холодеть начинают конечности.

III

Когда после какого-либо политического события, стихийного бедствия или какого иного потрясения задают вопрос типа: «А что теперь будет?», не ломайте понапрасну голову. Отвечайте прямо и без обиняков: «Не будет ничего!»

Окажетесь абсолютно правы. Попробуйте.

Никакие «безвременные кончины», перестройки и реформирования, никакие провозглашенные новые курсы и рубежи не в состоянии поколебать устоявшуюся жизнь страны и ее народа.

Да. Кое-где понервничали, потолкались и даже постреляли, где-то получилась гласность и даже демократизация, прогнали коммунистов и разогнали Советы. В целом же...

Да. Умные люди в правительство пришли — и сразу рубль заработал и кое-где улучшение началось, но в целом по стране...

Крутят, вертят из столицы толстенным канатом, борются какие-то странные типы за то, чтобы первыми ухватиться и сильнее раскрутить веревку, — правые, левые, радикалы, коммунисты, демократы... А в нескольких шагах канат уже и не шевелится. Чуть дальше — лежит, непонятно, с какой стороны конец, и кто им крутит, не видать вовсе. А еще подальше — так кому не лень отрезают и растаскивают этот канат по кускам, поминая про паршивую овцу.

Чтобы ни случилось, ничего не будет, потому как страна наша такова, что в ней и так все имеет место быть. И то, что, кажется, только предрекается, — уже давно осуществилось, а то, от чего, казалось бы, избавились навсегда и безвозвратно, — только-только начинается. И любой тезис, любой каламбур подтверждает действительность, становится философией, и им же можно все опровергнуть, и любая только что произнесенная теорема тут же доказывается, становясь аксиомой. И наоборот. И все с неперемными доказательствами от противного. Все есть! И то, и другое, и третье. На любой вкус и на любую безвкусицу.

Вот и мы пишем, выдумываем, а потом глядим — и этому тоже подтверждения имеются в избытке, а рядом — такие же веские опровержения.

Безвременье — это когда нет ничего, чего бы не было. Лови момент, записывай, укладывай факты в корзину. Эпоха обнажила людские души, раскрыла потаенные ее стороны и убрала на мгновение сдерживающие скрепы. Пройдет безвременье — оденутся все в строгие одежды, опояшутся, обвяжутся, надуются, станут, как всегда, скучными и серьезными, и попробуй докопайся тогда до сути. Безвременье — это миг, при котором люди становятся самими собой, а потом, завтрашние, уже никогда не узнают себя в сегодняшних, с возмущением отрекутся от себя, с проклятиями в свой же адрес. В лучшем случае все свое на кого-то спишут.

Время и пространство разбегаются, ускоряясь. Время — плюс-минус век, пространство — плюс-минус регион, область, край... Разбегаются и люди: друг от друга и каждый от самого себя. Разбегаются в разные стороны и их напасти и думы, и их дела и надежды... Нет предела ни в одну, ни в другую сторону.

— У нас, между прочим, даже радио нет, не то что телевизора, а за водой ходим километра четыре, — говорит жительница Подмосковья.

— А у нас есть и радио, и телевизор, и уют — так света нету. Не дают электричества вот уже неделю — экономят, — отвечают ей из другого города.

— Это что! У нас и телевизор есть, и электроэнергия достаточно, — итожит третья. — Так мы свет по вечерам не включаем — могут автоматную очередь на свет дать.

Разберись, где и кому из них хуже.

* * *

Выдержки из письма пенсионерки, инвалида II группы. В составе ее семьи еще два инвалида — сын 18 лет и престарелая мать, тоже пенсионерка, участница трудового фронта, стаж — около сорока лет, вдова погибшего на войне российского солдата.

«...в 1992 году все сбережения были обесценены. В настоящее время состояние мамы ухудшилось, она буквально одной ногой в могиле.

Моя пенсия с учетом доплаты на иждивенца-сына — 65 тыс., мамина — 77 тыс. Денег хватает только прокормить сына, из-за больных почек нужны фрукты, не хватает денег на лекарства сыну, на починку старой обуви, на парикмахерскую...

Но главная проблема — грядущие похороны. Мама хочет, чтобы похоронили по-христиански, с отпеванием в церкви.

Помогите, — взывает женщина, — скажите, где взять деньги на похороны?» («Независимая газета», 1994, 30 августа).

Оставим на будущее разговор о церкви. Сейчас не об этом, и не о смерти как таковой, и даже не о том, что ожидает мертвого (и живых близких) после

нее. Мы о нашей безразмерности и беспредельности. О разбегающемся в разные стороны диапазоне.

В Армении тяжело. Много лет идет война. Экономика развалена. Писатель Левон Мкртчян сообщает в интервью «Литературной газете», что не только жить, но и умереть нельзя: «Здесь сейчас практикуют ночные похороны — без венков, без цветов и даже без гроба. Людям не на что купить гроб». Днем так хоронить было бы стыдно.

В Ереване — ночью, и потому стыдно. А в Москве, в Мытицах войны нет, а вон что: «Семь полуразложившихся трупов лежат прямо на улице и являются на солнышке. Тела прикрыты полиэтиленовой пленкой, из-под которой торчат босые ноги. Вонь стоит в радиусе 30 метров такая, что можно лишиться рассудка. Над всем этим скорбным пейзажем, — пишет корреспондент, — кружатся стаи огромных зеленых мух. Трупы лежат под стеной убогого одноэтажного и единственного на ближайшие сто километров морга Мытищинской центральной районной больницы. Здесь же — больничный пищеблок. Мухи, естественно, общие. Рядом — жилая пятиэтажка, люди живут».

Это корреспондент готов лишиться рассудка, а местные детишки — ничего, бегают, норовят заглянуть под целлофан. Кстати, все это действие происходит на улице с символическим названием Медицинская!

«— А куда я их дену? — говорит раздосадованный вопросом прессы главврач больницы. — Трупы эти не востребовавшиеся, к тому же вшивые, к тому же подследственные. Их без разрешения милиции хоронить никак нельзя».

Морг забит до предела. Патологоанатомы ходят буквально по трупам. Главврач-подвижник уже пять лет борется с властями, чтобы новый морг построили (то есть и с коммунистами боролся, и с перестройщиками, теперь вот с демократами). Только недавно получили разрешение на строительство. Теперь дело за малым — построить новый морг.

Кошмар?! Ужас?! Никак нет. Тот же главврач подтверждает наш тезис о беспредельности.

«— А чего вы удивляетесь? — говорит он как будто только что родившемуся корреспонденту. — Это не только у нас. Вы в Пушкино съездите. Да и вообще по областным больницам прокатитесь...» («Московский комсомолец», 1994, 21 сентября).

А мы и ездить никуда не будем. Подумаешь. Покойники-то вшивые, не востребовавшиеся, опять же подследственные. Вон в Севастополе нормальные, можно сказать, здоровые трупы родственники из моргов не забирают. Все три морга перегружены, средств даже на «ночные» похороны у близких не хватает, а между тем смертность растет. Но власти и здесь гуманные: выделили-таки патологоанатомам аж 2,5 миллиарда карбованцев! (по тем временам где-то по 6 долларов на тело!). А ведь карбованцы власти выделяют моргам не каждый месяц (сводка ИМА-пресс, 1994, 12 октября).

Кстати, в Москве как-то хоронили большого человека, из бандитов, так там один гроб стоил 5 тысяч долларов. Каков диапазон?

Но вот в Южноуральске и места в морге есть, и персонал добросовестный и работать готов, как говорится, не покладая рук. Да вот проблема: в морге городской больницы покойников, в нарушение всех традиций и инструкций, обмывают... горячей водой. Холодная вода не подается сюда уже два месяца вследствие аварии на водопроводе, которую уже никто не может устранить. Руководитель больницы взывает о помощи к водопроводному начальству: мол, покойникам, может, и без разницы, какой водой их там обливают, прежде чем обрядить в ритуальную одежду. А вот медперсонал морга замучился — работать с кипятком опасно, постоянно ошпариваются («Грудь», 1994, 2 сентября).

Предел? Да что вы! Скорее курьез, недоразумение. Подумаешь, воды нет. Спросите у Людмилы Ивановны из Михайловской районной больницы Иркутской области. Там проблемы почище: крысы одолевают, черви...

«— У нас ведь некоторые покойники по месяцу лежат, а то и больше, — объясняет Людмила Ивановна журналисту. — Лежат, лежат, а никто за ними не идет. Бомжи, например. Или есть родные, да забирать не торопятся».

И получается, что когда таких отсюда увозят, то у кого-то нет глаза, у кого-то руки-ноги поедены...

Морг на всю округу один, а везут со всех ближних уездов. Мест нет, холодильных камер мало. Санэпидстанция дала заключение о «несоответствии»

морга всяким там целям. Кроме того, бюджетных средств на строительство нового морга нет. Зарплату полгода не платят. Глава тамошней районной администрации решил наконец морг закрыть — нельзя же издеваться над людьми. Начался скандал. Пошли звонки: куда же покойников девать?

На исполнительском уровне все решается проще. Приезжают ночью на милицейской машине в больницу. Просят ключи от морга: «Мы вам клиента привезли». Дежурный врач не дает: «Хоть убейте, не могу дать, есть распоряжение главы администрации, да и местов нету».

А милиционеры и не спорят. Разворачиваются и уезжают. Утром выясняется, что труп они вывалили прямо на землю перед моргом.

«— Это, конечно, непорядок, — кивнула Людмила Ивановна в сторону «мертвушки», — но у нас тут и живым-то жизни нет. Перед вами вона привезли мужика. Он месяца два назад башку кипятком ожег. Ему бы сразу к нам, да некогда: водку надо квасить. Довел себя до того, что черви в голове завелись. Надо обрабатывать, спохватились — перчаток резиновых нет. Эти вот (показывает), дырявые, едва нашли» («Комсомольская правда», 1994, 21 сентября).

А вот тамошний опытный патологоанатом Серафим Петрович Терской не отчаивается, трудится себе — и все.

Корреспондент спрашивает:

«— А что делаете, если столов не хватает?

— Да то и делаю, — отвечает, — кладу их валетом».

Кстати, может, кого интересует, как народ реагирует на свое «будущее»? Тот же корреспондент спрашивает с укором у тамошних жителей:

«— Что ж вы, себе не можете морг путный построить?

— Я тебе так скажу, — отвечает один из них. — Если я помру, то мне будет совершенно похрену, где лежать — на отдельном разделочном столе или в штабеле. Понял?»

Страшна смерть, чего уж тут говорить. Но вдвойне страшна, если не уверен, что родные справятся с похоронами. Цены растут так, что лучше и не умирать.

Люди так и делают. В Нижнем Новгороде, например, пожилые запасаются всем еще при жизни. У одной пенсионерки, проживающей на проспекте Гагарина, прямо на балконе стоит собственный надгробный памятник. Купила его предусмотрительная бабуля год назад всего за 9 тысяч рублей. Это приобретение, как сообщают корреспонденты, добавило пенсионерке бодрости. Тем более что такой памятник сейчас стоит в десять раз больше. Народ ходит под балконом, завидует, сетует на свою нерасторопность. Сама же пенсионерка решила пока не умирать, посмотреть, что будет через год-другой («Труд», 1994, 26 августа).

Но не только в плохую сторону растягивается наш диапазон. Не только к бесконечному минусу. Имеются и значительные тенденции к улучшению, и даже само улучшение.

Например, после того как на Миусском кладбище в Москве было учинено разграбление более ста могил, появилась фирма «Ритуал». Теперь, если на погосте совершен акт вандализма, в результате которого кресты на могилах и плиты оказались повалены или поломаны, восстановительные работы будут проводиться местными силами — с помощью специальных бригад из числа работников кладбища. Кроме того, москвичи, опасаящиеся за судьбу могил, смогут застраховать их («Московский комсомолец», 1994, 10 ноября).

И не только в Москве улучшение. Вся Россия подтягивается. Малые города тоже. В тридцатитысячном Североуральске (не то что в Южноуральске) целых три фирмы соперничают за право снабдить покойного всем необходимым для перехода в мир иной. И уже не трактора или недвижимость, а городские кладбища в аренду берут. В поселке Калья, например, что под тем же Североуральском.

Горожане удивлены и уже не знают, что думать: откуда такое внимание и такое количество похоронщиков на душу населения? Надеются, что небывалая конкуренция заставит фирмы снизить цены, а то «по полной программе» похороны обходятся в полтора-два миллиона рублей («Труд», 1994, 5 ноября).

Так это горожане надеются на снижение цен. А похоронщики надеются на снижение численности самих горожан, и горожане, судя по всему, эти надежды пока оправдывают. Рынок!

В Казани, у проходной музыкальной фабрики, висит объявление: «Здесь принимаются заказы на изготовление гробов». «Вечерняя Казань» объясняет некоторую переориентацию предприятия тем, что покупательский спрос на фортепьяно упал и шагнувшая в рынок фабрика умело использует никогда не падающий спрос на ритуальные изделия. «Гроб с музыкой, — заключает автор заметки, — сочетание вполне естественное» («Известия», 1994, 5 ноября).

Но мы-то знаем, что музыка здесь ни при чем. Экономика и рынок — да. Из-за них и «переориентация». Ну а кто играл или перед тем на своем горбу таскал казанские пианино хотя бы на второй этаж, понимает, что особо и переделывать этот агрегат не надо: струны с педалями да клавишами вынь, а одну из крышек заколоти, чтоб не открывалась, — вот и вся «конверсия».

На Украине, в Днепропетровске, к проблеме относятся комплексно, поделовому. Там открылось первое коммерческое кладбище. Самые простые ритуальные услуги стоят на новом погосте 70 долларов, с почестями — около 450. «Писком» считается дубовый гроб с резьбой и росписью за 1500 долларов (это тебе не пианино). Отправиться в последний путь можно на «мерседесе» в автобусе, на артиллерийском лафете и даже на бронетранспортере. За дополнительную плату можно заказать роту почетного караула. Наиболее состоятельным окажется по карману приглашение военного оркестра и оплата салюта. Что уж говорить про такую мелочь, как отпевание «по-христиански»: плати и привози кого угодно. Уж так отпоют за упокой души!

И высокие цены не очень-то смущают клиентов. Ежедневно на этом кладбище хоронят минимум пять человек. А директор (предприниматель!) собирается на аукционе выкупить крематорий, сооружаемый с 1979 года, переоборудовать его, разместить офис финансового центра и даже посадочные площадки для четырех вертолетов (есть такие, что любят не на катафалке, как все, а на вертолетах) («Общая газета», 1994, 9 — 15 сентября).

Выше мы говорили о гигантском разбросе, о «диапазоне», о том, что гроб может стоить аж 5 тысяч долларов. Поинтересовались. Оказалось, что это «смешные цены». В действительности это и не «диапазон» вовсе. Оказывается, приличный человек в такой гроб и не ляжет. Надо, чтобы посolidнее, чтобы гроб был непременно американским, как у людей. Те же государственные конторы предлагают такие гробы всего по 40 тысяч долларов за штуку. Не дороже средненького «мерседеса».

«— И покупают? — спрашивают недоуменно репортеры у работников цеха ритуальных услуг Бабушкинского района Москвы.

— А то как. Не часто, но люди берут» («Труд», 1994, 26 октября).

Вот это уже «диапазон»!²

«Кладбище учит улыбаться, любить жизнь, напоминает: на этом свете времени гораздо меньше, чем на том, — рассуждает директор ухоженного и дорогогостоящего Кунцевского кладбища в Москве Георгий Коваленко. (Вроде бы могильщик сказал: а чем не философия! И разве все, о чем сказано выше, не доказывает его правоту, не «учит улыбаться»?)

И, сравнивая свое кладбище с европейскими, продолжает: «Мое, Кунцевское, не хуже... А главное, человечности у нас больше» («Комсомольская правда», 1994, 4 ноября).

Ему, профессионалу, виднее. Но как бы все это, про ту же «человечность», про улыбку, объяснить живущей (все еще?) на этом свете престарелой пенсионерке и еще миллионам таких, как она, у которых единственное желание — быть похороненными по-христиански, с отпеванием?

* * *

Наш разговор, конечно же, не о кладбищах и похоронах, не о смерти и не о сопутствующем ей горе, а через них — о нашей стране, о России сегодня, сейчас; о ее безразмерности, бесположности — во времени и пространстве, в добре и зле, безразличии и участии, вообще во всем.

² «Разбегающаяся» страна не дает закончить статью: недавно в «Ритуал-сервис» обратилась группа товарищей в малиновых пиджаках со срочным заказом на хрустальный гроб — за 350 тысяч долларов («Известия», 1995, 28 февраля).

И какую бы тему мы далее ни затрагивали, всякий раз мы будем обращать внимание на нынешнюю обнаженность нашей страны и ее народа, традиционную российскую бесполоусность.

«Что будет?» — спрашиваете? Да ничего! Ничего такого, чего бы уже не было и чего нет. Приглядитесь внимательнее — и увидите.

IV

Среди тысяч и тысяч художников России нашелся один, Анатолий Швед, почему-то решивший выставить свои картины в Государственной Думе Российской Федерации. И не где-то в закутке, не в бесконечных коридорах, а рядом с залом заседаний, где проаживаются и неформально общаются между собой именитые политики.

Однако всего через неделю художника срочно разыскали и сообщили:

— Две картины, как бы это вам сказать... украли. Поэтому срочно заберите остальные и впредь не искушайте законодательную власть.

Художник — в милицию. Там — отфутболили. Начальник с фамилией Совков так и сказал:

— Как же воров искать в Думе?

Живописец не успокаивается — бежит к спикеру, потом в Хозяйственное управление Думы. Утомил всех. Ходит и вымогает с простых думских работников (тоже ведь люди) свои картины, а иначе требует возместить убыток.

Одна из работниц отвечает художнику:

«— Я вас предупреждала, что депутаты нынче культурные пошли, живописью интересуются, так что картины могут украсть. Чего было лезть сюда?» («Комсомольская правда», 1994, 16 ноября).

Одним словом, расслабившегося художника народ поправил. Причем очень деликатно, даже вежливо. Сначала в лице работницы Богдановой предупредил (не лезь!) и только затем, в лице какого-то своего избранника, две картины уволок. (И не спешите ругать. Ведь могли взять и пять, и десять!)

Художник, будь он даже и Рубенс, не должен забываться: в Госдуме ты или на далеком сибирском полустанке — повсюду тебя окружает народ. Наш народ.

* * *

Свою книгу «Характер русского народа» философ Николай Онуфриевич Лосский начинает так: «Основная, наиболее глубокая черта характера русского народа есть его религиозность и связанное с нею искание абсолютного добра...»

И кроме Лосского очень многие русские философы и писатели отмечали «великую духовную силу народа». Лев Толстой просто говорил, что русский народ — «кроткий, мудрый, святой», а Федор Достоевский в романе «Бесы» устами Шатова высказывает мысль, что наш народ есть «народ-богоносец». Бердяев и Карсавин, Флоренский и Франк и многие другие певуче, с придыханием, с неизменной любовью говорят всякий раз о русском народе. Слышится за этими негромкими словами знание каких-то потаенных, сокрытых от простых смертных закоулков души нашего народа. Именно душа народа — вот что самое необъяснимое, а потому и привлекательное для пытливого ума.

Н. О. Лосский приводит такой пример: за два года до смерти Лев Толстой в «Предисловии к альбому «Русские мужики» Н. Орлова» говорит о русских крестьянах, что это — «смиранный, трудовой, христианский, кроткий, терпеливый народ. Мы с Орловым, — продолжает Толстой, — любим в этом народе его мужицкую смиренную, терпеливую, просвещенную истинным христианством душу».

Хорошо Толстой говорил, просто, негромко. Только так и положено говорить пастыря о своем стаде.

Титаны, коих цитируем, знали свой («этот») народ не понаслышке. Жили рядом с ним, наблюдали, беседовали. У многих в имениях довольно много собственного народу было разного и диковинного. Следи, фиксируй, обдумывай...

Читая замечательные и бессмертные характеристики, испытывая трепетные чувства к великим предкам, невольно задаешься вопросом: куда все это подевалось? И кротость, и религиозность, и трудолюбие, и, главное, святость? Времени-то не так уж много прошло, чтобы все эти добродетели куда-то канули и все так круто переменялось.

Может, ответ следует искать в утверждении, что мы — народ крайностей, что мы или «впереди планеты всей», или, извините, по уши в дерьме; что мы либо хуже всех — либо лучше всех?

Но есть в нашем народе нечто такое, что остается неискоренимым и неизменяемым во все времена и эпохи. Это то, что однажды выразили кратко и точно: «Воруют!»

Странно, но это то, в чем наш народ вовсе не антиномичен: ведь в воровстве нет градации. Вор, он и есть вор, независимо от того, украл часы или центнер плутония; украл маршал или ассенизатор; украл вечером или утром...

Воровство есть присвоение части жизни ближнего. Каждый человек имеет свое продолжение, и не только телесное — в предметах, ему принадлежащих. В органической связи с этими предметами он представляет собой целостный мир. Присвой себе частицу этого мира, и ты присвоишь себе часть жизни ближнего. Вот почему с самого зародыша человечества в высшие нравственные ценности, данные нам Богом, наряду с заповедью «Не убивай» вошла заповедь «Не укради».

Но народ ворует не только у своих ближних. Он обворовывает государство и его полномочные институты. Во взаимоотношениях с государством и кроется, на мой взгляд, разгадка феномена российского воровства.

Россия — страна, где во все времена доминировало государство и его интерес. Этот интерес при любых внешних идеологиях всегда являлся священным и неприкосновенным. Гипертрофированное восприятие роли государства заключалось в абсолютном признании за ним — и государем в его лице — высшей инстанции и высшей справедливости. Государство не управляло — оно священнодействовало. Оно легитимно присваивало себе все, в чем нуждалось, оставляя подданным минимум средств на свое воспроизводство. Этого всегда оказывалось мало, и народ России всегда был убежден, что отдает гораздо больше, чем получает.

И чем больше доля присвоения, тем больший соблазн вернуть причитающееся, тем насущнее идея взять реванш. Залезающий в карман государству как бы и не ворует: он возвращает себе недоданное, совершает своеобразный акт восстановления справедливости и находит в этом понимание среди таких, как сам. Присвоение (читай — воровство) становится нормой, неременным актом, на который сквозь пальцы смотрит государство, втягивая каждого в соучастники процесса бюрократического присвоения.

Но нам сейчас власти не интересны. Интересен народ. Как и зачем он ворует? Нас интересует все тот же разброс, все та же беспредельность, то, что мы называем «диапазоном». При этом мы не тратим усилий на поиски каких-то из ряда вон выходящих актов. Исключения и уникальные события нам не интересны. Они сюда даже не впишутся. Обыденность воровства, его заурядность — вот на что мы хотим обратить внимание. Нам интересно то, к чему люди притерпелись и уже не обращают внимания.

Например, газета «Биробиджанская звезда» сообщает, что, идя в магазины или едуци в городском транспорте, многие биробиджанки стали прибегать к весьма оригинальному способу сохранения своих денег. Они кладут их теперь не в кошельки, а в стеклянные банки с плотной полиэтиленовой крышкой. Такая банка, помещенная в сумку, становится практически недоступной для вора-карманника: вынуть ее и не побеспокоить хозяйку практически невозможно, а разрезать стекло нельзя. По данным милиции, с введением этого новшества количество карманных краж в городе резко сократилось («Труд», 1994, 1 июля).

На первый взгляд, полный абсурд. Но это для не посвященных в нашу жизнь. А для людей это выход, еще одно народное знахарство от напастей. Берешь баночку из-под майонеза, кладешь деньги, надеваешь крышку, наматываешь проволоку и вешаешь на шею. Нож или лезвие стекло не режут, хоть целый день пили.

Неудобно? Неэстетично? Как раз это и не в счет. Главное — сохранить деньги.

Что есть обыденность в безвременье? Это сама наша жизнь. О том и пишем.

* * *

Есть (или скорее было) такое выражение: «битва за урожай». Это когда сельский и привлеченный городской народ бросается вырвать урожай у природы, у собственной беспечности, у бюрократов, еще у кого...

Сейчас такая битва буквальна, потому что урожай нещадно воруют. Воровство уже выращенного урожая становится поприщем, а огороды, приусадебные участки и мирные колхозные поля — линией фронта и местом боевых действий.

Прослышав, как и мы, о нравах нашего народа, один из жителей города Горнозаводска взял дубину и с недобрыми предчувствиями отправился посмотреть свой картофельный участок, выделенный ему на отшибе: вдруг кто чужой копает его картошку?.. Предчувствие не обмануло, а вот избранного вида оружия, как выяснилось, оказалось нынче недостаточно.

Орудовавшие на участке три «амбала» не только отобрали дубинку, но и заставили хозяина накопать и отдать им три рюкзака своей законной молодой картошки. И огородник не в претензии. Наоборот, считает, что «еще легко отдался»: могли заставить выкопать и пять, и десять, а могли убить... Заметка так и называется: «Повезло мужику» («Труд», 1994, 2 сентября).

Народ что покрепче так просто не сдается и урожаем отдавать за просто так не намерен.

В Тобольске, придя на свой огород, местный картофелевод обнаружил: трое воруя выкапывают взращенный им урожай. И хотя владелец продукта родился и вырос при социализме, в нем инстинктивно пробудился капиталистический тезис о «священности и неприкосновенности частной собственности».

В порыве гнева огородник схватил попавшийся под руку дрын и стал охаживать им бандитов. Те — врассыпную. Но одного таки огородник забил до смерти («Труд», 1994, 13 октября).

Разумеется, для защиты урожая используется не только грубая физическая сила народа, но и его недоужинный интеллект. Так в Троицко-Печерске (Республика Коми) погиб от сильнейшего яда бомж по прозвищу Ходуля. Выяснилось, что перед смертью он наелся картошки, выкопанной на чужом огороде. Местная газета «Заря» пишет, что хозяин огорода, будучи бессильным предотвратить повальные хищения урожая, впрыснул яд в картофельные клубни на участке, который привлекал внимание огородных воров («Труд», 1994, 2 августа).

Кое-где кустарщина в деле защиты урожая от посягательств воров уступает место более осмысленным и организованным действиям.

Например, в Прилуцком районе Республики Коми в преддверии уборки урожая было сформировано народное ополчение. Причем не в порядке самодеятельности, а с официальной санкции главы районной администрации. Воевать прилуццы собрались со своими же земляками, бесцеремонно расхищающими дары совхозных полей. Постановление главы района, опубликованное в газете «Знамя труда», напоминает директиву руководства партизанским движением: «Ввести в действие план «Урожай», поддержать инициативу о создании вооруженных отрядов, закрепить командирами отрядов сотрудников милиции. К лицам, пойманным на месте хищения, применять соответствующие меры воздействия» («Труд», 1994, 7 ноября).

Но не только овощи предмет вожделений. Читаем сообщение из Ростовской области: «В Миллеровском районе комбайнер хозяйства «Позднеевское» А. Пониделко взял на бордаж комбайн своего коллеги А. Тарасенко. Прямо в поле во время уборки он напал на него, побил, отогнал чужой комбайн к себе домой и выгрузил уже в свои (а не Родины) закрома 990 килограммов пшеницы нового урожая».

В цене не только «стальные», но и обычные кони. Оказывается, конокрадство не кануло в Лету, а, напротив, из-за перебоев с бензином становится все более распространенным.

«Ночью в селе Сарай-Гир Оренбургской области, заметив у конюшни двух цыган, местный конюх схватил берданку и вместе с другом бросился на воров. В борьбе один из злоумышленников — 34-летний цыган — был убит выстрелом из ружья, а его сообщника разгоряченные конюхи до смерти забили ногами и оглоблями» («Сегодня», 1994, 2 сентября).

В той же Оренбургской области два сторожа конюшни Опытного-производственного хозяйства им. 50-летия ВЛКСМ также учинили самосуд над двумя местными жителями, покусившимися на вверенных им коней. Одного конюкрада расстреляли на месте, а другого привязали к хвосту лошади и волоком протащили до крыльца собственного дома, где тот скончался («Труд», 1994, 27 сентября).

Так что кони, в отличие от людей, в цене. И не только как тяговая сила.

В Усть-Каменогорске органы внутренних дел столкнулись с довольно необычным для нашего времени видом преступления — конными грабежами. Корреспонденты «Комсомолки» сообщают о том, как разудалая молодежь из близлежащих сел делает ночные кавалерийские набеги на город: «Джигиты на вороных да буланых, они срывают шапки с одиноких прохожих, ловко выхватывают сумки из рук, перегнувшись через седло, сбивают людей с ног и растворяются в ночи. Поймать их практически невозможно. Конь легко берет препятствия, какие и не снились милиционеру «козлик». Два грабителя были задержаны однажды лишь после того, как милиционерские снайперы подстрелили под ними скакунов» («Комсомольская правда», 1994, 23 ноября).

Можно представить, как жертвы таких атак смотрят телезаставку с бегущим табуном к началу «Вестей».

Воруют много и часто. Стар и млад, в одиночку и компаниями. Бывает, грабят с насилием и жестокостью, а бывает, бесхитростно и вообще непонятно зачем. Есть случаи, которые потрясают цинизмом, а есть такие, что и воровством назвать сложно.

В Уфе семнадцатилетний парень соорудил из проволоки крючок и пытался украсть ящик бананов у частных торговцев. Поймали, что называется, за руку. Связали, завели в подсобку магазина и приговорили: «Съешь всю коробку — отпустим с миром». Затем стали брать один фрукт за другим, очищать от кожуры (а могли и с кожурой!) и заталкивать в рот бедолаге, пока тот не взмолился о пощаде. Потом подсчитали, сколько всего съедено, и велели заплатить за 6,5 килограммов бананов и за обслуживание («Труд», 1994, 21 октября).

Кто ел, знает, что такое 6,5 кг бананов!

Про квартирные кражи и ограбления говорить не будем — слишком все здесь однообразно и неинтересно. Обратим лишь внимание на то, что люди стали заводить уже не собак, а змей. Газета «Тюменская правда» сообщила о том, что после того, как квартиру одного местного геолога в очередной раз ограбили, он завел себе змею. И очень доволен. Кормежки гадюке надо немного, затрат гораздо меньше, чем на сигнализацию, сторож не лает, где-то там себе лежит под кроватью. Но все знают: в доме змея! И потому больше не суются («Труд», 1994, 10 ноября).

Бывает, что воровство происходит на почве идеологии и политики.

В Пермской области, по сообщению местных коммунистов из районного центра Кудея, ночью неизвестные сбросили с постамента на землю памятник Ленину. Коммунисты восстановили его на место, однако через несколько дней история повторилась, причем у бронзовой статуи пытались отрезать ноги. Заменяв поврежденные ноги Ильича на цементное возвышение, памятник водрузили вновь. Однако его опять стащили и увезли, теперь уже окончательно, в неизвестном направлении («Труд», 1994, 29 сентября).

Здесь мы сталкиваемся не с тривиальным воровством, а с борьбой политики с экономикой. Одним нужна бронза, а не Ильич, другим — Ильич, а не бронза. Впрочем, возможно, что монумент увезли с собой не воры, а еще более ортодоксальные ленинцы. Как это случилось в санатории «Городецкий» под Нижним Новгородом.

Там у статуи Ленина отломали и утащили голову. Ее похитили, как здесь считают, верные ленинцы, уставшие от дискуссий о сносе памятника. Всю статую увезти не хватило силенок, да и не поместится она в помещении, а вот

голову — самое важное в Ленине — оказалось вполне под силу («Труд», 1994, 23 августа).

Владимир Ильич утверждал в свое время, что в основе коммунистической нравственности лежит борьба за построение и укрепление коммунизма. С точки зрения этого тезиса, поступок ленинцев логичен и высоконравствен. Местный искусствовед сказал бы: «Вандализм». И тоже был бы прав. А с точки зрения бухгалтера санатория, все это чистое воровство и разбой. И с ним придется согласиться: скульптура-то, как и всякое имущество, на балансе.

Закончим тему ленинских памятников упоминанием о нападении на монумент вождю в Грязовце Вологодской области. Оно закончилось печально и для преступников, и для монумента. Когда один из пятерых вандалов забрался на скульптуру, вождь не выдержал и развалился. Вместе с головой Ильича на землю рухнул и сам виновник, заработавший ушиб руки и серьезную черепно-мозговую травму («Мегаполис-экспресс», 1994, 2 ноября).

Не все, однако, так весело и забавно.

Сообщение из Минска: «В Горецкую районную больницу Витебской области привезли больного в шоковом состоянии. Положили на операционный стол. Чтобы снять боль и вывести человека из шока, врач ввел наркотическое средство — промедол. Однако больной умер, не выходя из комы».

В чем дело? Непрофессионализм врачей? Безнадежное состояние больного?

Нет. Оказывается, две медсестры давно промышляли кражей наркотиков. Вытягивали из тюбиков шприцем промедол и впрыскивали димедрол. Вовсе никого убивать не собирались. Просто надо же было чем-то заполнить пустоту.

Расстреляли? Посадили на много лет в тюрьму? Нет. Одной дали три года, другой — два. Случай-то не такой уж особый («Труд», 1994, 14 октября).

А вот вести из армии. Правда, не нашей, российской, а украинской. У восьмидесяти воинов одной из частей Прикарпатского военного округа Украины врачи установили дистрофию. За время срочной службы каждый из них потерял в весе от десяти до двадцати килограммов. Солдаты из-за воровства офицеров недополучили чуть ли не две трети необходимых им продуктов питания («Известия», 1994, 6 ноября).

А в Екатеринбурге по улице днем в своей коляске передвигался, как мог, инвалид. Вдруг кто-то грубо схватил его, приподнял над сиденьем да и швырнул несчастного на землю. «Что вы делаете?» — воскликнул инвалид, но уже было поздно: злоумышленник убежал с его транспортным средством. Убежать далеко, однако, ему не удалось: его задержали («Труд», 1994, 8 сентября).

Слабый и беззащитный наиболее уязвим, наименее защищен. Дети, инвалиды, старики, больные...

Обворовывают не только живых, но и мертвых. Директор одного из коммерческих магазинов Ш. вез пятьдесят ящиков водки и, к несчастью, умер от острой сердечной недостаточности прямо за рулем машины на многолюдной трассе в Улан-Удэ. Это увидел проходивший мимо народ — пятеро мужиков, рабочих ближайшего леспромхоза. Вместо того чтобы прийти на помощь погибающему или хотя бы сообщить о трагедии, они просто стали красть водку: приходили по нескольку раз и набирали в мешки. Наконец милиция их арестовала. Покаялись? Повинились? Никак нет. Вору оправдываются: дескать, не знали, что умер, думали, просто уснул водитель («Российские вести», 1994, 10 ноября).

Понимают. Уснувшего обокрасть не то, что мертвого.

Впрочем, полным ходом идет воровство и на кладбищах. Воруют памятники, ограды, выкапывают и обворовывают трупы... Не останавливает ничто.

Во Львовской области, в селе Нараево, отец и сын (даже не будем называть фамилии) поздно ночью были задержаны на кладбище. Они пытались выкапывать кресты с могил. Тоже не ради забавы. Повод был серьезный. Родня из-за рубежа прислала им доллары с тем, чтобы поставили новые кресты на могилах близких.

Доллары пропили. Думали, ну как там, за морями-океанами, люди узнают, выполнили просьбу или нет? А те вдруг сообщили, что едут в гости. Срочно пришлось искать способы, чтобы «достойно» выйти из положения. Заработать? Занять? Нет. Проще взять у других, у мертвых («Труд», 1994, 26 августа).

Кира Кочеткова сообщает в «Труде» о скромной медсестре, всю жизнь проработавшей в психиатрической больнице поселка Бурашево (Тверская область). «Многих несчастных пациентов проводила Александра Романовна в последний путь, отдавая им часть своей доброй страдающей души. А потом и сама ушла. Одинокую в жизни, похоронили ее соседи в зимнюю непогоду, поставили памятник и взяли на себя заботу ухаживать за могилкой».

Спустя полгода, — сообщает корреспондент, — один из жителей поселка обнаружил, что с могилкой что-то неладно: надгробный камень оказался сдвинут и, похоже, остались следы подкопа.

Вскоре арестовали санитаря морга Николая Птицына. Прежде судимый, он в последнее время пил по-черному, дебоширил и, как сказано в характеристике, «устраивал в морге пьяные оргии». Конечно, он помнил по-матерински заботливое и терпимое к нему отношение старшей медсестры Александры Романовны, но не забыл и того, что у покойницы «весь рот золотой».

Слякотной ночью, покинув спящую сожительницу (представьте мизансцену!), Птицын докопался до гроба... Золотой мост и три коронки продал возле ювелирного магазина аж за десять тысяч рублей» («Труд», 1994, 23 июня).

Диапазон воровства, как и всего остального, безмерен. Тридцатидевятилетний житель деревни Нижнее Мочалкино Мамадышского района Татарстана В. Платонов, решив поправить «самочувствие», схватил увесистое полено, ворвался в дом к пожилой супружеской паре и потребовал у перепуганных и беззащитных стариков водки. Те отказали, за что хозяин тут же был забит поленом до смерти. После этого бандит решил избавиться и от старухи: замотав голову несчастной покрывалом, принялся молотить ее поленом. К счастью, женщину затем удалось спасти. А водку убийца все-таки нашел — целых три бутылки!.. («Труд», 1994, 19 июля).

А на другом полюсе — иные масштабы, зато не так страшно. В Москве на Рязанском проспекте за три-четыре минуты от ресторана была угнана кавалькада иномарок из восьми машин (!). Не какие-то там бомжи или беззащитная интеллигенция — крутые ребята из коммерческой фирмы «Скайленд» подъехали пообедать.

Подъехали как положено — два «кадиллака», два джипа «гранд-чероки», «понтиак», «шевроле», «бьюик» и «мерседес-250». Выгрузились и вошли в ресторан. Оказалось, ресторан закрыт. Досадно, но что делать. Повернулись к выходу... а машин-то и след простыл. И милиция не верит: говорит, так не бывает («Московский комсомолец», 1994, 3 ноября). Может, и не бывает. А в контексте того, о чем пишем, — ничего особенного.

Вспомните, сколько говорили о том, что воруют только при социализме, что при капитализме не украдешь, что воровство зависит от системы. Чушь! В разного рода акционерных обществах воруют как нигде. Народ «интегрирует» быстро в любую модель, в любую систему — и несет, несет, несет...

Надо, говорят, чтобы была только частная собственность, тогда уже не будут воровать. Как бы не так.

Директор одного частного магазина в Вологде признался, что потерпел большие убытки от рекламы товара «по-западному». В частности, всем клиентам, как в Европе, предлагали бесплатно попробовать конфеты, прежде чем каждый выберет покупку по своему вкусу. Народ (как и в Госдуме) деликатно поправил директора, убедительно доказав, что с Европой он поторопился: в результате эксперимента покупатели и продавцы съели 50 кг конфет, в то время как продано всего 25 (сводка ИМА-пресс за апрель 1994).

«Воруют все. Воруют с таким размахом, что как будто завтра конец света», — утверждает белорусская газета «Рэспубліка» и приводит список изъятого Брестским отделением борьбы с экономическими преступлениями на пограничных транспортных переходах. Итак: циркульные пилы, автодетали, ядохимикаты, редкоземельные металлы, горюче-смазочные материалы, дизтопливо, сверла и так далее — до бесконечности.

Кто же ворует? Мафия, преступный синдикат?

Нет. Читаем оперативный список: сыновья скромных кладовщиков, начальники ПМК (передвижные механизированные колонны), главные инженеры, простые труженики, безработные, бизнесмены — словом, народ («Труд», 1994, 22 июля).

Классическим воровским гнездом становятся наши железные дороги. Про вокзалы и поезда можно говорить бесконечно. Здесь люди как на войне. Грабят вагоны и даже целые составы. Пассажиры боятся ездить в купе или даже в плацкарте, предпочитая им общие вагоны: чтобы быть у всех на виду. Так что грабежей и воровства в пассажирских поездах даже касаться не будем. Нас интересует железная дорога как инфраструктура, как некий социум.

Газета МПС «Гудок» сообщает: «Хищения грузов на железной дороге нынче распространены повсеместно». В статье сообщается о повальном воровстве на Горьковской железной дороге, где только за 1993 год сотрудники УВД на транспорте завели десятки уголовных дел.

Воруют в основном сами работники, которые рассматривают железную дорогу как свой приусадебный участок, а проходящие грузовые поезда — как очередной взращенный урожай. В ворах — операторы, приемосдатчики, осмотрщики вагонов, слесари и даже милиционеры. Словом, опять тот же наш народ. Что воруют? Да уж что попадет. Спецзаказов ведь никто не делает.

«Оператор поста централизации станции Вековка, Муромского отделения Горьковской дороги, 33-летний Александр Локтионов тащит домой и на продажу все, что попадет под руку: тридцать пар носков, женские сапоги, 10 килограммов сахарного песка, 20 банок консервов, две женские куртки, двадцать плиток шоколада, конфеты, спиртное и даже... художественную литературу (а философская или религиозная попадет — не выбрасывать же). Причем, сообщает материалы уголовного дела, Локтионов не был эгоистом: делил все с товарищами. Поэтому о том, что воровали, знала вся станция. Так что на скамью подсудимых все разом и сели. 30 человек — товарищей!» («Гудок», 1994, 3 июня).

Но что это за кража? Носки, сапоги, канистра бензина...

Совсем иной размах на Октябрьской железной дороге.

Когда-то российский самодержец взял линейку и провел линию — от Петербурга в Москву. Карандаш задел монарший палец, и получилось некоторое отклонение от прямой линии. Этакое закругление в одном месте. Значит, так: люди спокойно едут прямо, ничего не чувствуя, а потом вдруг — повело, повело... так это как раз, когда в этом месте поезд едет.

Ну так вот. За десять месяцев 1994 года (по информации петербургского информагентства «Шанс») на семистах километрах железнодорожных путей между двумя столицами было похищено, разгромлено и испорчено: 49 трансформаторов, 199 дроссельных перемычек, 1150 метров медной тягловой обвязки, 122 медных соединителя, 242 реле, 1875 линзовых комплектов, 184,4 км проводов, 46 аккумуляторов, 7 радиостанций и масса более мелких деталей и узлов. По подсчетам железнодорожников, в итоге ущерб, понесенный Октябрьской магистралью, составил 122 829 миллионов рублей в ценах 70 — 80-х годов. То есть умножаем это на несколько тысяч. И это только на одном сравнительно небольшом участке! (Вот повело так повело народ.)

Ужас? Кошмар? Да нет. Наоборот. Один из руководителей дороги отметил, что это для непосвященных цифры гигантские, а «в целом имеются тенденции к стабилизации и улучшению» — в 1993 году, оказывается, украли больше («Сегодня», 1994, 24 ноября).

А мы думаем, что в 1995 году воровства будет еще меньше, потому что уже этих самых «дроссельных перемычек» да «линзовых комплектов» совсем не останется.

* * *

Итак, воруют. Воруют по-страшному. Все возрасты и все социальные группы. Мы привели лишь попавшиеся под руку примеры частного, повседневного воровства. Мы не задевали какие-то крупные воровские акции, которые муссируются изо дня в день в средствах массовой информации и о которых без нас всем известно.

Мы не трогаем кражи и сомнительные операции с оружием и боеприпасами, не заглядываем к таможенникам, не связываемся с ураном и плутонием, даже не упомянули о драгметаллах, памятниках старины и произведениях искусства.

Мы не говорили также о воровстве наших начальников и государства в целом, о том, что называется коррупцией. Для этого хватает газетных полос — все приелось и как бы не существует.

Нас интересует наш народ, его быт или, точнее (по Блоку), его «безбытность».

Едет рейсовый автобус по Верхней Пышме. (Это почти Екатеринбург.) Полно народу. Люди устали после трудового дня. В основном стоят. Кто-то сидит. Но никто не расслабляется. Проезжает автобус отрезок пути между остановками «Развилки» и «Заводская». Все знают: на этом отрезке чаще всего происходят кражи личного имущества пассажиров. Тем не менее водитель или кондуктор, проезжая этот участок, всякий раз включает микрофон: «Въехали в Верхнюю Пышму — берегите сумки!»

Пассажиры прижимают к себе вещи и начинают беспокойно озираться по сторонам — каждый подозревает соседа.

Дорогой мой народ. Ты воруеть оттого, что ты растлен. Оттого, что нищ и убог, оттого, что у тебя самого воруют.

Ты крадешь и то, что «плохо» лежит, и особенно то, что лежит «хорошо». И почти всегда у тебя наказан слабый и беззащитный. Если и уличал кто тебя в воровстве, то косвенно, не впрямую, и ты его не слушал, пропуская это мимо уха. Гораздо приятнее слушать лесть, похвалу, ласковые причитания в свой адрес. Гораздо легче считать своим, народным того, кто тебе потакает, кто заигрывает с тобой, надеясь на твою благосклонность и добрую память. Да, ты действительно ищешь добро, справедливость, истину, но почему так часто ты ищешь их в кармане ближнего? Почему так мил тебе соблазн «все вокруг народное, все вокруг мое» — и так тяжела тебе ноша признания: бывает нечто, что вовсе не твое?

Вот так, набившись битком в пышминском автобусе, едешь ты каждый день, угрюмый и неприветливый, и кондуктора предупреждают тебя: береги сумки! прячь вещи! держи карманы!.. И ты озираешься по сторонам и подозреваешь соседа: не он ли? А он подозревает тебя: не ты ли?

Так и все пастыри твои. Обращались к тебе, как тот кондуктор: «Берегись вора! Запирай замки! Не пускай! Стронись! Вор где-то среди тебя» (но не ты сам!). Тебе кричали: «Держи вора!»

Твои великие слишком любили твою добродетель и недостаточно ненавидели твои пороки, чтобы своими подозрениями о тебе открыто поделиться с тобою же.

Надо было сказать тебе: держи себя!

V

Пока пишем главы о безвременье и разбегающейся стране, страна начала войну. Воюем теперь с Чечней — своей же неотъемлемой частью. (Представьте: голова воюет с одним из членов тела! Не членовредительство ли?) Защищаем целостность России и конституцию. Без конституции народу («климовским мужикам то есть») жить никак нельзя. И без целостности тоже нельзя. Вот и не живем — воюем. Есть мнение, что без конституции не может жить и «урус-мартановский мужик», и какой иной тоже, так что остается их всех в нее загнать, а живых или мертвых — не вопрос, когда речь о целостности.

На фоне убитых и раненых нет-нет да и услышишь: отчего все-таки наше государство такое жестокое? Почему отчизна наша так безжалостна к своим сыновьям и дочерям? Та ли это родина-мать, которая растит и бережет своих детей, или она — огромная бесчувственная баба, размахивающая мечом на все четыре стороны?

Вопросы не праздные, не сегодня родившиеся. Но задуматься — так при чем здесь родина? Может, следует искать причины нашей жестокости где-то в другом месте? Где-нибудь поближе к себе, родимым? Ведь за «родиной» стоят некие персоны с именами и фамилиями, с физиономиями (и какими!).

Еще вчера их не было, никто о них не знал и не слыхал. Даже не подразумевали, что таковые имеются, а сейчас — от имени Родины (с большой буквы), от имени Государства (тоже с большой) — они вновь распоряжаются нами и нашим будущим. Родина — это они, и Государст-

во — тоже они. Кто же это — один другого краше? И кто рекрутирует их нам на шею всякий раз?

Ответ прост: все те же климовские мужики, наш народ, одним словом. Поэтому все «нападки» на власть мы опускаем. Нам это скучно и постыло, и не наша это забота — критиковать власть российскую.

Мы рассказываем о безвременье, о бесконечности и беспредельности нашей страны, о том зловещем хороводе, где, крепко взявшись за руки, все быстрее и быстрее кружатся в хмельном угаре наши разбегающиеся напасти. Кружатся и куражатся. И не видно конца этому зрелищу.

* * *

В последние годы стала весьма актуальной тема убийц-маньяков. В разных городах страны то и дело появляются эти монстры и наводят ужас на и без того запуганных граждан. Страшный призрак ростовского убийцы Чикатило, самого чудовищного из всех известных маньяков, бродит по России, несмотря на то что самого убийцы уже нет в живых.

В связи с появлением маньяков-убийц оказались востребованными и профессионалы, врачи-психиатры, изучающие серийные убийства и самих маньяков. Самый авторитетный из них, Александр Бухановский, занимавшийся ростовским маньяком, объясняет: «Как правило, у преступников такого типа в детстве возникали с родителями проблемы непонимания, их игнорировали или они чувствовали, что в тягость... Если ребенок обойден лаской, вниманием, общением с близкими, то в его эмоциональных структурах не развивается способность вчувствоваться в другого человека, сопереживать ему, способность понимать, что такое чужая боль, и т. п. Ему и вправду как бы нечем жалеть, нет у него такого участка в мозгу...» («Известия», 1994, 3 декабря).

Отсюда и чикатилы разные.

Аргументы профессионала весомы и, как это ни странно, ясны: вот мозг человеческий, высшее творение природы, а в действительности — серое морщинистое вещество с извилинами; там какие-то «отделы», «ячейки» и «участки» для определенных целей и намерений, а такой части, которой жалеют, нет вовсе. То есть отсутствуют начисто «эмоциональные структуры», способные «вчувствоваться» в человека.

Скажем, идет некто. Вдруг захотел пить. А навстречу — старуха с флягой. Можно бы и попросить: «Дай, бабушка, воды попить», — но мозг человеческий отсоветовал: может ведь и не дать, зараза.

Поэтому, для того чтобы всего лишь испить воды, надо что-то сделать со старухой. Вариантов не много. Самый простой — чем-нибудь по голове. И не из ненависти или мести какой, а чтобы напиться.

То, что потом суд и тюрьма, — так это потом, а вода — сейчас. А для кого из нас в тяжелую годину «сейчас» не насущнее, чем «потом»?

* * *

Врач-психиатр говорил, что виновато тяжелое детство. Что, мол, с него спрос. Так вот, есть такие, что и не дожидаются, пока это самое детство закончится. В сводках преступлений сообщается о страшных убийствах, совершенных детьми и подростками. Убивают ради потехи детской, или на почве экономики и финансов, или просто взять чего хотели. Убивают, естественно, более слабых и беспомощных.

Читаем заметку: «Двое сормовских подростков (младшему девять, а старшему тринадцать) забрались в подвал родного дома. И вдруг увидели, что их любимое место развлечения занято каким-то спящим мужчиной. Чтобы прогнать его, ребята недолго думая принесли бутылку бензина, подкрались, облили одежду пришельца, чиркнули спичкой...

Мужчина заорал. Но кричал недолго — тут же и скончался. Оказалось, пациенты сожгли своего соседа, жившего в том же доме. Пожилой человек отдыхал в подвале после дружеской пирушки. До пенсии не дожил всего 3 года» («Труд», 1994, 22 декабря).

Можно было разбудить спящего и прогнать или как-то напугать, чтобы больше не приходил в подвал. Так это все неэффективно: здесь, как и с той старухой, «решать вопрос» надо в принципе. Но, заметьте, «облили бензином» не самого человека, а его одежду. А то, что при ней оказался сосед, — другой вопрос. Может, и судили бы за то, что спалили одежду, так судить некого — оба совсем дети.

В Москве в подвале дома на улице Зорге, в одном и том же подъезде с небольшим интервалом были обнаружены два трупа. Вскоре работники милиции задержали убийц — ими оказались подростки пятнадцати — шестнадцати лет. Выяснилось, что молодые люди, прогуливаясь по улице, повздорили с пятидесятитрехлетним г-ном Смертенковым, да так, что забили его до смерти.

Ужаснулись содеянному? Вовсе нет. Наоборот. Происшедшее так развеселило подростков, что они решили напасть еще на одного прохожего. Убив и его, они бросили труп в подъезде и убежали («Сегодня», 1994, 19 ноября).

В данном случае убили просто так. От нечего делать. Даже не остереглись затащить жертву в тот же подъезд, куда ранее уже затащили одного убитого. То есть даже и страха нет за убийство.

Вот сообщение из башкирской деревни Сардык. Там во время всенародно-го праздника — сабантуя — шатавшимся без дела детям попался на глаза подвыпивший старик, мирно сидевший под деревом. Подойдя к нему, малолетние садисты начали пинать жертву ногами. Кто-то их спугнул. Избитого пожилого человека увезли в больницу, где в ту же ночь он скончался. Убийцы, сообщает газета, задержаны. Один из них учится в третьем классе, другой — в пятом. Кого судить? («Труд», 1994, 23 июня). В Челябинске с сильными ожогами доставлен в больницу девятилетний мальчик, на которого в трамвае напали подростки. Пятеро хулиганов вошли в вагон, где находились еще двадцать пассажиров, окружили мальчишку и стали принуждать к развратным действиям. Мало того, один из них облил мальчика коричневой жидкостью из пакета и бросил горящую спичку. Банда тут же выскочила из трамвая. В считанные секунды ребенок был объят пламенем. Сотрудники уголовного розыска Челябинска установили личности юных садистов. Они задержаны. («Труд», 1994, 1 декабря).

Еще один «единичный случай» с детьми — и опять Челябинск. Теперь — на почве эконоимики. (Не подумайте плохо про Челябинск, просто там добросовестно работает корреспондент.)

«Четырнадцатилетний подросток облил бензином и поджег девятилетнего мальчика, который, получив страшные ожоги, скончался. Как выяснилось, он мстил ему как... конкуренту по бизнесу. Мальчишки зарабатывали на жизнь мытьем автомобилей, и подросток обиделся на то, что соперник перехватил у него клиентов. Таким образом, — итожит корреспондент, — разборки за «место под солнцем», характерные для определенных категорий взрослых, постепенно перекочевывают и в детскую среду» («Труд», 1994, 29 сентября).

Молодой человек из Екатеринбурга тайно продал бабушкину квартиру, а когда новые хозяева собрались в нее въезжать, пригласил старушку в лесопарк подышать свежим воздухом. Пожилая женщина с удовольствием согласилась скрасить свой одинокий досуг в обществе внука. (У кого есть внуки, разве ж откажетесь от такой прогулки?)

Найдя безлюдное место, изверг выхватил нож и начал наносить бабушке удары. Шестидесятипятилетняя старушка даже не успела понять, за что же так осерчал на нее внук («Труд», 1994, 14 сентября).

А вот сообщение из города Орска (Оренбургская область). «82-летняя женщина попала в больницу с ожогами третьей и четвертой степеней. Перед смертью она еле слышно прошептала обожженными губами имя своего убийцы... — имя собственного сына, который облил ее бензином и поджег» («Труд», 1994, 28 июня).

Может, кто будет размышлять о том, какая из смертей самая страшная, так вспомните эту. Или вот эту.

В Казани в подвале одного из домов был обнаружен труп женщины, скончавшейся от жестоких побоев. Как выяснилось, она тоже стала жертвой собственного сына. «Неработающий оболтус выгнал ее из квартиры, вынудив несчастную ночевать в подвале дома, где она работала дворником. Однако он и здесь не оставлял ее в покое, вымогая заработок. Когда после очередного из-

биения матери его арестовали, соседи посоветовали женщине подать заявление в РОВД, но сердобольная мать наотрез отказалась портить жизнь своей «кровинушке». Отпущенный на свободу, сын сразу же отправился в подвал, отобрал у матери деньги и вымещал на ней злобу до тех пор, пока она не испустила дух» («Труд», 1994, 7 декабря).

Мы приводили примеры того, как дети расправляются со взрослыми и даже со своими ближайшими родственниками. А вот примеры так называемой «обратной связи».

Из Хабаровска сообщает корреспондент: «Живого малыша, которому от роду минула неделя, обнаружил в мусоропроводе одного из домов Хабаровска пришедший прибраться за жильцами дворник. «Скорая», срочно вызванная им к месту происшествия, зарегистрировала переохлаждение организма новорожденного и синюшные подтеки на шее: мамаша, судя по всему, пыталась еще и удушить свое дитя.

Мальчик остался жить. Врачи выходили его. Мать установлена. Ею оказалась 30-летняя нигде не работающая женщина, рожавшая тайно, дома.

Этот страшный случай не является исключительным. По свидетельству хабаровских медиков, таких подкидышей им приходится выхаживать не реже одного раза в три месяца» («Труд», 1994, 28 октября).

Передавший в газету эту информацию Игорь Красиков задается вопросом: куда идем? где предел моральной деградации? Задается такими вопросами потому, что с нашими размышлениями не знаком. Мы бы ему ответили..

Житель города Гремячинска некто Г. (фамилию скрывают, хотя и так ясно, что скрывается за «Г.») получил в свое время двенадцатилетний срок за изнасилование своей же четырехлетней дочери. Вернувшись после долгих лет отсутствия и разыскав семью, сменившую за это время место жительства, он вновь изнасиловал дочь, ныне уже шестнадцатилетнюю. Г. арестован, ведется следствие («Труд», 1994, 27 октября).

Насилию родителей, как могут, сопротивляются.

Читаем сообщение Николая Мокрищева (уж не псевдоним ли?): «Муж 30-летней жительницы Горловки Я. постоянно и нещадно избивал детей (8 и 12 лет), требуя высоких достижений в учебе. Уговоры, мольбы матери прекратить истязания отец-садист игнорировал. И вот после очередного избиения малышкой отцом Я. вошла в комнату в состоянии аффекта и решила своими руками избавить несчастных ребятишек от мучений. Одного ребенка она задушила утром, второго — после возвращения из школы. Затем, оставив записку, объясняющую поступок, попыталась покончить с собой, выбросившись из окна, но ей помешали» («Труд», 1994, 2 декабря).

Как вы считаете, гуманно или жестоко поступил в данном случае тот, кто «помешал» уйти из жизни женщине, только что задушившей двух своих детей?

Этот же корреспондент сообщает из Мариуполя: «45-летний водитель «Жигулей» торопился с женой по своим делам, и прямо перед колесами его машины в центре Мариуполя перебежал дорогу пожилой мужчина. Едва успев затормозить, водитель приоткрыл дверцу и сказал нерасторопному пешеходу все, что он о нем думал в данный момент. Однако договорить до конца не успел: пешеход, развернувшись, не стал вступать в пререкания, просто полоснул водителя ножом по горлу. Владелец «Жигулей» скончался на месте от потери крови. Пенсионер задержан. Да он и не думал скрываться.

Страшно за всех нас, — заключает Мокрищев, — за доведенное до такой безоглядной злобы общество» («Труд», 1994, 9 декабря).

В вокзале подмосковной станции Лобня хулиганы решили сжечь заживо группу беженцев-таджиков из 28 человек, среди которых 14 взрослых мужчин и 14 детей в возрасте от 4 до 9 лет. Когда беженцы спали, расположившись на полу в зале ожидания, преступники бросили в них бутылку с зажигательной смесью. По словам милиционеров, то, что произошло, напоминало кромешный ад.

«После того как разбилась бутылка со смесью, набитые хлопком матрасы, на которых спали таджики, моментально вспыхнули, а буквально через мгновение начал гореть и деревянный пол вокзала. Людей спасло только отсутствие решеток на окнах. Разбив стекло, мужчины выбрасывали детей, на которых уже горела одежда, прямо на улицу. Несмотря на самоотверженность от-

цов, семеро детишек страшно обгорели. Пострадало и пятеро взрослых. Когда милиция пыталась выяснить обстоятельства пожара у самих таджиков, те не могли вымолвить ни слова, а лишь плакали» («Московский комсомолец», 1994, 14 декабря).

В самом центре Москвы, в собственной квартире на старом Арбате был зверски убит Герой Советского Союза, полковник запаса, семидесятиоднолетний Александр Щербаков. Соседи Щербакова переполошились из-за жутких криков, доносившихся из его квартиры, и позвонили в милицию. Через минуту примчался участковый инспектор. Выбив дверь, милиционер вбежал в запыленную дымом квартиру. В комнате горела мебель, посередине лежал окровавленный труп хозяина. На его теле насчитали около тридцати ножевых ранений. Убийца орудовал ножом и... ножницами («Московский комсомолец», 1994, 24 ноября).

В той же Москве в Окружном проезде, возле дома № 35 инженер института авиационных материалов (техническая интеллигенция) жажнул средь бела дня топором по голове восьмидесятипятилетнюю старушку. Причины неясны. Известно только, что старушка не процентщица. Самое удивительное, отмечают газетчики, что старушка осталась жить («Вечерняя Москва», 1994, 20 июля). Чему же еще удивляться? Ведь не удару топора по голове средь бела дня.

В Полтаве от дома № 114 по улице Пушкина долгое время исходил трупный смрад. Больше недели здесь возле разложившегося трупа ели, пили, почти не выходили на улицу двое мужчин. Третьему, убитому, было сорок лет. Он нигде не работал. Установлено, что приятели поссорились и зарезали собутельника кухонным ножом, завернули похолодевшего гостя в ковер, собираясь куда-нибудь отнести. Да за выпивкой, вероятно, забыли. Когда пришла милиция (наверное, на запах), страшная улика все еще оставалась при убийцах... («Труд», 1994, 6 июля).

В Тверской области мальчишка забрался в чужой сад и стал рвать яблоки. Крал не от голода, а оттого, что «чужие — слаще». Журналист Григорий Волович далее сообщает: «Тут его увидел хозяин. С палкой в руке кинулся он за маленьким «грабителем», который в страхе карабкался на забор. Но хозяин успел поймать его за штаны, и они сползли, открыв свету худенькую попку. Разъяренный садовник — по фамилии Садовников — ткнул своей палкой с такой силой, что она вошла глубоко в живот, исторгнув из мальчишки дикий смертельный крик. Ярость хозяина сменилась страхом, и, чтобы унять, заглушить крик, он сдвинул детское горло...» («Труд», 1994, 18 ноября).

Газета «Труд» со ссылкой на информационное агентство «ВЕТТА» сообщает о вспышке бытового насилия на почве пьянства в Пермской области. Совместное возлияние в одном из домов в Гайнском районе закончилось тем, что муж задушил жену, в Лысьве старший брат убил младшего, там же сын лишил жизни собственную мать. В Оханском ресторане один пьяный посетитель зарезал другого, в Добрянском районе мужчина убил сожительницу, в Нытвенском, наоборот, женщина зарубила сожителя...

Наиболее характерный пример озверения части жителей зарегистрирован в Чусовом. Не работающая, ранее судимая «дама» сорока трех лет после совместного употребления спиртного подняла топор на своего сорокалетнего мужа. Она рубила топором его шею вплоть до отделения головы, которую затем, не в силах унять ярость, запинала под кровать... («Труд», 1994, 8 декабря).

Бытовые разборки страшны и жестоки. Но куда страшнее следующее.

В Киеве был арестован сотрудник минской милиции. Этот страж порядка шел по улице и повстречал гулявшую с собакой девушку. Милиционер приказал надеть на собаку намордник. Девушка совет проигнорировала и тут же упала, сраженная выстрелом из милицейского пистолета. В названии заметки резонный вопрос: «Кому намордник нужнее?» («Труд», 1994, 9 декабря).

Из далекого Хабаровска сообщают: «15-летняя девочка заперлась в туалете прогулочного теплохода «Москва» по неотложному делу. На беду, то же самое дело позвало в это помещение и старшего лейтенанта милиции Индустриального района Хабаровска А. (фамилию информаторы решили скрыть. — В. П.). Привыкший, что человеку в мундире везде оказывают повышенный почет и

уважение, подвыпивший офицер (!) потребовал, чтобы означенное место ему срочно освободили. Юная пассажирка замешкалась, и тогда храбрый милиционер выстрелил в дверь из табельного оружия, наповал уложив девочку...» («Труд», 1994, 22 сентября).

* * *

Итак, мы привели «частные случаи» самого большого греха — убийства. Мы не копались в судебных архивах, не перелопачивали центральную и провинциальную прессу, а взяли подшивку старых газет, в основном «Труд», да еще что под руку попадалось. Мы лишь затронули наш повседневный быт, ставший из-за нашей жестокости «безбытностью». Почти все наши убийцы находились рядом со своими жертвами. Убийцами становиться не собирались. Просто так получилось. Не оказалось в тот момент такого участка в мозгу, которым жалеют. За своими проблемами — до чужого ли горя? Вон его сколько! Каждый день. Притерпелись к напастям и не замечаем. Как будто их и нет вовсе.

Что там за старушка восьмидесятидвухлетняя? Что за старик, забитый ногами детей? Чья это мать убивается горем? Чей это мальчик пропал? И вообще — был ли он?

Как быть и как жить, если допустить, что у нас всех, у всего народа нашего отсутствует тот самый «участок», та самая «эмоциональная структура», которыми жалеют? Каково наше будущее, если нам, от президента страны до уличного мальчишки, попросту нечем жалеть? Ни себя, ни тем более кого другого. И вот один посылает на смерть других убивать третьих и с помощью лжи превозносит насилие как добродетель. А другой, со знанием дела вступающий в «большую жизнь», безжалостно уничтожает малолетнего конкурента. В ком из них наша воплощенная жестокость?

«Да, великий народ наш был взращен как зверь, претерпел мучения еще с самого начала своего, за всю свою тысячу лет, такие, каких ни один народ в мире не вытерпел бы, разложился бы и уничтожился, а наш только окреп и сплотился в этих мучениях. Не корите же его за «зверство и невежество», господа мудрецы, потому что вы, именно вы-то для него ничего не сделали» (Федор Достоевский, «Дневник писателя» за 1877 год).

Федор Михайлович, Федор Михайлович! Зачем вы стыдили наших мудрецов? Уже после укоров ваших они столько «сделали». Все, как вы и предвидели. Прямо так и ставили вопрос: «Что делать?» И такого понаделали! Уже во всем мире знают, что значит наша власть в соединении с нашими же мудрецами.

А может, не в них, мудрецах, дело? Может, все-таки в нас же самих? Ведь и мудрецы наши, и наши начальники — что есть? Наш же народ. Сам и мудрствует, и начальствует.

Трудное, затянувшееся детство — продолжается. Наш веснушчатый гуттаперчевый малый продолжает ради забавы ковыряться ножичком в чреве ближнего. И не упрекни его, не скажи чего плохого: попадешь в немилость народную, окажешься крайним и почти всегда — виноватым. А «виноватого кровь — вода» (такая вот нехитрая наша народная поговорка).

А назовите, кто только у нас не виноват?

VI

Откройте Ветхий Завет.

Великие, исполинские фигуры библейских пророков: Илия, Исайя, Иеремия, Иезекииль...

Сквозь Откровения, плач, стенания проходит всегда и неизменно одно: именем Бога Живого беспощадная, жестокая, бескомпромиссная критика своего (и Бога) народа — Израиля. Не сатира, не юмор, не пасквиль, а открытое и доступное пониманию каждого — Слово. Пусть угроза собственной жизни, вопреки властелину, обстоятельствам, вопреки даже смыслу, но Слово пророка — это всегда предостережение, укор и напоминание о грозящем возмездии: если народ изменяет своему Богу, своим традициям, если вокруг кровь, наси-

лие, разврат — виноваты не лишь правители, виноват весь народ, и в особенности народ.

«Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злое, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святого Израилева, — повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места; язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах сведают чужие, все опустело, как после разорения чужими» (Ис. 1: 4 — 7).

— Народ всегда прав! — это ложное и обольстительное, ставшее аксиоматичным утверждение на деле играет роковую роль для самого народа. Оно не просто опасно, оно губительно изначально, поскольку порождает неискореняемый порок внутри общества — самонадеянность, восторг от этого и коллективную безответственность. В этом случае Бог — единственный и высший Судия — подвергается суду Линча и перестает существовать для народа.

Был хороший и добрый народ, жила себе страна Муравия. Пришли бандиты-большевики. Разрушили храмы. Уничтожили священников. Насаждался воинствующий атеизм. Народ перестал верить в Бога. Войны: гражданская, отечественная, «холодная»... ГУЛАГ. Распад СССР. Виноваты Ленин, Сталин, Горбачев и коммунисты. Для многих (и их становится все больше) во всем виновен Ельцин...

А не перестал ли наш народ верить в Бога до того? До прихода большевиков, до разрушения храмов, до уничтожения священников? Ведь действительная вера не в храме и не у иконостаса, но в сердце верующего. Исчезла из сердца — не удержались и храмы. И только восстановлением храмов веры не вернешь. Камень — не сердце. *«И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло. Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту, вступайтесь за вдову»* (Ис. 1: 15 — 17).

Две с половиной тысячи лет назад у древних иудеев уничтожили Первый Храм и сожгли Ковчег Завета — самую священную реликвию. Более того, их увели в Вавилон, в плен, на чужбину. Но разве, лишившись Храма, верующие лишились веры? Нет. Они, напротив, перенесли свою веру в самих себя, став как будто бы каждый частью Храма, частью Бога. И с этой верой они воздвигли новый храм, на новом месте. Спустя несколько столетий разрушили и его, но еще до этого, у Сихемского колодца, нам, в лице безвестной самаритянки, был открыт вечный закон религии, по которому «истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4: 23).

Что значит возлюбить ближнего? Кроме прочего — это суметь упредить его слабости и ошибки. Что значит любить свой народ? Прежде всего — быть с ним (значит, и с собою) откровенными, не потакать и не заискивать.

Уже не раз говорили о том, что политикам надо запретить прилюдно заигрывать с детьми, трепать их за уши, похлопывать по щекам, брать на руки и позировать перед фото- и телекамерами...

Мне кажется, и не только мне, что настает время, когда надо наложить табу на такие же игры с «народом». И не только политикам, но вообще всем.

Народ включает в себя не только всех живых, но и всех мертвых. Причем мертвых гораздо больше. В этом некрополе пока нет только нас, живущих в одно нынешнее мгновение, а лишь это не дает права говорить от имени всех. Это опрометчиво для нас самих, потому что, когда не будет нас, от нашего имени будут судить, вершить, требовать, вешать — наши потомки.

Новая жизнь отвергает и отодвигает в прошлое лживое и циничное — «именем народа». Заканчивается время не только прилагательного «народный» («народные избранники», «народное мнение», «народная дипломатия»...) — заканчивается целая идеология и вместе с нею — эпоха, где под именем «народ» скрывалось мнимое разделение ответственности между вездесущей властью и огосударственным обществом.

Между этими деспотичными, обезличенными и неразлучными демонами («низами» и «верхами») безнадежно зажат человек.

Чтобы сохранить нас как народ, мы прежде должны обрести себя и для этого — стать отдельными личностями, полноценными гражданами, обрести экономическую свободу, возможность накапливать, строить, выращивать, богатеть...

Будет ли при этом выбор каждого из нас совпадать с выбором страны — не вопрос, если мы научимся жить в согласии с другими людьми, с соседями, с согражданами, потом и с другими народами.

В нашу жизнь приходит новое поколение людей. Представления о будущей жизни у них не зашорены идеологическими штампами, в том числе «демократическими». Будущее свое и своего народа они видят не в «народной премудрости», а в собственном профессионализме и трудолюбии, не в так называемой «сермяжной правде народа», а в кропотливой жизнедеятельности и усердии каждого.

Если мы увидим в этом естественном стремлении к новой жизни лишь порок, если за существующим хаосом не заметим свою логику и последовательность, станем вновь выступать от имени народа, отождествлять свой собственный выбор с выбором России и определять его для других — потеряем еще один шанс, еще одну надежду на согласие в обществе, потому что, пока политики витийствуют, — народ безмолвствует. И ничего с ним не поделаешь!



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

АННА АННЕНКОВА

*

ВПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕ

Пристрастные впечатления

Что значит уехать из своей страны надолго? навсегда? Что значит быть иностранцем, эмигрантом? И что же в конечном итоге оказывается на чаше весов, когда решается вопрос об отъезде.

До недавнего времени я могла лишь теоретизировать, пытаясь ответить на эти вопросы. Мой опыт состоял из рассказов командированных и контрактников, из обид и разочарований тех, кто навестил давно уехавших друзей и родственников и вместо привычных, любимых и нежно лелеемых в разлуке образов встретился с «другими», часто чужими людьми; из оптимистичных взхлеб рассказов новоиспеченных граждан дружественных держав, а также из стеланий *de profundis*¹ тех, кто, пересаженный на почву чужой культуры, не смог или не захотел расстаться с российской привычкой к страданиям, незаметно переросшей в потребность.

Исключая этих последних, *pro et contra* остальных так или иначе укладывались в несложную оппозицию. Одни ратовали за права человека, здоровый образ жизни и «нормальное человеческое существование», под которым чаще всего разумели практическое и материальное благополучие, и потому уезжали; а другие — обличали Запад в бездуховности и культурной застойности и потому оставались или возвращались. Есть, правда, и третьи. И хотя их становится все больше, речь о них пока не идет. Это — так называемые «новые русские», рассматривающие Россию как страну больших, в основном коммерческих, возможностей.

Итак, поскольку первые, как правило, или живут на Западе, или ощущают к нему необоримую тягу, а вторые — выживают в России, постольку аргументы и тех и других представлялись мне лишь вынужденной психологической опорой на позитивные стороны жизни, необходимой для поддержания душевного равновесия. Недавно, помимо возможности сто раз услышать, жизнь мне подарила и другую — более ценимую в народе — возможность. По счастливому стечению обстоятельств я оказалась в Лондоне.

Эмигранты. Язык

По Стрэнду барабанит дождь. Он струями сбегает по блестящим окнам-витринам слишком большого, чтобы быть уютным, кафе. Здесь сухо и пыльно.

Со своим спутником я познакомилась пять минут назад в самом банальном месте этого огромного города — у колонны адмирала Нельсона на Трафальгарской площади. Мы друг для друга — оказия. Для него в моей сумке лежат письма — знаки пульсирующего чувства его друзей, и, преисполненная ответственности доверенного мне дела, я чувствую себя харонессой, привезшей с туманного берега реки забвения обломки проблем, которые почему-то все еще волнуют этого человека, покинувшего страну три года назад.

¹ Из глубин (*лат.*). (*Здесь и далее примеч. автора.*)

Впервые за неделю, протянувшуюся годом, выплываю на островок родной речи, которая расслабляет и успокаивает. В чужой стране впервые язык обнаруживает себя как сильное и волевое действующее начало жизни, способное влиять на мое сознание, на отношения с людьми и миром. Чужой, он своею нравно делает высказывания плоскими и тусклыми и наращивает глухой тон неудовлетворенности собой, проистекающей от неполноты выражения. Он ограничивает темы и мысли скромным запасом послушных слов, низвергая все усилия на уровень бытовых разговоров и простых понятий. Он превращает легкую беседу с человеком в тяжелый труд нескончаемого преодоления психологических барьеров. Он смиряет, но одновременно и дарит полноту и радость общения, ибо любой человек, говорящий на родном тебе языке, оказывается желанным собеседником; а любовь к соотечественникам становится безмерной только потому, что начинаешь ценить и принимать за счастье способность произносить слова без усилия и понимать и быть понятым.

Как сквозь туман слышу привычный и милый домашний вопрос, который будет задан любимым русским, вне зависимости от того, сколько времени назад он уехал из дома: «Есть хотите?»

Всплывает полустертый стереотип «русского за границей», который изо дня в день затягивает ту же ремень, доставая из чемодана очередную банку привезенной из России салаки, чтобы сэкономить нещедрые государственные командировочные на магнитофон или пару джинсов. Но не только это.

«Вы голодны?» — настойчиво будет звучать вопрос при встрече с русским, настойчивостью своей преодолевая смущение, неизменно сопутствующее голоду. Этот вопрос с порога, при первом знакомстве мгновенно обозначит общее прошлое, «родственность». Возможно, он окажется единственным, что будет объединять вас с человеком впоследствии.

— Нет, спасибо, не голодна.

— Тогда... — И следующая реплика отбрасывает моего собеседника на противоположный берег: — Тогда, может быть, хотите чашечку капучино?

Не имея ни малейшего понятия, что скрывается за этим словом, которое звучит музыкальным термином, соглашаюсь из любви к искусству. Через минуту передо мной чашка черного кофе, в которой пучится обильная кремовая пена. «Как пучина... Как пучина...» — рассеянно повторяю про себя, заглядывая в чашку.

Потом долгий разговор, краткое прощание. И вновь потонула для меня материковая твердость родного языка, и я осторожно дрейфую в иноязычной толпе.

Шанс

Я — в Лондоне, и нам надо знакомиться.

Каждое утро начинаю чашкой традиционного английского чая с молоком и газеты «Loot»², которую просматриваю в поисках подходящей для знакомства возможности. Однажды мой взгляд зацепился за странное неанглийское слово, вынесенное в заглавие рубрики. Над вполне банальными и понятными призывами молодых мам о помощи значилось — «AU PAIR».

С наивностью и невинностью иностранца, уверенного в смысловом совпадении слов и обозначаемых ими явлений, я применила остатки латыни и начатки французского для установления смысла загадочного слова. Затем прибегла к авторитету толкового словаря. В нем говорилось: «Au pair — молодой иностранец, обыкновенно молодая женщина, которая живет в семье для изучения языка. Au pair, как правило, присматривает за детьми в обмен за полный пансион и небольшую плату».

Шанс был многообещающим, и я поспешила к телефону.

Первая пара звонков оказалась неудачной. За признанием, что я из России, на другом конце провода повисала продолжительная тяжелая пауза, а затем следовал холодный, вежливый и твердый отказ вести дальнейшие перегово-

² «Loot» — лондонская газета частных объявлений, соответствующая российской «Из рук в руки».

воры. К возможности подобного приема я была отчасти подготовлена. Особое отношение к приезжим из России обнаружилось уже при въезде в страну. На КПП в Хитроу вместе со мной были задержаны для «допроса» с пристрастием несколько человек. Причина задержки прояснилась, когда оказалось, что все мы говорим по-русски.

Но мне все-таки удалось найти «свою» семью. Она состояла из молодой интеллигентной супружеской пары и трех замечательных мальчиков, их детей. И уже через несколько дней я переехала в четвертую зону, на северо-востоке Лондона³. Спокойный зеленый район состоял по большей части из двухэтажных особнячков на две семьи. Своими аккуратненькими фасадами и ухоженными палисадничками дома смотрели на улицу, а с тыльной стороны за каждым располагался небольшой участок земли, на котором по усмотрению хозяев были разбиты сады, цвели деревья или зеленела газонная трава — неистощимый источник семейных препирательств. Тема: «кто будет стричь газон» здесь с успехом заменила более мне знакомую: «кто будет мыть посуду».

Круг моих повседневных обязанностей ограничивался теми, которые обыкновенно несет человек, разделяющий кров и еду с другими. Я была свободна в передвижениях и начала осваивать пространство.

Пространство

Сразу обозначились два вида пространства — общественное (public) и пространство личности (privacy). Их границы четки, очевидны и почти сакральны.

Внешние границы всегда видимо обозначены: низеньким заборчиком или плотными кустами терновника, маленькой красной ленточкой или высокой каменной стеной, — нарушение их равно недопустимо и наказуемо. Внешние границы личного пространства — это стены дома, забор сада. Следуя интуитивной потребности личной экспансии, каждый стремится освоить как можно больший кусок пространства, поэтому англичане предпочитают жить в домах с участком земли, а не ютиться в квартирах многоэтажек.

Физическое тело человека, как и другие пограничные знаки, призвано ограничить privacy. Общепризнанно вежливым считается расстояние в полметра. Это хорошо заметно в метро, которое я рассматривала как театр бытовой культуры. Люди здесь первым делом стремятся занять места для одиночек, с двух сторон отгородившись подлокотниками от случайного соседства. А те, кому приходится стоя переносить тяготы дороги, стараются блюсти нейтралитет, не напирая друг на друга. Плавность движений, достойная неторопливость, как и многое другое, — привычка, подчиняющая людей установленному порядку. Вежливые и улыбочивые, англичане свято придерживаются правила «не хамите и не хамимы будете».

В ритуале почитания privacy задействованы не только пассажиры, но и машинист поезда, который никоим образом не прихлопнет дверь, и контролер, который не дойдет до рукоприкладства, если обнаружит безбилетника. Гуляя в лондонских парках, я заметила, что законы сохранения privacy распространяются здесь даже на собак. Полные достоинства своих хозяев, пробежали они мимо, игнорируя мои призывные свисты.

Однако внешние границы — это всего лишь проявление границ внутренних, менее осязаемых, но не менее очевидных, и в людях постоянно ощущается страх нарушить чужую атмосферу. Практически любое неожиданное вторжение в дом — даже если ты друг и к тебе хорошо относятся — вызывает напряженность, а любое длительное пребывание воспринимается хозяевами как бедствие, которое нужно пережить, перетерпеть, и поэтому очень важно сразу иметь представление о его масштабах. Второй вопрос, который вам неизменно зададут после знакомства, будет ли это на паспортном контроле при въезде в страну или на дружеской вечеринке, — на сколько вы приехали? И

³ Лондон поделен на транспортные зоны в направлении от центра города. Всего шесть зон. Расстояние от центра сильно сказывается на стоимости проезда, поэтому более состоятельные люди, имеющие машину и не сильно связанные расходами на транспорт, предпочитают жить в основном в удаленных от центра и, следовательно, более экологически чистых районах или даже за чертой города.

здесь неуместна российская расплывчатость ответа: «Не знаю... Посмотрим... Как пойдут дела...» Если вы четко ответили на поставленный вопрос, не «пришли навеки поселиться» и покажетесь симпатичным, можете быть уверены, что на указанный срок вам будут обеспечены все радости бытия, в разумных, конечно, пределах. Об этих пределах вы также будете ненавязчиво информированы.

С внутренними границами личности тесно связано понятие о достоинстве, поэтому в общественной жизни развита вера «на честное слово», честность которого, впрочем, нужно документально подтвердить. Рекомендации значат очень много. Хочешь записаться в библиотеку или открыть счет в банке, необходимо принести письменное ручательство от уже «проверенного» члена общества, где черным по белому написано: «Господин (или госпожа) такой-то известен на протяжении стольких-то лет как достойный и честный человек». Вас заносят в компьютер — и все в порядке. Уловившись в сети хотя бы одного социального института, человек, с точки зрения общества, становится более безопасным.

Здесь мало кто лжет в привычных для россиянина формах. И вовсе не потому, что люди как-то особенно привержены честности. Благодаря развитости коммуникаций жизнь совершенно прозрачна и проницаема, а системы проверки безупречно отлажены. Можно один раз соврать где-нибудь в Шотландии, а потом пожинать плоды своего вранья по всей Европе.

Проверять друг друга — принято. В магазинах постоянно ощущаешь ненавязчивое внимание менеджера, который в «опасный», по его мнению, момент подойдет и никогда не скажет: «А не собираетесь ли вы, любезнейшая, что-нибудь у нас стащить?» Всегда только: «Извините, не могу ли вам чем-нибудь помочь?»

По мере того как я втягивалась в круговорот повседневной жизни, стали обнаруживаться незаметные на первый взгляд ее особенности. Первой возникшей трудностью стало особое восприятие времени.

Время. Планирование

Самим устройством государственной жизни простой советский человек был на долгие годы избавлен от бремени тотального планирования. Магистрали его жизни были расчерчены, размечены и определены кем-то наверху. Никто из нас не мог поручиться за завтрашний день, и грандиозные планы каждого в один момент могли быть разрушены движением государственного пальца. Наряду с безответственностью это выработало в советском человеке способность быстро ориентироваться и приспособливаться в вихре сменяющих друг друга катастроф и авралов, из которых по большей части и состоит наша жизнь, а также глубокое, в основе своей религиозное, убеждение, что последнее решение всегда остается за кем-то Главным, наверху.

Надежная работа хорошо отлаженных механизмов западной экономики, напротив, создает впечатление стабильности и покоя жизни, укорененности в ней каждого человека. Составление всевозможных списков и планов входит в круг обязательных ритуалов, организующих жизнь западного человека. Можно купить красивый дневник и распланировать свою жизнь на год, на десятилетие, вплоть до Второго Пришествия, с большой степенью вероятности, что исполнению намеченного ничто не помешает. Для Божьего Промысла в этих дневниках страничка не предусматривается, а галочки успешно проведенных мероприятий — неистощимый источник оптимизма и основа веры в грядущие победы.

Время здесь — как и многое другое — частная собственность. Каждый волен распоряжаться им по собственному усмотрению. Время довольно прямолинейно ассоциируется с деньгами, поэтому на других его расходуют чрезвычайно экономно. Любые встречи или гости должны оговариваться заранее, даже когда речь идет о хороших знакомых. Нарушения в расписаниях и планах воспринимаются как угроза основам мироздания, поэтому англичане чрезвычайно ригидны в своих намерениях и щепетильны в отношении времени. Опоздание или задержка чревата для них потерей психологической устойчивости.

Материализм

Обязательной статьёй в планы западного человека входит субботний выезд в супермаркет, этот храм общества потребления. Посещение супермаркета — один из столпов, поддерживающих свод жизни. Приготовления к поездке начинаются, как правило, накануне. Семья собирается за большим столом, и все, имеющие право голоса, активно участвуют в обсуждении списка необходимых покупок.

Наутро автомобиль шуршит колесами по гладкой дороге куда-нибудь, чаще всего за город, где, пассивно и плотноядно распластавшись по земле на много сотен метров, супермаркет ждет своих добровольных невольников. Воздух этих гигантских сооружений из стекла и света напоен вирусом покупательского безумия, которому не способен противостоять ни один нормальный человек. И приобрести иммунитет против этой болезни можно, лишь переболев ею, хотя бы кратковременно.

Бродя как-то в рассеянности среди бесчисленных полок, почти потерявшая себя в изобилии товаров, я вдруг обнаружила еще одно, совсем простое, определение материализма. Материализм — это агрессивное изобилие материи. В магазинах особенно чувствуется, что Европа просто разрывается от количества материального разнообразия.

Целую жизнь можно довольно комфортно провести на отрезке «работа — дом — покупки для дома», покупая вещи и зарабатывая деньги на то, чтобы их покупать. При этом у вас не возникнет ни малейшего чувства однообразия, разочарованности или комплекса напрасно потраченного времени, так как деятельность на поприще покупок предоставляет неограниченные возможности для самовыражения. Каждый волен проявлять смекалку, сообразительность, вкус, вырабатывать уверенность в себе, настойчивость, волю к победе или удовлетворять исследовательскую любознательность. А можно расслабиться, поплыть по течению, ощущая нежную поддержку менеджера и доверившись целиком его профессионализму.

Кажется, что экзистенциальные вопросы здесь мучают только тех, кто по долгу службы обязан ими мучиться и получает за это жалованье: художников, философов, писателей и т. п., или маргиналов, которые силой обстоятельств оказываются выкинутыми за порочный Марксов круг «товар — деньги — товар».

Воспитание детей. Семья

У простых смертных европейцев «жизненные» вопросы чаще всего связаны с воспитанием детей, которое строится на принципах сознательности, разумности, целесообразности, лежащих в основании и всех других сторон жизни. Так же было и в «моей» семье. Принципы воспитания здесь представляли собой попытку родителей соединить их личный опыт, а опыт у каждого был свой.

Глава семьи, Майкл, воспитывался в семье закоренелых атеистов и сторонников прогресса. Его отец, с которым мне приходилось вести нескончаемые дискуссии, преклонялся перед достижениями развитого социализма в России и ничего не хотел слышать о концентрационных лагерях советского режима, ссылаясь на пропагандистские трюки западных средств массовой информации, которые всегда были заинтересованы в уничтожении своего идеологического противника и разжигании «холодной» войны.

Так и не овладев хорошим произношением чужого ему английского языка, он мало заботился о том, чтобы быть понятным. Даже собственные внуки не всегда понимали его, и связь приходилось поддерживать при помощи безмерного количества сладостей, которые дед неизменно приносил в дом. Это срабатывало.

Старик, забившись в угол старого дивана в своем прокуренном кабинете, любил поговорить и был рад, что нашел во мне терпеливого слушателя. Наполняя маленькую комнатку клубами сизого дыма и по временам заходясь кашлем, он сентиментально и впечатляюще рассказывал о несправедливостях, царящих на его родине, в Пакистане, стране с многолетней историей унижений и рабства:

— Только высшее образование давало возможность сносно существовать. Англичане поощряли образование индусов. Считали, что так будет легче управлять страной. Конечно, они просчитались. Образованного человека угнетать гораздо труднее. Мы тут же стали бороться за свои права. Я быстро понял, что смогу выкарабкаться, только если получу высшее образование. Стал инженером. Потом меня отправили работать менеджером на чайные плантации у подножия Гималайских гор.

Помню, меня давила ненависть и бессилие, когда я видел, как они унижали простых людей. Если кто-нибудь из работников плантации или какой-нибудь невысокий менеджер встречал на дороге начальство... оно всегда ездило в роскошных машинах... бедняга должен был остановиться и вытянуться в струнку. А если шел дождь — закрыть зонт. У нас такие дожди — в одну минуту промочат до нитки. Да... И сейчас там нелегко.

Мнение о России, которое он составил как о стране, где преодолено социальное неравенство, было лучезарным и неколебимым, а опыт недолгого пребывания в ней сказался самым пагубным образом на его способности критически относиться к каким-либо другим свидетельствам, кроме того, что «он видел собственными глазами». Он видел дешевую колбасу в магазинах, молоко, хлеб и овощи... («А говорили, что в Советском Союзе есть нечего, люди с голоду умирают. Нам хотели промыть мозги. Все у вас было бы, если бы не Горбачев».) В его представлениях о России большую роль играли дешевый транспорт и достижения СССР в области военной техники и балета.

В трех своих сыновьях он воспитал дух гуманизма, уважение к Дарвину, преклонение перед достижениями научно-технического прогресса и цивилизации, любовь к свободе личности. Последняя, по его мнению, воспитывается отменой каких бы то ни было запретов и ограничений. «Если человек разумен, — рассуждал старик, — он и сам будет себя контролировать. Нужно только привить ему способность независимо мыслить». Поэтому страх промывки мозгов, недоверие к средствам массовой информации и оппозиционность к любым религиям были заложены в Майкла с самого детства.

Из трех братьев Майкл оказался самым удачным результатом воспитательной системы своего отца. Наибольшим несчастьем в жизни Майкл считал потерю основного завоевания эволюции — разума, и страх этой потери пересиливал в нем даже страх смерти. Смутить Майкла общими вопросами типа «для чего живет человек и он, Майкл, в частности», было практически невозможно, но малейшие шуточные намеки на сумасшествие он воспринимал с внутренним замиранием.

Потеревшись в молодости среди «хиппи» и поняв недолговечность и бесперспективность этого движения, Майкл успешно социализовался и решил обзавестись семьей. Широкий и независимый по натуре, он полюбил девушку из религиозной мусульманской семьи, жизнь которой была сильно связана с общиной и тщательным соблюдением обрядности. Семья Шерон (так звали девушку) выехала из Пакистана до ее рождения, так что английский язык был ее родным языком, а образование и нормы жизни — вполне европейскими.

Логика рассуждений Майкла и разумность его аргументов в соединении с любовью и восточной женской послушностью привели к тому, что Шерон постепенно оставила религиозную практику семьи и отдалась строительству семейной жизни, вдохновленная идеями прогресса и дарвинизма.

Молодые разумно рассудили, что, временно отказавшись от удовольствий и роскоши, они дадут своим детям хорошее образование и вдоволь родительской любви. Шерон после рождения третьего ребенка без сожаления оставила должность менеджера в солидной фирме, на которой она преуспевала, и целиком погрузилась в домашние заботы. Майкл также жертвовал высокой зарплатой, чтобы побольше времени проводить в семье.

В семейной жизни Майкла и Шерон причудливо переплетались черты древней, усвоенной подсознательно культуры теплой родины их предков и рафинированная холодность европейской цивилизации, и тем яснее ощущалась разница между ними. Наблюдая это смешение, я впервые почувствовала потребность самоопределиваться в «географическом» отношении: уехав за три тысячи километров на запад от родины, я довольно неожиданно осознала себя «восточным» человеком. Реальность этих невидимых границ открылась мне

самой жизнью, и, промерзнув на остужающем ветру европейских приятных знакомств, я, как в теплом шарфе, отогревала свою заиндевевшую восточную душу в родных и понятных отношениях, которые связывали многочисленных членов «моей» семьи.

В английской семье связи часто определяются материальной зависимостью детей от родителей и душевной независимостью родителей от детей. Родственные связи, как правило, не культивируются и быстро формализуются после того, как ребенок становится на ноги и переселяется из родительского дома. В доме Майкла и Шерон жизнь семьи протекала по-восточному. Бабушки, обе в прошлом учительницы, в отличие от английских, не сильно ратовали за свою независимость. Они не ограничивались субботним посещением, с болтовней за стаканом коктейлей и «козой рогатой», а отдавали внукам значительную часть времени и сил. Подарки, которыми бесперебойно заваливался дом, никогда не были «откупом» от участия в семейной жизни.

Однако «теоретическая» база, которая подводилась под семейные отношения, вполне умещалась в рамки чисто европейской рациональности. Главным «теоретиком» выступал, конечно, Майкл. Он считал, что бабушки и дедушки должны заботиться о своих внуках, пока есть порох в пороховницах. Зато потом, когда старики станут немощны, внуки, из благодарности и по доброй памяти, не бросят их на произвол судьбы. По этой же причине он и сам считал необходимым заботиться о своих родителях — чтобы дать детям пример, достойный подражания. При этом Майкл вовсе не был холодным, расчетливым прагматиком, а оставался милым, душевным парнем.

Все члены семьи были гораздо больше озабочены друг другом, чем идейной подоплекой своих отношений, и потому безропотно принимали простые объяснения и не пытались искать лучших. Так что даже этим сухим схемам не удалось вытравить живой дух взаимного участия и симпатии, который царил в семье. В центре всеобщего внимания всей семьи были, разумеется, дети.

Воспитание детей. Лео

Выработать общие основы воспитания детей родителям было трудно. Трудно было, например, примирить отсутствие каких бы то ни было запретов, культивируемых в атеистической семье Майкла, с богобоязненным укладом и пунктуальным, часто тираническим исполнением религиозных предписаний, которыми жила семья Шерон. Время от времени привычки прошлого говорили в каждом сильнее, чем желание от него оттолкнуться.

Оба, однако, сходились на том, что надо поощрять ребенка мыслить независимо и искать разумное объяснение любых совершаемых действий и поступков. В первую очередь это касалось старшего, шестилетнего, Лео и отчасти его трехлетнего братишки. Если дети упрямылись, то родители действовали уговорами, побуждая детей самостоятельно принять верное решение.

Самому маленькому было дозволено до поры до времени лучезарно и бездумно радоваться жизни. Майкл искренне считал, что до определенного возраста ребенок — лишь маленькое животное и что общаться с ним можно только «рефлекторно». Это вовсе не означало, что Майкл не обращал внимания на малютку. Напротив, он нянчился и разговаривал с ним с утра до вечера: сначала на птичьем языке «ути-пути-лю-лю-лю», а потом и на человеческом — для развития мозга и речи. Младенец был божком, нашим маленьким «бонзой». Его любили, ему поклонялись и, в отличие от других богов, ничего от него не требовали.

Лео встретил меня умным живым взглядом и исключительным для человека его возраста чувством собственного достоинства, даже превосходства. В школе он без труда удерживал место первого ученика, а я поначалу была в его глазах почти инвалидом, так как с усилием делала то, что почти все окружающие и он сам делали с легкостью, — свободно разговаривали на английском языке.

Лео был прирожденным исследователем. Иногда мы с Шерон подолгу кружили вокруг кухни, ожидая, когда же наконец можно будет приготовить лосося, которого исследовал Лео, ковыряясь в нем с хладнокровием патологоанатома.

Книжные полки над его столом были заставлены иллюстрированными справочниками о животных. Родители читали их Лео перед сном вместо сказок, которые мальчик не любил, не видя в них никакого смысла. Как занимательную сказку воспринимал он цифры о численности популяций животных, подробные описания сред их обитания, физических параметров и физиологических особенностей.

Мое пребывание в Лондоне пришлось на сезон покупательского спроса на динозавриков. Бесчисленные динозаврики в изобилии поступали в пользование детей с колыбели; занимали полки детских магазинов, телеэкраны и страницы детских книжек. Моего маленького друга динозавры интересовали исключительно с научной точки зрения. Этот интерес был серьезным, и только серьезный интерес подкупал его в других. Мои отношения с Лео значительно продвинулись, когда через несколько недель мне удалось выучить с десятков латинских названий динозавров и я довольно сносно умела различать животных на картинках.

В воспитании Лео доминировала атеистическая «всеразрешающая» идея. Мир его чувств и эмоций был изобилен, беспорядочен и буен. Желания возникали, росли и проносились в его душе в хаотическом вихре, на который родители обращали мало внимания.

Каждый день, приходя из школы, он нагромождал в детской комнате везувии и монбланы, выбрасывая из многочисленных ящиков свои игрушки, из коробок — карандаши и краски, видеокассеты. Он переходил от одной игры к другой, от книг — к рисованию, от конструкторов — к мультфильмам и обратно, а когда все надоедало, принимался под оглушительную музыку скакать по диванам и креслам.

Детский мозг Лео не мог освоить лавину информации, которую получал за день, и по ночам его мучили кошмары. Он часто просыпался среди ночи и будил братишку. Тот поднимал оглушительный рев. Затем из соседней спальни родителей подстраивался самый маленький участник трио. Родители, измученные за день, просыпались последними. Тогда Лео накрывал голову подушкой и засыпал, невзирая на небообразимый гвалт. Концерт с участием остальных продолжался. Так мы проводили почти каждую ночь.

Шерон с присущей ей добросовестностью выполняла роль любящей и бесконечно заботливой матери. Но по мере того, как она все дальше уходила от религиозной практики родительской семьи, за суетными заботами дня все менее оставалось у нее аргументов и сил для поста и молитв и все более крепла в ней смутная тревога и агрессия. Агрессия выражалась в неосознанном желании контролировать все происходящее в жизни ее дома и детей. Гипертрофированная бдительность подрывала ее и без того истощенные силы, безвыходно замыкая образовавшийся круг.

Первые разногласия

Мои первые разногласия с Шерон обнаружили принципиальную разницу наших жизненных установок. Позже, доискиваясь причин, большую часть этих разногласий я отнесла на счет разности наших культурных обстоятельств, а не личностных расхождений.

Все началось невинно. Однажды, сама того не подозревая, я нарушила «должностную инструкцию». Поводом для ссоры послужил средний, трехлетний, мальчик.

Этот ангелоподобный малыш только начал осваивать родной язык, и его недюжинный темперамент выражался в энергичных толчках и обильных плевках, которыми он награждал окружающих. На проявления агрессии взрослые обычно либо не реагировали вовсе, либо преувеличенно корчились от боли, пытаясь вызвать у малыша стыд, надо заметить справедливости ради — совершенно безуспешно.

Разумеется, в один прекрасный день очередь дошла и до меня. Мы повздорили, когда малыш вдруг отказался поменять запачканную одежду. Перепробав все доступные ему жалобные гримасы и хныкания, он отвесил мне ощутимый пинок ногой. Презрев отчаянный вой, которым огласился дом, я передела мальчишку и серьезно сказала:

— Я никому не разрешаю меня бить или в меня плевать. И тебе тоже. А теперь уходи, потому что играть с тобой я сегодня не хочу.

Впервые встретив отпор своим бесчинствам, он стоял тихий, пораженный новизной и неожиданностью моей реакции, и, кажется, что-то соображал. Встревоженная шумом, со второго этажа спустилась Шерон. Она обозрела поле сражения, выслушала мои объяснения, мило улыбнулась, сказала, что не надо придавать инциденту большого значения, и тут же попросила меня поиграть с мальчиком.

— Нет, Шерон, это исключено. Только завтра, — уперлась я.

— Но ведь заниматься и играть с ребенком — это твоя работа, — воскликнула Шерон, сделав на слове «работа» то специфическое ударение, которое я впервые услышала только здесь, на Западе.

Интонации, которыми может быть расцвечено для западного человека это обычное, на первый взгляд, слово, красочней и богаче, чем весь подлунный мир. Оно может отсвечивать розовыми лучами надежды вновь пробуждающейся жизни, сиять золотом полноты сбывшихся желаний или угрожающе чернеть грозовой тучей безысходности. В тоне, которым Шерон произнесла слово «работа», чувствовалось, что я легко могу ее потерять.

Я пыталась что-то лепетать о правах человека и человеческом достоинстве, но мой лепет потонул в возмущении Шерон, которое было разбавлено известной долей удивления, что мои аргументы не иссякли на той точке, где у западного человека их обычно сменяют другие чувства: страх за свое будущее, осторожное желание смягчить выражения и т. д.

Шерон, желая окончательно прояснить для меня ситуацию, произнесла:

— Да ты вообще знаешь ли, кто такие *au pair* и как они обычно живут?

И тут гневным голосом человека, бесчисленные благодеяния которого были оплачены черной неблагодарностью, она рассказала мне, кто такие

Au pair

По мере пламенного рассказа Шерон в моем воображении всплывали лица английских друзей, на которых запечатлевалось удивление, подернутое легкой дымкой недоверия каждый раз, когда я, в ответ на участливые расспросы, повествовала о своей жизни в семье. В моих описаниях присутствовала скрытая от меня самой, непостижимая гипербола, которая милостиво прощалась мне окружающими, и простые рассказы о том, как я целые дни провожу, гуляя по городу, посещая музеи или сидя в библиотеке, помимо моего желания приобретали некий романический налет. Теперь причины этого недоверия постепенно прояснялись.

Возмущение Шерон дало мне возможность познакомиться с новой, неожиданной для меня, реальностью и взглянуть на жизнь *au pair* с ее капиталистической стороны.

— Целые дни *au pair* проводят с детьми, развлекая их или прибирая за ними, — так начала Шерон свое повествование. — *Au pair* занимается своими делами, только когда дети спят. У *au pair* нет ключей, и поэтому она не может свободно выходить из дома, разве что на *weekend*, и то предварительно договорившись с хозяевами, которые, как правило, сами бывают не прочь куда-нибудь выбраться.

Когда в дом приходят родственники или друзья, *au pair* должна скромно удалиться в свою комнату и оставаться там до ухода гостей. Знакомить с гостями *au pair* не принято.

Я припомнила, что Шерон охотно знакомила меня со всеми своими приятельницами и часто с ударением повторяла фразу: «Ты стала просто членом нашей семьи». В ее словах был поощрительный оттенок, который я тогда не могла объяснить: я жила вместе с семьей одной жизнью, разделяла общие проблемы, волновалась за детей, так что мне казалось совершенно естественным быть членом семьи.

— *Au pair* не пользуется телефоном или телевизором и всем тем, что влечет дополнительные расходы, — продолжала выкладывать Шерон.

Быть может, она интуитивно-артистически подчеркнула эту слишком дискриминационную даже на фоне общеевропейской бережливости меру, которая выгодно оттеняла ее всегдашнее великодушие. Шерон простила мне российскую забывчивость, с которой я могла открыть форточки, предварительно не выключив батареи. В любой момент я могла принять ванну, не чувствуя себя злостным растратчиком природных ресурсов страны и денежных средств своих хозяев. А один раз в мою честь даже была устроена небольшая семейная пирушка. И вот теперь, как в ужасный миг катастрофы, открылась бездна легкомысленной беззаботности, с какой я потребляла достижения цивилизации.

— Конечно, не все хозяйки одинаково суровы и педантичны, — добавила Шерон, заметив, вероятно, на моем лице разрушительные последствия своей речи и желая как-то смягчить суровость нарисованной картины...

Лишь на следующий день на обычном и для Англии полигоне психологических баталий, на кухне, обретя утраченное было душевное равновесие, я выступила с ответным спичем. В нем были вкратце приведены сведения, почерпнутые мной из толковых словарей, а также обнародованы полученные на основании этих сведений лингвистические выкладки относительно смысловых корней слова *au pair*⁴, каковые данные и послужили причиной взаимного ошибочного истолкования поступков и поведения действующих сторон. А тактичность и терпение, проявляемое потерпевшей стороной (под ней, конечно, подразумевалась Шерон), не позволило истине обнаружить себя достаточно быстро, что усугубило ситуацию непонимания. Но теперь тернии остались позади и чистая звезда незамутненного смысла торжествует над нашими заблудшими душами и просветленными умами.

После этого панегирика науке я быстро примирилась с чувствительной к научным данным Шерон, но для нас обеих стало очевидно, что если бы я знала заранее, на каких условиях живут девушки в семьях, то не искала бы места *au pair*. Трудно быть благодарным за то, чем привык естественно пользоваться. Было чувство, как если бы кто-нибудь требовал от меня благодарности за воздух, которым я дышу, или землю, по которой хожу. Уже через две-три недели, понадобившиеся мне для сборов, с сожалением и легким раскаянием Шерон провожала меня на вокзал.

Итоги и вопросы

Вот уже несколько месяцев под моими ногами привычная зимняя серая слякоть. В вынужденном смирении опустив голову — чтобы, поскользнувшись, не упасть в грязь лицом, — прохожу по знакомым улицам. Европа кажется сном, и лишь роящийся клубок нерешенных вопросов напоминает о путешествии.

Уже стерлась за буднями радость от встречи с родными людьми и улицами. Уже преодолен панический ужас от толчеи, грязи и вони, хамства и общественного равнодушия, который неизбежно охватывает каждого, кто подзабыл эти непрременные атрибуты российской действительности.

Первое впечатление от неумытого лица любимой родины способно навсегда излечить от ностальгии вернувшихся посмотреть на свою страну эмигрантов. У них, как правило, не остается ни времени, ни сил, ни желания преодолеть немедленную естественную реакцию — «назад! во что бы то ни стало», а мотивы, по которым кто-то все-таки живет в России, ими забыты или утрачены.

Но я — здесь, и жизнь вновь приучает меня видеть и чувствовать в красках и масштабах России. Я вновь учусь ходить по этим улицам и дышать их воздухом. Я осваиваю эту жизнь заново, и вопрос, который задают уезжающим: насовсем ли? — теряет всякий смысл, потому что получается: если надо, то — насовсем.

Только теперь представилась мне с полной очевидностью непоправимость отъезда, длительного отъезда, когда разрываешь и прерываешь временную

⁴ Буквально в переводе с французского *pair* означает «ровня», по-латыни *par, paris* — «равный».

протяженность и тем самым глубинную ткань своего существования в определенном месте. А тем больше и тем более, если это место, где провел большую часть своей жизни, где появился на свет, если это место — родина.

Передо мной никогда не стоял вопрос: уезжать или не уезжать, но навязчивой неясностью пульсировал вопрос о родине. Родина, преподаваемая в школе, разумелась только советской. Это была Советская-родина, официальная Родина-мать, с грубым плакатным женским лицом, которая требовательно смотрела в упор и звала куда-то. Она не вызывала во мне ни симпатии, ни чувства ответственности, ни тем более желания куда бы то ни было идти с ней или за нее. Не принимавшие советского автоматически становились врагами родины. Покидавшие родину из-за ее советскости объявлялись предателями и негодьями, а я знала их, покидавших, честными и достойными.

Но и в моем сознании существовала Советская-родина, только с обратным знаком. Родина, соотечественники, граждане, патриотизм, национальная культура — все это были отравленные официозом слова, постыдные для произнесения. Невозможность четко определить, что же скрывается за всеми этими словами, нигилистически воспринималась как идеологическая навязанность самих понятий. Для многих, смытых на Запад волной диссидентского отрицания, эти понятия так и остались достоянием советской эпохи великого государства.

После путешествия по Европе дым Отечества неожиданно для меня самой приобрел вполне определенные очертания. Определенные хотя бы в том, что больше не возникало сомнений в существовании самого Отечества и соотечественников. Да, они существуют, эти россияне, эти, как их всех называют на Западе, русские.

Франция. Эмигранты

Обыкновенному человеческому сознанию тяжело пережить разрыв со своей страной. Среди эмигрантов особенно чувствуется мертвая хватка, которой они вцепились во время, то время, в котором они оставляли Россию.

Пройдя по эмигрантским кругам, можно в краткий срок обзреть историю общественного сознания нашей родины. Каждый круг — застывший временной пласт. Как вмерзшие в вечные льды мамонты, они в чуждой среде хранят и воспроизводят мысли, образ жизни, разговоры той России, из которой уехали навсегда. Мне удалось увидеть несколько таких картин, начиная с эмиграции первой волны и до ее всплесков последнего времени.

Моя тетка оказалась во Франции, откатываясь с семьей от границ российской империи на запад по мере триумфального шествия советской власти. Побросав свои имения на Западной Украине, ее родители вместе с детьми бежали в Польшу, а затем сложными путями второй мировой войны, через Германию, — во Францию.

Гостеприимный дом тети распахнут для всех с русским радушием. На протяжении дня то и дело забегают соседки, а в конце недели и по вечерам дом наполняют попеременно то русские, то французские гости.

Русские разнородны и многочисленны: это и приехавшие погостить, и эмигранты всех волн и поколений, и их знакомые. Если женщины, то непременно активные, с громкими энергичными голосами и тихими затюканными мужьями-французами, которые молчаливо сидят на протяжении вечера, с умилением поглядывая на свою бурную «половину», проявляя бездну великодушия и терпения. Русских, а особенно русских женщин многие здесь считают авторитарными и безапелляционными в суждениях. Но и слушают их особенно.

Это, впрочем, естественно. Если за столом собираются русские, то рано или поздно разговор вырывает на общечеловеческие проблемы в масштабах мироздания. Тут сразу и национальный вопрос, и эмиграция, и Гоголь с Достоевским, и смысл жизни, и чего только нет. Кажется, что русские знают ответы на все жизнеполагающие вопросы и охотно делятся своими знаниями без кокетливых или осторожных поправок на субъективизм.

Разговор французов на протяжении всего вечера развивается вокруг одной темы, но с необыкновенной тщательностью. Однажды целый вечер он касался

выращивания томатов. Другой раз обсуждали опасный поворот на одной из дорог. В таком разговоре действительно странно, если бы кто-то стал претендовать на истинность своего знания. Как-то само собой получается, что разговор никогда не касается таких тем, по которым принципиально было бы иметь свою позицию, ее выражать или отстаивать.

Благодаря гостеприимному усердию тетушки я познакомилась с теми русскими эмигрантами, для кого французский привычен с детства. Их русская речь безупречна и старомодна. Они ходят друг к другу в гости и держатся особняком, воспоминаниями родины связанные друг с другом крепче, чем со своими детьми, которые часто вовсе не знают русского языка и для которых Россия — страна исторического интереса.

Интерес к России самих эмигрантов удовлетворяется рассказами приехавших, а также крохами с пиршества российской действительности, доставляемых «Русской мыслью» или случайными изданиями. Можно представить, что картина жизни в России, складывающаяся по этим источникам, весьма своеобразна.

Время от времени тетя огорошивала меня вопросами типа: «Скажи, дедонька, а что это за человек Александр Мень? Почему он против Православной Церкви идет?» А однажды утром тетя вошла в столовую в крайнем возмущении. В ее руке была газета «Попка Оли», которую передала ей накануне какая-то француженка с просьбой перевести оттуда статью своего русского приятеля. Незнакомая с бульварно-порнографической лексикой, которая в обиходе авторов современных газет, и пораженная самим фактом публикации непечатных слов и непечатных историй, бедная старушка не знала, как поступить.

Эмигранты. Встреча

В один из дней великой Седмицы мы посетили небольшую квартиру Генриетты Адольфовны, которая, несмотря на свои «хорошо за семьдесят», энергично заправляет делами одной из русских общин, «приходов». Тоном, не предполагающим никаких возражений, Генриетта Адольфовна пригласила нас к столу. В чашках на столе задымился чай, разлитый из чайника, который хозяйка настойчиво называла самоваром, и разговор между нею и тетей принял привычно светские формы:

— Ты представляешь, дорогая, вчера меня пригласили к К-ским на крестины их малютки, и я вдруг с удивлением почувствовала, что мне совершенно не хочется наряжаться. Так, одела что пришлось под руку... Да, тот белый костюмчик, что мне подарил Серж. Ты помнишь? Что за странные настроения? Не пойму. И, ты знаешь, я вдруг подумала: наверное, так начинается старость.

Генриетта Адольфовна перевела взгляд на кончик дымившейся в ее руке сигареты, стряхнула пепел и, подпустив в голос нотки смирения, продолжала:

— Я теперь выкуриваю только по шесть сигарет в день. Сейчас пост, так что надо себя хоть в чем-то ограничивать.

Я тем временем вполглаза разглядывала комнату. На стене красовалась фотография императора Николая II в седле. По другим стенам были развешаны картины — плод страсти к рисованию, охватившей энергичную Генриетту Адольфовну на восьмом десятке ее жизни. В шкафу под стеклом — громадная коллекция малюсеньких статуэток. Показывая нам квартиру, хозяйка с плохо сдерживаемым восторгом протянула руку по направлению к шкафу и экзальтированно произнесла: «Вы только посмотрите, какая прелесть!»

Чайный разговор перетек к обсуждению родственников и бесчинств арабов, «за которые все мы, — возмущение Генриетты Адольфовны перерастало почти в угрозу, — должны платить налоги». Под ровные звуки разговора я мысленно унеслась из этого мира, где, живя в скромности, с естественной простотой пользуются золотыми ножичками для намазывания масла и услугами «хозяйственных мужиков» и экономок, оплачивая эти услуги из последних сбережений только потому, что они входят в набор необходимых жизненных потребностей. Я вспомнила о своей старой знакомой, которую навестила еще в Лондоне.

Эмигранты. Еще одна встреча

Когда-то давно, «на заре туманной юности», мы расстались с ней навсегда, не надеясь на встречу. Она уезжала из России с семьей совсем юной, почти девочкой, но девочкой, знавшей об обысках, допросах и гонениях не понаслышке. В моих воспоминаниях осталась таинственность и теснота в маленькой двухкомнатной квартирке, которая всегда была полна людей, объединенных Идеей. Сама Идея была мне невнятна, но братство, в которое она сплачивала столько хороших людей, казалось, говорило и за саму Идею.

Теперь я ехала навестить подругу в плавноскользящем вагоне, за окнами которого мелькал лондонский скучный привокзальный пейзаж. Паддингтонский сумасшедший, каждый день проходящий на вокзал, как на работу, тщательно записал номер моего поезда. Через час путешествия я переступила порог просторного, пустого и чистого двухэтажного дома.

Разговор не клеился. Попытки заполнить десятилетний пробел в отношениях оканчивались неловкими паузами. Разговор досадно вертелся вокруг «а почему у вас это, а почему у вас то». Все рассказы о событиях, произошедших за столько лет, выглядели плоскими и никчемно-светскими. В конце концов стало понятным, что новости мосты не удастся, да, вероятно, и незачем. Просто перебрасывались репликами, как мячиком:

— Ну, как ты?

— Да все о'кей!

— Больше не рисуешь?

— Нет. Видишь, дом, дети — вот и все мое творчество.

— Что ж, для женщины не так плохо, тем более когда детей трое. Кстати, как у них с языком?

— Муж говорит с ними только по-английски, я — только по-русски, но они говорят со смешным акцентом, особенно маленькие. Русский язык, конечно, нужен. Второй язык — это всегда плюс и дополнительная возможность работы в будущем.

— А ты уверена, что, когда они вырастут, в русском языке будет большая потребность?

— Ну конечно. Россия — это такая огромная территория, с которой еще долгое время будет исходить угроза ядерных катастроф, войны, коммунизма и т. п., так что она долго еще будет держать мир на взводе.

Постепенно разговор сворачивает на общих знакомых:

— Я недавно разговаривала с Н. Она спросила про моего мужа: «Ну что, как твой негритос поживает?» Ничего, впрочем, удивительного. Все русские — расисты. Странно, правда, слышать такое от людей, с которыми дружила раньше. Впрочем, все это — типичная совдепия... Разумеется, я с Н. больше не общаюсь. Если человек мне говорит что-нибудь против негров, он для меня просто перестает существовать...

Потом, моя посуда, она смеялась над русскими, которые, как ни приходят, заводят песнь о том, что на Западе якобы нет никакой культуры, а вот в России она есть. Мы говорили об экологии, о том, что в России все отравлено и загажено, при этом моя собеседница доставала из раковины посуду, с которой обильно текла пена, и, почти не ополоснув, ставила ее сушиться. Я неотрывно смотрела на белоснежную пену, пузырями лопавшуюся на чистой посуде. Эта пена, казалось, говорила: «У нас здесь все так чисто, так экологически безопасно, что можно есть большими ложками даже пену для мытья посуды и все будет в полном порядке».

Назад я возвращалась с чувством легкой грусти и уверенностью, что вряд ли когда-нибудь вновь навещу этот большой и пустой дом, такой похожий на все другие, стоящие в ряд на чистой, безлюдной улице.

Россия. Вести издалека

Вскоре после своего возвращения в Россию я получила письмо от старого приятеля, художника. Когда-то одна англичанка охарактеризовала его как типично русского за то, что в любой, даже самой банальной жизненной ситуа-

ции он умудрялся отыскивать трагедийную сторону и бесконечно, искренне и заразительно страдать. Года два назад он уехал в Германию, окончательно устав от российской беспросветности. И вот теперь я держу в руках еще один, попавший в эмигрантскую кунсткамеру, образец уже ушедшей в прошлое России. Письмо из Кёльна:

«Вот уже много дней прошло с тех пор, как я вступил (влип) в пределы земель, посторонних России, и «дорожные наблюдения путешественника» уже давно перевалили за то количество, когда еще можно с искренним смаком повествовать о неожиданностях за каждым углом. Да разве неожиданность бывает старой? Увы, бывает. Это и есть то состояние восприятия жизни, в котором я сейчас пребываю.

Прошедшее время интенсивных воспоминаний путешественника, который как увидит, так сразу и вспоминает, лишило меня возможности опереться на скрываемый от самого себя дискурс нашей Родины, порождающий впечатления и их описания по несложной схеме: «а вот у них — то, там, где у нас это». Как сказал бы Барт, путешественник за знаками чужой земли видит означаемое своей земли, поэтому постоянно ошибается, поэтому постоянно изумлен и изумляет как жителей чужой земли, так и своих соплеменников.

Я не писал так долго потому, что не мог сформулировать, в чем же для меня состоит теперь объемлющий смысл если не для жизни, то хотя бы для текста. Неделю назад попала в мои руки книга И. Р. Шафаревича «Социализм как явление мировой истории». Книга меня заинтересовала, хотя не могу сказать, что она недостойна уничтожительной критики, которая, однако, может лишь усугубить основной смысл ее высказывания. Книга очень информативная и, благодаря своей историософскости, — очень воздействующая. Вот она если и не совершенно меня убедила, то совершенно на меня воздействовала, снабдив мое изложение так необходимым ему фокусом.

Уже понятно, что живу я в социалистической коммуне на одного. С ужасом я вижу в себе, в своей жизни, в ее событиях и в моих оценках этих событий проявления социалистического идеала, так мастерски обрисованного И. Р. Шафаревичем. Причем, поскольку я — один, я совпадаю или, лучше сказать, заключаю в себе (и в эзотерическом, и внешнем, экзотерическом, планах) эту коммуну. Я — и внутренний круг посвященных, и руководитель, и пророк секты, я — и круг братьев. У меня нет ничего своего — ни семьи, ни дома, ни денег.

Натурально, я не работаю, а веду паразитический образ жизни — потребляю то, что дает мне немецкое общество в виде социальной ХИЛЬФЫ. Не работаю я как руководитель секты, а получаю распределяемые блага — как рядовой брат или как работающий в ситуации социалистического государства. Иногда ворую в дешевых магазинах: лезвия для бритвы, тросик для велосипеда, электроудлинитель, иногда шоколадку. Очень сильно мучаюсь во время и очень сильно устаю душой после. Так что можно считать, что эти 3 — 4 ДМ я зарабатываю разрушением моей психики. Свои экспроприации считаю формой социалистического распределения.

Молоко, маргарин, сосиски и картошку я, конечно, покупаю. Но денег, в смысле денежной свободы, нет. Свободы передвижения — тоже нет. Ехал в Европу — живу на Teichstrasse. Полчаса на велике — максимум досягаемости. Жизнь окружающих (и свою) считаю тошной и неинтересной, самих окружающих — даже хуже, чем мешанами.

Культуру я, в отличие от Т. Мюнцера, Т. Мора и Платона, взрывать и отменять не столько не хочу, сколько не могу — потому что я не могу ее узнать. Считаю искусством то, что иногда кое-где не очень заметно развешивают (в основном в кабинетах дантистов и юристов), можно, если сам занимаешься изготовлением чего-то подобного.

Выставиться где-то трудно и, что хуже, бесполезно. Бесполезно не только в смысле зарабатывания денег или приобретения престижа, знакомств, веса в тусовке, идей — в голову, но бесполезно и в плане элементарной компенсации за приложенные к изготовлению «искусства» усилия ума и сердца. Никто настолько ничем не интересуется и ничего не понимает, что даже и не понятно, чем можно интересоваться и что нужно такое особенное понимать. Царит не только заговор молчания, когда все понятно без слов, само собой, по предыдущей договоренности, но заговор

бес- или внесмыслия, когда ничего говорить не надо, потому что говорить нечего. Смысла (Логоса) — нет. Подразумевается, что все, что не есть твое общественное дело, — есть твое личное дело. Если же твое дело (в нашем, целостном понимании) — искусство, оно, естественно, должно быть внутренне укоренено, поэтому причины, резоны и концепции становятся уже твоим личным и потому здесь никому не интересным делом. А результат его, как общественный, уже не имеет отношения к твоей личности, а существует сам по себе, как часть культуры социума — в идеальном смысле, как товар на рынке — в лучшем случае, как твое хобби и странная девиация природы — в нормальном (худшем) случае.

В частности, отстаивать сезаннизм против реализма или абстракционизм против фигуративизма невозможно: нет фронта между тем и этим, нет комплекса идей за тем и этим, нет особых критериев и смыслов, которые скрываются за выбором того или иного. И уж конечно, не может быть разговоров об «истинном искусстве» или «правильном» или «должном» искусстве.

Но это даже не особо интересно: существует ли еще на Западе эстетическое переживание или нет, является ли искусство средством инвестиции капитала или нет, является ли единственно доступной областью, из которой художник черпает смыслы своих произведений, область социально-банального и публично истасканного левого идеологизма или нет. Всех этих проблем нет, как заявил герой Платонова в «14 красных избушках»: «Возвращайтесь домой, профессор. Не надо разгадывать мировую загадку. Мировой загадки больше нет».

Единственное, что меня радует, это то, что я способен прийти в отчаяние, прочитав идиотскую книжку о смысле истории пяти тысячелетий человечества. Но смысл прочитанного меня не радует вовсе. Поэтому главная проблема моего выживания здесь — это найти дело, не столько в смысле, чем бы заняться, а в смысле, чем бы проникнуться.

Поэтому получается, что проникаюсь чем-то случайным, ненужным, но зато очень сильно. Даже сам пугаюсь, мучаюсь, но ничего поделать не могу — то шкафчики и полочки для своей комнаты мастерю, а то вот, как вчера, весь день и всю ночь, начитавшись Шафаревича, укреплял удлинители на стене моей комнаты. Благо электричество мне отключили и в розетки можно лазить смело.

Еще имел опыт общения на почве концептуального искусства с С. Он весь обломанный, циничный, очень уставший, голодный, обкуренный вконец, до того, что спать всегда ложится в 5 — 6 часов утра, безденежный... О ребятах-художниках из группы, в которой он начинал, мне тоже известно кое-что. В основном кто не вернулся, тот свихнулся. Л. — студент Дюссельдорфской академии художеств. Несколько раз лежал в дурдоме. Работает, кажется, в пивной. Денег, будучи студентом, от государства не получает. Остальс, обьявив себя евреем. Внешне он похож на хомячка с лживыми и испуганными глазами.

...Я не могу делать картины «для себя» — что-то интимное во мне глубоко оскорблено. Читаю книжки о том, как плохо жить на Западе, но книжкам не верю. Я хорошо представлял себе здешнюю жизнь по книжкам из Союза, оказалось — все не так. Ну что, читать Достоевского? — подумал я. Все, что ни поймешь, не будет иметь отношения ни к нему, ни к его времени, ни к стране. Поэтому я занимаюсь духовными поисками, но в каком-то странном, не московско-застойном смысле. В целом мне, конечно, не хватает общения. На рожу я — недовольный неудачник. Вылитый социалист. Что ждать от жизни — не знаю. Ехать в Москву — боюсь».

* * *

Среди русских, с которыми мне приходилось встречаться за границей, были и такие, как мой приятель-художник, полуэмигранты, страдающие и колеблющиеся. Оторванные от российской жизни, они живут в ожидании неопровержимых и веских аргументов за то, чтобы вернуться и жить в России. Мне хотелось бы найти такие аргументы и изложить их убедительно и просто.

Я вспоминаю, как в Лондоне, стоя в очереди за визой во французском консульстве, я познакомилась с милой русской женщиной с интеллигентным,

слегка усталым лицом. Короткая ожидание, мы разговорились. Она рассказала, что в Лондоне живет уже два года, что ее муж англичанин. А когда я любопытствовала, как ей удастся преодолеть разницу в культурах, она грустно посмотрела на меня и ответила: «Да как? Практически вся жизнь только и уходит на то, чтобы покрыть эту разницу». Правда, тут же последовали жертвенные оправдания, что ее дети по крайней мере будут знать, что такое бананы. Мысленно я продолжила: «Но не будут знать, что такое русский язык».

С момента нашего разговора прошло не так уж много времени, а аргументы моей случайной собеседницы кажутся уже седым анахронизмом. Но по той же схеме продолжают рождаться другие банан-причины: по крайней мере дети будут знать, что такое... машина, свой дом, отпуск на Гавайях и т. д.

Ну вот, кажется, ходячая формула-аргумент для повседневного употребления найдена. Эта формула должна быть внятна и убедительна, по меньшей мере, для тех, кто видит смысл своей жизни в чем-то большем, чем собственное жизнеустройство или жизнеустройство своих детей. Уезжая из страны, мы лишаем ее культуру возможности материального воплощения: ведь физическое отсутствие людей в культуре приводит к ее естественному вымиранию, а отсутствие носителей высокой культуры приводит к культурной деградации, и, эмигрируя из страны, мы способствуем этому процессу.

Итак, пострадать за культуру, физически в ней присутствуя. Удовлетворенная формулировкой, я раскрываю первую попавшуюся в руки газету на последней странице. Пробегаю глазами заголовки: «Бизнесмен и милиционер расстреляны прямо на работе», «Жертвы мошенников хотят узнать тайны следствия», «Грабители отобрали три миллиона рублей». Оказывается, с физическим присутствием тоже проблемы.

Но ведь меня это не касается. Разве? Да, конечно, Бог милует, и, может быть, я пройду другой улицей. Но и на той улице, по которой я Божьей милостью пройду, невредимая, в воздухе будет висеть запах крови и убийств, нечистот и перегара. И если по каким-то неведомым мне самой причинам я все-таки брожу по этим улицам, то совершенно бессильна что-либо доказать человеку, который не может выносить этот запах.

В 1880 году в своей речи о Пушкине Ф. М. Достоевский определил, что назначение русского человека состоит в том, чтобы «указать исход европейской тоске в своей русской душе... Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил, благословляя», Христос». Почему же нам не вместить последнего слова Его?

Сегодня мне нужно понять: а почему же все-таки нам?



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ИГОРЬ ЗОТИКОВ



ТРИ ДОМА ПЕТРА КАПИЦЫ

Дача на Николиной Горе

Большие, в красном пластмассовом футляре, электронные часы никак не хотели работать. Включенные в сеть, они исправно горели желтыми цифрами, но никак не желали показывать нужное время. Узловатые, старые руки взяли осторожно и уверенно пластмассовую их коробку и начали быстро и как бы нежно оглаживать ее со всех сторон. Пальцы легко останавливались на выступах и кнопках, не сильно, без нажима надавливали или поворачивали их. Казалось, хозяин не смотрел на коробочку, а умные руки сами делали всю работу. «А теперь дайте мне отвертку», — сказал он, убедившись, что простым путем ничего не сделаешь, и начал уверенно развинчивать механизм. Было ясно, что руки привыкли к такой работе.

Я смотрел во все глаза. Ведь руки принадлежали великому экспериментатору — Петру Леонидовичу Капице. Ему шел тогда уже семьдесят седьмой год. Дело было на его даче, совсем недалеко от Москвы.

Если проехать сорок минут на машине по Успенскому шоссе и свернуть направо у перекрестка перед самым поселком Успенское, то, миновав еще метров пятьсот, вы попадете на небольшой подъем дороги с указателем ограничения: «20». Подъем этот ведет на сравнительно узкий, высокий мост через реку, живописно сверкающую извилистой змейкой справа и слева от моста. Это Москва-река, еще узкая в верхнем ее течении. Переехав мост, вы попадаете на развилку. Прямо и направо к виднеющимся среди сосен на высоком берегу белым многоэтажным строениям идет основная дорога. Там расположен фешенебельный правительственный санаторий «Сосны». Влево ведет менее величественная, но тоже хорошая шоссе́нная дорога, обсаженная частоколом невысоких елочек. Еще километр с небольшим по ней — и вы подъезжаете к заросшему высокими соснами холму. Сквозь деревья справа и слева проглядывают большие, разные по архитектуре дома дачного типа. Здесь еще один знак: «Николина Гора». Почти сразу за ним дорога уходит направо и вверх, скрываясь между соснами, но вам надо не туда. Вы должны притормозить, почти остановиться и, зорко следя, не выскочит ли навстречу, вниз под гору, из-за закрытого деревьями поворота машина, пересечь разделительную полосу и въехать на обсаженную теперь уже редкими деревьями асфальтированную автомобильную, но узкую дорожку, которая идет вдоль подножья Николиной Горы.

Говорят, что этот дом был построен в начале века хозяином конезавода в Успенском, каким-то немцем. Но сразу же после постройки этот немец в одну ночь проиграл его в карты кому-то из купцов Морозовых и повесился.

Миновав низину, машина упирается в широкие зеленые двухстворчатые ворота. Рядом такого же цвета калитка. Вы приехали. Теперь остается только выйти из машины, войти в калитку и открыть ворота. Ворота настезь — и вы въезжаете на широкий асфальтированный, зимой всегда очищенный от снега двор. Впереди покрытая гравием просека между сосен. Вы идете по просеке, и все шире открывается вид на двухэтажный деревянный дом с остроконечной высокой крышей и зеркальными, без переплета окнами. По три окна на первом и три на втором этаже. Центральное окно смотрит прямо на вас, параллельно просеке, а два других скошены под сорок пять градусов, образуя что-то напоминающее мастерскую художника, как бы две террасы одна под другой.

Справа, сквозь заросли нечастых, прямых, без сучьев, с зелеными ветками только на самом верху сосен, сверкает быстрая река, желтый огромный и пустынный пляж на той стороне, маленький обрывчик выше пляжа, а еще дальше ровный-ровный, пустынный почти до горизонта луг или поле и табун лошадей, спокойно пасущихся на лугу, играющих жеребят, бегающих друг за другом. И низкое уже, огромное, красное предзакатное солнце там, за табуном и полем и сизо-синей чертой лесов на горизонте. И тишина, и запах разогревшихся за день, еще не остывших сосен...

Первый раз я попал сюда в 1960 году. Петру Леонидовичу было всего шестьдесят шесть лет. Я с его младшим сыном Андреем зимовал в Антарктиде, где мы стали друзьями. Андрей пригласил нас с женой на свой день рождения 9 июля. Но оказалось, что это день рождения не только его, но и Петра Леонидовича. Андрей в то время жил в маленьком домике в глубине участка. И так повелось: все последующие двадцать три года каждое 9 июля с несколькими перерывами, когда я был в экспедициях, мы проводили на Николиной Горе.

Начало каждого из этих дней рождения у нас, «молодежи», и у обитателей основного дома проходило по-разному. Петр Леонидович, Анна Алексеевна и их друзья сидели за длинными столами в столовой. Там собирались самые разные люди: академик Ландау (Петр Леонидович произносил всегда его имя как Ляндау) и Любовь Орлова со своим мужем Григорием Александровым, академики Харитон и Туполев, Иракий Андроников, академик Семенов и чемпион мира по шахматам Василий Смыслов и многие другие известные деятели науки и искусства, о которых я раньше только читал в газетах и книгах. Нам, друзьям Андрея, доставались места на террасе, и слышать, что делается в главной комнате, приходилось через открытое окно.

Тамадой на этих вечерах обычно бывал Иракий Андроников, а в подмогу ему читал «оды» — изумительные стихотворные поэмы — племянник Петра Леонидовича — Леонид Капица. Крепких напитков практически не было, может быть, только за столом «президиума», у Петра Леонидовича и ближайших его друзей. Все остальные пили всегда сухое вино. Сервировка стола была полурусской-полуевропейской. В углу террасы, где обычно веселилась «молодежь», стояло несколько столов с большими блюдами — овощными салатами, пирожками, клубничкой. Рядом высились стопки тарелок, лежала горка ножей и вилок. Каждый накладывал себе еды, брал вилку, нож, наливал в бокал вина и садился за стол, если было место, а если не было — гулял с тарелкой и бокалом где хотел. Очень поздно уезжали с широкого двора вереницы машин и автобусов, развозя гостей. А «молодежь», прихватив бутылки с вином и остатки съестного, шла на терраску дома Андрея. Гуляние там продолжалось далеко за полночь. Ведь большинство его друзей жили здесь же, на Николиной Горе, или, как мы, оставались ночевать.

В течение долгого времени «большой дом» и его хозяева были для меня все-таки «экзотикой», интересными людьми, с которыми мы виделись, бывая в гостях у Андрея. Но постепенно стало получаться так, что мы с женой начали приезжать на обед к Анне Алексеевне или оставаться ужинать все чаще, а потом, в 1980 году, в январе, в журнале «Вокруг света» вышел мой первый очерк о работе в Антарктиде с американцами и я получил первое письмо читателя. Точнее, читательницы. Это было письмо Анны Алексеевны. Она писала о том, что очерк ей очень понравился, и просила писать дальше. Я позвонил ей, чтобы поблагодарить, и вдруг она сказала:

— Игорь, а почему бы вам не приехать поработать у нас на даче? Ведь она отапливается, все там есть, а мы с Петром Леонидовичем бываем только в пятницу, субботу и воскресенье. На первом этаже у нас есть свободная комната. Летом там живет Сильвия. Заезжайте, возьмите ключи и живите сколько хотите. У нас на даче так хорошо работается...

Я поблагодарил и подумал: а почему бы и не поработать? Я уже давно знал Сильвию. Она была старинной приятельницей Анны Алексеевны и Петра Леонидовича, и летом мы всегда встречали ее у них, я только не знал, что она и живет в их доме. Сначала я удивился: кто это? — встречая почти всегда рядом с Анной Алексеевной очень элегантную, очень стройную, хотя и не молодую женщину, всегда как-то по-заграничному, как-то очень экстравагантно, очень «по-шотландски» одетую, говорящую на ломаном русском языке и час-

то переходящую на английский. Оказалось, что Сильвия действительно англичанка. Еще много лет назад, в то время когда Петр Леонидович только что вернулся из Англии навсегда, он обратился к своим друзьям в этой стране с просьбой помочь ему найти какую-нибудь английскую девушку, чтобы она могла воспитывать его детей в Москве, разговаривая с ними по-английски; ребята знали язык с детства, и родители хотели сохранить его у них. Такая девушка нашлась. Молодая, самостоятельная и храбрая Сильвия из старинного ирландского рода, узнав о вакансии, решила поехать на три месяца в Россию. Здесь она очень быстро и близко сошлась с семьей Капицы. Трудовая, но веселая жизнь семьи, полная творческого вдохновения и широкого гостеприимства, понравилась ей. А может, дело было не только в этом. Один из механиков Петра Леонидовича — Вася Перевозчиков был таким красивым. И очень скоро Сильвия вышла за него замуж, родила прекрасного сына, приняла советское подданство. Потом, в 1960 году, муж Сильвии умер, но она не захотела вернуться в Англию, навсегда оставшись одним из самых близких друзей Анны Алексеевны и Петра Леонидовича. И вот теперь Анна Алексеевна предлагает мне жить в комнате Сильвии.

Когда я взял отпуск и переехал на дачу, первые дни я не мог работать, а просто наслаждался, впитывал в одиночестве в себя все, что было в этом удивительном месте. Я ходил по комнатам, рассматривал детали их убранства, листал и начинал читать с середины книги, опять ходил, думал среди тишины, гулял не спеша по пустынным, но расчищенным дорожкам большого участка.

Если гость приходил к обеду — Анна Алексеевна приглашала к столу. «Я всегда могу накормить всех», — с гордостью говорила она... Анна Алексеевна сидела у противоположной узкой, торцовой стороны стола, ближайшей к двери в холл. Оттуда ей было удобнее, если надо, ходить, никого не беспокоя, на кухню. Но обычно все у нее было под рукой: тарелки, ложки-вилки, кастрюли и сковорода с горячими блюдами на деревянных подставках на столе и передвижном столике на колесиках по левую ее руку. Она зорко следила за тем, чтобы никто не был обделен, и подкладывала, когда надо, добавки или меняла блюда, которые передавались сидящими за столом от одного к другому. Гостя Петр Леонидович обычно сажал рядом с собой с правой стороны, давал ему время немножко подкрепиться и освоиться, а потом задавал свой первый вопрос: «Ну, что нового?» Вопрос был очень общо поставлен, наверное, с умыслом, чтобы каждый мог рассказать что-то интересное или из общих новостей, или из своих рабочих дел, или вообще поделиться мыслями. И Петр Леонидович всегда слушал ответ-рассказ, не перебивая, внимательно. И еще один вопрос часто задавался гостю: «А какой хороший анекдот вы последнее время слышали?» Хозяин стола любил слушать анекдоты, сам их знал много и с удовольствием рассказывал.

Почти обязательным участником таких обедов была старинная приятельница Анны Алексеевны и Петра Леонидовича — Людмила Ильинична Толстая, вдова писателя Алексея Толстого. Ее дача располагалась в пяти минутах ходьбы от дачи Капицы, и она частенько засиживалась здесь допоздна.

В этой комнате во время завтрака, обеда и ужина Анна Алексеевна всегда сидела у стола ближе всех к выходу, и слева от нее двухэтажный столик на колесках. Справа и слева от нее, в стороне от трех окон, комната имеет как бы «карманы», раздается на ширину. С одной стороны — справа и чуть сзади — камин из белого кирпича, украшенный несколькими изразцами. Рядом белая беленая стена дымохода, расписанная большими яркими диковинными цветами и птицами. Красное, зеленое и золотое на белом фоне, только цвета уже не приглушенные, а яркие. Против камина — большое широкое и высокое мягкое кресло, обитое коричнево-красным толстым материалом, рядом столик с журналами и книгами, настольная лампа. Это кресло хозяина дома.

Но, конечно, картина была бы не полной, если не сказать о собаках. Всегда в это время у ног Петра Леонидовича лежал серый дворовый пес, который днем сидел на цепи в будке, — Полкан.

Это был очень старый, хоть и крепкий пес. Чрезвычайно добрый к людям, он не терпел ничего живого в округе, что было бы сравнимо с ним по силе или слабее его. Поэтому днем, когда поблизости гуляли со своими собаками хозяева других дач, Полкан сидел на цепи у своей конуры. Но к вечеру мы спускали Полкана с цепи, и он пулей радостно убежал куда-то и лишь через

полчаса-час возвращался, просился домой, чтобы блаженно полежать на полу у огня.

Отдых у камина и разговоры начинались обычно с шести-семи и иногда были очень серьезны.

— Петр Леонидович, если у вас есть настроение, расскажите о времени вашего возвращения из Англии, — попросил я однажды.

И Петр Леонидович принялся вспоминать:

— Дело было в тридцать четвертом году, я приехал в СССР, и через некоторое время мне просто сказали, чтобы я сдал свой международный паспорт и получил обычный, гражданский. «Как же я его сдам, я же приехал из Англии на машине и собираюсь туда обратно». — «Обратно вам лучше не ехать, — сказали мне. — Вы очень нужны сейчас здесь, в стране». — «Но у меня в Англии дети!» — «За детьми поедет ваша жена. Она тоже умеет управлять машиной».

— До Англии я добиралась на пароходе, — вмешивается в разговор Анна Алексеевна. — В Лондоне, когда я была уже одна, случилась неприятность. Машина заглохла в самом центре движения, даже полиция не смогла ее завести. Правда, через некоторое время она таки завелась.

— Да, так вот, Игорь, — продолжал Петр Леонидович, глядя в потухший камин. — Встречать жену и детей я поехал на границу сам, но, чтобы со мной ничего не случилось, ко мне приставили человека. Его звали Леопольд Ольберт. Его назначили моим заместителем. Перед этим он тоже был заместителем у Вавилова в Оптическом институте. Только через некоторое время мне удалось-таки от него отделаться... Однако после смерти Берии, когда перетрясали органы, он, по-видимому, остался без работы и просился ко мне в институт, но я его не взял, и он очень обиделся. Аня, расскажи, как ты его обезоружила, — внезапно оживает Петр Леонидович.

— Да, я его обезоружила, — вспыхнув, как девушка, радостно сообщает Анна Алексеевна, вытирая стол после ужина. — Мы уже подъезжали к Москве, после того как Петя встретил меня в Негорелом. Мы с Петей сидели в одном купе с Ольбертом. «Да, Анна Алексеевна, — говорил он, — я поехал с Петром Леонидовичем, чтобы не дать злоумышленникам увезти его за границу, если бы они захотели это сделать». — «А как бы вы смогли их задержать?» — «Очень просто, с помощью оружия», — ответил Ольберт улыбаясь. «Значит, у вас есть оружие?» — «Конечно», — ответил Ольберт. «И сейчас есть?» — «И сейчас...» — «Не может быть, покажите». Ольберт достал револьвер. «Так он же не заряжен, дайте-ка я посмотрю. Так люблю оружие». Револьвер оказался в моих руках. «Ну а теперь не шевелитесь, я вас арестовываю».

Вы бы видели его лицо, Игорь, когда я сказала, что мне надоело держать его под арестом и сейчас я просто выброшу револьвер в окно. Как он умолял меня, став вдруг другим человеком... Это Петя его пожалел, сказал: «Отдай ему „игрушку“»...

— А вы знаете, Игорь, что в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах в моем институте был арестован только один человек, — вдруг начал вспоминать Петр Леонидович. — И это был Ландау. В тот же день я написал письмо Сталину, где просил его дать указание куда надо, чтобы к делу Ландау отнеслись «повнимательнее». Писал о том, что утрата Ландау — большая потеря для науки и что мне трудно поверить в нечестность Ландау. На письмо ответа не было. Прошел почти год, я в это время открыл явление сверхтекучести и решил, что есть хороший повод вновь попытаться освободить Ландау. Я написал письмо Молотову, где сообщил, что открыл новое важное физическое явление, но что единственным человеком, который сможет его по-настоящему теоретически объяснить, является Ландау¹.

Через несколько дней Капицу вызвали на Лубянку.

— Вызвали меня к часу ночи, — рассказывал Петр Леонидович. — Провели в большой кабинет, где сидели два человека. Оказалось, что это заместители Берии — Кобулов и Меркулов. Оба потом были расстреляны. «Вы понимаете, — говорят, — за кого вы просите? Это же опасный человек, шпион, кото-

¹ В последние годы письма П. Л. Капицы в защиту Л. Д. Ландау опубликованы в разных изданиях. См.: Капица П. Письма о науке. М. 1989. (Здесь и далее примеч. автора.)

рый во всем сознался. Вот почитайте...» — и пододвигают мне огромный том. Но я читать его не стал. «Могу, — спрашиваю, — задать вам только один вопрос?» — «Пожалуйста», — говорят и смеются. «Скажите, какая ему, Ландау, корысть, каков мотив тех преступлений, которые, вы считаете, он совершил?» Мне отвечают, что мотивы никого не интересуют. Я опять за свое, привожу примеры из литературы...

Проговорили до четырех утра. Особенно с Меркуловым, который оказался очень начитанным... Жаль, оба эти человека обладали, по-видимому, большими организаторскими талантами, но были совершенно беспринципны. Перед концом нашей беседы один из них говорит: «Хорошо, Капица, если вы согласны поручиться за Ландау, пишите письменное поручительство, в случае чего будете отвечать». Я написал, и через два дня в институте появился Ландау. Я так и не сказал ему, что за него поручился. Только через много лет это все стало ему известно...

На меня было два покушения. Одно сразу после того, как меня не выпустили. В меня кто-то стрелял, когда я гулял на островах в Ленинграде. Второе — когда я уже жил на даче, в опальные годы. По-видимому, по поручению Берии. Мне сказали, что Берия уговаривал Сталина посадить меня, но Сталин сказал: «Убрать его с поста директора можно, но дальше ты его не трожь...»

Кстати, самому Сталину я написал около пятидесяти писем. Сохранились их копии, черновики. И почти на каждое я получил ответ. Мне обычно звонил Маленков и сообщал содержание ответа. Письменный ответ я получил лишь однажды.

Как-то, когда я жил зимой на даче и был не у дел, ко мне приехал человек, которого я когда-то видел в Высшей партшколе, и вручил мне папку перепечатанного на машинке текста статьи по экономическим проблемам. Человек сказал, что сейчас эта статья ходит в высоких кругах, но текст ее очень секретен, однако этот человек на свой страх и риск переписал ее, так как знал мой интерес к проблемам экономики. Я сразу понял, кто это писал, отложил все дела и через неделю на семнадцати страницах написал замечания по работе и отослал их Сталину. Еще через месяц статья Сталина была опубликована в газете «Правда». Там уже были учтены и некоторые мои замечания в точности в тех же словах, как они написаны в моей записке.

Мой собеседник надолго замолчал.

— Вы, конечно, записываете все это, диктуете воспоминания Анне Алексеевне? — спросил я робко.

— Нет, Игорь, это все слишком тяжело, — сказал Петр Леонидович, и груз его лет стал вдруг на минуту явственно виден.

— Можно, я запишу сейчас все, что вы рассказали, и буду продолжать делать это и дальше?

— Да, Игорь, конечно...

И я, сославшись на что-то, поспешил в свою комнату.

Ровно в девять вечера — а часто и раньше — гасился камин и все шли в третью комнату первого этажа, рядом с большой летней террасой. Но, в отличие от террасы, это была зимняя, теплая комната, два окна которой смотрят вдоль склона на реку. Стандартной мебели тут имелось мало: старый, обитый зеленым материалом диван с высокой спинкой размещался у внутренней стены, три кресла и кресло-качалка стояли как бы в беспорядке посреди комнаты, а в углу, напротив входа, — большой цветной телевизор. (Программу «Время» здесь, на даче, Петр Леонидович не пропускал никогда.) Вся остальная обстановка состояла из самодельных некрашеных книжных стеллажей до самого потолка.

Сначала мне даже казалось, что книг здесь немного и они случайные. Но потом, по тому, как трудно было отойти от этих полок, чтобы работать самому, я понял, что здесь все книги — читаемые и редкие. Вот «Моя жизнь» Ганди, — я раньше никогда его не читал и не смог оторваться. А рядом — Джавахарлал Неру, «Открытие Индии». Чуть в стороне, в скромной бумажной обложке — Лев Николаевич Толстой: «Дневник», изданный в 1906 году. И опять почти целая ночь без сна. И тут же книга А. Тонди «Иезуиты». А чуть выше большие зеленые тома: «Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева» — «Колокол», академическое издание 1979 года. И опять тянешься за ручкой, чтобы сделать выписки. А вот странный большой и очень толстый том, обложка которого —

обычная бумага, только чуть толще остальных страниц. Это научная монография, отчет будущего академика и знаменитого собирателя генетического фонда полезных растений СССР Николая Вавилова о его работе в Афганистане. Издана в Ленинграде в 1929 году тиражом 2100 экземпляров. Удивительная научная монография, которую можно читать как захватывающий дневник путешествия. И вывод для себя: вот как научиться бы писать научные книги о своих странствиях... Но библиотека в «телевизорной» — это только часть книг на даче Капицы, часть, собранная под наблюдением Анны Алексеевны, хоть каждая десятая на этих полках подарена авторами Петру Леонидовичу...

Книги Петра Леонидовича помещались в холле и кабинете на втором этаже. Когда хозяин находился в Москве, кабинет был закрыт. Ключ, правда, висел чуть в стороне на гвоздике, рядом с надписью, говорящей о том, что каждый, кто заходит в комнату, должен написать на этой бумаге свое имя и дату посещения. Вся стена холла, примыкающая к кабинету, и большая часть площади холла второго этажа были заняты полками и корзинами с журналами и книгами научного и политического содержания, научно-технической справочной литературой на разных языках. Вот толстые дорогие кожаные корешки девятого и десятого издания Британской энциклопедии и рядом красный ряд Большой Советской. В стороне очень толстые серые, знаменитые среди старых инженеров тома немецкого справочника «Hütte». И здесь же яркие суперобложки отчетов ЮНЕСКО, Стокгольмского международного института исследования проблем мира, американской группы по изучению политики в области ядерной энергии, других учреждений. На английском и французском языках мелькают рядами книги по экологии человека, об атомной войне и возможностях мира, об энергетическом кризисе и его преодолении, о путях и альтернативах сохранения среды, об организации науки в различных странах. Конечно, все эти журналы, особенно иностранные, были мне знакомы — чуть ли не каждый мой приезд сюда начинался с просмотра их. А теперь я начал осматривать верхнюю полку, на которую раньше не заглядывал. И тут же споткнулся: Михаил Ботвинник, «К достижению цели». И на первой странице: «Дорогому Петру Леонидовичу Капице самые добрые пожелания от бывшего шахматиста. Ботвинник», рядом его же «О решении неточных переборных задач». И тоже с подписью. И тут же Василий Смыслов, «В поисках гармонии», Анатолий Карпов — «Девятая вертикаль» и «Избранные партии 1969 — 1977 гг.». И опять на титульном листе каждой книги — от руки: «Петру Леонидовичу от...» Но если бы здесь были только дареные книжки! Нет, вот рядом старинная «Morphy's Games of Chess» с биографией великого шахматиста, вышедшая в 1919 году, рядом Bobby Fischer, «My 60 Memorial Games», купленная в 1978 году. И тут же Richard Retz, «Modern Ideas in Chess», выпущенная в 1923 году, и на полях ее рукой Петра Леонидовича записаны карандашом какие-то партии.

Удивительно! Я даже не подозревал, что шахматы играли такую роль в жизни Петра Леонидовича. Хотя как не знал? В последние зимы его жизни к нему на дачу не раз приезжал его друг, академик и директор Института проблем механики АН СССР Александр Юльевич Ишлинский. Жил он где-то недалеко, поэтому приезжал часа на полтора-два просто повидаться. Приезжал с женой, высокий, худой, энергичный, стремительный, одетый скорее для приема, чем для дачи, привозил с собой бутылочку какого-нибудь редкого вина. Минут сорок — час все сидели за столом, разговаривали. Александр Юльевич всегда очень хорошо отвечал на первый обычный вопрос Петра Леонидовича и всегда рассказывал какой-нибудь элегантный анекдот. А потом они шли в кабинет играть в шахматы, а я шел гнать свою работу...

Но вернемся к полке, которая меня удивила. Рядом с шахматными книгами на ней стояло еще четыре одинаковых книжки в сине-зеленых переплетах, на торцах их ничего не было написано. Это были четыре тома выпусков «Motor Boat Handbook», то есть инструкции по эксплуатации и строительству моторных лодок и катеров. Они вышли в свет в Нью-Йорке еще перед первой мировой войной, но дух морской романтики был запечатлен в них так современно, скорее, оказался таким нестареющим, что я, забыв все, сел на ступеньки лестницы и листал книжки, наслаждаясь картинками и надписями к ним. А в приложении к книгам имелись еще и чертежи катеров, которые можно было построить. Значит, и Петр Леонидович тоже мечтал о море и яхтах, якорях и

парусах? Ведь следующие две книжки (он привез их с собой из Англии), которые стояли здесь же на полке для книг и которыми часто пользовался хозяин, назывались «Материалы и методы строительства малых судов» и «Упрощенное строительство малых судов». Счел же Петр Леонидович желательным и нужным захватить их с собой, а потом поставить на эту полку!

К сожалению, осмотр книг я начал слишком поздно. Хозяин их — Петр Леонидович — уже месяц тому назад ушел из жизни и не мог ответить на мои вопросы.

Телефонный звонок прервал мои размышления. Это была Анна Алексеевна. Она сказала, что забыла запереть дверь в кабинет Петра Леонидовича, может быть, даже забыла погасить там свет. Просила проверить. «Ключ в замке. Закройте кабинет и по-прежнему оставьте его в замке», — сказала она и повесила трубку. Я дернул дверь, она действительно оказалась незапертой. И вдруг понял, что обязан зайти сейчас сюда, хоть и не договорился об этом с Анной Алексеевной. Зайти, пока обмят еще духом этого человека, и попробовать описать что можно, не трогая ничего.

Кабинет Петра Леонидовича был в точности такой же комнатой, как и «столовая» с «фонарем» из трех зеркальных окон на первом этаже. Те же золотисто-коричневые деревянные панели образовывали стены и потолок. Тот же, что и на первом этаже, белый, покрытый такими же, как внизу, диковинными яркими цветами и птицами дымоход камина справа у стены, отделяющей кабинет от холла. Такое же большое зеркальное окно, смотрящее на реку. У этого окна тоже светлый чертежный стол с наклонной доской. Прямо впереди, напротив двери, большая, залитая светом часть комнаты как бы напоминает аквариум.

И среди этих светлых тонов, где-то очень близко от центрального, самого далекого от входа окна, — большое сочное черное пятно — кожаное мягкое, свободно вращающееся на блестящей подставке кресло.

Конечно, я много раз бывал в этом кабинете и раньше. Но раньше это черное пятно так не выделялось. В нем всегда сидел человек, хозяин. А сейчас комната была пуста. И я понял: для того, чтобы описать это главное место, где работал Петр Леонидович, необходимо осторожно, не сдвинув ничего в комнате, сесть в него.

Кресло оказалось удобным, мягким и довольно низким. Откинулся назад — и кресло пошло назад, как кресло-качалка. Все правильно, Петр Леонидович любил кресла-качалки. Одно такое стоит в «телевизорной», второе на летней террасе. Осваиваюсь дальше. Нет, это не кресло, чтобы сидеть за письменным столом. Оно от него слишком далеко и слишком низко, а то, что оно смотрит на письменный стол, — это потому, что так удобнее в него садиться. А чтобы сидеть за письменным столом, есть другое, легкое, широкое, разлапистое, но удобное кресло, которое сейчас в стороне.

Слева от места, где я сижу, небольшой столик с инкрустацией в виде шахматной доски. Тоже светлый, в тон комнаты. Небольшое усилие, и черное кресло повернулось к этому столику.

Да, чтобы делать заметки, вообще писать, — письменный стол не нужен. Высота столика и его расстояние от кресла очень удобны для писания. Простой торшер с абажуром на длинной ножке стоит рядом. Нажатие кнопки на полу. Зажигается свет. Осматриваюсь дальше. Если продолжать поворачиваться на кресле, удаляясь от центрального окна, то перед вами оказывается еще один, маленький, легкий, детский столик на трех золотистых деревянных ножках. Легкий зыбкий двухэтажный столик этот, по-видимому, тоже выполняет важную функцию. На нем, очень удобно расположенные, лежат большие книги: «Новый Вебстеровский словарь», такого же типа французский словарь «Ларусс», выпущенный в Оксфорде русско-английский словарь, а этажом ниже — уже очень потертая громада «Советского энциклопедического словаря».

Снова поворот кресла направо, по часовой стрелке, и вы упираетесь в подоконник следующего окна. На подоконнике лежат небольшие томики. Осторожно беру их один за другим. На самом верху — маленький, размером с карманную записную книжку, только много толще, старинный томик в золотистом затертом переплете, французская книжка — «История Жиль Блаза», 1783.

А под антикварным фолиантом с золотым обрезом — синие когда-то, толстые тома Пушкина из академического десяти томного издания 1949 года. Том шестой. Проза. Романы и повести. Том девятый. История Петра. Заметки о Камчатке. Том седьмой. Критика и публицистика. Том четвертый. Поэмы и сказки. А рядом на подоконнике еще две светло-коричневые книги (опять этот доминирующий цвет!). «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», издательство «Правда», написано на них. Петр Леонидович Капица и Дон Кихот? Старинный французский роман? И Пушкин. А может, это не его книги? Ведь Петр Леонидович умер, и хоть Анна Алексеевна и решила сохранить здесь, в кабинете, все как было, но, возможно, в этом кресле теперь сидит уже она и книги эти ее? Мое «исследование» зашло в тупик.

Наступила очередная суббота, и Анна Алексеевна, Андрей, Женя, его жена, и я сидели за обедом в столовой. Анна Алексеевна спросила, как продвигается моя работа, и я прочитал им кусочек о том, как я «споткнулся» на полках перед кабинетом, а потом как решился зайти в кабинет, как сел в кресло и что там передумал.

— О! Игорь, разве ты не видел у нас две лодки, одна маленькая, а вторая большая, моторка? — спросил Андрей. — Эти лодки сделал от начала до конца Петр Леонидович. По чертежам, которые нарисовал сам на основе одной из этих книг.

Я не видел моторной лодки, она, кажется, хранилась в гараже, но «тузик» видел не раз: настоящая маленькая морская шлюпочка, красивая, крепкая. Чувствовалось, что на ней можно плыть куда угодно, а не только по Москве-реке. Но тогда я не удивился этой лодке: мало ли какие диковинки может себе купить знаменитый Капица. Но тут всгупила в разговор Анна Алексеевна:

— Игорь, а разве вы не знаете, что вся мебель на большой террасе — обеденный стол, скамья — сделаны им? И то разлапистое, но удобное прочное кресло в кабинете — тоже.

— Правда, многие самодельные вещи, главное полки, сделал не он, — вмешался Андрей. — У отца не хватало времени, поэтому ему помогали многие из его местных друзей, особенно один плотник, хоть и жил он в деревне Аксинино, а это не очень близко.

— Да, Игорь, у Петра Леонидовича было много друзей из жителей окружающих деревень. Но особенная близость в течение многих лет у него была с двумя. Одного звали Иван Алексеевич Терехов. Он жил недалеко от нас, в местечке под названием Выселки, и был по профессии портным. Петр Леонидович очень любил его работу, и все костюмы его шились всегда одним человеком — Тереховым. Но главная его страсть была — природа, наблюдение за жизнью диких животных и птиц в округе, охота. Весной, когда Москва-река разливалась — а разливалась она до строительства плотин сильно, — мост через реку сносило, да и понижение дороги, сто метров от основного холма до холма, где наша дача, заливалась водой. Мы оказывались на острове. В это время Терехов всегда был на реке в лодке. Подрабатывал перевозом. По реке в эту пору плыло много добра: бревна, доски, старые лодки, снесенное с лугов сено. С багром и лодкой Терехов не давал добру уплыть далеко. Конечно, в это время и Андрей со своей лодкой тоже был на реке. И однажды упустил лодку, но бросился в одежде в ледяную воду, догнал ее... Терехов взял дрожащего мальчика к себе в дом, раздел, положил в постель, пока сушил одежду, напоил горячим чаем с малиной. Вот через этот случай и познакомились друг с другом Петр Леонидович и Иван Алексеевич, почти одногодки... Сейчас, наверное, Иван Алексеевич уже умер. В последнее время он сильно сдал...

— А парикмахер! — вдруг вспоминает жена Андрея. — Анна Алексеевна, расскажите о парикмахере!

— Да, Игорь, и еще один был старый многолетний друг у Петра Леонидовича. Он жил в селе Успенское, там за рекой. Был местным парикмахером. В течение многих лет Петр Леонидович стригся только у него. Раз в месяц, не реже, это было как ритуал. Стрижка, затягивалась надолго. Понятно, почему после этого все удивлялись, откуда Петр Леонидович так всегда хорошо знает, как идут дела на конезаводе в Успенском и какие в этот год лошади особенно хороши, как прошел очередной их аукцион и как вообще дела.

— Какие только люди не жили, не приходили к нам! Много лет постоянной гостьей у нас была тетя Дарья. Крестьянка из довольно далекой от нас деревни. Сначала это были деловые визиты. Она приносила нам сметану, творог. Удивительно она их умела делать. А потом у нее очень тяжело заболел сын. Думали, что умрет. Но Петр Леонидович забрал его в Москву, поднял всех лучших своих знакомых врачей, положил его в хорошую клинику, и тот выздоровел. С тех пор тетя Дарья считала нас родными. А потом в нашем доме много лет жила монашка Катя. Помогала по хозяйству, все удивлялась: «Ведь вот неверующие, а хорошие люди».

— Ну а теперь вернемся к книжкам, о которых спрашивали, — изменила Анна Алексеевна тему разговора. — Все эти книжки положил там и читал сам Петр Леонидович. Спасибо, Игорь, что вы зашли в кабинет и увидели все это. «Жиль Блаза» он, возможно, читал просто так, для отдыха, Пушкина — свериться мыслью о чем-нибудь. Зато «Дон Кихот» была его настольная и любимая книга. Ведь он считал, что его жизнь очень похожа на жизнь этого героя, он много лет собирал изображения Дон Кихота. Эта коллекция хранится у него в лаборатории... — Анна Алексеевна улыбнулась, чуть грустно. — А вы знаете, Петр Леонидович особенно любил одну из повестей Льва Николаевича Толстого, а несколько строчек на первых страницах ее, считал, могли бы быть эпиграфом к его жизни. Это первые страницы «Хаджи-Мурата».

— Неужели фразы о татарнике? — решился спросить я.

— Да, Игорь, — последовал ответ. — И поэтому у Петра Леонидовича в кабинете нашего московского дома висит картина художника Козлова, на которой изображен куст татарника. Это одна из любимых картин Петра Леонидовича.

Все замолчали...

Конечно же, после этого разговора, когда все встали из-за стола, я пошел в «телевизорную», нашел там «Хаджи-Мурата». И вот что там было написано: «Куст татарника состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На двух других было на каждом по цветку. Цветки эти были когда-то красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу, другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал вверх. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдастся человеку, уничтожившему всех его братьев кругом.

„Экая энергия! — подумал я. — Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдастся”».

После чая Анна Алексеевна попросила меня снова сходить в кабинет, посмотреть внимательнее полки с научной литературой... Вот родные мне книги по теплотехнике, теплопередаче, гидродинамике. А вот тут, наверное, будет автографы — Ландау и Лившиц, Ишлинский... Так и есть. Но как-то не хотелось смотреть эти полки. Здесь была наука Капицы, о которой уже так много сказано.

Взгляд упал в сторону. Вот в углу еще один большой стол без тумбочек. На нем тиски, маленький, «часовой», токарный станок, электрический точильный круг, еще какие-то инструменты типа бормашин часовых мастеров, подставки, ошетилившиеся вставленными в них сверлами разных размеров, на стене дрели, мотки проволоки и опять самые разные, уже ждущие ремонта настенные часы.

На полочке над камином несколько разной величины крокодилов. Ведь крокодил — как бы старинный, времен лаборатории Резерфорда, символ для Капицы. Вот портрет Резерфорда, другие портреты, карандашные рисунки. Кустодиева нельзя ни с кем спутать. Взгляд опять скользнул. Знакомая ярко-белая стена дымохода рядом с камином. Как деталь орнамента в верхней части этой белой стены на тонкой зеленой ветке сидела смело нарисованная большая птица с ярко-желтой грудью, покрытой зелеными пятнышками. Красный, с коричневыми полосами-перьями хвост ее был похож на хвост жар-птицы. А крылья, полурасправленные, как у ангелов, художник нарисовал черным. Но белый фон побелки проглядывал через нечастые штрихи, которыми были нарисованы перья, и крылья казались серыми. А выше, над желтой грудью и шеей, большой огненно-красный шар запрокинутой вверх головы и длинный, поднятый вверх, широко раскрытый клюв...

Первый рассказ Анны Алексеевны

Я прочитал Анне Алексеевне, Андрею и его жене Евгении это маленькое эссе, оно им понравилось, посоветовали напечатать.

Но какие-то другие дела отвлекли меня, и единственное, что я сделал, — передал этот кусочек бессменному в течение многих лет научному секретарю Капицы Павлу Евгеньевичу Рубину, который после смерти Петра Леонидовича переехал из своего кабинета, рядом с кабинетом директора в главном здании института, в комнату на втором этаже небольшого двухэтажного дома в глубине окружающего институт парка. В этом маленьком двухэтажном, увитом летом плющом сером доме Петр Леонидович с Анной Алексеевной и жили постоянно последние годы его жизни, за исключением времени их поездок на Николину Гору. Первый этаж дома занимали большая гостиная, кухня и прихожая, на втором этаже — огромный кабинет хозяина, спальня и несколько маленьких подсобных помещений: комнаток-складов для книг, папок архивных бумаг и, конечно же, мастерская с набором маленьких токарных, сверлильных и строгальных станков, которыми пользовался хозяин. После смерти хозяина Анна Алексеевна решила превратить весь второй этаж дома в музей Петра Леонидовича Капицы, и именно сюда, в одну из подсобных комнаток на втором этаже, переехал осиротевший Павел Евгеньевич Рубин со всем своим архивом.

Дом этот с оштукатуренными снаружи стенами, покрытыми каким-то нерусским орнаментом, очень напоминал то, что, по представлению среднего русского человека, должно было быть английским особняком. Таким, например, по-моему, мог оказаться дом Сомса Форсайта. Поэтому я считал, что дом построили для Капицы в то время, как и основное помещение института, по английским проектам, чтобы тот напоминал ему коттедж, который ученый оставил в Кембридже.

Со временем я узнал, что ошибался, ибо дом, построенный специально для семьи Капицы, был другим, намного большим, но об этом потом. А пока я встретился лишь с Павлом Евгеньевичем. Он уже читал мою рукопись, пообещав напечатать в своем сборнике о Капице.

Прошло несколько лет. Ко мне в гости приехали мои новые знакомые из США, муж и жена Боб и Луиза Дудли. Он был физик, работал в Международном агентстве по использованию атомной энергии в Вене, когда в 1966 году туда приезжал Петр Леонидович. Он встречался с Капицей и Анной Алексеевной, заинтересовался им, и не только как физик. Дело в том, что жена Дудля в это время занималась помощью русским эмигрантам. Чтобы облегчить свою миссию, она начала учить русский язык, потом заинтересовалась русской историей, и два года назад они приехали в Москву как туристы, остановились у меня, зашел разговор о Капицах, и я сговорился с Анной Алексеевной, что они приедут к ней в гости на Николину Гору.

Встреча состоялась, Анна Алексеевна рассказывала, потом показала новую, только что вышедшую в Англии книгу о Петре Леонидовиче. Это были переведенные на английский письма Капицы, написанные в основном в Кембридже и подготовленные к изданию П. Е. Рубининым, Д. Шонбергом и В. Боеггом. Книга оказалась новой для меня, Анна Алексеевна ее очень хвалила. По-видимому, книга действительно была хороша. Ведь один из ее редакторов, Павел Евгеньевич Рубин, — специалист по Капице.

Имя второго редактора оказалось мне незнакомо, но Анна Алексеевна сказала, что Дэвид Шонберг был аспирантом Петра Леонидовича еще в конце двадцатых годов в Кембридже, потом под руководством Капицы работал в его лаборатории в Англии; когда же власти задержали Капицу в Москве, не пустив обратно, именно Шонберг, хорошо говоривший по-русски, и приехал в Москву, чтобы в течение года работать у Петра Леонидовича в Институте физических проблем.

Третий редактор был неведом и мне и Анне Алексеевне, но оказалось, что его хорошо знают Боб и Луиза Дудли. Доктор Боегг много лет работал с ними в Вене как один из ведущих специалистов по радиоактивной безопасности атомных станций.

— Вы знаете, Игорь, последние годы доктор Боегг уже не работает в этом институте, он на пенсии, но активно сотрудничает в Пагуошском комитете

Англии, и вы сможете встретиться на одном из заседаний комитета. Ведь вы рассказывали, что участвуете в конференциях этого движения...

Так разговор перекинулся на меня, и Анна Алексеевна рассказала своим гостям о том эссе, которое я написал. А потом вдруг добавила:

— Вы знаете, Игорь, я бы очень хотела, чтобы именно вы написали книгу о Петре Леонидовиче. Думаю, у вас получится.

Я молчал. Я-то знал, что такое написать книгу. Все равно что родить и воспитать ребенка. Я был не готов к этому: мне не доставало знания материала.

Но сама мысль об этом, по-видимому, запала в душу. Поэтому, когда однажды, но уже через годы, на общем собрании Российской академии наук ее президент сообщил, что Королевское общество в Лондоне² учредило несколько двух-трехмесячных стипендий в год для работы в научных учреждениях Англии русским ученым, назвав их стипендиями имени Капицы, меня как кольнуло.

«Вот он, шанс. Я должен попытаться получить эту стипендию для работы в Кембриджском университете. У меня есть возможности для этого. Ведь то, что я делаю, тесно соприкасается с работами Полярного института имени Скотта, а он — часть Кембриджского университета. И если, получив эту стипендию, я поработаю несколько месяцев в Кембридже, тогда узнаю о Капице достаточно много, чтобы писать о нем книгу. Более того, тогда я просто обязан буду это сделать».

Я рассказал о своих планах Анне Алексеевне и Андрею Капице. Оба они поддержали их, и Андрей, который, как оказалось, уже съездил в Англию в качестве первого получателя этой стипендии, рассказал мне, что необходимо предпринять.

Следуя его советам, я написал письмо своему старинному научному другу и коллеге по изучению ледников Антарктиды профессору Гордону Робину о стипендии и моем желании получить ее, чтобы приехать наконец в его институт и вместе поработать над проблемами, над которыми мы сообщали, но порознь трудились много лет.

Мы действительно занимались много лет одними и теми же вещами — изучением температурных условий в центральной части ледяного щита Антарктиды, и однажды, в середине семидесятых годов, я даже получил от Робина приглашение в Кембридж в качестве гостя одного из колледжей, чтобы совместно с группой ученых других стран (ее сколотил Гордон) провести мозговую атаку на проблему, которая всех нас волновала. Но тогда я так и не добрался до Англии. В день получения заграничного паспорта мне объявили, что паспорта я не получу (так решили наверху), и порекомендовали забыть об этой поездке. И я сделал вид, что забыл.

Но теперь я очень быстро получил ответ от Робина. И по тону этого ответа почувствовал, что мои шансы приехать в Кембридж на этот раз очень велики, а значит, следует быть готовым писать книгу о Капице.

Я вновь позвонил Анне Алексеевне. Раз такая возможность становится реальной, я хотел бы начать регулярно встречаться с ней и беседовать, чтобы подготовиться к поездке.

— Конечно, приезжайте, Игорь, я с удовольствием расскажу вам все, что хотите. Забирайте Валечку и приезжайте завтра же.

Так я и сделал. На другой день мы с женой были у Анны Алексеевны в ее большой квартире в «академическом» доме на Ленинском проспекте. Квартиру эту Анна Алексеевна получила совсем недавно, уже после смерти Петра Леонидовича, когда сообщила Президиуму Академии наук, что решила выехать из особняка, где они с мужем жили последние годы, и целиком передать его Институту физических проблем, с тем чтобы на втором этаже создать мемориальный музей П. Л. Капицы.

Я часто бывал в гостях у Анны Алексеевны, но очень волновался, когда ехал к ней в этот раз.

Предстоящий разговор с Анной Алексеевной для меня был очень важен. Ведь многие успехи Петра Леонидовича могут быть почти наполовину

² Королевское общество в Лондоне — эквивалент Российской академии наук.

отнесены на счет Анны Алексеевны. И вот она пригласила меня, чтобы рассказать о том явлении научной жизни России двадцатого века, имя которому «Капица». Было от чего начать волноваться.

Анна Алексеевна после звонка открыла дверь сразу, не произнеся даже рекомендуемого сейчас: «Кто там?» И я узнал снова, что ее открытый, незапирающийся дом в какой-то степени остался таким же, хотя наступили трудные времена. А сама Анна Алексеевна, несмотря на возраст, все такая же — прямая, стройная, с сияющими улыбкой глазами. Только руки, протянувшиеся для приветствия, стали суше.

Сразу, после того как мы с женой разделились в большой, с высоким потолком передней, Анна Алексеевна пригласила выпить чаю. Это на кухне, большой кухне, слева от входа, с окнами во двор. И только после того, как ритуал чаепития с хозяйкой во главе стола был окончен, Анна Алексеевна пригласила нас в основные комнаты этой удивительной квартиры.

Пройдя снова ту же сравнительно темную прихожую, мы попали в большую светлую комнату с двумя окнами, выходящими на противоположную сторону дома, на проспект и деревья парка Первой градской больницы за ним. Эта комната с большим письменным столом, заваленным рукописями и вырезками из газет, журналов и самими журналами, — рабочий кабинет Анны Алексеевны. Справа и слева от входа в нее, из прихожей, есть еще большие, всегда открытые настежь двустворчатые двери в две другие комнаты, образующие как бы анфиладу из трех вытянутых в ряд комнат, все окна которых смотрят в одну сторону — на Ленинский проспект.

Мы сели в большие кресла посредине гостиной, против телевизора, прямо под большой, известной картиной Кустодиева, на которой еще молодые, краснощекие юные ученые рассматривали (или показывали художнику) какую-то рогатую стеклянную колбу с впаянными в нее проводками. Рентгеновскую трубку, сказал мне о ней Павел Евгеньевич Рубинин, рентгеновскую — в знак того, что они были учениками академика Иоффе, а сам Иоффе в молодости работал в Германии в лаборатории Рентгена и считал себя его учеником.

Анна Алексеевна села в центральное, большое кресло, рядом с тумбочкой, на которой стоял старенький переносной магнитофон-диктофон, я расположился в кресле слева, и первая из наших «официальных» бесед началась. И то, что я услышал от Анны Алексеевны в ходе этого рассказа, показалось мне настолько важным, а каждая деталь такой ценной и в то же время хрупкой, что я не решился притрагиваться, оставив все как есть. Я только убрал повторы, да и то не все. Являясь поклонником Роберта Фроста — великого американского поэта, я следовал его совету, что мысль, адресованная автором читателю, должна в разной форме быть повторена по крайней мере трижды. Только тогда в его душе может возникнуть резонанс, который рождается при слушании прибора...

— Анна Алексеевна, расскажите, пожалуйста, для начала, как вы познакомились с Петром Леонидовичем?

Анна Алексеевна радостно и легко засмеялась:

— О, Игорь, это уже много раз мною рассказано. Но я с удовольствием расскажу вам еще раз. Познакомили нас Семеновы. Вы ведь знаете, что Николай Николаевич Семенов³ был большим другом Петра Леонидовича еще тогда, когда они оба являлись студентами. Но кроме этого он, Семенов, женился на самой любимой моей подруге — Наташе, Наталье Николаевне. Она стала второй женой Николая Николаевича, сначала он был женат на ее тетке — блистательной, совершенно фантастической женщине, которая умерла. А Наташа очень была на нее похожа. Она занималась тут же, в лаборатории, была химиком, музыкантом, не знаю еще кем. И Николай Николаевич влюбился. А она — ближайшая моя подруга, мы вместе поступили в школу, недавно мы с ней праздновали восемьдесят лет нашей дружбы. И вот Николай Николаевич женится на моей ближайшей подруге... Я в то время жила за границей, была эмигранткой, а она оставалась в Ленинграде. Когда они приехали за границу, в двадцать шестом году, то сначала отправились в Германию, потом в

³ Н. Н. Семенов стал впоследствии знаменитым академиком, лауреатом Нобелевской премии и директором Института химической физики Академии наук СССР.

Англию, в Кембридж, где жили у Петра Леонидовича; он показывал им Англию, свою лабораторию. Всегда ругал Николая Николаевича, что тот не говорит на иностранных языках.

— Он так и не научился?

— Нет, не научился. Потом Николай Николаевич и Наталья Николаевна поехали в Париж. Тут мы с ней и увиделись после многих лет разлуки. Мы были страшно счастливы. А у нее возникла такая тайная мысль, что вот есть Капица, одинокий, и есть Анечка, — надо их поженить. Но она мне об этом не говорила. И когда Петр Леонидович приехал, чтобы еще немножко побыть с ними в Париже, Наталья Николаевна мигом нас с Петром Леонидовичем познакомила. И мы вчетвером прекрасно жили в Париже, ходили по театрам, по музеям. Я очень подружилась и с Петром Леонидовичем. Он мне приглянулся, а я ему своим независимым характером. Он был страшный озорник, поэтому иногда у нас доходило чуть ли не до драки, но все разрешалось очень мирно. Во всяком случае, вне всякого сомнения, я была девушка странная, со мной можно было и подрасться. Наконец он уехал к себе в Лондон, а перед этим я ему сказала: «Знаете, мне очень хочется побывать в Лондоне, в Бритиш Музеум. Я археолог, учусь в Луврской школе, и мне очень интересен Бритиш Музеум, там замечательные вещи. Но англичане мне визу не дают. Я прихожу с нансеновским паспортом (паспорт для эмигрантов), а они мне говорят: «Мадемуазель, зачем вам ехать в Лондон, в Лувре есть все». И не дают визу». Тогда Петр Леонидович сказал: «У меня есть друзья, может быть, они в это время придут в Париж, я попрошу, вы с ними познакомитесь, и, возможно, они вам помогут». Так и случилось. Приехал в Париж очень симпатичный археолог с женой, он мне написал, что они хотели бы меня видеть. Я пошла к ним познакомиться, и мы подружились на всю жизнь. Они были очаровательные люди, большие наши друзья. Они сказали: конечно, мы вам поможем, мы добудем вам визу. И через месяц я получила визу в Лондон.

Мой отец в это время работал в нашем полпредстве, в посольстве. В продолжение шести лет он был за границей, занимался нашим флотом, перевозками, заказами, являлся видной фигурой.

Я поехала в Лондон. Мой отец и мать разошлись довольно давно, но сохранили очень хорошие отношения. И папа всегда смотрел, чтобы у нас с мамой был полный достаток, чтобы мы жили как следует. Но мы жили очень-очень скромно. Когда я поехала в Лондон, у меня было какое-то количество денег, но очень мало, поэтому я поселилась в общежитии для молодых христиан. Это чудные общежития для молодежи, где вы платите очень мало и можете жить довольно долго. Я жила там в комнате с индуской, бегала по музеям, сразу написала Петру Леонидовичу, что я в Лондоне, он тут же приехал из Кембриджа и потом постоянно наезжал. Мы ходили в музеи, смотрели картины. Он всегда дразнил меня и спрашивал: «Вы видели эту картину?» — «Нет». — «Ну-ка скажите, что это за художник?» И я должна была угадывать. Так как я археолог, да вдобавок еще занималась историей искусства, мне не так уж трудно было угадать.

— А он хорошо знал искусство?

— Нет. Но очень любил искусство. Потом он говорил: «Я тоже хочу угадывать».

Одним словом, мы очень хорошо с ним проводили время и очень подружились. В один прекрасный день он меня спросил: «Вы бы хотели поехать по Англии?» Я говорю: «Конечно, хотела бы». — «Я вас приглашаю». Я говорю: «Но у меня совсем нет денег, я не могу поехать с вами по Англии». Он говорит: «Нет, я вас приглашаю». — «Ну, если вы меня приглашаете, другое дело».

Мы сели с ним в автомобиль и поехали по Англии. Он знал, что я интересуюсь всевозможными старинными аббатствами, которые остались со времен Кромвеля (очень многие аббатства были тогда разорены), мы видели руины чудесных готических соборов и замков. Потом Петр Леонидович спросил меня: «Что вы хотите еще увидеть?» Я сказала: «Я бы хотела увидеть Стоунхендж». Этот знаменитый кельтский памятник, колоссальные камни, которые стоят кругами на лугу. Это было потрясающее зрелище.

Однажды во время путешествия Петр Леонидович меня спрашивает: «Скажите, пожалуйста, что вы делали сегодня ночью?» — «Как что? Спала». —

«Мне пожаловался менеджер гостиницы: что мисс Крылова делает ночью? был страшный шум... Что вы делали ночью?» Я подумала и сказала: «Знаете, Петр Леонидович, против окна стоял шкаф, а из окна дивный вид, и я сдвинула этот шкаф». Это, конечно, потрясло хозяев гостиницы. Я была такого рода девушка, с которой ему было очень просто. Я не была дамочкой, я была товарищем. Мы очень подружились за это путешествие. Мы пропутешествовали, наверное, дней пять или около недели. И тут пришло время мне уезжать. Последнее, что помню до сих пор: я уже в вагоне, смотрю из окошка моего поезда, который начинает двигаться, и вижу: стоит грустная маленькая фигурка человека, меня провожающего, одинокого, на перроне. И тут я понимаю, что этот человек мне очень дорог. Это чувство я помню до сих пор.

Через несколько недель Петр Леонидович приехал в Париж. И тут было совершенно ясно, что мы должны решить нашу судьбу. Я прекрасно понимала, что он никогда не сделает мне предложения, что он не может перейти через какие-то свои... не знаю что. Это должна сделать я. И как-то я ему сказала: «Знаете что, нам надо пожениться». Он страшно обрадовался, что ему не надо это говорить, что я взяла инициативу на себя, и все было решено. Я смотрю на себя и вижу, что у меня был своеобразный и решительный характер, а это Петру Леонидовичу как раз и требовалось. Ему нужен был товарищ в жизни, не только просто жена, но товарищ, на которого он мог опираться. И он всегда чувствовал, что на меня он может опереться, что я никогда его не подведу. Иногда мы ссорились, у нас возникали неприятности, расхождения, но у него никогда не появлялось такого чувства, что я могу его подвести. А это потом в его положении было очень важно.

Интересно, что мой отец был тоже знаком с Петром Леонидовичем. Они вместе приехали из Петрограда, когда за границу была послана комиссия Академии наук для возрождения тех связей, которые были порваны после гражданской войны. Петр Леонидович был включен в эту комиссию, а мой отец являлся ее председателем...

Петр Леонидович не любил вспоминать. Когда мы с ним познакомились и уже были очень дружны, он рассказал мне всю свою жизнь, все свои увлечения, все свои дела. Свою жизнь с Надей — первой женой... Сначала все обстояло благополучно, до тех страшных годов, когда свирепствовала испанка, когда был голод, холод и Бог знает что, — тут начались несчастья. Сначала умер отец Петра Леонидовича от голода, холода и испанки. Потом заразился скарлатиной и испанкой сын Нимочка и умер. Наденька в то время ждала второго ребенка, лежала в больнице, должна была родить. Родила девочку, умерла сама, девочка тоже умерла.

Сам Петр Леонидович тоже был очень болен. Он совсем погибал. Потом он мне признался: «Мне так хотелось умереть. Но мама меня спасла. И тогда мне пришлось жить...»

И когда он решил, что будет жить, то начал жить по-настоящему. Собственно, не он выбрал Жизнь, а Жизнь выбрала его, заставила жить.

Я думаю, что когда его включили в эту комиссию, то старые ученые понимали: ему необходимо совершенно переменить обстановку, ибо после таких несчастий нельзя оставлять человека там же. Они включили его в комиссию и взяли с собой...

Ах, как внимательно слушал я этот рассказ! Конечно же, я знал отца Анны Алексеевны очень хорошо. Вся моя юность прошла под знаком почитания нескольких великих ученых, среди которых было и имя академика, генерала еще царских времен и одновременно профессора кораблестроения Алексея Николаевича Крылова. Радио и газеты нередко напоминали о нем, а потом вышла и его прекрасная книга «Моя жизнь». Эта книга, написанная академиком уже на закате жизни, в 1941 году, выдержала несколько изданий.

Когда я читал ее, мне казалось, что к ней нечего добавить. Но то, что я услышал в этот раз от Анны Алексеевны об ее отце, для меня было очень интересно.

То, что связано с Алексеем Николаевичем Крыловым, очень важно для всей жизни великого физика Петра Капицы. Ведь включение молодого ученого Петра Леонидовича в возглавляемую Крыловым комиссию, наверняка сделанное с его ведома и при его поддержке, явилось завязкой всей истории со-

вместной жизни Петра Леонидовича и Анны Алексеевны. Без этой поездки они никогда не встретились бы, больше того, и Капица не стал бы тем Капицей, какого мы знаем.

Как странно складываются судьбы людей. Почему двадцатисемилетний молодой, талантливый, но все же еще не успевший проявить себя ученый был включен в эту чрезвычайно важную комиссию, в которой, за исключением двух дам, о которых речь пойдет особо, все остальные (их было всего несколько) оказались в ранге академика? Потому что он прилично знал английский? Потому ли, что являлся учеником и помощником А. Иоффе — одного из главных людей в этой комиссии? Потому что, конечно же, трагическую историю Петра Леонидовича, да и его самого и, вероятно, его родителей знал Алексей Николаевич Крылов, он хотел чисто по-человечески помочь молодому ученому? И судьба сделала правильный выбор...

— Да, так вот, отец был ее председателем, — спокойно продолжала Анна Алексеевна. — В комиссии кроме него был академик Иоффе, Петр Леонидович и еще несколько человек. Поэтому Петр Леонидович очень хорошо знал моего отца, а мой отец очень хорошо относился к Петру Леонидовичу. Когда же он узнал, что мы с Петром Леонидовичем собираемся пожениться, то очень обрадовался. Мы познакомились в октябре двадцать шестого года, а в апреле двадцать седьмого уже поженились, хотя в это время — Капица был в Кембридже, а я в Париже — виделись мы очень мало.

Мама хотела, чтобы мы венчались в церкви. А до этого нам надо было зарегистрироваться в нашем советском консульстве, а у меня, как я уже говорила, был нансеновский паспорт, ибо я эмигрантка. Что делать? Отец в это время уже много лет работал и очень хорошо знал нашего посла, пошел к нему и сказал (у Алексея Николаевича были своеобразные выражения), он сказал послу, очень почтенному человеку (я сейчас забыла его фамилию): «Моя дочь снюхалась с Капицей, и ей нужен советский паспорт». Посол ответил: «Алексей Николаевич, нам нужно послать в Москву запрос, а это довольно долго». Алексей Николаевич возразил: «Нет, я тут работаю всегда, я советский гражданин, моей дочери нужен паспорт, и я требую, чтобы вы ей выдали его немедленно». Посол сказал: «Знаете, Алексей Николаевич, это совершенно невозможно». Тогда Алексей Николаевич начал на него кричать, стучать кулаками. В посольстве был страшный скандал. Посол предложил: «Алексей Николаевич, я знаю один выход: мы попросим посольство Персии выдать вашей дочери персидский паспорт, тогда нам легче будет дать ей советский паспорт». Тут Алексей Николаевич пришел в такую ярость, что посол сдался: «Хорошо, Алексей Николаевич, будет ей паспорт». Я получила паспорт, и мы пошли в консульство регистрироваться. Петр Леонидович был страшный озорник, он любил подшучивать, он любил озорничать, и это иногда приводило к очень странным результатам. В консульстве сидела очень строгая советская дама, которая нас записала...

— Вы не боялись возвращаться в Россию?

— Нет. Потом Петр Леонидович очень весело ей говорит: «А теперь вы нас вокруг стола три раза обведете?!» Она безумно рассердилась, у нее не было ни капли чувства юмора. Она рассердилась, сказала: «Нет, но я должна сказать несколько слов вашей жене». И, обращая ко мне, заявила (это я запомнила на всю жизнь!): «Если ваш муж будет принуждать вас к проституции, придите к нам и пожалуйте...» Это было ее единственное благословение.

После этого мы на несколько дней поехали отдохнуть на море. Петр Леонидович очень скоро сказал: «Знаете что, поедемте в Кембридж, мне уже хочется работать».

— Он вас на «вы» называл?

— Некоторое время мы были на «вы».

— Даже уже будучи мужем и женой?

— Потом мы быстро перешли на «ты». И уехали в Кембридж.

— Анна Алексеевна, вы говорили, что ваши братья...

— Они оба были в Белой армии молодыми офицерами, которые были выпущены прапорщиками по окончании училища. Один кончил артиллерийское, другой — инженерное училище, юнкерами, и оба попали на фронт. Они были абсолютно разными по характеру. Старший очень вдумчивый, довольно закрытый, для которого это все явилось тяжелым переживанием — вся трагедия граж-

данской войны. Он воевал с отвращением, хотя ему пришлось поступить в Белую армию, для него это было ужасно. Но очень быстро он был убит. Когда мама получила страшное известие, что он погиб, для нее это явилось невероятным ударом. Очень скоро к нам на некоторое время вернулся младший брат.

— Он тоже служил в Белой армии?

— Да. У него был совершенно другой характер. Это был общительный, очень обаятельный, очень веселый человек. Для него армия и война оказались вполне привлекательны, это было в его характере. Он воевал без того трагизма, что старший брат. Очень быстро он, как артиллерист, попал на бронепоезд и погиб под Харьковом во время последнего деникинского наступления.

Тогда мама поняла, что у нее из пяти детей, которых она родила (двое моих сестер умерли малышками, двое братьев погибли на войне), осталась я одна, и если она не вывезет меня сейчас же из этой страшной бучи, то вообще потеряет все. Вот почему мы и уехали. Но это я сообразила только потом. Мы уехали вместе с нашими близкими друзьями, у которых были большие связи и капиталы в Женеве. Жили мы сначала в Женеве. А в России перед эмиграцией мы жили в Анапе. Я училась в очень передовой школе, она называлась нормальным реальным училищем. Там был коллектив очень симпатичных молодых преподавателей, которые и создали школу. Мама была связана с ними и всех своих детей отдала в эту школу. Это была очень симпатичная школа. В семнадцатом году, осенью, в школе поняли, что происходят очень серьезные события и оставлять детей в Питере трудно. Идет война, революция, что будет в Петрограде — неизвестно. И преподаватели предложили тем, кто хочет, переехать из Петрограда в Анапу. Часть учеников отправилась с родителями, часть просто с учителями, которые перебрались вместе с ними. Мы все окончили школу и аттестаты зрелости получили уже в Анапе.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем детстве.

— Вообще я была несносным ребенком. Мама родила одну девочку, назвала ее Анной, в честь моей двоюродной бабушки, которая, собственно говоря, и была нашей настоящей бабушкой, потому что ее сестра, наша бабушка, рано умерла. Мама воспитывалась в Казанском институте. Дед был чиновником, жил в Петербурге. Он любил только свою младшую дочь Ольгу, мою тетку, которая воспитывалась уже в Петербурге, в каком-то очень хорошем институте. Но моя мать очень любила своих сестер. Очень. И так как она была замужем за Алексеем Николаевичем, который очень быстро начал хорошо зарабатывать, она всегда смотрела за сестрами, чтобы у них не возникало ни денежных, никаких других неприятностей. И они ее обожали. Мама была очень привлекательна, была очень добрым и мягким человеком. Но вот у нее родилась одна дочь, которая через некоторое время заболела туберкулезом и лет шести-семи умерла. После этого родилась другая дочь, которую она опять назвала Анной, та тоже умерла через несколько месяцев. После этого у нее родились двое мальчиков. И наконец, еще раз родилась дочка, и третью дочь опять назвали Анной. Это была я, которую, конечно, избаловали до предела. Я всячески приставала к братьям. Если у меня что-то не получалось с уроками, я кричала Алеше (он был младший, его звали в доме Лялькой): «Лялька, приди сделай мои задачи, я ничего не понимаю». И я всячески им командовала. Вы понимаете, я была любимым ребенком: наконец дождалась дочки, и опять Анна. Но надо мной никогда не дрожали. Я всегда была очень спортивная, одевалась очень легко, у меня никогда не было шубы, были какие-то толстые фуфайки, какие-то пальто. Я вообще в детстве была мальчишкой. Летом ходила в штанишках, закручивала волосы на голове. Мы жили в Финляндии, на берегу залива. Отец очень любил стрелять в цель, поэтому у нас постоянно велась прицельная стрельба. Была лодка, на которой мы катались, гребли; мы плавали, купались, все время бегали босиком. Так что в этом отношении родители никогда не стесняли моей свободы...

Мама была бестужевкой. Окончив Казанский институт, она сейчас же поехала в Петербург на курсы. Словом, это был достаточно либеральный институт, где девушки уже по окончании мечтали ехать на курсы. Тогда стать курсисткой было очень трудное дело: на них смотрели в высшей степени косо.

Когда мама приехала в Петербург на эти курсы, то родителям моего отца поручили за ней присматривать, очевидно, потому что ее отец, Дмитрий Иванович, мой дедушка, был очень странный человек. Я его совсем не знала. Он

умер, когда я была маленькой. Но, как мне рассказывали, это был суровый чиновник с очень трудным характером.

За старшей дочерью он особенно не смотрел и, вероятно, даже не очень одобрял, что она поступила на эти курсы. Когда мама была на курсах, она познакомилась с моим отцом, в это время молодым морским офицером. Он с родителями жил в Петербурге. Это была очень скромная семья. Дедушка был очень интересный, очень своеобразный человек, но далеко не с легким характером. Бабушка была Ляпунова, отсюда наши связи: с одной стороны — Филатовы, с другой стороны — Ляпуновы, такие старинные русские семьи.

Мама была очень привлекательна. Она была симпатичной, доброй и внимательной к людям, по-настоящему хороший человек. Очевидно, моему отцу она очень быстро приглянулась.

Мы тоже всегда жили в Петербурге, в Петрограде. В четырнадцатом году, весной, оба мои брата окончили школу. Это был первый выпуск нашей необыкновенной школы — школы Кузьминой. Там существовало совместное обучение, что тоже было оригинально в то время. Тогда педагоги предложили родителям своих учеников устроить поездку по Европе, чтобы показать ребятам, что такое за граница. Мы все изучали языки — немецкий и французский и что-то говорить могли.

— Сколько лет им было?

— Моим братьям было тогда семнадцать лет, они были погодками, поэтому учились в одном классе и младший подтягивался к старшему.

Когда решили поехать, мама не захотела оставлять меня одну, и я поехала вместе с ними. В четырнадцатом году большая группа, человек пятнадцать — двадцать, с учителями, с некоторыми родителями (в том числе моя мать) закупили очень большой тур по Франции и Швейцарии — эти две страны мы хотели посетить. Сначала мы поехали, по-моему, в Швейцарию, потом во Францию, долго были в Париже, смотрели музеи, памятники. И там нас застала война четырнадцатого года. А у нас были парни, которым исполнилось по семнадцать лет. И все обратные билеты были через Германию. Все сразу сообразили, что через Германию мы ехать не можем. А денег-то у нас ни у кого не было...

Россия объявила войну. Это был конец августа. Тогда наши учительницы, наша директриса и родители сговорились, что поедут через Италию, Грецию, Сербию, на юг, этим путем, потому что другими путями ехать они не могут. Тут требовалось получить деньги. Все женщины были очень энергичные, и довольно много, вероятно, консульских работников дали им деньги с тем, что, когда они вернутся на родину, все будет возвращено.

И мы поехали. В конце концов мы попали в Афины. Там мы остановились на два дня. В Афинах все преподаватели вместе с нами сразу бросились в Акрополь. Акрополь! — это тоже осталось у меня в глазах. Стояла жара, все было выжжено кругом, этот желтый мрамор (он же не белый, а такой желтоватый), все выглядело необыкновенно красиво, высокие ступени. Там очень высокие ступени, я это запомнила, потому что была еще девчонкой, и мне они казались высокими. Все было страшно интересно. Тут мы сели в поезд и поехали через Сербию. Сербия в это время уже воевала, но к нам относились как к своим детям. Всячески о нас заботились, нас кормили, нас поили, нас возили, по-моему, чуть ли не даром. В конце концов мы добрались до Ниша. Из Ниша через Болгарию и Румынию поехали к себе. Приехали в Петербург и продолжали учебу. Мои братья оба поступили сначала на кораблестроительное отделение Петербургского политехникума, а потом очень быстро им пришлось поступать в юнкерское училище. Я продолжала учиться, пока мы с мамой не уехали в Анапу.

— Ваши братья окончили училище году в шестнадцатом?

— Да.

— А как все это пережил Алексей Николаевич?

— Алексей Николаевич о смерти сыновей узнал, только когда мы встретились в Париже. Но папа и мама уже разошлись. Они разошлись во время войны. Официально они не развелись, но разошлись, потому что мама совершенно не переносила никаких измен. Одно время мама даже была на фронте сестрой милосердия, и тогда моя тетя Ольга смотрела за нами... Потом мы уехали с мамой на юг, а папа остался на севере.

Когда меня спрашивают: он что, был большевиком? — я отвечаю, что он меньше всего занимался политикой. Для него это все существовало как... Вы дышите тем воздухом, который кругом вас? Дышите. Вы можете его переменить? Нет. Так же и правительство. Он всегда смотрел на это как на неизбежную неприятность, так он воспринимал советское и царское правительство. У него к этому было несколько циничное отношение. Может быть, нехорошо так говорить про собственного отца. Но просто он никогда не мог серьезно к этому относиться. Он твердо знал, что он специалист по флоту. Какое правительство у нас — это ему, что называется, было «до лампочки». Но у него есть флот, за который он отвечает, и этот флот он будет всячески опекать до своей смерти. Что он и делал. Очень быстро, уже в восемнадцатом году, он стал начальником Военно-морской академии. Он читал лекции. Мне всегда было очень интересно то, что он читал лекции в первый или второй год советской власти младшему командному составу, то есть людям, которые служили во флоте, но не знали не только высшей математики, а едва-едва знали алгебру и геометрию, а он читал им дифференциальное исчисление — то, что и нужно знать человеку во флоте. И самое удивительное: он читал так, что они это все понимали и знали. Он был совершенно блистательным лектором.

В какой-то момент Академия наук послала его, Иоффе и других за границу, о чем мы с вами уже говорили. И он оставался там довольно долго, так как очень быстро Советское правительство поняло, что раз он там, то может очень во многом помочь. Он помогал в том, какие пароходы следует покупать. Когда мы покупали паровозы, он показал с цифрами в руках, как нужно перевозить паровозы, — что нужно не нанимать для этого суда, а покупать их. Показал он и как их надо грузить. И в то же время он занимался своей математикой. Он приблизительно с двадцать первого до двадцать седьмого года жил за границей. Когда мы уже были в Париже, то встретились с ним, и тут он узнал о всех наших несчастьях. Тут они с матерью, конечно, помирились. Для их совместной жизни это уже было не нужно, но встречи и дружба сохранились. Их помирило горе и общий ребенок, который остался, — это я. Мы жили у своих родственников. У папы был незаконный брат, очень известный профессор химии, блистательный ученый Виктор Анри. Это был сын моего дедушки. Он всегда жил за границей, потому что, как незаконный ребенок, в нашей империи очень плохо себя чувствовал.

Надо сказать, что Сашенька, его мать (ее абсолютно все звали Сашенькой), — это родная сестра моей бабушки, Софьи Викторовны Ляпуновой, — Сашенька с Виктором всегда жили в Париже, а мой отец являлся крестным отцом Виктора, будучи старше его лет на десять. А бабушкина сестра была гораздо моложе. Мы Виктора все очень любили, очень хорошо знали, он постоянно приезжал в Россию. Но я как-то нашла его старое письмо, где он пишет, как ему тяжело, что он незаконный сын...

Он был химиком, и во время войны, когда немцы применили газы, — а он был специалистом в этом деле, — его из Франции направили в Россию, чтобы он наладил производство газа, а главным образом защиту от него. Анри уже был женат, его жена была очаровательная румынка, талантливый человек, биолог, которая работала в институте Пастера. Они приехали в Москву (он отличался тем же, чем и мой дедушка: не пропускал ни одной женщины), и Виктор сразу совершенно безнадежно влюбился в одну из своих двоюродных сестер — Веру Васильевну Ляпунову. А моя мама была очень дружна с Полин (Полин — это жена Виктора, румынка). Когда это все случилось, они с мамой особенно подружились, так как мама рассталась с папой, а Полин переживала эту страшную драму, что ее Виктор влюбился в Веру. Верочка была очень интересная маленькая женщина, настоящая Ляпунова, очень яркая, да еще и художница.

Она тоже совершенно безнадежно влюбилась в него. Наконец, когда началась революция, Полин (первая жена Виктора) вернулась в Париж.

Вера и Виктор — их всегда звали по-французски — родили четверых детей: двух девочек и двух мальчиков. Жили во Франции, в Бельгии одно время он был профессором. Мы с Петром Леонидовичем ездили их навещать. Затем, уже в конце тридцатых годов, он наконец получил то, о чем мечтал всегда, — профессорство в Париже.

Потом разразилась вторая мировая война. Немцы уже подходили к Парижу. Они бежали. Но по дороге, по-моему в Бордо, Виктор подхватил воспаленные легкие и умер. Вера осталась с четырьмя детьми одна во время войны. Тут старшая дочь получила американскую стипендию в один из больших университетов (она была математиком), переехала в Америку и очень быстро сумела перевезти туда всю семью. И они жили в США. Но младшая дочка Верочка всегда оставалась француженкой, в Америке она жить не любила, предпочитала жить во Франции. Да. Так что очень большая семья — они мне двоюродные братья и сестры — в Америке. Когда мы были в Америке, то виделись с ними.

Все старшие Ляпуновы — Софья Викторовна, Александра Викторовна, Николай Викторович, Василий Викторович, — это были братья и сестры, очень большая семья Ляпуновых. Потом двоюродные братья — Михайловичи: Александр Михайлович, прославленный математик, академик, у него очень интересная судьба; Борис Михайлович, его брат, также академик, известный филолог; наконец, третий брат — музыкант. Все три брата были изумительно талантливыми людьми. По возрасту они младше моего отца, хотя приходились ему дядюшками. Самое интересное, что папа, когда жил в Париже, был там со своей новой супругой...

— Он женился?

— Он женился позднее, второй раз, но не на ней. Он выехал с ней из России вместе с этой комиссией. Но надо сказать, что та женщина, которая оказалась с папой, проявляла определенный интерес к Петру Леонидовичу. Она была необыкновенно красивая женщина, которая работала научным сотрудником в обсерватории. Папа одно время был директором обсерватории, как раз во время войны. Мама об этом узнала, и тут началась вся эта история.

Анна Богдановна была очень интересным человеком, очень добрым по отношению ко всем, но безумно ревновала отца. И эта ревность иногда доводила моего несчастного отца до очень печального состояния. В конце концов он с ней расстался. Он уехал, по-моему, в двадцать восьмом году в Ленинград. Когда мы узнали, что он решил жениться на Надежде Константиновне, мы безумно обрадовались: наконец-то у папы настоящая семья, чудный человек с ним рядом. Они жили в Ленинграде и, по-моему, уже успели зарегистрироваться. Она была учительницей, которая всю жизнь жила вместе со своей подругой. Две молодые безстужевки, будучи еще курсистками, познакомились у ворот тюрьмы. Будущая жена моего отца навещала жениха, а Женечка, ее подруга, носила передачи своему брату, видному эсеру. Там они познакомились и подружились и стали жить вместе. Когда Надежда Константиновна вышла замуж за Алексея Николаевича, это обернулось для них трагедией, поскольку прежде они не расставались. Наконец Женечка согласилась жить вместе с ними. Позже, когда Надежда Константиновна умирала в Казани, она «завещала» моего отца своей подруге, Евгении Николаевне, и та хранила моего отца до самой его смерти.

Второй рассказ Анны Алексеевны

Прошло несколько дней, и мы снова встретились с Анной Алексеевной в ее квартире.

— Сегодня я расскажу вам, Игорь, чуть больше о самом Петре Леонидовиче и начну с того, как он первый раз попал в Англию. Это произошло в четырнадцатом году, летом, тогда же, когда я ездила с мамой и братьями в Европу; только я тогда была еще девочкой, а Петру Леонидовичу было почти двадцать лет.

Он решил поехать в Англию на лето попрактиковаться в английском языке, и его родители, конечно же, помогли ему в этом. Живя и работая в Кронштадте, его отец был хорошо знаком с морскими офицерами и теми людьми, которые занимались «Ермаком», нашим первым ледоколом. Одним из строителей ледокола и одним из его капитанов был Васильев, — у него сохранились очень хорошие отношения с английскими кораблестроителями, и когда Петр Леонидович в четырнадцатом году, весной, захотел поехать в Англию, тот дал ему рекомендации к своим друзьям. Жизнь его в Англии в эту первую поездку избилась странностями как плохого, так и хорошего свойства. Сначала он приехал в семью, которая жила у маленького озера. Там он очень хорошо

устроился, пока не разразилась страшная трагедия: заболел и умер глава той семьи, в которой он жил...

Да. После этого та семья решила его передать своим друзьям, которые тоже оказались связанными со строительством каких-то пароходов или с чем-то еще и взяли его к себе как гостя, денег с него они не брали. Это была семья Милларов. Миссис Миллар смотрела на него как на своего сына, она его обучала манерам: «Пьер (она его звала Пьер, а не Питер), вы должны сидеть за столом так-то; Пьер, вы должны есть так-то; Пьер, вы должны заказать себе смокинг. Вы поедете с моим мужем в Эдинбург и закажете себе смокинг, потому что, когда вы выходите, вы должны быть одеты как следует».

Петр Леонидович поехал с мистером Милларом туда и заказал себе смокинг, который носил потом всю свою жизнь, в конце концов даже здесь, и фрак. Когда он должен был получать Нобелевскую премию, то, к сожалению, фрак был уже ему мал. Смокинг же дожил до сороковых — шестидесятых годов.

А когда Петр Леонидович жил у своих первых знакомых и случились все эти несчастья, он остался в доме один с прислугой, которая за ним смотрела несколько дней. И прислуга в ужасе звонит своим хозяевам и говорит: «Послушайте, ваш молодой человек сошел с ума, он голый ходит по улице». Те страшно испугались: что произошло? Оказалось, Петр Леонидович пошел купаться, а когда собрался выходить, выяснилось, что там, где он оставил свою одежду, расположилась лебедиха с лебедятами, и как только он подходил, она шипела и нападала, так что он не мог выйти. Поэтому он вышел с другой стороны и проследовал в трусах до своего дома. Несчастливая прислуга, когда открывала ему дверь, совершенно не могла понять, что случилось.

Он жил у этих Милларов, и мы подружились на всю жизнь. Очень интересно: когда Петр Леонидович в двадцать первом году к ним приехал, то миссис Миллар сразу ему сказала: «Как я могу теперь с вами разговаривать, когда вы убили вашего царя? Я этого не могу перенести».

Потом она убедилась, что Петр Леонидович в этом не виноват. И когда он женился на мне, миссис Миллар преподнесла нам совершенно роскошные подарки: вот эту картину импрессиониста и два эти чудные блюда. Потом пригласила нас на своем старом «роллс-ройсе» приехать к ней в гости: она покажет нам Шотландию. Мы ездили с ней по холмам Шотландии, она все нам рассказывала. Мы были очень дружны с двумя ее сыновьями — Брайеном и Гарольдом.

— Вы говорили, что Петр Леонидович каким-то странным образом выбирался домой?

— Он благополучно жил в Англии, пока не началась эта страшная война, и ему нужно было возвращаться домой. Но как? Через Европу невозможно. Можно только на пароходе, а пароходы не ходят. С трудом уже осенью он добрался не помню уж куда — до Бергена или до Мурманска. И только так вернулся к себе. Первое время он определился добровольцем в Союз городов к Владимиру Андреевичу Оболенскому. Оболенский был уполномоченным врачом-питательного отряда союза городов. Это было санитарное учреждение, и Петр Леонидович был шофером санитарной машины. Оболенский оставил очень симпатичные воспоминания, в которых рассказывает, как самый младший из отряда — восемнадцатилетний Петя Капица все время просил направить его в «летучку» (так назывались два перевязочных отряда, находившихся на передовой), а Оболенский его не пускал, боясь лишиться хорошего механика, который «был нужен в тылу для починки автомобилей»...

— Анна Алексеевна, а что Петр Леонидович рассказывал о своей юности, о детстве?

— О детстве он очень мало мне рассказывал.

— А кто был его отец?

— Отец Петра Леонидовича — Леонид Петрович — был военным инженером, строителем кронштадтских укреплений. Он окончил академию как военный инженер и строил кронштадтские форты. Когда Петр Леонидович посещал Кронштадт, его водили на те форты, которые построил его отец.

Много занимается его историей и историей его жены один очень занятный человек (он живет сейчас в Питере) — Евгений Борисович Белодубровский. Он выискивал много интересных фактов о Капицах. Установил, например, что

Леонид Петрович молодым офицером был в Тбилиси (тогда Тифлис) как раз тогда, когда там находилась Ольга Иеронимовна, его будущая жена. Ольга Иеронимовна, так же как моя мама, едва окончив гимназию и проработав год-полтора учительницей, отправилась с разрешения родителей из Тбилиси в Петербург, на женские курсы. Она кончала в одно время с моей мамой, они немножко знали друг друга. Это были передовые женщины, которые хотели получить образование. Мама была историком, а Ольга Иеронимовна, я думаю, кончала исторический или литературный факультет, а ее сестра Александра Иеронимовна была очень видным астрономом-математиком, и если бы не революция и вся эта заваруха, она, наверное, стала бы профессором.

— Откуда вообще эта фамилия — Капица?

— Капица-Милевские — это двойная южнорусская фамилия, приписанная к польскому гербу Ястржембских. Она встречается и в Югославии. Когда мы там были, то Петр Леонидович выразил желание обязательно посетить то село в Хорватии, которое называется Капица. Когда мы оказались в Загребе, Петр Леонидович сказал: «Я хочу туда поехать». Но ему ответили: «Туда очень трудно добраться, и потом, вы очень заняты...» Тогда Андрюша, мой сын, сказал: «Меня как географа интересуют такие-то озера, разрешите мне туда поехать». Ему сказали: «Конечно, конечно», — и он поехал искать село Капица. Нашел несчастное, заброшенное, грязное мусульманское село. И все Капицы, и все мусульмане. Поэтому Петра Леонидовича туда и не пускали.

— Вы думаете, есть связь?

— Нет. Никакой связи нет. Это южнорусская фамилия, украинцы считают ее украинской, югославы — своей. Она даже в летописи встречается, и очень рано.

— А как шло движение всей петербургской линии?

— Когда у прабабушки образовалась семья из довольно большого количества мальчиков, то все они поступили в корпус. По-моему, она овдовела. Капицы и Стебницкие — те и другие были всегда военными, потому что из таких обнищавших дворянских семей все мальчики шли в корпуса. Что делать с мальчиками? Приходилось отправлять их в корпуса: это была единственная возможность дать им образование. Они выходили офицерами. Все родственники Капицы были офицерами, прадеды и деды.

Белодубровский знает о них все. Он живет в Петербурге. Это веселый, очень общительный человек, который роется в архивах, открывает совершенно невероятные истории. На самом деле больше всего у них в роду было польской крови, потому что генерал Иероним Иванович Стебницкий, отец Ольги Иеронимовны, родной дед Петра Леонидовича, был поляком. Он дослужился до того, что жил прямо против дворца, над аркой Главного штаба, возглавлял там все топографическое дело. Одним словом, был в больших чинах.

— Это дед Петра Леонидовича по матери?

— Да, дед Петра Леонидовича по матери, отец Ольги Иеронимовны, всегда служил на Кавказе, был очень известным географом, занимался географией и топографией Кавказа, какими-то очень интересными исследованиями по гравитации, еще чем-то таким. Это был настоящий большой ученый — член-корреспондент Академии наук.

Старший брат Петра Леонидовича родился как раз над аркой Главного штаба, а Петр — уже в Кронштадте, куда его отец переехал строителем фортов.

У одной из сестер Ольги Иеронимовны был незаконный сын — Сергей Стебницкий, который теперь считается просветителем Камчатки. Племянник Петра Леонидовича, Ленья, написал о нем прелестный очерк и напечатал его. «Камчадалы»-коряки приезжали оттуда и сказали, что им это крайне важно, ибо Стебницкий для них — большая фигура: он создал алфавит, создал письменность для коряков, был настоящим просветителем. И его там очень почитают. Это двоюродный брат Петра Леонидовича. Он начал очень молодым. Окончил Петроградский университет, факультет восточных, каких-то дальних наших северных языков и занялся этим по-настоящему. В сорок первом он ушел в ополчение и погиб в самом начале войны, защищая Ленинград.

Ленья очень хорошо пишет. Петр Леонидович всегда говорил: «Ленья, ты должен стать писателем. Жалко, что ты не пишешь». А Ленья отвечал: «Кому это нужно?!» Теперь оказалось — нужно.

А отец Лени, Леонид, был этнограф, антрополог и положил начало нашему научно-популярному кинематографу. Один из самых первых научно-документальных фильмов был снят еще в двадцатые годы на Севере. Леонид — старший брат Петра Леонидовича, который очень его любил и очень нежно обращался. Их у Ольги Иеронимовны осталось двое, все остальные дети умерли...

— Анна Алексеевна, я хотел спросить вас про дом, в котором вы жили в Кембридже.

— Когда мы с Петром Леонидовичем приехали в Кембридж, то сняли в центре Кембриджа двухэтажную квартирку, где жили несколько месяцев. Потом Петр Леонидович сказал, что ему это неудобно, он хочет иметь большее помещение. И мы сняли (есть такие сдвоенные дома) одну половину такого дома почти за городом. До этого Петр Леонидович был членом Тринити-колледжа и жил в самом колледже. Но когда он женился (а женатым там жить не полагалось), ему пришлось выехать оттуда. Когда мы сняли этот дом, то поставили ту обстановку, которая была у Петра Леонидовича в колледже, — его собственную мебель. Там мы жили несколько лет. Там родился Сережа, туда приезжала моя мама, приезжала Ольга Иеронимовна.

Про Сережу будет другой рассказ, а сейчас я расскажу, как через некоторое время Петр Леонидович получил известность как ученый и стал членом Королевского общества. И не иностранным, а настоящим, что вообще редчайший случай. После этого он смог взять ссуду в банке, потому что банки с удовольствием дают деньги, когда знают, что это за человек. И мы построили дом. У нас был очень симпатичный архитектор, с которым мы стали дружны. Он оказался своеобразным, интересным человеком. Он и построил нам этот дом.

— В Кембридже?

— В Кембридже, еще дальше, по дороге на Хантингтон, рядом с большой фермой, которая принадлежала университету. Там мы купили землю. Это была абсолютно своя, собственная земля, то есть мы могли с ней делать все, что угодно. И на этой земле (мы купили один кусок, потом прикупили еще немножко, чтобы сад был побольше) построили дом, где родился Андрюша.

— Сейчас Андрей живет в том доме, где родился?

— Да. Когда Петра Леонидовича оставили в Москве и стало ясно, что мы никогда там жить не будем, он спросил: «Что будем делать с домом?» Я говорю: «Что хочешь, мне он не нужен». Он сказал: «Я хочу подарить его Академии наук». Я сказала: «Очень хорошо, ради Бога, чем скорее мы отделаемся от собственности, тем лучше».

— У вас не было чувства, что вы можете вернуться? Казалось, что советская власть будет вечно?

— Да, что мы туда уже не вернемся. Нас же не выпускали. Петр Леонидович решил подарить дом Академии наук. Но оказалось, что подарить дом, который принадлежит ему, но в Англии, учреждению, находящемуся в другой стране, очень трудно. Петр Леонидович долго мучился, наконец подыскал очень хорошего поверенного, который нашел все те законы, по которым все можно осуществить. И Петр Леонидович подарил дом Академии наук. Сейчас вокруг все обстроилось. Там великолепный сад, великолепный дом. Но после того как много лет дом принадлежал Академии наук, но управлялся от Кембриджского университета Колледжем имени Черчилля, он пришел в какой-то упадок. И его ремонтировали на средства двух меценатов. Один из них — Максвелл, тот, что позже попал под суд. До своего самоубийства он успел дать грант на ремонт дома. Академия получила большие деньги, на которые этот дом ремонтировался. Сейчас он в полном порядке. Теперь только надо найти возможность, чтобы кто-то взял все это в свои руки, потому что Академия наук ныне ничего не может, у нее нет валюты, нет ничего. Значит, дом должен себя окупать. Петр Леонидович хотел, чтобы туда приезжали наши ученые. Так это и делается. Одно время там жил молодой ученый со своей семьей. Сейчас живет Андрей, потом будет жить Сергей. Потом еще кто-нибудь. Одним словом, все это надо провести через невероятные препоны английских аппаратчиков. Андрюша говорит, что аппарат, с которым ему приходится сражаться в Англии, еще хуже нашего, что это нечто совершенно чудовищное, всякие чиновничьи штучки, что он иногда пребывает в совершенном

отчаянии. Теперь мы добиваемся возможности объединения усилий Кембриджского университета и Академии наук. С тем чтобы Академия наук могла посылать туда своих людей и университет тоже мог пользоваться этим домом. Петр Леонидович всегда хотел, чтобы это был Русский центр...

В этом доме мы жили до тридцать четвертого года, покамест нас здесь не оставили. Тридцать лет Петра Леонидовича никуда не выпускали и абсолютно разрушили ему всю жизнь, потому что физику необходимо общение, необходимо видеть лаборатории, посещать людей, разговаривать с ними. Он потерял все свои заграничные связи, ибо ни с кем не переписывался. Переписывалась всегда я. Он не хотел писать, и если надо было что-то писать, то писала я. Когда мы в шестьдесят каком-то году приехали в Кембридж, там никого не было, все уже ушли на пенсию, были совершенно другие физики. Имя его было известно, но товарищей не оказалось. Он потерял всякую связь с ними. Наши никогда не понимали, что для ученых такой перерыв связей — страшная вещь. Тридцать лет — крайне много. Это целая жизнь. Видите, это была совсем не такая легкая жизнь, как всегда Петру Леонидовичу говорили: «Ну, вам все можно... Это же вы». И не знали, какими трудами, какими страшными ударами получено это «все можно», как он с этой судьбой сражался, как он не поддавался ей. Так что это была не такая легкая жизнь, как кажется...

А когда он с Берией поссорился... Эти слова Сталина: «Я тебе его сниму, но ты его не трогай»... Мы узнали об этом только после смерти Сталина. Мы все время жили под тем, что Берия все-таки найдет возможность как-нибудь нас уничтожить.

— А как возникла эта конфронтация?

— Петр Леонидович не мог работать с таким человеком, как Берия. Он написал письмо Сталину о поведении Берии, говорил, что тот совершенно недопустимо относится к ученым, и сделал последнюю приписку: «Это не донос, это полезная критика, и прошу показать это Берии».

Вы представляете, в какое состояние пришел Берия...

— Это было в сорок шестом году?

— Да, это было в сорок шестом году. Тогда последовал разгром Главкислорода и всего на свете; Петра Леонидовича ~~сняли~~ со всего, что только можно было.

— Собственно говоря, почему?

— Началось это потому, что он входил в Атомный центр, которым руководили Берия и Курчатов.

Петр Леонидович всегда считал, что Курчатов совершенно изумительный человек. Он умел разговаривать с нашим правительством. Он умел не только разговаривать, но умел себя поставить с ними. Но он и умер очень рано. Он понимал все, что делается. У него были великолепные ученые — такие, как Харитон, Зельдович, вся эта компания атомщиков совершенно великолепная. Но самое главное, что Курчатов умел и дипломатически, и тактически, и всячески разговаривать с нашими «старшими товарищами», как их называл Петр Леонидович, не раздражая их.

— Собственно говоря, Петр Леонидович тоже был мастером...

— Но он не мог пойти на некоторые компромиссы со своей совестью. Ничего не мог.

— Анна Алексеевна, я всегда хотел спросить: это произошло потому, что Петр Леонидович пересилил себя, или он был настолько широк по восприятию, что даже в каждом злодее находил что-то человеческое?

— Нет, в злодеях он не находил ничего. В Берии он ничего не находил.

— Берия — абсолютный злодей?

— И Сталин тоже. Петр Леонидович был очень мудрый человек. Он всегда хотел, чтобы наши «старшие товарищи» что-то знали, что-то понимали, вот почему у него такая громадная переписка со Сталиным — пятьдесят писем, очень вежливые, очень тактичные, даже льстивые. Потому что по-другому он не мог заставить такого человека читать эти письма. Он должен был заставить его не только получать их, но читать. И оказалось, что Сталин читал не только все письма, которые он получал. Однажды Маленков сказал Петру Леонидовичу: «Пишите Сталину, он читает все письма, которые вы ему пишете, и все письма, которые вы пишете мне». Поэтому, как я говорила, Петру Леонидовичу приходилось гладить его всегда по шерстке. Когда вы имеете дело с

тигром, диким зверем, то надо гладить его по шерстке. И он его гладил по шерстке, он ему лстил, и совершенно правильно, потому что Петр Леонидович хотел, чтобы тот прочел, и тот читал его письма — вот что самое удивительное. Принесло ли это пользу кому-нибудь, я не знаю. Во всяком случае, Петр Леонидович считал своим долгом довести до сознания наших «старших товарищей» то, что хотел: положение дел в нашей науке, положение наших ученых...

— Петр Леонидович хлопнул дверью, чтобы вообще не участвовать в создании атомной бомбы?

— Нет-нет. Он хлопнул дверью, потому что не мог работать с Берией... Он не мог работать под стражей, это для него было исключено. Одна из первых вещей, которые он потребовал, — чтобы все арестованные физики были возвращены. Но оказалось, что их не так уж много. Очень многие погибли. К сожалению, нет этого письма, это только с моих слов. Может быть, он даже не писал его, а только говорил Берии насчет этого. Он так хотел работать. А когда бедный Арцимович рассказывал, в каком положении они иногда были, когда работали, — страшно подумать! Недаром все они, кроме Харитона, так рано умерли.

— Предпочитали молчать не только из-за подписки, подчас даже было неудобно говорить о том, что они видели?

— Это просто тяжело. Это страшный груз, который лежит на человеке. Это очень тяжело. Очень. И то, что Харитон наконец смог что-то выговорить, — это большое счастье. Харитон очень хороший человек. Но он вполне предан своей идее — Арзамасу-16. Когда я увидела Харитона вместе с нашим патриархом, мне стало страшно весело. Он же принимал его, когда тот приехал в Саровский монастырь — Арзамас-16. Патриарх и Харитон!

Третий рассказ Анны Алексеевны

Прошло еще несколько дней, и снова, уже в конце декабря 1992 года, мы встретились с Анной Алексеевной у нее дома.

— Анна Алексеевна, — попросил я, — может быть, вы коснетесь того периода жизни на Николиной Горе, когда Петр Леонидович и вы фактически были в большой опале. Как это получилось? Это произошло внезапно?

— О да! Это случилось внезапно. У нас были какие-то гости; я не помню, что было, но у нас собрался народ. Пришла Ольга Алексеевна Стецкая — помощница Петра Леонидовича, большой наш друг, и сказала со страшным волнением: «Петр Леонидович, вы отстранены от директорства институтом».

До этого Петр Леонидович уже был отстранен от всего остального, а тут еще вдобавок его отстранили даже от директорства своим институтом. То есть все, где он работал, что он создал, — все рухнуло. Он, конечно, был потрясен. После этого он несколько месяцев неважно себя чувствовал.

— А вы были на даче?

— Да, на даче. Тогда мы решили, что это происки определенного лица, а именно — Берии. А Берия был очень опасный человек, так что нам надо было постараться как-то защититься от него, то есть поменьше выезжать, поменьше появляться в Москве. Тогда мы и решили, что будем жить на даче.

— После того как вы узнали, что он отстранен, вы еще ездили в институт?

— После этого он никогда туда не ездил, до самого конца. Больше он в институте не был. Я как-то поехала в институт, когда назначили нового директора — Александрова, потому что часть личных бумаг Петра Леонидовича осталась в служебном сейфе.

Мы остались в нашей даче. Она была казенной, но принадлежала нам, потому что, когда было сталинское постановление о том, что все академики получают в личную собственность дачи в Абрамцеве, в Мозжинке и в Луцино, Петр Леонидович сказал, что ему в Абрамцеве дача не нужна — у него уже есть дача на Николиной Горе и он хочет, чтобы Академия наук обменяла ее (то есть дача на Николиной Горе будет его собственная, а абрамцевскую он сдаст). И академия отдала эту дачу Обреимовым, нашим большим друзьям. Дача была наша, но ремонт после войны, когда Петр Леонидович был в Главкислороде, выполнялся Хозяйственным управлением Совета Министров. Обстановка на даче тоже принадлежала им. Она была такая, какую вы всегда видите во всех официальных местах. Нам такая обстановка была абсолютно чуж-

да. Но мы жили благополучно, и нас обслуживали, пока еще продолжали обслуживать. Очень милая Варвара Степановна, с которой мы прекрасно ладили. Она со своим сыном жила у нас, но оплачивалась Советом Министров, и еще Клабочка, которая приходила и топила печки. У нас было что-то около десяти печей, которые требовалось топить. Так мы и жили. Потом Хозяйственное управление Совета Министров решило: довольно, нечего больше обслуживать Капицу.

Как-то раз хозяйственники заявили нам: мы убираем все. Мы ответили: пожалуйста, убирайте! Они убрали этих дам — Варвару Степановну с ее сыном и Клаву. После этого они сказали: вся мебель, которая у вас стоит, принадлежит нам, мы ее всю забираем. В один прекрасный день приехало несколько машин с рабочими, они явились на дачу и вынесли абсолютно все. Я пришла переговорить с рабочими. Говорю: «В кабинете Петра Леонидовича полки сделаны из наших досок, может быть, вы оставите их?» Они ответили: «Нам сказали: увезти в с е. В с е, в с е!»

Мы отнеслись к этому совершенно спокойно. Мы в то время переехали в сторожку, где сейчас лаборатория. Там были две комнаты, кухня...

— В какое время это произошло?

— Это было зимой сорок шестого — сорок седьмого года. У нас тогда был Джек — большая немецкая овчарка, очень симпатичная собака. И мы жили в этой сторожке очень хорошо.

— А где же были Андрей и Сергей?

— Андрей и Сергей жили с Натальей Константиновной и Леней в городе. Андрей кончал школу. Они жили здесь только летом. Нам дали две квартиры в Москве, которые они и занимали. Мы там переночевали, по-моему, раза два, а потом никогда больше не приезжали. А они жили там. Наталья Константиновна была хозяйкой.

— Квартиры дали потому, что вам пришлось выехать из того особняка?

— Да.

— Вот как. Я думал, что это был ваш особняк.

— Нет-нет. Туда въехал Александров.

Так вот, мы переехали в свою сторожку, там были две комнаты, кухня; была такая печка, а от печки — маленькая плита. В этой сторожке одно время жил наш старый сторож.

Мы тут жили великолепно. Но очень уединенно. У нас не было воды, мы ходили на речку, сделали прорубь, так чтобы удобно было брать оттуда воду. Потом нам надо было топить печки дровами. Дрова у нас были. Дрова нам все-таки оставили. Единственное, что оставили.

— То есть вы жили, абсолютно не выезжая в Москву?

— Старались не выезжать. Если у Петра Леонидовича в это время еще были какие-то лекции, он ездил на лекции. Во всяком случае, очень быстро Петр Леонидович начал думать о том, что все-таки можно заняться какой-то физикой. Первое время он очень много занимался математикой, потому что математика была у него в руках, но он не очень тверд был в некоторых ее частях... его интересовало что-то, так что он все время чем-то занимался. Но мы очень осторожно жили в том отношении, что когда ходили гулять, то всегда вдвоем. Он никогда не уходил один.

— Анна Алексеевна, вы жили тогда фактически только на академическую зарплату?..

— Мы еще продали машину. А потом, в конце года, мы вдруг поняли, что нам незачем все время жить в сторожке, если Петр Леонидович хочет заниматься наукой. И решили переехать в большой дом, а сторожку сделать лабораторией. Тогда мы обратились ко всем друзьям, заняли абсолютно у всех, кто только мог дать нам, деньги. Я недавно нашла список, кто что нам дал, и там написано: «Все отдано»...

Взяв в долг деньги, мы обставили дачу. Обставили очень просто: столы, стулья, какие-то топчаны. Петр Леонидович в это время тоже занимался в свой отдых тем, что сделал стол и две скамейки. Так что у нас всего было достаточно.

Когда мы там жили, Наталья Константиновна нас снабжала. Она приезжала и привозила нам все продукты.

— Просто на поезде?

— Нет, она ездила на машине. У нас, кроме «бьюика», который мы продали, была вторая машина. Я не помню, как она называлась. Этакая старая развалюха, которая оказалась еще вполне подходящей. И Наталья Константиновна приезжала на ней. Но иногда к нам нельзя было проехать, потому что дороги у нас не было, была только тропа, все заметало снегом. И Наталья Константиновна шла от нашего маленького перекрестка, где дорога поднимается к Николиной Горе, по тропинке. Раз я ее встречала — у нас был какой-то праздник, она шла с тортом и в конце концов провалилась в сугроб. Вдруг я вижу: Наташа ползет на животе, а торт толкает перед собой.

Когда Хрулев узнал о том, как мы живем, он сделал нам дорогу. Генерал Хрулев, начальник тыла нашей армии, который очень хорошо относился к Петру Леонидовичу. Он был у Сталина, когда туда пришел Берия и заявил Сталину, что хочет арестовать Капицу. А Сталин ему сказал (Хрулев передал нам эти слова уже гораздо позднее): «Ты его не трогай». Но мы-то об этом не знали.

И — я уж не помню, в какой год, через год, два или, может быть, через три — Хрулев, узнав о том, как мы живем, проложил это маленькое шоссе к нам на дачу.

— Анна Алексеевна, а как же вам лабораторию на даче построили? Там же, вероятно, пришлось вести большое строительство?

— Это произошло уже гораздо позднее — в пятьдесят втором году, вот так. Тогда Петр Леонидович написал Маленкову или Сталину (я не помню кому, это надо уточнить), что у него есть соображения о том, над чем он сейчас работает, и что это может помочь, — нечто наподобие того, что американцы делают сейчас для защиты от атомных бомб. У Петра Леонидовича подобная идея возникла уже в то время. И тогда Академии наук было сказано, что Капице надо помочь, и нам построили маленькую лабораторию во флигеле нашей сторожки, где у Петра Леонидовича было все — и высокое напряжение, и все на свете. И там он мог работать без помех.

— Но юридически он все равно не принадлежал к Институту физических проблем? И как бы нигде не работал?

— Не работал. Одно время он был лектором в университете. Но с ним, как всегда, произошел интересный казус. Был день рождения Сталина — ему, кажется, семьдесят лет исполнилось. Был страшный бум, все поздравляли, проходили необыкновенные собрания. А Петр Леонидович просто не явился на собрание в честь Сталина. Тогда Христианович написал ему письмо, что человек, который так поступает, не может воспитывать молодежь и они отказываются от его лекций. И Петр Леонидович остался безо всего. Он написал Сталину, что, мол, из-за вашего дня рождения вот что получилось. Тогда Академия наук нашла благородный институт, который согласился взять Петра Леонидовича в сотрудники. Это были кристаллографы. Петр Леонидович был очень благодарен, что Институт кристаллографии взял его своим сотрудником. А когда мы жили еще в сторожке, то директор Института математики Иван Матвеевич Виноградов, человек в высшей степени своеобразный, которого мы очень хорошо знали, разрешил своему заместителю по хозяйственной части помогать Петру Леонидовичу в разных практических вопросах: если надо, электричество провести или еще что-то.

А между тем вокруг нашей дачи почему-то все возрастало число военных. Они жили кругом нас: рядом с нашей лабораторией, нашим гаражом, за нашим забором. Петр Леонидович сказал мне однажды: «Знаешь, они делают подкоп». Но это нас как-то не очень волновало, мы решили: пускай делают подкоп. Конечно, мы всегда знали, что нас всюду прослушивают, что всюду стоят «жучки». Настолько привыкли к этому, настолько это было нормально, что уже совершенно не обращали на это внимания.

Наш Сережа как-то был на Кавказе, на озере Рица, а там находилась сталинская дача. Это произошло сразу после смерти Сталина. Когда Сережа там остановился, то в каком-то разговоре зашла речь о том, что на той стороне озера — дача Сталина. Сережа поинтересовался, можно ли туда поехать. Ему сказали: конечно, она пустая. Сережа взял какую-то лодку и отправился на ту сторону озера. Пришел туда, увидел, что дача пуста, там только какая-то женщина, которая сторожит ее. Он спросил: «Скажите, пожалуйста, можно мне войти в дом, посмотреть?». Она ответила: «Конечно». Сережа отворил дверь и вошел в сталинскую дачу. Она была абсолютна пуста, только на какой-то сте-

не висел фотографический портрет молодого Сталина. Больше там ничего не было. Сережа ходил по всем комнатам. Там было очень красиво; все отделано великолепным деревом, самым разнообразным, и очень хорошо выполнено. И тут он своим глазом физика начал смотреть и нашел все подслушивающие штучки, всюду, вплоть до ванной комнаты. Даже у Сталина! Сережа этим страшно заинтересовался, все осмотрел, потом поблагодарил старушку и уехал обратно. Так что подслушивающие аппараты всегда были, и это никого особенно не волновало. В один прекрасный день я говорю: «Петя, что это у нас опять роют в парке?» Он говорит: «А это прокладывают новый кабель. Мне сказали: мы должны проложить вам новый кабель. Я все понял. Им больше ничего не надо было мне говорить». Действительно, все было ясно. Но было опасно, был страх. Был страх, что если вы начнете слишком громко разговаривать, то очень быстро отправитесь так далеко, что вас уже не будет слышно. Этот страх всех держал. И сейчас, когда люди говорят: ах, при Сталине был порядок... Известно, был порядок. Конечно! Потому что было очень страшно.

— Институт физических проблем фактически был создан тогда, когда Петра Леонидовича не пустили обратно?

— Когда Петр Леонидович был оставлен здесь в тридцать четвертом году, осенью, он жил сначала в Ленинграде, с мамой, Натальей Константиновной и братом Леонидом. Вся семья. А я уехала обратно в Кембридж, потому что там оставались дети и моя престарелая мать. Мне следовало там все устроить. И мы с Петром Леонидовичем, как настоящие заговорщики, решили, что хоть часть семьи надо оставить за границей. Ведь Петр Леонидович не знал, что с ним будет. Никто никогда не знал, посадят вас или не посадят.

— Уже в то время?..

— Это был тридцать четвертый год. Петр Леонидович находился в Ленинграде, когда убили Кирова. Что тут началось!..

Когда Петр Леонидович там жил, в подъезде всегда стояли двое. Куда бы он ни шел, они шли за ним. И муж никогда не знал: охрана это, или слежка, или ему показывают, что хотят знать, с кем он встречается, и т. д. Доходило даже до того, что, когда Петр Леонидович делал вид, что их не замечает, они дергали его за пальто, чтобы он знал: они тут. Это было такое давление: имей в виду — ты все время в наших руках, никаких штук!

Несмотря на это, Петр Леонидович со своим братом Леонидом иногда шутили. Леонид надевал пальто Петра Леонидовича (они были очень похожи) и выходил. И те следовали за ним. Так они развлекались. Фантастично... — убийство Кирова. Бог знает что делается, а эти двое просто играют со смертью...

Петр Леонидович все время торговался с правительством. От него требовали тогда, чтобы он немедленно начал работать здесь. А он пишет (он не говорил с ними, только переписывался), что не может начать работать без своей лаборатории, что, только если его лаборатория в Кембридже будет передана сюда, он сможет работать; что он никогда не отказывался работать в Союзе; что он всегда, когда приезжал, был консультантом: он много сделал, всегда принимал всех физиков, всех, которые приезжали, всем помогал за границей. Он никогда не отказывался от своей страны и думал, что в конце концов переедет сюда, но не таким путем, когда человека хватают и все прерывают. У него же там были подготовлены очень интересные опыты, за которые через сорок лет он получил Нобелевскую премию. Там все было налажено, все сделано, он должен был вернуться из отпуска и заниматься этими гелиевыми вопросами. Это произошло на самом верхнем уровне его карьеры, когда все это было прервано и уничтожено.

Он начал тогда говорить нашему правительству, что, если они не согласятся приобрести его лабораторию, он переходит в физиологию, к Ивану Петровичу Павлову, который готов был его взять и сказал ему: «Вы можете, Петр Леонидович, начинать хоть завтра, меня интересуют ваши вопросы — это мускульное действие. Я очень рад. Пожалуйста, приходите ко мне работать».

Петр Леонидович начал мне писать: пришли такие-то книги по физиологии, поговори с Хилом, поговори с этим... И уже начал заниматься физиологией.

Тогда у них, очевидно, просветлело в голове и они подумали: а он и в самом деле перейдет, и тогда зачем он нужен? Они полагали, что он нужен им как военный эксперт, потому что наши «старшие товарищи» всегда считали, что каждый физик — это потенциальная военная возможность; что бы физики ни делали, все это можно приложить и что они ценны именно с этой стороны. Но Петр Леонидович никогда никакими военными делами не занимался. Это было абсолютно вне его сферы. Совершенно! И «старшие товарищи» решили: «Хорошо. Но как это сделать?» Он сказал: «Я могу написать Резерфорду письмо». Тогда Молотов через Межлаука сказал ему: «Хорошо, напишите». Петр Леонидович написал письмо. Молотов сказал: «Нет, такое письмо мы вам разрешить не можем. Вы сообщаете, что оставлены здесь против вашей воли. Нет-нет... Напишите по-другому». Петр Леонидович немножко смягчил. А я уже была там, и Резерфорд все знал.

— Вас пустили?

— Меня пустили спокойно, вместе с машиной.

— Вы приехали на «бьюике», наверное?

— Нет, у меня был «вокхол» — такая очень симпатичная машинка. И я, погрузив машину и себя на пароход, отправилась в Англию. Я была там. Он был здесь. Мы переписывались приблизительно два раза в неделю. Тогда письма шли примерно неделю. И ни одно письмо не пропало. Мы понимали, что наши письма читали не только мы, читали их и другие. Но, как хорошие заговорщики, мы все-таки имели какой-то шифр. У нас был свой шифр, правда, совершенно прозрачный.

В то время, в тридцать пятом — тридцать шестом годах, многие наши друзья ездили в Москву, и каждый раз я давала им посылки; они везли Петру Леонидовичу какие-нибудь вещи, которые он носил. Он очень любил специальные рубашки. Я ему заказывала и посылала рубашки и еще что-то. Если я посылала их по почте, то с него брали такую необыкновенную пошлину, что он не мог их выкупить.

— А Межлаук был?..

— Межлаук был ни больше ни меньше как заместителем председателя Совнаркома. Он, так сказать, курировал Петра Леонидовича. И Валерия Ивановича Петр Леонидович очень хорошо знал. Но иногда он Межлаука отчаянно шокировал. Ведь Петр Леонидович был страшный озорник. Когда строилась лаборатория, когда решился вопрос, что они покупают лабораторию, — Резерфорд согласен, университет согласен, Royal Society согласно, наше правительство согласно, все согласилось, и Петр Леонидович уже был директором предстоящего института, который сейчас же начали строить (планы он посмотрел, чтобы все было так, как надо), — во время строительства Петр Леонидович как-то пишет Межлауку письмо: что это такое? Перечисляет, что он сделал, что строится, и потом пишет: «Какое же вы правительство, если не можете заставить ваших людей построить небольшой, совсем крошечный домик? Вы же не правительство, вы просто мямли».

Боже, как обиделся Межлаук. Никогда ничего подобного он не слышал: вдруг их, правительство, называют мямлями. Вы представляете — большевиков называют мямлями... Он потребовал к себе Ольгу Алексеевну (заместителя Петра Леонидовича) и сказал: «Ольга Алексеевна, что это такое, как Петр Леонидович может так...»

— Когда началось строительство?

— Я приехала к мужу в тридцать пятом году, когда лаборатория уже была на полном ходу. Тогда еще Ольги Алексеевны не было, а был Леопольд Ольберт, которого приставили к Петру Леонидовичу. Этот Леопольд Аркадьевич действовал Петру Леонидовичу на нервы: ему не нравились все его замашки, он бывал груб с Петром Леонидовичем. Но он боялся меня как огня. Я уже рассказывала вам, как его обезоружила.

— А какого типа человек был этот Ольберт?

— Он был очень умелый человек в области строительства. Перед этим Ольберт что-то строил Вавилону, и Сергей Иванович Вавилов со своим обходительным характером с ним очень хорошо ладил. Поэтому, когда его назначили к Петру Леонидовичу, тот сразу его взял, ибо Вавилов сказал, что с ним можно работать. А Петр Леонидович совершенно не мог с Ольбертом работать. В конце концов он нашел Ольгу Алексеевну, которая за-

менила Ольберта. Ольга Алексеевна была абсолютно честным человеком, на нее он мог положиться. Она была женой Стецкого, которого в это время уже расстреляли. Но она не переменяла фамилию, как была Стецкая, будучи за ним замужем, так и осталась.

— Анна Алексеевна, а как этот домик построили?

— Тот домик, в котором сейчас мемориальный музей, построили для Алиханьяна, когда Петр Леонидович жил на даче. Алиханьян — брат Алиханова. Тот, который работал в России, был Алиханов, а тот, что работал в Ереване, был Алиханьян. Артюша Алиханьян одно время тоже работал в Москве. Когда Александров был директором, он в нашем парке и построил Артюше отдельную лабораторию. Но к тому времени, когда Петр Леонидович вернулся директором к себе в институт, Артюша уехал в Ереван, и дом пустовал.

Я сказала: «Тот дом, в котором мы жили раньше... ни под каким видом я там жить не буду».

— В каком же доме вы жили раньше? Разве не в этом?

— Был построен специально для нас большой дом, сейчас превращенный в лабораторию. Когда вы едете к нам, направо стоит большой дом с колоннами, с видом на Москву.

Так вот, когда Петр Леонидович стал снова директором, мы с ним решили, что больше жить на прежнем месте не будем, что там неудобно и пусть там размещает лабораторию, а мы поселимся в доме, освободившемся после Артюши Алиханьяна. Нам его немножко переделали, взяли часть панелей, которые были сняты оттуда. Наталья Константиновна сделала нам лестницу, перепланировала, а потолок остался Артюшин; как мы говорили: синее небо Армении. Чудесное было место, прямо в парке. И мы там прекрасно жили почти тридцать лет. Дольше, чем где бы то ни было.

— Анна Алексеевна, до того, как мы заговорили об этом домике, вы начали рассказывать, как Петр Леонидович жил с семьей в Ленинграде. А дальше?

— Я в это время была в Англии, занималась там детьми, объясняла Резерфорду, что произошло и что Петр Леонидович считает нужным делать. Он все письма адресовал мне, а я часть писем переводила, чтобы Резерфорд видел, что это такое. В конце концов ситуация разрешилась. Резерфорд сумел убедить и Королевское общество и университет, чтобы все оборудование они передали Петру Леонидовичу.

— Продали или передали?

— Продали. За тридцать тысяч. Тогда это были большие деньги. Когда Резерфорд предложил Петру Леонидовичу устроить свою лабораторию в Кавендишской лаборатории, тот написал ему большое письмо, изложив свои соображения по этому поводу. В письме Петр Леонидович указывал, что, если когда-нибудь захочет переехать в другую страну, ему помогут с перевозкой всего оборудования. Так что уже тогда он предполагал такую возможность и этот пункт был записан, а Резерфорд на этом пункте сыграл. Петр Леонидович всегда говорил: «Вот видите, такой пункт был, и значит, я не хотел на всю жизнь оставаться в Кембридже». Он всегда думал, что в конце концов переедет в Советский Союз. Но переедет, построив сначала лабораторию, а не наоборот.

Институт начал строиться в тридцать пятом, а в тридцать седьмом году уже были опубликованы работы, сделанные в этом институте. Вы представляете, с какой скоростью построили институт, несмотря на то что Петр Леонидович называл наше правительство «мямлями».

— А с набором специалистов трудности были?

— Существовала договоренность с правительством и с Резерфордом, что приедут его личный ассистент и главный механик.

У Петру Леонидовича были два человека, которые работали с ним уже тринадцать лет, и он хотел, чтобы они приехали сюда и наладили всю работу. Один — эстонец, Эмиль Янович Лаурман, с которым Петр Леонидович работал, еще будучи практикантом на заводе Сименса в Петербурге, когда он был студентом Политехнического института, и познакомился с Лаурманом, очень опытным практиком. Во время революции он переехал к себе в Эстонию. Когда Петру Леонидовичу уже в Кавендишской лаборатории понадобился ассистент, он попросил Резерфорда разрешить Лаурману приехать к нему. Лаурман

приехал, в конце концов к нему перебралась вся его семья, он перешел в английское подданство и остался там навсегда. Это были большие наши друзья, вся семья. Когда Петра Леонидовича оставили здесь, он попросил Резерфорда прислать Лаурмана на несколько месяцев — с тем, что он обеспечит тому содержание, жалованье и все, — дабы Лаурман наладил работу. Лаурман — это было очень важно — говорил по-русски. Но у него был один дефект: он был глуховат. Но ничего, наши быстро привыкли и хорошо с ним объяснялись. Другой — молодой англичанин Пирсон (это уже кембриджский человек) был главным механиком. Он тоже приехал в Москву, но оставался немножко меньше Лаурмана. Лаурман налаживал электрохозяйство, Пирсон — мастерские, объясняя мастерам, что к чему. Эти двое, ближайшие сотрудники Петра Леонидовича, первые несколько месяцев оставались с ним и очень ему помогли. Очень!

— Сильвия тогда же приехала?

— Я написала моим большим друзьям, что мы просим прислать на три летних месяца какую-нибудь молоденькую англичанку, чтобы мальчишки не забыли английский. Приехала Сильвия, которой у нас так понравилось, что она осталась не на три месяца, а гораздо дольше. Осталась здесь на всю жизнь. И стала гораздо более советской, чем многие советские. Ей в нашей стране все нравится.

— До сих пор?

— До сих пор. Она ездила в Англию уже несколько раз, делала операцию, связанную с заболеванием ног, теперь ноги у нее в полном порядке, она ходит как мы с вами. Никаких болей, ничего. Каждый раз она говорит: «Там я очень скоро понимаю, что мне пора возвращаться домой, там все-таки не то. Там очень удобно, там прекрасно, там мои друзья, мои родственники, они очень хорошо ко мне относятся, но их способ жизни...» Скажем, Сильвия живет у своей племянницы, там двое детей, она покупает бананы. Племянница спрашивает: «Зачем ты купила бананы?» — «Угостить детей». — «Я им даю по одному банану, и этого им совершенно достаточно». Сильвия говорит: «Этого я в Англии перенести не могу. Или когда они долго-долго размазывают масло по своему кусочку хлеба, — это тоже невыносимо!»

— Почему?

— Потому что она — широкая русская натура. Там люди живут экономно, и эта экономия не в натуре Сильвии. Поэтому, хотя ее и раздражают наш беспорядок, наша грязь, все-таки это ей ближе, чем европейский образ жизни. Сильвия удивительный человек в этом отношении.

Так мы и жили. Но, конечно, нас опасались: это были тридцать седьмой — тридцать восьмой годы, когда шли эти страшные процессы, когда никто не знал, арестуют его или вышлют... Многих кругом арестовывали. Это было очень страшно. Живя в Англии, мы гораздо больше знали о наших беспорядках, чем люди знали здесь. Мы знали о лагерях, о том, как шло раскулачивание, — ведь там об этом много писали.

— А как у Петра Леонидовича выкристаллизовалась основная тема работы?

— Она была та же, что и в Англии. Там он занимался большими магнитными полями, но понемножку это отставил и больше занялся гелием. Жидким гелием, сжижением гелия, работой с гелием. Его знаменитые работы по гелию были сделаны здесь. А Ландау разработал для них теорию. Поэтому он первый получил Нобелевскую премию, а Петр Леонидович гораздо позднее.

— А как Ландау пришел в институт?

— Просто Петр Леонидович предложил Ландау переехать из Харькова в Москву, к нему в институт. Он, очевидно, договорился с харьковчанами, чтобы те отпустили Ландау, и тот с удовольствием переехал в Москву. У Ландау был очень тяжелый характер, тяжелый в том отношении, что он тоже был ужасающий озорник и в разговорах не стеснялся. Петр Леонидович очень ценил Ландау как ученого, снисходительно относился к его выходкам, поэтому у них никогда не было ни одного недоразумения. Никогда! Это совершенно поразительно. Ландау очень уважал Петра Леонидовича за многое и никогда не позволял себе с ним никаких выходок, какие позволял в отношении других.

— А какие ведущие сотрудники еще появились?

— Первым был Шальников, очень талантливый физик, который перешел от Семенова. Семенов очень помог: из Ленинграда он отпустил своего механика Минакова Николая Николаевича, который сделался нашим главным механиком. Вокруг него Петр Леонидович собрал блестящую плеяду механиков, но Николай Николаевич был их главой. Потом Семенов отпустил одного из самых лучших своих стеклодувов; это была целая семья, и Александр Васильевич Петушков являлся одним из знаменитейших стеклодувов. Он был очень нужен Петру Леонидовичу, и Николай Николаевич Семенов его отпустил. Шальникова он тоже рекомендовал и отпустил сюда. И все они переехали жить из Ленинграда в Москву. В тех квартирах, что были построены у нас, — на фасаде института имелся целый небольшой комплекс двухэтажных квартир, — всех приехавших расселили там вместе с семьями. Там жили Пешков, Ландау, Стрелков — все наши главные сотрудники. Там жили Николай Николаевич Минаков и Петушков.

— Николай Николаевич Минаков — механик, он работал руками или?..

— В институте механик должен работать и руками и головой; он должен сам придумать, как лучше сделать то, что получает как чертеж или даже как мысль сотрудника. Петр Леонидович выбирал своих механиков каждого отдельно. У него ведь не было кадровика. Кадровик занимался только тем, что все записывал, а каждый человек, даже младшие сотрудники и механики, все проходили через руки Петра Леонидовича.

— Петр Леонидович считал кого-нибудь своим лучшим учеником? У меня такое впечатление: он был настолько выше остальных, что оказался как бы одинок.

— Петр Леонидович создавал не столько школу, сколько влияние вокруг себя. А вот Николай Николаевич Семенов создавал школу. Николай Николаевич, что всегда восхищало Петра Леонидовича, в своем отношении к ученикам был необыкновенно щедр. Он всегда отдавал им все, что знал. Николай Николаевич щедрости был совершенно фантастической; Петр Леонидович всегда считал его талантливым, человеком исключительной фантазии, исключительных знаний, и его восхищала эта щедрость. У Николая Николаевича была громадная школа. Петр Леонидович относился к людям с интересом, а Николай Николаевич — с любовью. Это разные вещи.

— А они являлись большими друзьями?

— Они были друзьями с ранних лет. Познакомились они, по-моему, у Абрама Иоффе на семинарах. Николай Николаевич был в Петроградском университете, а Петр Леонидович в Политехническом институте, потому что Николай Николаевич окончил гимназию, то есть изучал латынь и мог поступить в университет, а Петр Леонидович, окончивший реальное училище, поступить в университет не мог.

У Петра Леонидовича была очень странная черта в характере: он никогда ни с кем не переходил на «ты». Если он знал человека с юности, он говорил ему «ты». Он говорил «ты» Френкелю, Семенову, Обреимову, потому что они все были в этой семинарской группе, а в жизни я, наверное, могу пересчитать всего несколько человек, с которыми он перешел на «ты». У него существовала какая-то отчужденность в характере, хотя он очень любил людей, разных; его всегда интересовали разные люди, поэтому у нас были друзья и артисты, и художники, и скульпторы. А с Николаем Николаевичем была дружба. И когда они оба работали у Иоффе, в его институте, у них намечалась какая-то интересная совместная работа, которую, как Петр Леонидович говорил, Иоффе в свое время не очень поощрял. Потом произошли те драматические события, о которых говорилось выше, и все прекратилось. В конце концов та же работа получила Нобелевскую премию в Германии. Так что это была перспективная тема, которую они начали разрабатывать вместе, но не смогли довести до конца. Петр Леонидович работал тогда у Иоффе в Политехническом институте.

А дружба с Николаем Николаевичем продолжалась всю жизнь, хотя их долго разъединила катастрофа, после которой Петр Леонидович уехал за границу, а Николай Николаевич остался в России. И в то время как Петр Леонидович налаживал свою работу в Кембридже, Николай Николаевич в каждом письме ему писал: «Возвращайся, Петька!.. Ты ужасно нужен здесь».

В то время, в двадцатых годах, когда была разруха и черт знает что, Николай Николаевич и Иоффе сумели создать новые институты — родился Физико-технический институт, в Петрограде возник Рентгеновский или Рентгенологический институт. Иоффе, конечно, необыкновенно умело все это делал. Он был очень умелым тактиком и умелым политиком, умело разговаривал с нашими правителями. А Коля был блестящий человек, который вокруг себя собирал всех. Все его ученики сделались знаменитейшими: Курчатов, Харитон, Алиханьян — это все была ленинградская школа.

— Когда Петр Леонидович вернулся в Россию, Николай Николаевич явился его единственной опорой?

— Да, Николай Николаевич очень много ему помогал. Петр Леонидович иногда очень сердился на Николая Николаевича, который был очень увлекающийся человек, с громадной фантазией и часто опирался на очень нехороших людей, поддерживал их. Петр Леонидович всегда ему говорил: «Колька, разве можно так себя вести? Как тебе не стыдно? Что ты делаешь?..»

— Анна Алексеевна, существует версия, что Петр Леонидович сам не хотел заниматься созданием атомной бомбы, заниматься этой тематикой. Это так?

— Он не хотел иметь дело с Берией. Он не мог принимать в этом участия. Вначале он был в Атомном комитете, но потом написал то самое письмо Сталину, в котором указывал, что Берия — как дирижер, который машет палочкой, не понимая партитуры.

Вот, например, Курчатов был очень хороший ученый, потрясающий дипломат и тактик. Он умел заставить наших правителей и уважать его, и слушать. Он умел подойти к ним с какой-то такой стороны, когда они чувствовали, что их не презирают, наоборот — запанибрата, когда надо, тогда надо. Петр Леонидович этого не мог, а Курчатов обладал дипломатическим тактом и умением схватывать этих людей. Нужно же было уметь с ними обращаться и заставлять их делать то, что надо. И Курчатов это умел. Потом, он был очень храбрый человек. Раз он полез туда, куда лезть не надо было...

— Полез в самый котел?..

— Было такое. Я знаю от Петра Леонидовича, что Курчатов не мог допустить, чтобы полез кто-нибудь другой, он сам это сделал и облучился очень сильно...

Мы помолчали. Потом я добавил что-то вроде: «Так все сложно, противоречиво...»

Анна Алексеевна снова как бы встрепенулась:

— Ужасно. То, что иногда нам рассказывал Арцимович, просто страшно. Петр Леонидович этого не мог. Что-то в нем было такое, чего он не переносил...

— Он был настоящий европеец.

— Нет, он был не европеец, у него, как у поэтов, у талантливых людей, нервы не внутри, а наружу. И для него некоторые вещи были совершенно невозможны.

— Когда началась война, как это отразилось на институте?

— Когда началась война, все включились в военную тематику, и он тоже. Потом он занимался кислородом. Кислород оказался необходим всем. И военным, и штатским — абсолютно всем. Большие установки для получения кислорода были сделаны именно в это время. Институт очень быстро переехал в Казань, уехали и дети. И мой отец переехал из Ленинграда в Казань. Мы с Петром Леонидовичем некоторое время оставались в Москве. Институт в Казани разместился в здании университета, и где-то в общежитии жили наши сотрудники, наши механики, которые приехали вместе с семьями. А мы некоторое время оставались в Москве. У нас было, как я говорила, престижное убежище. Тогда кругом нас были деревни; всем казалось, что у нас убежище было лучше, чем где бы то ни было, и к нам приходили люди. Я, как жена директора, была главной. Всегда, когда требовалось, сидела в убежище и смотрела, чтобы там всем было уютно. Петр Леонидович много работал. Наконец пришло время, когда нам тоже пришлось уехать из Москвы. В Казани нам дали симпатичную крохотную квартирку в том доме, где раньше жил университетский приватник. Наверху поселились академик Чудаков и его семья, а внизу — мы. Там была большая комната с центральной печкой и две крохотные комнатки. Мы как-то все распределились. Были двойные нары для де-

тей, которые мы быстро сколотили. Петр Леонидович постоянно бывал в Москве. Он занимался не только институтом, а главным образом кислородом. Я работала в госпитале. Дети учились. Сергей кончил сразу два класса, учился очень хорошо. Летом он иногда ездил в экспедиции. Андрюша был маленький мальчишка, с ним было сложнее. Все обстояло более или менее благополучно, они не убегали на фронт, слава Богу.

Там же жил мой отец со своей женой Надеждой Константиновной, некоторое время и Андрюша жил у деда. Для нас самое большое беспокойство было о наших, кто оставался в Ленинграде, — Наталья Константиновна и Леонид. Леня, хотя был глухой и непризывник, все-таки на некоторое время призывался в армию, но оставался в Ленинграде на каких-то работах. Когда началась блокада, мы страшно беспокоились о них, старались им что-то послать, что-то сделать. Они пережили блокаду, и, по-моему, уже в апреле мы сумели извлечь их из Ленинграда, когда Леонид был при последнем издыхании. Наталья Константиновна, как женщина — женщины могут пережить гораздо больше, — чувствовала себя лучше. Когда они приехали (у нас была своя собственная маленькая баня), я пошла мыть Леню. Боже мой, это был скелет, обтянутый серой кожей. Страшно было смотреть: последняя степень дистрофии. Потом Леня откормился, в армию его не брали. Он пошел работать на авиационный завод и работал там все время. Затем мы с Петром Леонидовичем уехали в Москву, оставив Наталью Константиновну хозяйкой вместе с мальчишками. Наталья Константиновна очень умело обращалась со своими племянниками. Она умела на них влиять и сглаживать все их глупости. Потом, к сожалению, жена моего отца умерла, а я была дружна с ней с самого детства. Когда папа потерял Надежду Константиновну, то Вавочка, как мы ее звали, «завещала» его Женечке. Ведь Женечка и Вавочка, как я уже говорила, были друзьями всю жизнь. И Женечка честно смотрела за папой до его конца. Официально они не расписывались, но Петр Леонидович потом написал Маленкову, что Евгению Николаевну надо сделать вдовой Алексея Николаевича Крылова, и задним числом она стала Евгенией Николаевной Крыловой, его вдовой. Потом уехала в Ленинград, а под конец жизни мы перевезли ее сюда, сдав ее квартиру в Ленинграде. Так что последние несколько лет она жила здесь и была счастлива, потому что к ней приходили внуки. Мы с ней тоже дружили. Она оказалась очень близким мне человеком.

— Анна Алексеевна, мы говорили о друзьях в России. А в Англии у Петра Леонидовича были близкие друзья?

— В Англии у него сложились хорошие отношения со многими людьми. Петр Леонидович был очень дружен с Чадвиком. Потом Чадвик женился, Петр Леонидович женился. Став семейными, они отошли друг от друга. Оба работали в Кавендишской лаборатории у Резерфорда. И Петр Леонидович был шафером у Чадвика.

В Тринити-колледже он дружил с одним необыкновенным человеком, звали его Симсон, он был священник и эксцентрик. Недавно я получила книжку, которая называется «Последний эксцентрик», — это о нем.

Когда родился Сережа, мама во что бы то ни стало захотела, чтобы его крестили. Я сказала: «Первого я крещу, а второго — не буду». Мама просила: «Пожалуйста, давай окрестим».

Приехала мама, приехал какой-то священник из Лондона, крестины состоялись. Крестным отцом был этот священник-эксцентрик. На крестинах присутствовал еще один необыкновенный человек — Иван Петрович Павлов. Он случайно оказался в это время в Кембридже и приехал на крестины. У Павлова были очень хорошие отношения с Петром Леонидовичем.

У Павлова был сын Владимир, который был очень хорошим физиком, в юности работал в Кембридже, у Томпсона. Когда Павлов возвращался с Владимиром Ивановичем из Канады или из Америки, они остановились в Кембридже, и однажды Владимир Иванович сказал Петру Леонидовичу: «Я хочу побыть со своими физиками; не проведете ли вы целый день с моим отцом?» Петя сказал: «Конечно, очень интересно». Так они подружились с Павловым, проведя вместе целый день. Потом Павлов был у нас на крестинах. Он всегда очень хорошо относился к Петру Леонидовичу. Поэтому, когда Петр Леонидович спросил его: «Возьмете ли вы меня к себе в лабораторию?» — Павлов, по-

няв, что делается, и имея свое собственное представление о наших правителях и о нашем государстве, сказал: «Да, конечно. С завтрашнего дня вы можете работать». Он сразу встал на сторону Петра Леонидовича, что его необыкновенно поддержало.

Петр Леонидович любил людей, но трудно с ними сходилась. У него были очень интересные отношения с Пришвиным. Пришвины приехали к нам, когда муж был не у дел, и Пришвин называл Петра Леонидовича «опальный боярин». Они приехали к «опальным боярам», что нас очень тронуло. Они жили рядом, в Дудино (недалеко от Поречья). Мы очень подружились с Пришвиными, постоянно у них бывали, а они бывали у нас. Они сидели вместе на скамеечке и обсуждали всякие философские вопросы, вопросы жизни. Петра Леонидовича очень интересовал Михаил Михайлович, а Михаил Михайлович интересовался Петром Леонидовичем.

Мы были у них накануне смерти Михаила Михайловича, это было на Новый год или сразу после. Сидели разговаривали, все было очень хорошо. Но когда уходили, то увидели, что Пришвин очень утомлен и прощался он с нами не стоя, а сидя. Утром позвонила Валерия Дмитриевна и сказала: «Михаил Михайлович скончался». Так что мы последние, кто видел его живым. Но он был совсем бодрым, мы даже выпили какую-то рюмку вина. Сидели разговаривали...

У Пришвина есть смешные заметки о Петре Леонидовиче. Валерия Дмитриевна однажды сказала: «Петр Леонидович, я хочу, чтобы вы написали о Михаиле Михайловиче». Петр Леонидович ответил: «Валерия Дмитриевна, я не умею вспоминать, я этого не люблю». Валерия Дмитриевна возразила: «Ничего, ничего, я вам дам заметки, которые Пришвин написал о вас».

Мы уехали не то в Кисловодск, не то в Сочи, там Петр Леонидович начал вспоминать, что-то записывать, и получились очень симпатичные воспоминания о Пришвине. Но очень своеобразные. Так что когда Валерия Дмитриевна захотела их напечатать, ей сказали: «О нет, этого мы печатать не можем; это надо вычеркнуть, это тоже». Валерия Дмитриевна заявила, что ничего вычеркивать не будет. И поэтому заметки долго не печатали. Наконец она нашла какой-то северный журнал, где напечатали все, ничего не выбросив. И только после всех событий это было помещено уже во многих книжках. А у Пришвина есть любопытные заметки о Петре Леонидовиче. Пришвин ведь каждый день все записывал. Всю жизнь вел дневники.

— Анна Алексеевна, в тридцать четвертом году, когда вы уехали в Англию, Петр Леонидович оставался в Ленинграде. Как он тогда жил?

— Петр Леонидович жил в коммунальной квартире, где все родственники. Ольга Иеронимовна очень умно (это была их собственная квартира, они купили ее до войны) заселила ее своими друзьями и родственниками, чтобы не уплотнили чужими. Для Петра Леонидовича нашли комнату, он там жил, там пережил страшные вещи, когда торговался за свою жизнь.

— Даже не из Москвы, а оттуда?

— Оттуда он писал. Иногда ездил в Москву. Наконец Петру Леонидовичу пришлось переехать в Москву, когда начались уже серьезные переговоры.

— Где же он жил?

— Он жил тогда в гостинице «Метрополь», у него была большая, очень хорошая комната, очень удобная, которая оплачивалась Академией наук или кем-то — не знаю кем. Когда я приехала сюда на некоторое время, я тоже там жила. Интересно, что все это время у него были очень острые отношения с нашими правителями. Он отдыхал, когда ходил в Большой театр, в балет. Он писал мне: «Иногда хотят меня воспитывать и накладывают большую пошляну на вещи, которые приходят из-за границы, или не дают билет в Большой театр». А он только там отдыхал. Семенова была молодой. Он очень любил Семенову, никогда не пропуская, когда та танцевала.

— Как продолжалось дальше?

— Началось строительство института..

— Он руководил строительством?

— Конечно. Потому что нужны были планы, нужно было знать точно, что ему надо, почему так, а не иначе. Его интересовало все, что касалось лаборатории. Дом его мало волновал. Когда началось строительство, он следил за тем, чтобы все было более или менее прилично. Когда появилась Ольга Алек-

сеевна, стало гораздо легче, потому что на нее он мог рассчитывать. Очень быстро лаборатория была построена. Я была в Кембридже, и мы с Кокрофтом начали отправлять оборудование. Кокрофт был учеником Петра Леонидовича, потом он отделился в свою собственную лабораторию, и с Волгеном они сделали блестящую работу, за которую получили Нобелевскую премию. Кокрофт был выдающимся ученым, с которым у нас были очень близкие отношения. Он, конечно, много помогал Петру Леонидовичу, когда перевозилась лаборатория. Он все укладывал, отправлял. Я тоже принимала большое участие: смотрела, чтобы все отправлялось вовремя. Так что дел было много. В то же время следовало устраивать жизнь — если меня задержат, если детей мы не привезем, что тогда делать? Как быть с домом в Кембридже? Все это надо было устроить. Но покамест все это оборудовалось, я на короткий срок приехала сюда, хотя мы совершенно не были уверены, что меня снова выпустят в Англию. Когда он уже твердо решил, что будет здесь работать, институт построен, оборудован, — мы пришли к выводу, что дети разделят нашу судьбу.

— А как вы переехали в Москву на постоянную жизнь?

— Мы получили здесь хорошую, большую квартиру на одной из улиц Замоскворечья. Мы должны были перевезти детей, и мне пришлось одной ехать с двумя мальчишками через всю Европу. Это было очень интересно. Друзья, которые первый раз мне достали визу в Англию, когда я еще девочкой была в Париже, остались нашими друзьями на всю жизнь. Пётрика (так ее звали) стала моим очень большим другом. Я говорю: «Петика, как я поеду с мальчишками целую ночь на пароходе?..» Она говорит: «Очень просто: ты дай им снотворное, они быстро уснут». Я так и сделала. И на пароходе они беспробудно спали. Так мы добрались до Голландии, уже ночью. Ну а там сели на поезд и поехали дальше. На следующую ночь я укладываю мальчишек, один мальчишка спит наверху, а другой — рядом со мной. Просыпаюсь ночью, протягиваю руку — мальчишки нет. Нет и нет. Я думаю: «Господи, куда же он девался?» Он был маленький (это был Андрюша) и провалился между стеной и моим тюфяком и там продолжал спокойно спать.

Вот так я приехала с детьми в Замоскворечье. А потом мы стали жить в своем большом доме в институте. Лаборатория уже была построена, работала.

Очень быстро Петру Леонидовичу предложили дачу в Крыму. Он сказал, что в Крыму жить не будет, а хочет жить под Москвой. Тогда друзья предложили: на Николиной Горе есть кооператив работников науки и искусства. Петр Леонидович поехал на Николину Гору. Тут Ольберт очень помог: показал Петру Леонидовичу земельный участок. Тогда это был как бы островок — лес и больше ничего. Петр Леонидович сказал: «Здесь я с удовольствием построю дачу». И нам отвели половину леса. Немножко больше полутора гектаров. Мы начали строить дачу. Сначала маленький домик, в котором все мы жили. Когда Наталья Константиновна приезжала с Леней из Ленинграда, то они жили на чердаке, потому что домик был совсем маленький.

Он стоял в том месте, где сейчас кухня. Это был очень симпатичный домик из двух комнат, с большой террасой и чердаком. Некоторые знакомые иногда ночевали в гамаках, потому что их просто негде было положить. Приезжал Дирак. Когда Дирак первый раз приехал с женой, через два дня он сказал: «Моя жена говорит, что не может больше здесь жить». — «Почему?» — «Она странная женщина, она не понимает всего удовольствия, когда живешь вот так, как вы. Ей странно ходить в уборную, которая где-то в саду». Я сказала: «Ну, Поль, ты все-таки ее уговори». И он уговорил. Потом мы очень с ней подружились, она привыкла, все было хорошо. Но Дирак очень любил дикую жизнь. Дирак приезжал к нам, когда мы снимали дачу в Жуковке. Он постоянно приезжал. Это был настоящий наш друг. Приехал он раз в тридцать седьмом году. Я говорю: «Поль, ради Бога, ты любишь постоянно куда-то лазать. Ну не лазай на зеленые заборы. Зеленые заборы (они и тогда были зелеными) — это не то, что надо». Он сказал: «Ну, пустяки».

Однажды он исчез. Через некоторое время звонят из милиции и говорят: «Ваш англичанин у нас. Можно, мы его привезем?» — «Как у вас?» — «Мы вам все объясним».

Приехали с Дираком милиционеры, извиняются. Я спрашиваю: «Поль, что ты делал?» — «Ничего, я лежал под деревом и думал о своих вещах».

А он был в какой-то раздерганной рубашке, в каких-то серых штанах, шлепанцах на босу ногу. И вот такой человек лежит в лесу, неподалеку от зеленого забора. Он рассказывал: «Они подходят, спрашивают, а я могу сказать по-немецки только несколько слов, и они несколько слов. Тогда они приглашают меня куда-то идти. Я иду. Они приводят в милицию. Я спрашиваю: „ГПУ?“ А они думают, что я по-немецки спрашиваю: „Который час?“» Вот так они объяснялись. Поль говорит: «Мне очень интересно, я в милиции никогда не был. Они ходят за мной, не знают, что делать. У меня никаких бумаг нет».

Наконец они договорились: он произнес слово «Капица», и они схватились за голову. Эту фамилию они знали. Позвонили нам и привезли его со страшными извинениями: «Вот ваш англичанин!»

Дирак был своеобразным англичанином. Первый раз, когда он приехал, он появился рано-рано утром. Я спрашиваю: «Поль, ты где ночевал?» — «А я хотел посмотреть, можно ли у вас в Москве ночевать просто на скамейке». — «Ну и как?» — «Ничего, я переночевал на скамейке, никто меня не тревожил».

Больше всего Дирака мне напоминал Сахаров, у них было что-то общее в простоте отношений, в какой-то детскости мысли, необыкновенной честности, неотступности от своих принципов. Очень они были похожи.

— А как сошлись Петр Леонидович, ваша семья с Дираком?

— Дирак был одним из самых молодых физиков в Кембридже. Он был очень симпатичным человеком. Он дружил с Игорем Таммом, они постоянно вместе ходили по горам Кавказа.

Есть очень хорошее письмо Дирака, где он пишет: «Я собираюсь приехать в Москву. Я приеду обязательно тогда, когда Вам это удобно. Я намереваюсь идти с Таммом на прогулку на Кавказские горы. Мы возьмем с собой Петра, ему это будет полезно. Но если ему в это время неудобно, если в это время он не может, я не поеду на Кавказ, а приеду к Вам». И Петя написал ему: «Я не могу. Приезжай к нам». И он оставил Кавказ и приехал к нам. Так что он был по-настоящему большой друг.

— А Петр Леонидович с его неумемной натурой никогда не пытался лазить по горам?

— Нет, Игорь, Петр Леонидович больше всего на свете боялся высоты. Он не мог стоять на балконе, не мог смотреть на меня, когда я стояла близко от высоты. Он абсолютно не выносил высоту. Дирак его приучал. Мы как-то были на Ай-Петри вместе с Дираком, и он все время говорил: «Подойди к краю, подойди...» А Петр Леонидович говорил: «Не хочу...» — «Нет, ты должен привыкнуть». Так что он все время воспитывал Петра Леонидовича. Но Петр Леонидович не воспитался. Но не в очень высоких горах, в Татрах, например, он гулять любил. Мы очень любили Татры и постоянно там бывали. Петр Леонидович обожал эти прогулки.

— Анна Алексеевна, расскажите об отношениях Петра Леонидовича со своим шефом, с Резерфордом...

— С Резерфордом были необыкновенно дружеские, какие-то удивительные отношения. Петр Леонидович очень любил Резерфорда. Больше всего на свете он любил, конечно, науку и Резерфорда. Я как-то сказала Резерфорду: «Знаете, он не покончил жизнь самоубийством после того, как его не пустили обратно в Кембридж, не потому, что у него была семья, а потому, что он очень любил вас». Он в самом деле Резерфорда необыкновенно любил и понимал, что не может этого сделать. У них были очень интересные отношения. Каждое воскресенье, после того как они обедали в Тринити-колледж, он его провожал до дома; прежде чем войти в дом, они долго гуляли по парку и вели продолжительные беседы. Конечно, Резерфорду было очень грустно, когда Петр Леонидович исчез с его горизонта. У него были любимые ученики, были друзья, но Петр Леонидович занимал какое-то особое место в его жизни. У Резерфорда не было сына, у него была дочка, и Петр Леонидович занимал какую-то частицу в его сердце своим необыкновенно почтительным, уважительным и восхищенным отношением к нему. Но озорником Петр Леонидович оставался даже с Резерфордом. Он позволял свои шуточки даже с ним, о чем в Кавендишской лаборатории даже подумать никто не смел. Когда он напечатал первую свою работу, он написал такое посвящение Резерфорду: «Когда я поступил в Кавендишскую лабораторию, Вы мне сказали: «Только не зани-

маться политикой». Вот видите, я и не занимался политикой». Резерфорд страшно рассердился, швырнул ему статью обратно и закричал: «Что вы мне тут написали?!» Петр Леонидович вынул другой экземпляр и сказал: «Вот это я вам, собственно, написал, а это я так, пошутил...» И вручил ему работу с необыкновенно трогательной надписью. А Резерфорд сам был озорник и шутник, так что все это он воспринял очень хорошо, хотя сначала и возмутился.

Резерфорд был очень темпераментный и мог совершенно спокойно своим ученикам, взрослым людям, сказать, даже закричать: «Да вы попросту дураки!»

А Петр Леонидович, к ужасу Кавендишской лаборатории, мог допускать разные штучки. Он, например, прозвал Резерфорда Крокодилом. Он писал своей матери: «Я так боюсь Резерфорда, боюсь, что он откусит мою голову. Я трепещу перед ним. Моя лаборатория рядом с ним, и я страшно беспокоюсь, потому что он ненавидит, когда курят, хотя сам тоже курит. Я всегда слышу, когда он приближается своими тяжелыми шагами, со своим громким голосом, и стараюсь куда-нибудь спрятать мою трубку. Я его безумно боюсь и зову Крокодилом». Отсюда и пошло прозвище — Крокодил.

Резерфорд же говорил: «Неужели Капица думает, будто я такой дурак и не знаю, как он зовет меня Крокодилом?»

* * *

Кончая беседу, я спросил Анну Алексеевну:

— Как Петр Леонидович относился к религии?

Анна Алексеевна помолчала и сказала:

— Знаете, Игорь, он старался не распространяться на эту тему. Всегда, когда задавали вопрос о религии, он молчал. Он страдал, когда его открыто спрашивали об этом. Когда он отдыхал в Крыму в каком-то большом санатории, там его одолевали подобными разговорами Леонид Леонов и еще один человек (фамилию не помню). Разговоры с ними, признавался Петр Леонидович, были для него душевным нажимом. Он не любил, не хотел разговаривать на эту тему.

— Ходил ли Петр Леонидович в церковь? — поинтересовался я.

— Нет, никогда не ходил, — ответила Анна Алексеевна.

Я рассказал о том, как мой отец, когда я спросил его, как он отнесется к тому, чтобы в последние дни причаститься и быть погребенным по православному обряду, тяжело вздохнул (чувствовалось, ему действительно было тяжело) и все-таки сказал: «Нет, не надо». Мой папа был чуть моложе Петра Леонидовича: учился до революции в духовной семинарии, правда, был исключен из нее в 1916 году; на исповеди он сказал священнику, что перестал верить в Бога, и просил помочь укрепить его. А тот вместо помощи нарушил тайну исповеди и рассказал все директору. Дожил папа до того же преклонного возраста, что и Петр Леонидович, и ответил на вопрос примерно так же. Почему?

Это не единственный вопрос, который возник у меня после рассказов Анны Алексеевны. Этих вопросов появилось больше, чем вначале. И все-таки, наверное, самый главный вопрос я Анне Алексеевне так и не задал: «Был ли Петр Леонидович диссидентом в том смысле, как мы понимали прежде это слово?»

Была ли его последняя, в 1934 году, поездка в Москву и его задержание здесь результатом неосторожности, то есть мог ли он вовсе не приезжать в СССР? Зачем он вообще последние годы, перед тем как «мышеловка захлопнулась», ездил в Советский Союз? Ведь мог бы спокойно жить в Англии всю жизнь. Жить и заниматься своей наукой.

Его нежелание порывать с СССР нельзя объяснить только тем, что он не хотел нанести вред остающимся там родным и близким. Постепенно у меня зрело чувство, что Петр Леонидович был выше и шире чем просто ученый. В этом смысле, наверное, не совсем точны утверждения, что больше всего на свете Петр Леонидович любил науку. Ведь самые лучшие условия для занятия любимой наукой были у него в Кембридже, у Резерфорда. И все же он год за годом ездил на родину, каждый раз рискуя быть там задержанным.

Мы снова сидели на кухне у Анны Алексеевны и пили чай уже после того, как я провел три месяца в Кембридже, когда я спросил:

— Анна Алексеевна, представим гипотетически, что снова тридцать пятый год, вы в Англии с детьми, Петр Леонидович здесь, в Москве, бьется за возможность вернуться в Кембридж, работать в своей лаборатории. И вдруг ему говорят: «Товарищ Капица, раз вы настаиваете, хорошо, пишите заявление, что вы отказываетесь от советского гражданства, и мы высылаем вас в Англию. Вы сможете там заниматься только вашей наукой. Но мы лишаем вас советского гражданства». Как поступил бы Петр Леонидович в этом случае?

Анна Алексеевна ответила сразу, без колебаний:

— Конечно, ответ был бы: «Нет». Конечно, Петр Леонидович не уехал бы из Советского Союза на таких условиях.

Вот она, и завязка, и тайна, которая сделала Петра Леонидовича Капицу не только большим ученым, но одновременно и мучеником, и великим человеком.

— А вы знаете, Игорь, разговоры о том, что Петр Леонидович хотел бы навсегда остаться в Англии, но не порывал контакты с СССР только потому, чтобы не подвергать риску свою мать и брата, — неправильны. Было время, когда в Англии гостили одновременно и мать и брат Петра Леонидовича. Они пытались уговорить Петра Леонидовича продолжать работать в Кембридже, не торопясь с возвращением в Россию. Но Петру Леонидовичу в Англии было очень скучно.

Когда я вернулась в Англию, а Петр Леонидович был задержан здесь, некоторые, например наш друг, физик Лео Сциллард, которому Петр Леонидович в свое время помог приехать в Англию, разрабатывали различные варианты побега Петра Леонидовича из СССР. Лео Сциллард даже советовался об этом со мной. Но я, зная настроение мужа, сразу отвергла подобные планы, сказав, что для Петра Леонидовича такой вариант возвращения в Англию неприемлем...

Почему же Капица вел себя так «неосторожно», снова и снова возвращаясь в СССР, видя и зная все, к чему это может привести?

Неужели для него, как и для многих в то время, идеи социальной справедливости, провозглашаемые в Советском Союзе только на словах, значили так много, хотя он очень хорошо знал обо всем, что у нас творилось тогда на самом деле?

Или это была идея служения своей стране, идея, которую несли, передавая друг другу, целые поколения офицеров, просветителей и ученых, которые имеют общее имя — «предки Капицы»?

На это у меня нет четкого ответа, потому что, мне кажется, ответа на них не было и у самого Петра Леонидовича. В разное время и по разным поводам он ответил бы на них по-разному...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ



«ГЕЙ, СЛАВЯНЕ!»

Черты исторического самосознания на сломе эпох

Гей, славяне, гей, славяне! Будет вам свобода,
если только ваше сердце бьется для народа.
Гром и ад! Что ваша злоба, что все ваши ковы,
коли жив наш дух славянский! Коль мы в бой готовы!
.....
Устоим одни мы крепко, что градские стены.
Проклят будь, кто в это время мыслит про измены!

Самуэль Томашик. 1834. Перевод Н. Берга.

I

Как-то незаметно, ненавязчиво массовый литературный рынок раздвинул свои границы, освоил новые территории. Что лежало на уличных лотках в 1990 — 1991-м, то есть в последние два года перестройки? Сплошная «космическая проститутка». Затем настала пора многоотомного Чейза; всякого рода зарубежные детективы потеснили многообразные эротические энциклопедий, лишили их права на лоточную монополию. Наконец пришел черед и отечественных Натов Пинкертонов; на глянцевого обложках замелькали родные милицейские лица, суровые, но добрые. Рядом с ними естественно и гармонично расположились женские романы, будь то Скарлетт или же литературная запись «Рабыни Изауры» и — чуть позже — «Марианны»...

Но «типовой» книжный лоток 1993 — 1994 годов выглядел уже совершенно иначе. Где-то на углу, почти стыдливо, розовели голые тела любовников, готовых поделиться опытом со всеми желающими; по краям, своеобразной рамочкой, располагались триллеры, наши и переводные; ближе к центру помещались образцы «слезной» литературы в мягких переплетах, а в самой сердцевине, вперемишку с мистикой и астрологией, таинственно мерцали «книги про историю». Прежде всего — отечественную.

Тот, кто следил за процессом, то есть регулярно гулял вдоль развалов и пролистывал «Книжное обозрение», знает, как складывалась нынешняя ситуация.

Издатели и книгопродавцы начали — в 1990 — 1991-м — со сколь бесконечного, столь и беспроегрешного Пикуля¹; затем — о Пикуле не забывая — запустили в издательский оборот джентльменский набор послевоенных «сталинских» романов в духе А. Югова и А. Первенцева о русских полководцах Кутузове и Суворове и о Денисе Давыдове, приправив их «Великим Моурави» и, как ни странно, «революционно-исторической» прозой Георгия Маркова.

Почув, что читатель «клюет», издатели немедля опробовали «новую старую» наживку: из пыли библиотек извлечены были увлекательные авантюрно-исторические романы Вс. Соловьева (конец XIX века); в качестве и с-

¹ По данным на 25 декабря 1991-го годовой совокупный тираж исторических романов Пикуля составил 7 685 000 экз. См.: «Книжное обозрение», 1991, № 52, стр. 4.

т о р и ч е с к и х (ибо время сделало их таковыми) перепечатаны были бытовые романы Вс. Крестовского из русской жизни начала XIX столетия...

Наконец, пришла пора обновить предложение в соответствии со спросом. Книготорговцы выкинули на прилавок толстые и тонкие образчики с о в р е м е н н о й исторической литературы, как правило, написанной по заказу и в соответствии с выработанным шаблоном. В «Литературке» появились комичные объявления: издательство «Армада», давно наладившее сотрудничество с профессиональными писателями (далее список никому не ведомых имен), предлагает членам творческого союза договоры на создание романов для серии «Рюриковичи»...

Логику деятелей рынка массовой литературы — необязательно выраженную рационально, вполне возможно, что и действующую на уровне интуиции, — я понимаю так. Сначала они пустили в ход старые проверенные «шупы», чтобы найти «болевые точки» читательского интереса к родной истории — и не прогореть при этом. Пикуля, Югова и даже Маркова раскупят «по старой памяти», а пока будут раскупать, станет яснее, чего вообще потребитель ждет от продукции такого рода. Конечно, что бы ни говорили жизнерадостные социологи, рынок массовой литературы столько же обслуживает объективно созревшие запросы своего потребителя, сколько и формирует их, как бы угодливо загоняя массовое сознание в желанную нишу, а затем захлопывая дверь, ведущую к выходу. Отношения между спросом и предложением здесь весьма сложны и по крайней мере в а и м о зависимы. Как в споре о курице и яйце — невозможно уверенно сказать, что чем порождено и что в чем отражается. И все-таки рынок этот (по крайней мере у нас, где книжная реклама не играет никакой роли) не может одного — с о з д а т ь первоначальный импульс, в ы з в а т ь потребность прочесть что-нибудь на такую-то (а не другую) тему, в таком-то (а не другом) роде. Завладев читательским интересом, он начинает вертеть им по своему усмотрению, но для этого должен сначала у г а д а т ь направление ветра.

То, что мы видим на лотках сегодня, и есть зримый, четкий и откровенный ответ на волнующий вопрос, куда же ветер дует. Точнее, откуда с д у в а е т читателя к лотку с однообразными и циклически повторяющимися обложками:

Дом Романовых... Быков П. М., Последние дни Романовых... Сургучев И., Детство Императора Николая II... Сергеев Ю., Наследница... Романовы и Крым... Русская старина. Жизнь императоров и их фаворитов. На материале публикаций журналов «Русский архив» и «Русская старина»... Оларт Е., Петр I и женщины...

История родов русского дворянства... Гербы дворянских родов России... Общий гербовник дворянских родов Российской империи...

Астапенко М., Подвиг дивный. Историческое повествование о мужестве донского казачества... Казачество: мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества... Куценко И. Я., Кубанское казачество...

Пласт исторической литературы массового спроса ныне и впрямь как бы поделен на три тематических сектора:

жизнь русских царей и придворных;

история сословий (прежде всего казачества и дворянства);

рассуждения о «евразийском векторе» российской истории — степных, языческих, кочевнических истоках русской цивилизации, устремленной, впрочем, на Запад.

Каждый из этих пластов разработан в расчете на покупателей с самым разным уровнем подготовки — от наивного потребителя «альковно-монархических» романов до читателя, способного разобраться в увлекательных и полуавантюрных, но все же претендующих на формальную научность построениях идеолога неоевразийства Льва Николаевича Гумилева или многотомной легендарной истории России под редакцией Ф. Шамагонова... Однако есть нечто, сущностью объединяющее гумилевскую «Великую Степь» и безымянную «Жизнь императоров и их фаворитов». Это о б щ е е как раз и заключено в немом, едином, но подлежащем расчленению на «секторы» запросе российской публики, на который живо откликается книжный лоток.

Чтобы извлечь формулу этого запроса из первобытной немоты, озвучить ее, нужно вспомнить о двух обстоятельствах российской жизни «реформаторского» десятилетия, начавшегося лучезарным воцарением Горбачева, а кончившегося чеченской трясинной. («Куда завел ты нас, Сусанин?»)

Обстоятельство первое.

С видимым удовольствием проглотив «Архипелаг ГУЛАГ», всласть наговорившись о покаянии, страна уклонилась от проблемы личной вины и ответственности гражданина за все, что творилось на его родной земле давно и недавно. От проблемы моральной цены, которую общество в целом и каждый из нас в отдельности готов платить за вольное или невольное, прямое или косвенное соучастие в делах прежней власти. Вместо этого «на вооружение» были взяты две гениальные по своей увертливости идеи: они виноваты и — все виноваты. Они — то есть власть предержавшие, гонимые этими властями евреи или не зависящие от нашей воли обстоятельства. Все — то есть никто, потому что так вышло. Стало быть, революционное семидесятилетие можно в равной мере считать и не бывшим периодом русской истории, и ее естественным продолжением. В любом случае не поздно вернуться назад, в блаженное пространство вечно длящегося прошлого, можно восстановить гармоничные пропорции России — доленгоской.

Эту двусмысленную идеологию общенародного безволия, отцами основателями которой можно считать В. В. Кожина, с одной стороны, и Л. А. Иванова-Аннинского — с другой, замечательно и предельно доходчиво воплотил в своей художественно-документальной трилогии Станислав Говорухин. Вот так мы живем, но так жить нельзя. Вот так жить было можно, но то Россия, которую мы потеряли. А вот так мы ее вернем, потому что нас поведет за собою русский Моисей — Солженицын... Что же до самого Солженицына, то он не был прочитан и обсужден; он был обруган — одними и воспет — другими. Не в последнюю очередь потому, что проблема общенациональной и частной вины и ответственности — главная для автора «Красного Колеса» — была как бы объявлена на территории русского национально-исторического самосознания *pop grata*. (Кстати, я не могу забыть мрачно-серьезный ответ Андрея Немзера в телепередаче, вышедшей в эфир 1 октября 1993 года. На вопрос телеведущей, почему «Красное Колесо» не прочтено в России, критик грозно пошевелил усами и произнес: «Если Россия не прочла Солженицына, тем хуже для России». Как в воду глядел.)

Обстоятельство второе, гораздо более важное.

В декабре 1991 года Россия проснулась совершенно другой страной. Великий «имперский» период ее бытия завершился. Начался новый, небывалый, неведомый. В иных границах, с иным этническим составом, иным местом в мире; с новым пространственно-культурным самоощущением нации. А значит, нуждающейся, помимо всего прочего, в исторической переориентации, в новом понимании своих культурных традиций.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

Но в том-то и дело, что из ситуации необъясненного прошлого страна сразу проскочила в неизведанное будущее; одно помножилось на другое и произвело на свет некий квазиисторический фантом массового сознания. То, что отвечает этому «фантомному» умонастроению — краткое изъяснение которого предложим чуть ниже, — обречено на успех. Независимо и от степени увлекательности сочинения, и от качества издания.

Всего лишь один пример.

В конце 1994 года на прилавок лег тираж болгаринского «Димитрия Самозванца», выпущенного некой фирмой «Кронос» в серии «Гей, славяне! Библиотека русского исторического романа». То, что за дело взялись люди малоопытные и вполне невежественные, очевидно.

Мало того что издатели не сумели понять, что авторское Предисловие Булгарина есть элемент романного текста, и в оглавлении бесхитростно пропечатали:

«Предисловие с. 3
 ДИМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ . . . с. 11».

Мало того что книга зияет сплошными опечатками (особенно хорош *патриарх Ион*; очевидно, в «Кроносе» решили, что это покойный родитель чеховского Ионыча).

Мало того что иллюстратор в текст романа предпочел не вчитываться: книга названа «Дмитрий Самозванец», с фиолетово-розово-зеленой глянцевой обложки, которую украшает стилизованный под Древнюю Русь орнамент, на читателя строго глядит колоритный схимник с летописным свитком в руках; между тем у Булгарина Летописец — не Пимен, но Авраамий Палицын — появляется на самых последних страницах и никакой сюжетной роли не играет, — схимник на обложку попал прямоком из пушкинского «Бориса Годунова»...

Мало всего этого, так под конец все вообще запутывается: к словам «Только хозяину и двум из нас положены были серебряные ложки, а прочим гостям деревянные» навешивается сноска: «Пророка Иезекиля, глава II, стр. (! — А. А.) 2», а в примечании к цитате «Возвестиша небеса правду его и веदिши вси люди славу его!», напротив, читаем: «Польки эти были в Москве с Мариной»...

Но при всем своем невежестве «кронида» совершили безошибочный выбор. Достаточно скучно написанный (а сколько бы сейчас ни говорили о незаслуженно плохой репутации Булгарина, писатель он был и впрямь не самый занимательный — многословный, плохо владевший искусством сюжетной интриги и проч.), «Дмитрий Самозванец» всем своим идейным строем рифмуется с фантомом массового исторического сознания конца XX века. В нем внятно выражена красивая и ни к чему не обязывающая мысль, столь близкая сердцу сегодняшнего «лоточного» покупателя: «...величие и благоденствие России зависит от любви и доверенности нашей к Престолу, от приверженности Вере и Отечеству». В нем все завязано на тайных и явных кознях отцов иезуитов против России. В нем твердо обещано: «...Бог не оставит без царя православное царство. Ведь это первое царство на белом свете, а народ без царя, как стадо без пастыря!»

...Не то беда, что ты поляк... Беда, что мы внезапно опустились до болгаринского понимания своей истории и нашего места в ней. Беда, что, как в сладкий сон, погрузились в туман фантома, где объяснение настоящего через минувшее однотипно подменено любованием в нешную этого минувшего, а мечта о будущности, разрешенной от всех нынешних скорбей, оборачивается грезой о давних временах. Фантома, где помазанничество на царство подменено красотой придворного этикета или сладкой грустью легенды о «царе-мученике»², а реальная трагическая судьба русского дворянства, казачества и купечества — карнавальным шествием ряженных. Фантома, где все свободно от напряжения человеческой воли; где вопрос о причастности или непричастности к славным и страшным сторонам жизни Отечества не ставится, ибо он неуместен; где многое, слишком многое в судьбе нации объясняется присутствием коварного врага и опасного друга — будь то «пятая колонна» инородцев-иноверцев и запорожское казачество или же «латины» и степняки. Фантома, где эстетический принцип «незаинтересованного созерцания» сознательно перенесен в жизненно-практическую область, чтобы избавить ее — нас! — от страдания.

II

Но что же либералы-просветители? Что же та культурная среда, которая выдвинула из своих рядов Натана Яковлевича Эйдельмана и вслед за ним, вместе с ним³ училась размыкать свое сознание в русскую историю как в не-

² Оговариваю сразу: речь не о реальной мученической кончине последнего русского императора, но лишь о том, как ее представляет большинство авторов «лоточной» литературы.

³ Я очень хорошо помню, в каком году вышел «Архипелаг ГУЛАГ», — но степень его влияния на умы была пропорциональна степени его доступности. Книги же Н. Я. Эйдельмана (и близких ему по духу исторических писателей — например, Юрия В. Давыдова) издавались колоссальными тиражами и расходились «по всей Руси великой».

остановимый и сущностно единый процесс, которому мы причастны во всей его полноте? (Подобно тому как вместе с Аверинцевым она размыкала свое сознание в полноту церковной традиции.) Среда, которая в конце концов — и уже не без участия «просветительских» книг и телепередач Ю. М. Лотмана — поняла, что куда важнее постигать самоценность прошлого, чем различать сквозь коллизии дворцовых переворотов «кремлевские» очертания, а в столкновении легальной оппозиционности Пушкина с революционным императивом декабристов опознавать спор между умеренными советскими либералами и диссидентским кругом. Что же тот слой, для которого борьба за слово *память* была не менее значима, чем борьба за политические свободы⁴, а еще точнее — стала ее превращенной формой? (Вспомним: перестройка и разворачивалась-то не за счет «политической», а за счет «исторической» энергии, выпущенной наружу. Все эти «заполнения белых пятен», перепечатки старых книг совершали то, что в расконвоированном от коммунистов обществе совершают традиционные политические институты. Они приучали достаточно массового читателя мыслить свободно и ответственно, как бы перед лицом Большой Правды русской истории; они столько же отвоевывали цензурное пространство, сколько и пробуждали интерес читателя к прошлому как таковому.)

Что же случилось с этой средой? С равным правом можно сказать, что ничего плохого — и ничего хорошего.

К концу перестройки «старики» стали устывать; значительная часть филологов, культурологов, историков среднего и младшего поколений ушла из традиционных филологических и исторических изданий — «Вопросов литературы», «Вопросов истории» — именно потому, что считала их недостаточно научными, излишне публицистическими, не историчными; в 1992 — 1993 годах возник целый ряд новых гуманитарных журналов, вокруг которых сгруппировались тридцати-сорокалетние гуманитарии; одни, как «De visu», поставили перед собою прежде всего публикаторские и библиографические задачи, другие, как «Новое Литературное Обозрение», сосредоточились на проблемном анализе мировой словесности. В эти же годы возник странный симбиоз газетной публицистики и академической науки: в статьях, рецензиях, подчас и фельетонах (!), публикуемых в ежедневной московской газете «Сегодня», «тридцатилетние» историки и филологи (М. Колеров, А. Носов, К. Поливанов, иногда — А. Немзер) отстаивали принципы строгого исторического знания, комментаторскую культуру, исследовательский профессионализм, сражались с антиисторичной актуализацией мемуарных и эпистолярных памятников предреволюционной и ранней советской эпохи...

То же и со «словесностью и художествами».

В славные времена перестройки историческую повесть Марка Харитоновна «Два Ивана» редакция «Знамени» отклонила как неактуальную, не связанную напрямую с проблемами громокопящей современности. А в 1992-м его роман «Ляни судьбы, или Сундук Милашевича», сюжет которого как раз и построен на идее взаимозависимости людей разных исторических эпох, получил Букеровскую премию.

Верный заветам беспримесного шестидесятничества, Олег Ефремов на протяжении 1992 — 1994 годов готовил постановку пушкинского «Бориса Годунова», как бы по инерции используя привычные аллюзионные шифры и проецируя постперестроечную эпоху на события Смутного времени (при этом Бориса Годунова приходится превращать в почти положительного героя, ибо режиссер Борису Ельцину скорее сочувствует). В это самое время Петр Алешковский, прозаик из поколения тридцатилетних, публикует исторический роман «Арлекин, или Жизнеописание Василия Кирилловича Тредиаковского»⁵. Перед нами действительно подробное жизнеописание русского поэта XVIII века;

⁴ Подробнее о настоящем сражении за память как за политический лозунг, завершившемся тем, что правозащитники вынуждены были назвать свое движение латинским эквивалентом «памяти» — «Мемориал», см.: Архангельский А. Борщ характеризуется свеклой, или Перед нами компания авантюристов. — «Новое время», 1994, № 6.

⁵ «Согласие», 1993, № 8/12; 1994, № 1 — 2. В 1995 году роман вышел отдельным изданием (М. «Радикс»).

если тут и есть актуальные подтексты, то заведомо периферийные и полуигровые (узнаваемые «архетипические», неизменные черты русской бюрократии, конфликт писателя и власти и т. д.). В романе еще более молодого писателя Михаила Шишкина, также завоевавшего популярность в последнее время, «Всех ожидает одна ночь»⁶, напротив, отчетлива стилизация русских мемуаров XIX века, очевидны наслоения и даже нагромождения разнородных пластов — от первой трети прошлого столетия до отблеска эпохи модерна и событий 1968 года. Но даже здесь прямые аллюзии сведены к минимуму, а те, что есть (польское восстание 1830 — 1831 годов как метафора советской интервенции в Чехословакию 1968 года), суть самые слабые места романа.

Аллюзия уходила, уступая место аналогии (именно так, кстати, была названа специальная рубрика в «Литературной газете», появившаяся здесь с апреля 1992-го, — пусть и недолго продержавшаяся). Иногда эти аналогии были серьезными — как в финальных романах солженицынской эпопеи или как в историческом романе Якова Гордина «Меж рабством и свободой»⁷, повествующем об одном из неудавшихся дворцовых переворотов XVIII века и толкующем о причинах трагического несовпадения темпов русской и мировой истории на пути к демократии. Здесь не было тех непосредственных переключек с «хроникой текущих событий», какие наполняли раннюю историческую прозу Гордина (поколение Иосифа Бродского — декабристы без декабря); здесь имела попытку решить вне временную, как бы сверхисторическую проблему, в равной мере актуальную и для середины XVIII, и для конца XX века... Иногда аналогии были вполне ироничными, как в еженедельных «коммерсантовских» обзорах Максима Соколова 1990 — 1992 годов...

Но если не выковыривать из булочки сладкие исключения, а взять явление в целом; если перелистать новейшую, послеперестроечную периодику подряд, обнаружатся совсем другие закономерности.

В тот самый момент, когда Россия вступила в новый период своего исторического бытия, именно осенью 1991-го, перестроечная публикаторская активность резко пошла на спад; в одночасье потеряли накал гуманитарные дискуссии вроде той, что бушевала вокруг имен Абрама Терца или Александра Солженицына... Как-то вдруг воцарилась иллюзия завершенности процесса национального самопознания и культурного самопреодоления (по существу, только-только начавшегося!).

Кажется, самую дурную шутку с демократическими публицистами сыграло сакрализованное отношение к архивам, почти религиозное упование, что вслед за запрещением КПСС и отменной грифа секретности раскроются тайны советского периода, что извлеченные из-под спуда партийные и связанные с деятельностью КГБ документы сами собою все объяснят⁸. Вера эта была столь сильна, а убежденность столь повсеместна, что Президент Ельцин счел необходимым вызвать из Свердловска и поставить во главе архивного ведомства России предельно лояльного Рудольфа Пихоя: фигура чиновника, контролирующего работу архивов, неожиданно приобрела особое политическое значение. Так преодоление аллюзионности неожиданным образом обернулось наивной верой в «документ» как в истину в последней инстанции.

Соответствующие рубрики — «Из архивов КГБ» (или КПСС) — появились практически во всех изданиях и «продержались» с осени 1991-го до конца 1993-го; кадры, снятые в помещении того или иного архива, стали общим местом на телевидении; архиводержатели поспешили поставить вопрос о плате за пользование фондами, а споры о том, кому должно принадлежать преимущественное право работы с новооткрывающимися документами — советским (российским) или иностранным исследователям, заняли заметное место в газетной публицистике⁹. Был затеян научно-популярный журнал «Источник» (нулевой номер вышел в 1993 году); на средства, предоставленные Никитой Михалковым, возобновилось издание дореволюционного «Русского архива»...

⁶ «Знамя», 1993, № 7 — 8.

⁷ «Дружба народов», 1992, № 10.

⁸ Об этом см. статью К. Поливанова «Хранилище или святителище? Архивный документ может врать не меньше, чем отчет в официальной прессе» («Общая газета», 1993, № 3/5).

⁹ См., например: Афанасьев Ю. Произвол в обращении с общественной памятью недопустим. — «Известия», 1992, 9 марта, № 58.

Как и следовало ожидать, практически ничего принципиально нового, кроме малозначащих деталей, эта архивная лихорадка не принесла. И дело было не только в том, что самые важные партийные решения принимались не на заседаниях Политбюро, а во время закулисных устных консультаций; дело было прежде всего в том, что в 1991 — 1993-м годах «архивные публикации» во многом подменили собою необходимый анализ исторических коллизий. Сначала необъясненный документ занял место рефлексии; затем, во многом именно из-за неосмысленности документально-информационного потока, неясности, в какой мере Россия готова к «очной ставке» со своим трагическим прошлым, КГБ смог закрыть доступ ко многим архивным пластам¹⁰; наконец, публикации из архивов — по-прежнему не объясненные и все менее «секретные» — перестали вызывать интерес общества. И не приходится удивляться, что обвинительный доклад Сергея Шахрая, подготовленный для слушаний по «делу КПСС» на Конституционном суде, не вызвал отклика, сопоставимого с тем, какой в 1990-м выпал на долю аналогичного доклада А. Н. Яковлева о Пакте Молотова — Риббентропа (хотя содержал факты и оценки гораздо более ошеломительные). Этот доклад как бы слился с общим «разоблачительно-публикаторским» фоном 1991 — 1992 годов и потерялся на нем. Как вообще вдруг куда-то потерялся разговор о вине и ответственности КПСС перед нацией и ответственности нации перед самой собою и своей историей; словно произошло некое интеллектуальное прободение, и тема, ключевая для всей посткоммунистической жизни России, провалилась в некую таинственную прореху. Г-н Зорькин присудил не считать КПСС преступной организацией — ну и хорошо, ну и ладно, нам забот меньше. А то ведь пришлось бы решать неразрешимую проблему люстрации... прошлое вернуть, настоящее исправлять...

Между тем показателен внезапный и ошеломительный успех у негуманитарной публики, выпавший на долю газетной статьи Юрия Болдырева «Русский век»¹¹, никоим образом не связанной с архивистикой и предлагающей некое синтетическое размышление над ходом русской истории конца XIX — начала XX века. Статья была написана достойным, но малоизвестным за пределами профессионального круга критиком и публицистом, не содержала ни одного неизвестного прежде факта, отнюдь не была перенасыщена оригинальными идеями, но именно потому, быть может, и вызвала огромную читательскую почту¹². «Свежий», не ассоциирующийся с перестройкой человек предлагал целостное объяснение тому, что произошло с Россией и с русскими людьми, а значит, отвечал на вопрос: кто мы и откуда? в чем наша вина и каков наш, ни на чей не похожий, путь в будущее из прошлого? Ответ был предложен не слишком фундаментальный, но зато автор прямо, без уклонения в фактографию откликнулся на невысказанную и неудовлетворенную нужду демократической части общества в исторической саморефлексии — и «прозвучался знаменитым».

И это понятно: в 1992 — 1994 годах потребность в публичном обсуждении подобных тем была необычайно велика, а «предложение» резко отставало от «спроса». Исключения были редки — и становились все реже. Так, «Дружба народов» опубликовала книгу В. Суворова «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?»¹³, где, как отмечал автор предисловия Д. Драгунский, впервые ставится под вопрос последний из мифов советской эпохи — миф о Великой Отечественной войне как некоем счастливым «исключением из тоталитарных правил»¹⁴. «Знамя» в 1992-м затеяло дискуссию «Русская классика и Октябрь-

¹⁰ Рассекречивались только следственные данные 20 — 50-х годов; допускались к ним далеко не все; в частности, на них основаны публикации В. Шенталинского.

¹¹ Ее обширный фрагмент появился в «Известиях», а полностью она была напечатана в «Дружбе народов» (1993, № 7).

¹² Превращению Ю. Болдырева (которого сразу после выхода статьи в «Известиях» телевидение «Останкино» пригласило на роль «Человека недели») в нового властителя дум помешала его скоропостижная смерть летом того же года.

¹³ «Дружба народов», 1992, № 11/12; 1993, № 1.

¹⁴ Что не совсем верно, поскольку проблема эта обсуждается и в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына, и в «Жизни и судьбе» В. Гроссмана, и в «военной прозе» 60-х; уже после «Ледокола» в «Новом мире» вышли первые части романа В. Астафьева «Прокляты и убиты», а в «Знамени» роман Г. Владимова «Генерал и его армия» (1994, № 4 — 5).

ская революция» (№ 1, 5, 7). О публикации романа Я. Гордина в «Дружбе народов» было сказано выше...

Маловато.

Едва ли не единственная историческая тема, которую с неизменным энтузиазмом продолжали обсуждать либеральные авторы на протяжении 1992 — 1994 годов, — это традиции русской интеллигенции, ее место в старом российском обществе и возможные перспективы в обществе новом. Началось все провокационной статьей С. Беляевой-Конеген и И. Дискина «Последнее оболщание России»¹⁵. Естественно, «задетая» сторона не смолчала. «Оболщленные» ответили — и сказали обвинителям дурака¹⁶. При этом большинство «защитительных» публикаций сводилось к унылым жалобам на конец исторической роли и «сословное бессилие» перед лицом происходящих рыночных процессов (особенно характерны в этом отношении статьи А. Курчаткина в «Русской мысли»).

III

Впрочем, имелся еще один предмет для постоянных пылких споров: Православная Церковь и русское Православие в целом как национально-культурный фактор. Однако тема эта была редуцирована либеральной прессой — исключая «религиозную» полосу газеты «Сегодня» и, может быть, весьма условно, соответствующую рубрику «Независимой газеты» — до нескольких устойчивых мотивов. Это:

- а) претензии церковной иерархии на новую «симфонию» (то есть церковно-государственный союз);
- б) возможные трагические следствия такой «симфонии»;
- в) приближение «нового средневековья»;
- г) неизбежный — и вечный — конфликт между Церковью и культурой¹⁷.

Споры эти начались с того самого дня, как Патриарх во время инаугурации благословил Ельцина на президентство (неожиданно и к неудовольствию многих наблюдателей), и продолжались до тех странных дней сентября — октября 1993 года, когда в Московском Свято-Даниловом монастыре при посредничестве Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла проходили заведомо бесполезные переговоры между представителями Ельцина и упраздненного им Верховного Совета.

Основания для тревоги были.

Это и чрезмерная жесткость позиции провинциальных иерархов в вопросе о возвращении храмов и церковных построек (именно в старых соборах располагались коллекции большинства российских музеев); это и конфликт вокруг местопребывания церковных святынь, прежде всего — чудотворных икон, в советское время переданных картинным галереям и тем изъятых из «богослужебного пространства»¹⁸; это и процесс принятия российского Закона о религиозных объединениях, когда Московская Патриархия настаивала на своих преимущественных правах и требовала государственной поддержки в борьбе с иностранными миссионерами¹⁹; это и дистанцирование значительной части церковной среды от демократических процессов, и нарастающие в ней настроения эсхатологизма, и усилившийся антисемитизм. Но все же главную

¹⁵ «Литературная газета», 1992, 29 января, № 5, стр. 11.

¹⁶ Кондратьев Вяч. «Вехи» и мы. — Там же, 1993, 10 марта, № 10, стр. 3; Гранин Д. Интеллигенция в отсутствие Аполлона и райкома. — «Известия», 1993, 14 сентября, № 174, стр. 3.

¹⁷ Так что Патриарху Алексию пришлось успокаивать либеральную интеллигенцию в статье «Конфликт между Церковью и культурой искусственно раздут». — «Известия», 1992, 12 ноября, № 247, стр. 3.

¹⁸ Особенно остро вопрос о «местопребывании» чудотворных икон и о несовпадении понятий «общенародное достояние» и «церковное достояние» встал после событий 3 — 4 октября 1993 года. Ср., например: Вагнер Г. Православная икона как шедевр. — Газ. «Сегодня», 1993, 25 ноября, стр. 11.

¹⁹ Один из наиболее активных церковных публицистов диакон А. Кураев после того, как Б. Ельцин не пожелал «лоббировать» Патриархии, вообще отказал последнему в праве считаться православным, даже если бы тот пожелал.

роль в том, что обсуждение «церковно-исторической» темы свелось к проблеме «симфонии», напоминаниям о сервиллизме «сергианства»²⁰ и разоблачениям иерархии в связях с КГБ (то есть к вещам важным, но отнюдь не исчерпывающим проблему), сыграло традиционно недоверчивое, подчас подозрительное отношение демократических публицистов и к Православной Церкви²¹, и в целом к проблемам национальной специфики, исторических корней нации. Возникшее впервые с допетровских времен стремление Церкви играть свою роль в политике (пусть противоречивое, отягощенное «советским» опытом), степень ее влияния на общество, пребывающее в идейном вакууме, возможность взаимодействия и диалога демократической общественности с общественностью церковной — все это не было понято и осмыслено в должной мере.

Что же до самой Церкви и ее исторического самопознания, тут все еще сложнее, все еще запутаннее, все еще интереснее. На книжной полочке возле свечного ящика сегодня можно встретить что угодно. А именно: все. От полусказочных историй о безоблачной жизни Русской Церкви в добольшевицкий период до горьких летописей внутрицерковных трагедий, от «Протоколов Сионских Мудрецов» до книг о. Александра Меня, от легендарной истории казачества (как славной опоры трона и алтаря) до исторических реконструкций жизни древней Церкви, изложенных вполне либеральным о. Александром Шмеманом: все зависит от личных симпатий и антипатий батюшки, от меры его идеологической суровости.

И это далеко не единственное отличие нынешней «церковно-исторической» ситуации от общероссийской. И даже не главное. Самое существенное заключено в том, что Русская Церковь как единый социальный организм (не как мистическое тело!) решает для себя несколько иные исторические проблемы, нежели общество в целом. Она не начинает «с нуля» — она длит свое бытие, начавшееся тысячу лет назад, и, в отличие от нынешнего русского государства и русской нации, ей нужно не столько «переукореняться», сколько «укоренять» новоприбывших членов. Другое дело, что для нее важно, очень важно разобраться, как выдержала она семидесятилетнее пленение, с какими потерями вышла из него, какую цену заплатила, какие из Правил святых Апостол и Соборных положений нарушила, следовало или не следовало решать на «иконному» («домостроительный» компромисс) в отношениях с безбожной властью. Но все-таки куда важнее другое.

Во-первых, за последние годы произошло огромное, океаноподобное вхождение в пределы Церкви миллионов новообращенных христиан. Их нужно элементарно просвещать. То есть, отложив вопрос о «соглашательской» Декларации митрополита Сергия до лучших времен, попросту объяснять, кто такой св. Сергей Радонежский, в чем заключен молитвенный подвиг св. Ксении Петербургской и св. Иоанна Кронштадтского. А новокрещеным интеллектуалам предложить «Лекции по истории древней Церкви» В. В. Болотова, творения св. Отцов, «Пути русского Богословия» о. Георгия Флоровского. То есть тоже просветить, просто на другом уровне и с другой мерой глубины.

Во-вторых, история Православной Церкви в XX веке (по крайней мере с ее собственной точки зрения) — это не только и не столько история нечестивых митрополитов, сколько история святых новомучеников и молитвенников. Прежде всего (оговорю: не исключительно, а именно прежде всего, хотя нет сомнений, что многочисленное «митрополитбюро» хотело бы этим и огра-

²⁰ С моей точки зрения, наиболее глубокое решение проблемы было предложено в статье С. Аверинцева «Мы и наши иерархи — вчера и сегодня». — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии, 1992, № 1, стр. 39 — 55.

²¹ Наиболее честно, жестко и определенно эту позицию тотального недоверия в первые же дни после августовского путча сформулировала Елена Боннэр в статье «Мы защищали не Михаила Сергеевича, мы защищали закон». — «Известия», 1991, 29 августа, № 206, стр. 3. Впрочем, совсем недавно публицист Баткин превзошел Е. Г. Боннэр — он вообще усомнился в праве людей верующих публично отстаивать свои позиции, ибо это противоречит устоям светского государства (см.: «Знамя», 1995, № 2). Что же, если в нашем бедном отечестве возобладает та ко й взгляд на демократию, не одному мне захочется вернуть демократическому движению свой билет.

ничиться) нужно написать о них, чтобы их опыт страдания за Христа навсегда вошел в самую сердцевину церковной памяти.

О митрополите Серафиме (Чичагове), авторе Дивеевской летописи, ныне многократно переизданной²². О суровом московском старце Сампсоне (Сиверсе), умершем совсем недавно — в 1979 году²³. Или о юродивом епископе Варнаве, который сам себя величал «дядя Коля»²⁴.

Митрополита Серафима расстреляли в 1937 году, когда он был уже восьмидесятилетним старцем; сохранилась потрясающая фотография Чичагова, сделанная перед самым расстрелом, — это уже не лицо, а лик, прижизненно просиявший святостью сквозь следы физической и нравственной муки; это тот самый отблеск вечной жизни на смертном челе, который и заставляет неверующих — поверить, а верующих укрепляет в их вере.

Старец Сампсон — вот и он в облачении схимника смотрит на нас с фотографии: в лагерном леднике вмерзал в лед, а в яме, куда он был брошен с другими узниками, крысы заживо съедали людей (самого старца, как он вспоминает, спасла тогда лишь молитва, которую в сонном видении ему нашептал в ночь перед арестом преподобный Серафим Саровский).

Варнава практически всю жизнь находился на полулегальном положении — и вел свои потрясающие (литературно потрясающие) записи; написанное им житие «Однажды ночью... Об одном древнем и дивном епископе — святом Григории Акрагантском, как на него донесли, что будто бы с блудницею был, как он годы без суда и следствия невинно в тюрьме и страданиях препроводил и как все это многими удивительными, чудесными и неожиданными событиями кончилось» не так давно было выпущено в свет...

И это — только три примера из тысяч.

Так что если с этой точки зрения, а не с точки зрения г-на Баткина посмотреть на околоцерковной «лоток», станет куда более ясной логика нынешних церковных и околоцерковных издателей. Самая важная, самая значительная часть предлагаемых ими «православному потребителю» книг — это малоформатные брошюры с жизнеописаниями «святой жизни старцев» и толстые тома «профессоров богословия»²⁵. То есть издания, как бы «воцерковляющие» новопришедших, вписывающие их — каждого на доступном ему уровне — в ареал церковного самосознания. А то, что на «лотке» этом нет — пока нет — ни брошюр, ни томов о мрачных сторонах русской церковной истории, это, повторюсь, беда небольшая: «Ладно, ладно, детки, дайте только срок: будет вам и белка, будет и свисток».

Большая беда заключена в другом. В том, что когда — пусть мимоходом, пусть косвенно — авторы и составители современной церковноисторической литературы «роковых» проблем все же касаются, тут начинаются малоприятные идеологические игры. Я уже писал на страницах «Нового мира» о том, что в переизданиях книг церковного литератора начала XIX века, Сергея Нилуса, не только опускают вторую часть его знаменитого «Великого в Малом», где помещены были «Протоколы Сионских Мудрецов» (что разумно), но и мягко обходят самый вопрос о «синоборческом» подлоге, вольным или невольным участником которого Нилус стал. Но вот передо мною двухтомник «Угодник Божий Серафим», выпущенный в 1993 году в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. Издание необычайно важное; насыщенное материалами о прославлении памяти преп. Серафима Саровского в 1903 году; разумно составленное. То, что составители, игумен Андроник (Трубачев) и А. Н. Стрижев, сочли возможным опереться как на письменные и подлежащие проверке доку-

²² «Митрополит Серафим (Чичагов) и его книга „Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря“». М. «Град Китеж». 1992. Сост. В. В. Черная (Чичагова), А. Н. Стрижев. См. также: Митрополит Серафим (Чичагов). Да будет воля Твоя. В 2-х частях. М. — СПб. 1993.

²³ См., например: Старец иеросхимонах Сампсон (Сиверс). 1898—1979 гг. Житие: подвиги и чудеса. М. «Народная библиотека». 1994.

²⁴ См.: «Дар ученичества». Сб. М. «Руссико». 1993. Здесь же опубликовано «Однажды ночью...».

²⁵ Карташев А. В. Вселенские Соборы. М. «Республика». 1994; Флоровский Г. В., священник. Восточные отцы V — VIII веков. М. «Паломник». 1992 (репринт) и т. д.

менты, так и на устные предания, само по себе абсолютно правильно. Ибо Церковь пребывает в особых, иных отношениях с потоком исторического времени, чем любая земная «институция». Церковная память хранит — и будет хранить — эпизоды, с точки зрения науки недостоверные, на том простом основании, что признала их веродосто́йными и отблесками небесной сверхисторической реальности. Вполне вероятно, что общеизвестная сцена с пощечиной, какую святой Николай Чудотворец «преподал» богохульному Арию, не имеет под собою реальной почвы; но самая убежденность Церкви как полноты в том, что иначе быть не могло, наделяет условно не бывшее событие безусловным бытием.

Но!

— но если составители хотят обойти молчанием историю «синодальной смуты», которая предшествовала канонизации (Синод, сначала поддержанный К. П. Победоносцевым, воспротивился; только настойчивость архимандрита, впоследствии митрополита Серафима (Чичагова) и твердая воля последнего русского царя позволили довести дело до конца), зачем было помещать без всяких комментариев итоговое «Письмо обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева архимандриту Серафиму (Чичагову) от 22 ноября 1902 г.» — об организации торжества прославления?

— к чему приводить в примечаниях апокрифический текст «Антихрист и Россия», которого в своей «Летописи» Серафим (Чичагов) не использовал и который получен, мягко скажем, не из первых рук? Текст печатается по копии, списанной П. А. Флоренским с копии, которую сделал Нилус с некой записи некоего разговора Н. А. Мотовилова о пророчествах преп. Серафима Саровского. Допустим, что я ошибаюсь и текст совсем не отдает мнимоправославной мистикой начала XX века, но если составители отказываются от идеи полного свода документов и подвергают несомненные факты умолчанию, зачем приводить сомнительные? Этим ведь нарушаются не только «научные» правила обращения с источником, но и церковные, поскольку публикуемой записи доверяет не вся Церковь, а лишь малая ее часть; так что правило о предпочтении «веродосто́йного» «достоверному» тут не действует.

— если книга предназначена простому православному читателю и обещает рассказать ему о святом Серафиме Саровском, для чего вводить рассказ о преследованиях, выпавших на долю Нилуса при советской власти, и объяснять их «еврейской пропагандой»? Опять же, я готов согласиться, что мое личное отношение к Нилусу предвзято, что он вовсе не был «в прелести» и никогда не фантазировал. Но разве из этого следует, что нилусовский антисемитизм имеет хоть какое-то касательство ко взглядам св. Серафима? А ведь результат «составления тем» именно таков!

Ответ, увы, прост: все это делается для того, чтобы «провести определенную линию» и вместо спокойного, честного и непредвзятого повествования о величайшем русском праведнике (которого — тут нет ни малейшего сомнения — составители чтут и любят; вообще А. Н. Стрижев сделал для публикации «серафимовских» материалов больше, чем кто бы то ни было) предложить идеологизированную версию его жизни, воспользоваться рассказом о нем как поводом для пропаганды своих взглядов. Правильных или ошибочных — в данном случае не так важно.

Причем эта готовность подменять церковную историю нашим частным представлением о ней распространилась повсеместно. Она способна принести сегодняшнему православному самосознанию куда худшие последствия, чем недовыясненность вопроса о декларации лояльности и о грехах епископата. Ибо новопришедшее «пополнение» принесло с собою в церковные пределы накопленный за годы советской власти подсознательный ужас расцерковленного сердца перед жизнью, перед ее кровавой непредсказуемостью и отовсюду сквозящей угрозой. Страх этот ищет себе выхода, уродуя национальную и религиозную психологию, угрожая Церкви — и всему обществу — новым расколом. Проявления этого неизжитого, непознанного страха в церковной среде, особенно в новообращенной ее части, столь же повсеместны, сколь повсеместен за ее пределами сказочно-красивый фантом российского прошлого. Следы этого страха очевидны и в шараханье все большего числа православ-

ных от современной культуры, и в цепенящем ужасе перед живым католиком или протестантом, и в экзальтированном эсхатологизме. Вот передо мной лежит книга «Россия перед Вторым Пришествием», изданная в Троице-Сергиевой Лавре и в «Новом мире» уже строго отрецензированная. Дело, собственно говоря, нормальное — трудно быть православным и не верить в последние времена. Но когда страницу за страницей листаешь этот роскошно изданный том, изумляет не только его полная неканоничность (тут даже приводится дата рождения Антихриста, что уж прямо противоречит Евангелию) — поражает липкий, панический страх перед Историей, перед волей Провидения, какое-то недоверие к божественной благодати и почти полная готовность принять всеислие Сатаны...

Вопросы, не получившие ответов, — и мы, не пожелавшие вовремя задать себе самые насущные вопросы...

Конечно, в 1994 году ситуация начала чуть-чуть сдвигаться к лучшему. Какие-никакие плоды принесла соросовская программа экспериментальных школьных учебников в области гуманитарных дисциплин (я видел только два, изданные в «МИРОСе», — по-своему замечательное пособие Евгения Анисимова и Александра Каменского о русской политической истории XVIII — XIX веков и книгу И. Волгина «Метаморфозы власти. Покушения на российский трон в XVIII — XIX вв.»). Начали пробуждаться от летаргии и «научно-популярные» издательства — скажем, «Высшая школа» публиковала книги по русской истории отнюдь не гомеопатическими тиражами²⁶, преодолел типографский кризис питерский журнал «Звезда», охотно работающий с русским историческим материалом...

Но дорого яичко ко Христову дню. На сломе эпох день идет за год; то, что не сделано в удобный и предназначенный для того Историей момент, приходится восполнять годами кропотливого труда. Мы этот момент упустили — и теперь должны запастись долготерпением. А пока — не удивляться, обнаруживая, что в незаполненном пространстве нашего нового исторического самосознания незаметно обосновались социальные мифы о русской истории, способные повлиять на формирование новой государственности. Или панические размышления о безысходности русского исторического опыта, о его извечной чреватости бездной. Или восторженно-эсхатологические подмены трезвого исторического взгляда на происходящее вокруг.

Но можно сказать и жестче, и шире. Не стоит удивляться, если современные российские политики, даже не склонные к национализму, в своих усилиях по созданию новой государственности все отчетливее ориентируются на выдуманное прошлое или на будущее, которого не будет.

Как учит еще одна русская пословица, свято место пусто не бывает.

²⁶ В 1993 — 1994 годах издательство выпустило сборник Н. Я. Эйдельмана «Из потаенной истории России XVIII — XIX веков» (см. рецензию А. Немзера в «Новом мире», 1995, № 1) и книгу Н. А. Троицкого о Наполеоне и Александре I; готовится к выходу в свет монография А. Г. Тартаковского о Барклае.

ДМИТРИЙ СТАХОВ

*

КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ, МИЛОЕ ДИТЯ?

Первые впечатления от русского бестселлера

Путь к «русскому бестселлеру» тернист и долог. Будет ли он пройден, сложится ли в России институт бестселлера в том виде, в котором он существует, как ныне принято говорить — в «цивилизованных странах», не знает никто. Тем не менее некоторые издания уже регулярно публикуют списки наиболее успешно продаваемых книг (разделяя при этом «изысканную словесность» и «специальную литературу»), а книгоиздатели готовят «ударные», «фирменные» блюда и даже в последнее время начали проводить рекламные кампании. Издатели формируют рынок. Вернее — дооформляют: книжный рынок уже давно живет своей, бурной и многотрудной жизнью.

От покупателя книг — именно «покупателя»: ожидать, что каждый, купивший книгу, ее и прочтет, несколько опрометчиво — глубинное, подлинное бытие книжного рынка скрыто. Да и знать о нем покупателю вовсе не обязательно. Он (покупатель) ориентируется по ценам и по своим пристрастиям-интересам. Которые, к слову, ему могут только казаться своими: ту или иную книгу он выбирает зачастую по чьему-либо совету, чтобы не отстать от моды, то есть находясь под влиянием реальной или воображаемой референтной группы. Более того. Приобретение книг, посещение библиотек может вообще не иметь ничего общего с чтением. Лет пятнадцать назад, когда многие другие легальные возможности для самореализации были, мягко говоря, затруднены, погоню за дефицитной книгой и похвалу приобретенной во многих случаях можно было рассматривать как попытку доказать свою собственную, мужскую (библиофильство было и остается по преимуществу страстью сильного пола) состоятельность. Теперь же купить можно практически любую книгу. Правда — цены! Цены растут...

По мнению некоторых западных экспертов, издательский и книжный бизнес по доходности немногим уступает криминальному бизнесу на наркотиках и оружии. Отечественное книгоиздание по доходности значительно отстает, что вовсе не удивительно: пока процветает торговля воздухом, например — акциями фирмы «ООО», пока ключевой фигурой в экономике остается переперепродавец, а не производитель, надеяться на появление российских Мэрдоков наивно. И тем не менее западный постулат «печатать книги — значит печатать деньги» продолжает кружить головы и на Востоке. Возникает вопрос — что печатать и как. Здесь необходимо учитывать уже свои, типичные, «восточные», культурные особенности. Ведь утверждать, что политика книжного рынка, политика институтов бестселлера США, Франции, Великобритании и Германии везде одинакова, значит грешить против истины. Несомненно, присутствуют общие принципы бизнеса и некоторые общие культурные характеристики. Однако достаточно ознакомиться со списками бестселлеров разных стран, как различия просто бросятся в глаза. Причем не только в плане предпочтений актуальной и потенциальной аудиторий, читающей публики (в одной стране наибольшее предпочтение отдается «черному» роману, в другой — биографиям выдающихся людей, в третьей — роману «розовому»), но и различия, так сказать, временные: пока в одной стране в разгаре мода на книги об обретении счастья в семейной жизни, в другой — ажиотаж вокруг книг о вкусной и здоровой пище, а через год-другой книжные рынки как бы меняются странами.

Но — у них там свои дела, а на наших просторах... Здесь все иное. И не только цены на полиграфические услуги, не только гонорары, проценты агентам (литературных агентств теперь не счастье!).

Книжному рынку более других свойственны «бумы»: бум на литературу фантастическую, мистику, «ужасники», триллеры, литературу мемуарную и политическую. Несколько лет назад множество выросших как грибы после дождя издательств нещадно эксплуатировали некоторую, как казалось издателям, оторванность отечественного читателя от «мирового литературного процесса». Перелопачивались библиотеки, частные книжные собрания в поисках остросюжетной литературы, причем желательно тех произведений, которые условно назывались «до 73-го» или «до 74-го года»: на них не распространялось авторское право. (Теперь конвенция подписана: пятьдесят лет со дня смерти автора! Все — прощай доходы!) Переводчики трудились. Редакторы правили кое-как слепленные переводы. Художники колдовали над забористыми обложками. Пышно расцветало пиратство. Некоторые сметливые «хозяева», дабы не тратиться на переводы, поиски, чтоб не ломать голову — «конвенция — не конвенция», организовывали авторов в команды или нанимали одиночек. Разрабатывался «крутой» сюжет, команде присваивалось кодовое имя (один мой знакомый входил в команду то ли «Симпсон», то ли «Стетсон»), создавался текст, и творение «известного (выдающегося, знаменитого) американского (английского, канадского, австралийского, барбадосского...) писателя» появлялось на лотках. Были команды серьезные, к задаче подходившие основательно, а были и ухари, выдававшие неприкрытый стиб.

В большинстве своем эти книги (как оригинальные, так и состряпанные) были действительно очень низкого качества. Поразительно, но они, как правило, быстро распродавались. Покупателей не останавливали в три-четыре раза поднятые по сравнению с отпускной цены. Упреки — мол, плохо, господа, плохо! — по большей части были упреками далеких от реальности снобов. Видели бы они первоисточники! (Из личного опыта. Добровольное признание. В те времена, горбатясь в качестве редактора на одну из «фирм», я, придя в состоянии тихого помешательства от качества перевода, связался с переводчиком. Мы встретились, хотя такие контакты крайне не поощрялись руководством, видимо подозревавшим, где зарыта собака. Оригинал был еще хуже. Переводчик его значительно улучшил! «Коровы не летают! — философски заметил он. — Если тебе что-то не нравится — перепиши!» Я, конечно, ничего не стал переписывать: мне платили, в конце концов, не за качество, а за скорость редактирования. Однако после этого случая я позволял себе все, что угодно, следуя — каюсь! — не самому лучшему, но действительному принципу провинциальных актеров старого времени: «Публика — дура!»)

Кроме того, некоторые отечественные авторы по собственной инициативе создавали детективы «на зарубежном материале» и не скрывались под англоязычными именами. Наиболее яркий пример: Виктор Черняк, выпустивший более двадцати книг суммарным тиражом свыше трех миллионов экземпляров. В предисловии к одному из своих сборников («Улики». М. «Детектив Ленд». 1993) Виктор Черняк пишет, что «обычно приходилось смотреть в свинцовые глаза совершенно безразличных, а нередко невежественных издателей, закупленных с потрохами тираническим режимом». Вполне вероятно, Виктор Черняк прав насчет невежества и закупленности, но все же не оставляет ощущение: даже безразличный ставленник тиранов в глубине души понимал: оригинальный Чейз лучше или, во всяком случае, натуральнее вторичного Черняка.

Бывали и исключения. Издательство «Новости» со своей серией «Мировой бестселлер» стало одним из первых, кто пытался внести в царивший хаос хотя бы зачатки упорядоченности, а своей политикой приобретения авторских прав демонстрировало готовность следовать установившимся в «цивилизованном мире» правилам. Конечно, книги из этой серии были, за некоторым исключением, вовсе не «мировыми бестселлерами». Они были и остаются книгами по большей части американских авторов, мелькнувшими в списках бестселлеров, купленными оптом на Ярмарках по бросовой цене. В результате глаз спотыкается о несуразности в тексте, вроде «ниспадающих тонзурой волос», и обложки, рассчитанные на броскость (например: на обложке «Мира от Гарпа» художник расположил физиономию поп-звезды Принса. Зачем? Почему? Просто под рукой имелся хороший диапозитив, а Принс способен придать своему лицу некую демоническую таинственность), да и сама продукция таких «фабрик бестселлеров», как Дин Кунц и Сидни Шелдон, что бы о них ни писали в аннотациях, своей убогостью может довести до зубовного скрежета.

В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Не претендующий на научность опрос продавцов книжных магазинов, лоточников, мелких и средних оптовиков в «Олимпийском» на проспекте Мира показал: потребность в переводной литературе снижается и надеяться на хорошие прибыли от издания даже самой «бестселлеровой» западной книги не приходится. Нужна наша, российская. Наш, русский бестселлер. Теперь те же люди, что совсем недавно готовили к изданию перевод знаменитого барбадосского писателя или входили в какую-нибудь из команд, сами пытаются написать что-то, хотя бы отдаленно смахивающее на «лучшие» зарубежные образцы, но на отечественном материале. Другие переквалифицировались и заняты поисками авторов, которые согласятся в короткие сроки, причем иногда на заданную тему, таковой текст написать. Заявки типа «Нужны владеющие стилем, способные выполнить заказ...», приклепанные на доске объявлений Литинститута, никого не удивляют. Известных и не очень литераторов осаждают люди, представляющиеся агентами издательств с самыми замысловатыми названиями, и просят принести что-нибудь почитать. С перспективой заключения контракта. С выплатой аванса. В твердой валюте.

Важно отметить, что издатели, по всей видимости также не прибегая к дорогостоящим опросам, для себя уже давно выяснили, что именно нужно отечественному читателю. Кроме того, многие из них тщательно проштудировали руководства типа «Как написать бестселлер», которых, во всяком случае за океаном, пруд пруди. Их не пугает, что в списке бестселлеров «там» очень часто попадают книги, написанные вопреки отработанным правилам и канонам, а «бестселлер» отнюдь не значит «боевик» (см.: Хлебников Борис. Секрет бестселлера. — «Иностранная литература», 1994, № 7). Они отдают себе отчет не только в том, что налицо количественные отличия рынков. (К слову. Представляется, что число пишущих «у нас» несравнимо меньше. Заниматься литературой невыгодно, если только имярек не проскользнул в число модных в определенных кругах и походя не получил грант, если не начал печататься в переводе или же не состоит в когорте бессмертных, которым, кстати, в последнее время тоже не сладко живется. Разбогатеть в одночасье, как Марио Пьюзо, просто невозможно: самая сладкая «морковка», покупка права на экранизацию, была и остается недостижимой мечтой. Да и постулат о «самой читающей стране» также давно нуждается в пересмотре. Прежний лозунг многих накопителей книг: «Прочитаю потом!» — уже не работает: все больше и больше людей живут «настоящим», полагая, что 10 тысяч лучше использовать «здесь и сейчас» и вовсе не на покупку книги.) Как бы то ни было, издатели пытаются отслеживать и качественные характеристики. В частности — предпочтения читателей, кошельком указывающих и что надо издавать, и куда дует ветер.

В этой связи крайне интересен список «Чемпионы-94», опубликованный газетой «Книжное обозрение». В нем представлена «горячая десятка» отечественных лидеров по тиражу и по количеству изданий за прошедший год. Иначе говоря — десятка наиболее успешно продаваемых авторов. Такой список, как и подобный ему в любой другой стране, отражает в первую очередь не дарования и таланты тех или иных литераторов, что само по себе, конечно же, значимо, а определенный тип общественного сознания, определенные ориентации и предпочтения читательской массы.

Ровно половину десятки составляют авторы, чьи произведения можно условно отнести к жанру «триллер», авторы боевиков-детективов, остросюжетной литературы: Николай Леонов (3 место, изданий — 21, суммарный тираж — 1 360 000), Юлиан Семенов (5, 18 и 1 020 000), Виктор Пронин (6, 20 и 1 000 000), Анатолий Безуглов (8, 16 и 975 000), Леонид Словин (9, 12 и 945 000). Занявшие первые места авторы представляют традицию отечественного исторического романа: Валентин Пикуль (1, 24 и 2 325 000) и Дмитрий Балашов (2, 14 и 1 620 000). Так же двое — литературу для детей: Григорий Остер (4, 28 и 1 250 000) и Эдуард Успенский (7, 11 и 985 000). Ну а на последнем месте — Лев Николаевич Толстой (15 и 880 000).

Необходимо сразу оговориться, что представление о лидерах девяносто четвертого года будет неполным без, как говорится, помесечной раскладки. Однако среди лидеров каждого из месяцев прошедшего года ситуация примерно такая же. Незначительные вкрапления литературы «розового» жанра, фантастики и мистики общей картины не портят хотя бы уже потому, что и «розовая» литература, и фантастика, и мистика суть литература переводная: с нив Romance и Mystery (включающей в себя не только произведения с «мистическим уклоном», но и круто зава-

ренные детективы), заполняющих длинные-предлинные полки книжных магазинов на Западе, всегда можно снять изобильный урожай.

Сейчас трудно предположить, какой будет Десятка-95. Судя по планам основных издательств, специализирующихся на массовой литературе, вряд ли следует ожидать появления новых имен. О том же, каким видится «бестселлеровый заказ», лучше проследить по роману занявшего шестое место в Десятке-94 Виктора Пронина «Банда-2» (М. «Голос». 1994). Читать этот роман целиком не обязательно, хотя в прошлом году Виктор Пронин и стал лауреатом престижной международной премии то ли детективщиков, то ли триллеристов. Перефразируя известные строки, можно сказать, что «и в распределении премий не существует, Постум, правил». Для того чтобы представить уровень письма в романе, вполне достаточно ограничиться знакомством с одной, но зато длинной и красноречивой цитатой. Итак:

«Осень наступила раньше обычного, но, словно убедившись в своей силе, не торопилась все подчинить и во все вмешаться. Дни стояли прохладные, но солнечные и сухие. Листва желтела, оставаясь на деревьях, и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь красные, оранжевые, желтые листья, казались теплыми, и вообще в природе установилась атмосфера какого-то благодушия. Проходили дни за днями, погода не менялась, и лишь изредка короткие дожди освежали воздух и листву».

Очаровательно и, главное, как оригинально!

Однако продолжим цитирование со следующего абзаца:

«Криминальная обстановка в городе оставалась постоянной, без больших перемен. Ежесуточно угоняли десятки машин, находили две-три, да и то лишь те, которые похитили школьники младших классов, чтобы покататься и пошалить. Едва начинало темнеть, улицы и электрички быстро опустевали, и гость, нерасчетливо задержавшийся до восьми, до девяти вечера, оставался ночевать у хозяев, не решаясь воспользоваться транспортом. В электричках наутро находили отрезанные головы, в оставленных рюкзаках — руки, ноги, на обочинах — остальное. Поймали нескольких лодоедов. Один питался исключительно девочками, второй предпочитал любовниц. Отощавшие пенсионеры, роясь по утрам в мусорных ящиках, находили младенцев в целлофановых мешках — юные мамы избавлялись от детей с какой-то остервенелостью, а пойманные за руку, дерзили в телекамеры, злобно смеялись, истерично рыдали, объясняя все беспросветностью своего существования: они не могли купить себе ни японского телевизора, ни турецкой кожаной куртки, не могли поехать на Канарские острова и посетить солнечную Грецию. А без этого жизнь казалась им пустой, дети — обузой, прохожие — врагами. Рыночные отношения безжалостно наступали на простодушную нравственность древнего народа. Президент время от времени исчезал на неделю-вторую, появлялся на телеэкранах с заплаканными глазами и говорил о великой дружбе с великой Америкой. Политические его недоброжелатели сидели в тюрьмах, а мордатые соратники обещали через два-три года падение страны замедлить».

Шел 1994 год».

Остальные пятьсот три страницы романа ничем не отличаются от приведенных выше фрагментов. Картины осени. Прорастание мафии во властные структуры и «мафизация» власти. Безнаказанность порока. И проч. В романе существует inferнальный персонаж, обладающий высокими покровителями бандит-убийца, тезка древнеегипетского божества Амон (имена и фамилии персонажей ходовых романов — непаянное поле для психоаналитиков!), то ли уроженец Кавказа, то ли Средней Азии, воплощающий все низменное, подлое, злобное. Имеется также положительный Андрей, влюбленный в добрую и милую Вику. Вслушаемся в нежную мелодию разговора этих положительных персонажей: «„Ладно, кончай“, — примирительно сказал он (Андрей). „Что-что?! — Вика резко остановилась и повернулась к нему, распахнув невинные глаза. — А что ты сделал для того, чтобы я кончила?“ — „Ну ты даешь!“ — растерялся Андрей. „Далеко не каждому! Далеко!..“» У Андрея с Викторой все сложилось вроде бы неплохо, но в их лирические отношения вклинился гадкий Амон. Ненависть Виктора Пронина к Амону и ему подобным настолько велика, что он на протяжении долгих-долгих страниц, вместо того чтобы покончить с Амном раз и навсегда, измывается над ним всеми возможными способами. Да вообще роман многопланов и впитал в себя многое — здесь все стереотипы «среднестатистического» обывателя, в обслуживании которых явно видит свою задачу автор.

Конечно, не все произведения пяти лидеров можно поставить рядом с романом «Банда-2». Так, пишущий вроде бы о том же Леонид Словин умудряется не перейти грань, отделяющую острозащитный роман от невольной самопародии. «Мастер российской «полицейской» прозы», как сказано в аннотации к книге «Бандиты» (М. «Голос». 1993), пишет вроде бы «по-полицейски» просто и без внешних изысков. Нет того принципиального деления на «хороших — плохих», которое, кстати, является одним из ключевых положений в руководствах «Как написать бестселлер», да и описания интимных сцен, этот оселок вкуса и мастерства, даются автором, несмотря на шокирующую откровенность, с соблюдением такта, то есть не в качестве оживляжа, а для придания психологической достоверности персонажам романа.

Однако по большому счету все авторы из «горячей пятерки» похожи один на другого.

Почему авторы произведений иной жанровой ориентации не вошли в число лидеров? Почему нет или крайне мало отечественной массовой «не-боевиковой» литературы? Для ответа на этот вопрос нужно разобраться в том, что определило список лидеров девяносто четвертого года, в том, что двигало потенциальными читателями, когда они покупали книги именно этих авторов.

Начать следует с того, казалось бы — банального, факта, что сам институт бестселлера возник на Западе тогда, когда там сложился средний класс. Именно он, вызывающий снобистское раздражение интеллектуалов, является основным потребителем бестселлеров. Без него масскульт вообще и массовая литература в частности существовать не могут. Именно интересы и предпочтения расширяющегося среднего класса, постепенно поглощающего маргинальные группировки, приобретающего ни с чем не сравнимое влияние не только на искусство, но и на политику и экономику (на них скорее в первую очередь), именно «восстание масс» подчиняет себе и литераторов, и книгоиздателей.

Средний класс в первую очередь претендует на основательность, солидность, респектабельность. Следовательно, книги для среднего класса также должны быть респектабельными, основательными, солидными. В то же время они должны быть читабельны и модны. Кроме того, представитель среднего класса не рискует остаться в гордом одиночестве, — упомянув в компании роман модного автора, он вправе ожидать, что и другие знакомы с ним или в крайнем случае могут без проблем приобрести его в ближайшем книжном магазине.

Даже в самом «крутом», кровавом триллере «среднеклассовец» обязательно ожидает найти то, на чем стоял и стоит сам средний класс. Помимо перечисленных качеств это хеппи-энд (в крайнем случае — надежда на подразумеваемый благополучный исход), а также отсутствие иронии, надежная серьезность. Средний класс — штука вообще серьезная и к шуткам, тем более к тем, объектом которых становится он сам, относится с большой настороженностью. Средний класс и в литературе желает видеть подтверждение того, что существующий, сложившийся порядок вещей непоколебим.

Создание и дальнейшее функционирование «бестселлеровой машинки» сравнимо с «машинками» по продаже прохладительных напитков, современной бытовой техники и одежды. Бестселлер предполагает наличие серьезных отношений рыночного партнерства. Автор, издатель и книготорговец всегда готовы предоставить читателю высококачественный товар. Со своей стороны, потребляя должным образом созданный продукт модного, бестселлерового автора, читатель вправе ожидать удовлетворения, ничуть не меньшего, чем удовлетворение от покупки и использования какого-нибудь другого, модного и удобного товара, скажем — новой модели кухонного комбайна.

Сказанное отнюдь не означает того, что бестселлер — это исключительно стандартизированное производство, в котором невозможно найти «борений духа». Многочисленные примеры свидетельствуют, что некоторые, ставшие ныне классикой мировой литературы произведения в свое время занимали далеко не последнее место в списках бестселлеров. Главное — в другом: при отсутствии среднего класса или при его зачаточном состоянии бестселлеровые отношения между авторами, издателями и книготорговцами, с одной стороны, и читателями — с другой, невозможны. Следовательно — нет и института бестселлера.

Рискну предположить: вышеприведенный список лидеров отечественных тиражей говорит о том, что среднего класса в общепринятом понимании в России пока еще нет. То, что в списке пять позиций заняли авторы боевиков, а две — авторы

исторических романов, говорит о многом. Даже поверхностное ознакомление с творчеством «горячей пятерки» показывает: эти авторы по большому счету ориентированы в прошлое, на средний класс другой страны, другого мира, на средний класс эпохи СССР или — развала Советского Союза.

Конечно, предположение о том, что в СССР существовал средний класс, вероятно, может быть оспорено, но разве Юлиан Семенов не был самым советским из советских авторов массовой литературы, создателем культовых фигур советского обывателя, человеком, породившим некую, до сих пор не иссякшую «фольклорную волну»? Действительно, некий коллективный «Виктор Пронин», поддерживаемый прозорливыми издателями, продолжает рьяно обслуживать стереотипы обывателя. Но обывателя, а не среднего класса! И авторы и обыватели как бы застряли в минувшем. Их мучает один из самых проклятых вопросов: почему мы так плохо живем? Отражая жизнь в формах самой жизни, авторы постсоветских боевиков пытаются на этот вопрос ответить. Список «виноватых» длинен и скучен. Там всякой твари по паре. Однако для «новых русских» этот вопрос давно уже не самый животрепещущий. Как, впрочем, и вопрос: откуда мы? — поиском ответа на который озабочены авторы исторических романов. Средний класс устойчивого общества чужд «проклятых» вопросов, а вопросы, значимые для него, вряд ли можно отнести к этому разряду. Более того. Средний класс не любит предаваться глубоким размышлениям. Во всяком случае, «литературе — литературово», и подмена эстетического политикой или идеологией средним классом воспринимается в штыки.

Чтение литературы, по выражению книгопроизводителей — «повышенного спроса», как книг авторов, вошедших в десятку, так и оставшихся на подходах к ней, занятие увлекательное. Помимо подпитки для размышлений о нарождающемся среднем классе и бестселлере, его интеллектуальном атрибуте, такое чтение позволяет вновь вернуться к еще одному вопросу, который был вскользь упомянут выше. К вопросу об обусловленных различиями в культуре особенностях «бестселлеровых рынков». Вполне возможно, что при более тщательном и непредвзятом рассмотрении западных традиций бестселлера и отраженных в отечественной массовой литературе отечественных же культурных традиций вся якобы обкатанная картина взаимоотношений автор — издатель — книготорговец — потребитель предстанет вовсе не такой уж обкатанной. Вполне возможно, что постулаты института западного бестселлера окажутся нетранслируемыми, не переносимыми на отечественную почву, а законы, по которым будут создаваться произведения для российского института бестселлера, будут в корне отличаться от выработанных всем остальным человечеством. Сам стиль, сама атмосфера русских бестселлеровых романов будет совершенно оригинальной. Возможно ли такое? Вполне!

Предпосылки для этого положения вещей сложились уже давно. Одна из них заключена в якобы принципиальном отделении «литературы для масс» (даже выполненной на должном профессиональном уровне) от «литературы высокой». По сложившемуся в России мифу, работающему «на вечность» автору будто бы и в голову не придет, что попадание в список бестселлеров и есть признание его таланта. Стремление к разделению на «чистых — нечистых», вообще составляющее характерную черту российского менталитета, в данном случае порождено не в профессиональной среде, а в среде околосредовой. Возглас: «Фи! Он работает на заказ!» — свидетельствует о лукавом забвении того непреложного факта, что не только многие гениальные тексты русских писателей создавались по заказу, но и того, что строились они в соответствии с запросами читательской массы. Тем не менее миф существует, и с ним необходимо считаться. И считаются! Подобная мифопрактическая деятельность заставляет работающего «для масс» автора как бы извиняться за то, что он делает. Однако подобное действие нуждается в компенсации: чем большим дарованием обладает работающий для масс автор, тем явственнее он, рано или поздно, начинает над своим читателем подшучивать. Сначала исподволь. Потом в открытую. Потом и издеваться.

Примером такого подхода к «массовой литературе» служит роман «Пешка в большой игре» одного из самых издаваемых сегодня авторов Данила Корецкого. Он окружен неусыпным вниманием издателей, бьющихся за право заключить с ним договор на очередной боевик. По слухам, Корецкий сейчас закончил работу над очередным романом, в котором будет, как говорили раньше, все, от колбасы до мордобоя. С красноречивым названием «Антикиллер». Если судить по «Пешке», то способности объединить в пространстве романа действительно все Корецкому не занимать. ГРУ — КГБ и соперничество между ними, ЦРУ, воры в законе и «но-

вые», цивилизованные, с пейджерами и факсами, бандиты, генералы спецслужб, мечтающие о президентском кресле, бомжи, вдруг ставшие обладателями воровского общества (в кейс было уложено полтора миллиарда рублей пятидесяти тысячными купюрами!), сюрреалистическое предположение о сейсмическом оружии, «работающем» на мыле и стиральном порошке (вот оно, объяснение вечного дефицита!), пастозные сексуальные сцены, бойцы Армии освобождения Карабаха, взятчники и... И т. д. и т. п. Казалось бы, можно свихнуться, но с первых страниц начинаешь чувствовать — это нечто вроде нового «Джина Грина — Неприкасаемого», очень смешной роман-анекдот, несмотря на льющуюся реками кровь и изощреннейшие способы убийства. Если начать считать трупы, то со счета сбиваешься сразу. Правда, если честно, я относился к «Пешке» вполне серьезно вплоть до 182-й страницы:

«Преступная биография гражданина Медведева начиналась семнадцать лет назад, когда четырнадцатилетним юношей он зверски изнасиловал шестилетнюю девочку. Потом многократно насиловал, грабил, воровал, совершал разбойные нападения, хулиганил, в последние годы довольно часто убивал. Лишь за небольшую часть содеянного он был судим, причем суд относился к нему все более и более гуманно.

Жизненный путь Лепешкина не отличался разнообразием, только изнасилований у него поменьше, зато квартирных разбоев гораздо больше.

В левом верхнем углу каждой преступной автобиографии Верлинов (тот самый генерал КГБ — ФСК, который хочет стать президентом. — Д. С.) наложил аккуратную резолюцию: „Утилизировать” — и четко расписался.

— Как „утилизировать”? — спросил начальник секретариата, которому предстояло отписать документ исполнителю.

— По делам ихним, — рассеянно ответил генерал. — Я думаю, лучше посадить на кол. Кстати, у нас есть надежные узбеки или туркмены?

— Конечно, есть, — кивнул начальник секретариата и на подколотовой исполнительской карточке написал: „Капитану Набиеву. Посадить на кол. Контроль”.

Господи! И посадили! Правда, только одного. Второй успел повеситься в камере.

Прочитав это, я вернулся к началу романа и (каюсь — туповат!), только перечитав предыдущие страницы, понял: надо мной издеваются. Издеваются по нарастающей, так, чтобы на заключительных страницах романа разойтись по полной программе. Одни клочки воров чего стоят: Гвоздодер, Скелет, Обезьяна, Комар, Длиннозубый. Отряд «Альфа» из чисто дружеского расположения приходит на помощь к одному из главных героев, и воры уходят в мир иной. Песня, а не роман! В «Пешке» очевидна намеренная дистанцированность создателя от созданного. Некое принижение «высокого» боевикового жанра, создание триллерного мира понарошку, напрочь чуждое авторам из «горячей пятерки», с серьезностью, достойной лучшего применения, относящимся к выходящему из-под их пера.

Романы, претендующие на звание «нового русского бестселлера» (другим примером подобного принижения жанра может служить роман Михаила Рогожина «Новые русские»), пока еще можно назвать маргинальными произведениями. Они как бы оторваны от прежнего «серьезного советского боевика», но и не окончательно оформились на собственной, устойчивой почве. Они и рассчитаны на новую, пока еще маргинальную часть читателей. На тех, кто перестал или перестает быть советским обывателем, но еще не влился в худо-бедно создающийся российский средний класс. Литераторы, ранее не принимаемые литературным истеблишментом, засучив рукава пытаются поймать ту новую волну, на которую перестраивается прежний обыватель. Перед ними раскрывается заманчивая перспектива: стать первыми бестселлермейкерами в новых условиях. Вполне возможно, что у них появятся и конкуренты — те писатели, которые смогут избавиться от навязанного мифа «горный-дольный». Таких ждет успех.

ПО ХОДУ ДЕЛА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ



ПАМЯТИ ВАНЬКИ ЖУКОВА

Модное нынче понятие «литературоцентризм», якобы отражающее существо культурной ситуации в России давнего и ближнего прошлого, в действительности ничего не отражает и является типичной «обманкой». Им воспользовались люди, не способные видеть ситуацию изнутри, не желающие признавать за русской литературой самостоятельную культуру, обладающей (как и любая истинная культура) отчетливым национальным лицом. Вот логика их чисто механических рассуждений: мол, была в России в прошлом некая «литература», она зачем-то хотела быть больше чем «литературой», но это неправильно. Теперь надо посидеть в сторонке, почесать затылок и заняться наконец «своим делом». Надо избавляться от: а) политики, б) идеологии, в) претензий на руководство жизнью; д) притязаний на цельность, «тотальность», иерархичность творчества.

Возражать против этого нельзя, ибо придется говорить вещи слишком очевидные (например, что тургеневский роман менее идеологичен, чем романы Золя; или что Пришвин в 20 — 30-е годы жил и писал гораздо больше «вне политики», нежели, например, французские сюрреалисты, в это же время с пафосом воздвигавшие насквозь политизированные теории; что «деревенская проза» — явление более камерное, человечное, непретенциозное в сравнении с тоталитаристскими претензиями все и вся подминающего под себя постмодерна).

Не надо спорить. Поздно. Надо развести концы с концами.

Есть старая литературная традиция, которая сейчас в России переживает едва ли не самые тяжелые и опасные времена. Дело не в политике и не в чьей-то злой воле. Ах, если бы это было так: смута, поляки, Лжедмитрий, Минин и Пожарский! Увы... старой русской культуре настало время вспомнить простые и горькие слова: «Бог дал, Бог и взял...» Тем более старость не равна дряхлости. Надо ли напоминать, что чем мы старше, тем ближе сам первоисточник духа, что в нашем языке нет слов более энергичных, чем «ныне отпускаеши...». Не об этом речь. Кроме онтологии старости не плохо бы вспомнить и о ее физиологии.

Мы надругались над физиологией старости. Нашим героем XX века останется Собакевич, тащивший всего барана на стол, — а должен бы остаться Плюшкин, не позволявший дворовым мальчишкам и плесневелой корки стащить. Лукавство и подлость советской власти заключались совсем не в том, что она «подморозила» Россию (как советовал К. Леонтьев, светлая ему память!), а в том, что она гальванизировала ее. Большевики сначала тайно, а потом явно любили роскошь. Это была неслыханная роскошь — обладать русской культурой в XX веке. Понятно, что большевики хотели ее себе позволить, но нам не следовало им ее давать. Надо было спрятаться, схорониться и не высовывать носа, притом не в обычном (как Платонов, писавший романы в стол), а в самом глубоком, мистическом смысле, подобно тому как древние перуанцы прятали свои святилища от европейских конкистадоров или как уходили в дремучие керженские леса нижегородские староверы. Надо было ждать! Хитрить. Скопидомничать. Казать кукиш в кармане. Не заигрывать так или иначе с молодой мировой революцией и с новой властью, а бережно хранить свою драгоценную старость. Как это можно было сделать, не знаю и даже не имею права предполагать. Истинная культура сама выбирает векторы приложения своих сил. Видно, мы выбрали какой-то не тот вектор.

Мы разорились на культуре. Конечно, явление русской культуры XX века поражает всякое воображение. Только литература может свести с ума. Шолохов и Платонов, Ахматова и Заболоцкий, Шаламов и Пастернак, Твардовский и Солженицын! Как поглядишь — какой простор! Филологи, иностранцы и постмодернисты в восторге. Ка-кой материал! Большой Стиль. Великая Жатва.

А сейчас наше поле омертвело. Не выдержало нагрузки. Дико, холодно. А что поделаешь? Надо терпеть, собирать последние колоски и надеяться на новый год. Или — бежать на соседние поля.

Сейчас мы имеем дело с новым племенем литераторов — ярких, талантливых, легких на подъем, иногда весьма образованных, живо откликающихся на современный культурный контекст и... напрочь лишенных исторической памяти, а также минимального трепета перед святынями, не важно, родимыми или чужими (последнее немного пугает, если вспомнить, что Вл. Соловьев относил благоговение вместе с жалостью и стыдом к первичным понятиям нравственности, которые отличают нас от животных).

Их божество — КОНТЕКСТ, внешняя, текучая, лишенная смысла данность. Они должны латать бесконечно возникающие в их культуре прорехи, плетя, по выражению Ницше, паутину из самих себя. Но плести паутину «как все», согласитесь, скучно. Поэтому еще одним божеством «нового племени» является СТИЛЬ. Так в пестрой мешанине случайных талантов и произведений возникает жалкое подражание цельности, намечается своя фальшивая иерархия стилей — нечто, позволяющее хоть приблизительно ориентироваться в этой «из ниоткуда» взявшейся культуре. Выбираются «авторитеты» (приснопоминаемые Пригов, Сорокин, Галковский), которые представляют неприступные крепости стилей не столько литературных, сколько поведенческих.

Слишком напряженная работа над стилем может стать причиной смерти... отнюдь не литературной. Например, так было с Жюлем Гонкуром, который, как полагал его старший брат Эдмон, надорвался на стиле. Но в данном случае стиль — это последнее прибежище пустоты, которая отчаянно жаждет жить и ради жизни готова принять любое обличье. Незаметно смена масок, вначале напоминающая веселый карнавал, становится тоскливым способом выживания. Не «маска и душа», но маска, маска и еще раз маска.

Однако возможности литературы (и в особенности — русской), с точки зрения стиля, весьма малы и скромны, а главное — неисправимо старомодны. В эпоху «широких возможностей» русский писатель поневоле оказывается Ванькой Жуковым. Он пишет какие-то буквы на листе бумаги и относит их в почтовый ящик без четкого адреса в надежде быть прочитанным. Он и будет прочитан, но лишь людьми родной культуры. «Мы с тобой одной крови, ты и я». Литература осталась наедине с собой и, может быть, впервые осознает себя культурой как таковой. Это не значит, что раньше она культурой не была, просто она не придавала этим вещам центрального значения. И только «в изгнание» она начинает внимать своей проблеме, как это было, например, в эмиграции. Отсюда можно понять, что нынешнее «изгнание» вовсе не благо для литературы, как считают ортодоксальные либералы, а новое серьезное испытание, из которого литература может выйти, а может и нет.

Пока же мы наблюдаем то, что и должно было произойти с людьми, которые оказались в русской литературе волей не судьбы, но случая: в е с е л о е п р е д а т е л ь с т в о л и т е р а т у р ы. Ведь «новое племя» — прежде всего ловкие и современные люди. Не они служат литературе, а — она служит им. Для них литература — лишь форма самореализации, которая при необходимости может быть оставлена, как старая кожа змеи, или переделана в нечто новое, как старый, износившийся, однако не лишенный материальной ценности нелепый механизм. Для них не сама культура важна, а ее динамика, не таинственная глубина смысла, а затейливая изменчивость формы.

Однако русская литература быстро исчерпала свои возможности на этом поле (жеста, акции, перфоманса), и самые ловкие, самые отважные люди из «нового племени» спешно покидают грядки, возле которых они раньше грызли свои морковки. «Я не поэт, я — артист!» — гордо заявляет Дм. Пригов, как помнится, начинавший стихами о «милицианерах» еще в советском альманахе «Истоки». «Бедноват литературный дискурс!» — вздыхает подвижник отечественного постмодернизма Вяч. Курицын и тоже косится по сторонам.

Им стало тесно в русской литературе, которая съежилась в своих минимальных границах и продолжает сжиматься дальше... как и вся Россия. Им стало голодно на этом мрачном пустыре — изгаженном и разграбленном, где они вместе с людьми из своего племени совсем недавно жили и вольно, и весело. Пора, пора совершать набег на соседние поля!

Бог помощь вам, друзья! А мы, пораскинув мыслишками, все же останемся с Ванькой Жуковым — скрипеть пером и писать «на деревню дедушке».

«Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

АРФЫ И ВЕРБЫ

Асар Эппель. Травяная улица. Рассказы. Москва — Париж — Нью-Йорк. Издательство «Третья волна». 1994. 207 стр.

Все происходит в Москве, на бывшей окраине: среди сараюшек, общаг, полениц, тупичков, дощатых дворовых уборных, на «травяных улицах». Это правда, но четверть правды.

Все разворачивается в военные и первые послевоенные годы: под уханье и икоту дальних снарядов, под утробный гуд самолетов, посреди зимнего, апокалиптического голода и холода угадываемого 1941 года, рытья окопов, а потом под беглое, но точное упоминание первых «трофейных тряпок», вязкого белья, женских комбинаций, которые вновь настолько, что для них не обкатано еще на губах общепринятое название. Это также правда, — но полправды.

Ибо чересчур все сложней и протяженней. Чересчур непохоже на шестидесятилетнюю прозу о военном детстве — послевоенной юности, да и на шестидесятилетство как таковое. Хотя летами автор оттуда. Но летами только лично-биографическими. А воздух книги дышит столетиями и тысячелетиями.

Ветер «Северо-Запада» и «Юго-Запада» веет над книгой — неопровержимо для всякого, кто изведет его терпкий, сочный, обреченный, неистребимый и разъедающий вкус. «Юго-Запад», «Северо-Запад» — бывшие эвфемизмы бывшей Российской империи, употреблявшиеся для пространств, кои стали теперь Беларусью, Украиной, а отчасти и Литвой и Молдовой. Суверенными державами. В этом смысле былое название — фикция. Однако в названии этом запрягалось несколько веков (где меньше, где больше) пусть вынужденного, пусть политическими заборами, занавесами и стенами охранявшегося, пусть неравноправного, пусть сто раз «имперского», но — совместного проживания дюжины народов. И вдавлялась, впиалась (но и вросла) в него черта оседлости, изо всех этих народов особо метившая один народ, а потому — волей Бога, а не государства — окрасившая этим народом все упомянутое пространство: его говор, его быт, его обычаи, его менталитет — то бишь, по-нашенски, склад души.

Оттуда эта книга. Там ее зачаток, зарод, первоисток. Хотя именно о нем автор чаще всего умалчивает — и лишь воздух, ветер, лишь зоны отсутствия прошлого в биографиях персонажей (включая рассказчика) о том проговариваются.

Какого Эппеля мы знали? Переводчика Сенкевича и Боккаччо, первооткрывателя — для русской аудитории — Бруно Шульца, интерпретатора Мицкевича, Тувима, шотландских баллад, Брехта, поэтов польского барокко. При всей пестроцветности регионов и имен доминанта отчетлива и безусловна: по рубежье. Пограничье: либо национальное, либо жанровое, либо территориальное. Или все вместе. Там, где схлестнулись, да не спаялись края, зазубрины, швы традиций, племен, эпох, «образов мира». Доминанта «Северо-Запада».

Чего мы могли ожидать при таком филологическом багаже от Эппеля-прозаика, столь поздно выплеснувшегося повествованием от первого лица? Чего угодно: сюрра, модерна, постмодерна, психологизма, алогизма, метафорики, эрудиции. А что в книге?

Беру произвольно зачины нескольких рассказов.

«Старик Никитин обмыл и вытер коровьи задние ноги, хвост и все прочее, но корова опять обузенилась, и труд пропал. Однако старик Никитин не выругался, а только сузил страшные свои бесцветные глаза. Он снова обмыл и досуха обтер корову, полагая, что, пасясь, она лизнула нездоровый для скотины алатырь-камень» («Два Товита»).

«Великий педагог Ян Амос Коменский выступал за отмену розог, за просветительскую педагогику и вообще имел дело с опрятными чешскими детьми, смиренными и воспитанными. Великий педагог Ушинский боролся за прогрессивную педа-

гогику, за полезную школу, и все у него получалось, правда, за партами перед ним сидели тихие, социально-запуганные дети, но, конечно, шалуны. У великого педагога Макаренко был с собой револьвер, и с его помощью педагог проделывал несложные трюки по доверию. Дети, с которыми имел дело он, считались очень большими озорниками, но не надо забывать про револьвер. А у нее был только бидон. Она приносила его на уроки рисования пустым, а уносила — по горло наполненным теплой детской мочой» («Худо тут»). Приношу попутно извинения: абзацы автора спрессованы в один ради экономии журнальной площади).

Остальные зачины в том же ключе. Это уж потом, очухавшись и прохолонув, мы отметим: есть и эрудиция, и модерн, и сюр. Или не отметим. Ибо проза Эппеля за с а с ы в а е т и отмечать не дает. Но еще и потому, что сюр этот — не от ментальной игры в бисер, а от сюра ж и з н и. Здешней. Окраинно-московской. И дальше, глубже — северо-юго-западной. Еврейско-русско-украинско-белорусско-литовско-польской. Или на языке, на котором говаривали в натуре многонациональные прототипы Эппеля, — жизни хохлацко-жидовско-кацапской... Продолжить читатель может сам.

А уж потом на эту саднящую языковую и душевную грунтовку лег хищный и точный штрих эрудита-полиглота. А в довершение — по закуткам событий (и сказа о них) пробьется всхлип: «Прости мне, Господи... странную шалость, жуткую выдумку уходящего детства, которую я позволил себе... и улыбаюсь я, вспоминая свою дерзость и веселье, тогдашние дерзость и веселье, но давно не улыбаюсь, вспоминая отчаяние той женщины» («Темной теплой ночью»).

Это — про вусмерть напуганную мальчиком полусумасшедшую полустаруху послевоенной поры. И это — про всех обитателей «травяных улиц». Про мучеников, но и мучителей — от жалкого и великого своего мученичества.

Терзают и терзаются в книге многие — чуть ли не все. Однако потому и мчатся, к ужасу учительши, в бидон на уроках рисования, что в школьном сортире с перебитыми лампочками тебя обгадят сотоварищи. Оттого и разбивают стекло в развалюхе 1941 года, обрекая двух — полумертвых от голода — призраков в ней на замерзание, что у самих погибла последняя живая еда — крольчонок, а подумали на тех двоих... Умывание, одежда-обувка, тепло, еда, секс, работа желудка обставлены такими немислимыми препятствиями, требуют таких ухищрений, что окраина на каждом миллиметре своего безгеройского бытия реализует афоризм: в жизни всегда есть место подвигу.

Но вот шок от эппелевского «телесно-низового» реализма (почти по Бахтину, только с обратным, отнюдь не развеселым эффектом) исчерпывается. Цена, которой оплачена возможность просто жить, просто есть и пить, просто спать с женщиной или жениться, просто иметь кров над головой, — нами, читателями, не понята даже, а воспринята. Кожей, нервами, нутряной дрожью. И тогда неуклонимо встает вопрос. Нет, даже не о смысле существования героев Эппеля: положим, о таких материях говорить тут оскорбительно-бесчеловечно. А все-таки: вопрос хотя бы об опорах. От того, что дает силу выживать. Не биология же, не так Эппель наивен, чтобы в спасительность ее, биологии, веровать. И еще: что вокруг «травяного» жизнепробытия совершается и разворачивается?

Так-таки ничего? А кампания против космополитов? А возвращение домой фронтовиков, кавалеров боевых орденов, добрая часть которых после жестокой, но все же окопной свободы обречена была перековаться на винтики, а иным суждено было стать спившимися инвалидами, поющими за рублевки и трешки в электричках? А школы — что там герой проходил на уроках истории? Литературы? А пионерские линейки, а комсомольские собрания? А газеты? А кинофильмы тех лет?

Все это как бы присутствует в тексте, но ничего не определяет. СССР испарился — остался голый человек на голой (впрочем, «травяной») земле. (В это верю с трудом: эпоха «сталинского ампира» так запросто, без дани, без отпечатка не выпускала никого.)

Скажут: такова мера условности автора. Согласна, «ампир» ему уступлю, а как уступить Эппелю самого Эппеля? Он-то, автор, чем выжил и с чем вышел, если смог — после всего — стать Эппелем?

Да и долго ли продержит прозаика жизненный пласт такого уровня — без «неба» и без «почвы»? В былые лета газеты наши печатали шуточные объявления: пародий на Евтушенко и Вознесенского не присылать, материал полностью отра-

ботан. «Травяные улицы» отработаны еще не полностью, но, похоже, к тому клонится. Вот и позднейший, послекнижный рассказ¹ мало что к этому миру прибавляет. Снова пронзительно. Зорко. «Натуралистично» и не грязно одновременно (даже описание заголенного женского места у девочки-подростка). Но... но ловишь себя на мысли: так, и это уже автором описано, то есть все-таки отработано, — что дальше? «Телесное» существование большого выбора не оставит...

Однако не в том главная загвоздка. Она в том, что автор превосходно знает (безо всяких чужих подсказок) не только «малый», но и «большой» национально-исторический контекст, омывавший островок окраинного быта. Знает, откуда — по большому времени и пространству — его жители. То там, то сям скользнет обмолвка, проговорка, скороговорка, деталь, локальный эпизод, ассоциация... Скользнет — и выдаст объем умолчания. Масштаб предьстории.

Ему ли, автору, неведомо, что его старообрядцы и кавказцы, участковые и парикмахеры — все здесь пришлые. Либо военные беженцы, либо переселенцы, скитальцы судьбы. За ними за всеми какой-никакой, но прежний дом и мир: обжитой, а ныне безвозвратно потерянный. Для евреев — потерянный даже в виде довоенных, дореволюционных «северо-западных» кагалов и совсем недавних гетто.

Ведь это он, Эппель, подготовил сборник русских переводов поэзии идиш «Арфы на вербах». Это он корнями с «Северо-Запада». Это он, с его фантазмагорическим языковым чутьем и хваткой, какие бывают только у «многокультурников» и «людей порубежья», не способен не слышать, что на некоем «всеобщем идише» говорят (и мыслят!) все его персонажи: и русские, и украинцы, и таты, и армяне...

И не так-то «модно» и «выгодно» было выпускать ему в свет этот сборник — «Арфы на вербах». Если «у нас» поэзия идиш — еврейская литература, то «у них», в Израиле (а отсюда, на «их» фоне, — и для всех «национально-сознательных» в диаспоре), это полоеврейская, не доеврейская полуюлитература. Околица и заолустье исконной культуры, «травяная улица» ее. Как суржик для украинцев.

Между тем культурное пространство у героев Эппеля еще обкромсанней. Нет у них не то что ни следа «своих» религий — ни тени «своих» праздников и обрядов. Нет даже отблеска «своей» литературы — только обрывки полуфольклора, городского или пригородного, смешанного и смешного, вроде песенки «Ужасный гембель в доме Шнеерсона...», излюбленной у моих соседей в послевоенном, тоже захолустном и тоже переселенческом Крыму.

Тут уж покинутые края за чертой оседлости, юго-западные и северо-западные местечки выглядят как утраченная роскошь национального, религиозного, культурного самосознания. Там могли бить и отбиваться, дразнить и парировать, сочинять байки про «не своих»: одобрительные, завистливые, презрительные, цепкие на хват и едкие на оценку. Но там никто никогда, ни при каких обстоятельствах, до смертельных включительно (в смертельных — особенно), не забывал: кто он? чей он? откуда он?

Сборник «Арфы на вербах» отсылал названием своим к знаменитому псалму — песне эпохи вавилонского пленения. Сыны Израиля повесили арфы свои на вербах и отказываются петь в усладу победителям «на реках вавилонских». Псалму суждена была долгая жизнь в иных веках и культурах, в том числе — в православном богослужении; его перелагал Байрон, он стал негритянским спиричуэл, его исполнял ансамбль «АББА».

В прозе Эппеля ни арф, ни верб. Нечего «пленным», оказывается, петь: слова песен стерты из памяти. Но и у «вавилонян» тоже нет уже песен. Так что это уже не «плен», не «гетто», не «лагерь», а «послелагерь», где «местные» и «пришлые» перемолоты и амнезированы воедино.

Верит ли летописец московской резервации в возможность такой — безостаточной — амнезии? Вероятно. (Я — не верю и беру самого автора в доказательство.)

Осознает ли он, что книга его заставляет благословлять любые национальные возрождения, какой бы судорогой и кровью распрямление спин ни сопровождалось? Едва ли. (Я — осознаю всеми фибрами души.)

Скорее всего, сам-то автор (вне книги и безотносительно к ней) стоит за просвещенный европеизм, культурный синкретизм, уютный и цивилизованный «атлантический» быт и менталитет.

¹ Эппель Асар. Чулки со стрелкой. — «Новый мир», 1994, № 12.

Его право. Но книга не отпускает. Книга, не автор, оставляет меня и нас перед вопросом: на каком бытийном фундаменте все это соорудится — после «трявяной улицы».

Марина НОВИКОВА.

Симферополь.



СУДЬБА УЧЕНОГО В БЫВШЕМ СССР

Никита Моисеев. Как далеко до завтрашнего дня... 1917 — 1993. Свободные размышления. М.
АО «Аспект Пресс». 1994. 304 стр.

Эта книга — прежде всего воспоминания известного ученого, дающие интереснейший материал для размышлений. Как правильно пишет сам автор, это «фрагменты истории интеллигенции... И они пропущены через конкретную жизнь». Добавим: жизнь человека наблюдательного и умеющего критически размышлять над происходящим.

На духовное формирование мемуариста существенно повлияла семья, принадлежавшая к дворянской интеллигенции. Очень тепло он вспоминает о деду — Сергее Васильевиче, назначенном в 1915 году начальником Дальневосточного железнодорожного округа, а в 20-е годы занимавшем высокую должность в Наркомате путей сообщения. Там же служил экономистом и отец автора, которого советская власть лишила возможности продолжать успешную академическую карьеру в университете. Далее все развивалось по советскому канону. В 1929 году отец был арестован и умер в больнице Бутырской тюрьмы. Дед, отказавшийся принять выгодное предложение фирмы «Вестингауз» и уехать по рекомендации коллегии наркомата со всей семьей в эмиграцию, не смог пережить смерти сына. А еще в 1928 году был арестован и вскоре расстрелян отчим автора — Николай Карлович фон Мекк. Сам мемуарист остро ощутил свое изгойство в родной стране уже в первом классе, где соученики избивали его и обзывали «буржум». Впоследствии будущего ученого так и не приняли в комсомол, а потом и на мехмат МГУ, несмотря на блестящий успех на 1-й математической олимпиаде и удачные результаты вступительных экзаменов. Только через год, благодаря вмешательству Израиля Моисеевича Гельфанда, впоследствии одновременно с автором избранного членом Академии наук, Н. Моисееву разрешили сдать экзамены за 1-й курс и продолжить дальнейшую учебу на факультете. Но, как пишет автор, свою общественную полноценность он начал впервые ощущать во время войны, когда в 1942 году его на фронте приняли в партию. При этом мемуарист мотивирует свое решение не «верностью делу Ленина — Сталина», но стремлением преодолеть собственное изгойство.

Н. Моисеев пишет, что его «отношение к Сталину было однозначным и выработалось еще в детстве, в семье — ее бедами». Однако в годы войны он воспринимал вождя «как неизбежность, даже как историческое благо. Сталин второй раз сохранял Россию как целое». Дед автора «ненавидел либералов Временного правительства и прощал большевикам многое за то, что они сохранили целостность страны. Большевики (по его словам. — Ю. Ш.) придут и уйдут, а Россия останется». Через много лет его внук с такой же убежденностью будет повторять вместе с коллегами: брежневцы приходят и уходят, а Россия остается...

После окончания университета Н. Моисеев в начале войны вместе со многими мехматовцами попадает в Академию имени Н. Жуковского. Все они за год получили дипломы военных инженеров. Он очень тепло пишет о тамошних преподавателях, особенно о своем учителе — генерале Дмитрие Александровиче Вентцеле. Любопытно, что жена последнего, позже известная писательница И. Грекова, была близким другом, а в ряде случаев и соавтором Александра Галича.

Мемуарист вспоминает о своей эйфории времен конца войны и послевоенных лет: «Несмотря на начинавшиеся эксцессы, мы верили: партия, которая в труднейшее время привела нас к победе, сумеет в мирное время открыть двери в светлое будущее». Правда, Н. Моисеев сегодняшний на той же странице признается: «Теперь мы понимаем, что и не могли воспользоваться в полной мере результатами победы. Система была настроена на обеспечение иных, совсем не народных приоритетов. Народу не верили, народа боялись, его стремились держать в узде». Можно понять эволюцию взглядов автора, происшедшую в последующие годы.

Автор приводит разговор, который состоялся у него в санчасти с летчиком Иваном (фамилию которого рассказчик запаматовал). В разговоре автор предавался самым радужным мечтам о будущем, а его собеседник на это возразил: «Интеллигент ты, ничему война тебя не научила... Та же сволота, думающая о собственной жратве, о власти, как была, так и осталась». Иван говорил, что власти всегда нужен враг: «Был немец, придумают американцев. Какая разница?» А далее следует рассказ солдата Елисеева, получившего из дома письмо с вестью о том, как посадили председателя колхоза, безрукого инвалида войны Акима, который не дал вывезти картошку, чтобы не обресть колхозников на голод. Но все эти разговоры «не могли омрачить общего радостного ощущения наступившего мира и ожидания жизни, которая вот-вот начнется».

Что ж, автор честно пишет о неготовности многих из нас серьезно размышлять в те годы. Это было к тому же смертельно опасно — разделить боль своего народа. (Да не примет читатель сказанное в качестве иронии — это личный опыт рецензента, знавшего времена, когда, как писал Александр Галич, «рвали горло — за милосердь, били морду — за доброту», а пушкинская «милость к павшим» засчитывалась за преступление.)

Н. Моисеев вспоминает, как сделанный им еще в армии баллистический расчет реактивных снарядов неожиданно явился причиной его откомандирования в Москву и в конечном счете привел к демобилизации и работе в области ракетной техники. Но в силу имевшегося в органах доноса его лишили допуска, и ему в 1949 году пришлось переехать из Москвы в Ростов на преподавательскую работу в местном университете. Курс гидродинамики он читал прямо «с колес», изучая соответствующий раздел этой научной дисциплины непосредственно перед тем, как читать его студентам. Через шесть лет автор стал доктором наук за решение важной гидродинамической задачи, непосредственно связанной с устойчивостью полета ракет. Именно в этот момент мемуарист, по его словам, излечился от давящего ощущения изгойства и «смог работать там, где... интересно, и без всяких оглядок на разную сволочь».

Первый период работы после своей защиты автор характеризует как научное пиршество: «...пятидесятые и первая половина шестидесятых годов были очень светлым временем для нашей научно-технической интеллигенции». Эти слова выражают ощущения некоего «призванного» слоя интеллигенции тех лет, обретшего сознание своей государственной значимости. «Ее энергия, способности, умение — все это было нужно народу, нужно стране, нужно государству». Относительно государства (правящей верхушки, рвущейся к мировому господству) это бесспорно. Что же касается страны и народа — в книге явно недостает сегодняшних авторских размышлений на сей счет. Ведь Н. Моисеев пишет фактически о том, что энтузиазм «спецов» был вызван «ощущением востребованности, нужности». Да еще после смерти Сталина «начало исчезать чувство страха... росла раскованность людей... А большевики, партия, коммунистическое завтра — об этом мы и не думали».

И все же книга не только правдивое свидетельство о ментальности инженерно-технической интеллигенции тех времен. В ней дается точный технико-экономический диагноз неизбежности острого кризиса советской системы.

Автор верно замечает, что в состоянии дел с вычислительной техникой «как бы сфокусировалась вся несостоятельность нашей общественной организации и неспособность общества остановить свой бег к неизбежной катастрофе». На своем личном опыте я могу подтвердить правоту Н. Моисеева, пишущего о том, как фактически оказалась прерванной традиция разработки оригинальных универсальных компьютеров, что привело к непоправимому отставанию в важнейшей области научно-технического прогресса.

Вместо того чтобы планомерно готовить общий прорыв в сфере компьютеров, способных решать любые задачи, мы стали исхитряться, создавая специализированные устройства, призванные обеспечивать реализацию частных проблем, без совершенствования базовой технологии. Н. Моисеев показывает, что в этом и заключалась одна из важнейших причин последовавшей затем общей стагнации. Он убедительно демонстрирует, что это было связано с коренными пороками советской экономики, осознанными им уже позже. Очень важен и его вывод, что «монополизм в промышленности консервировал старые технологии».

Н. Моисеев очень интересно рассказывает о своем переходе на новую тематику — вместо технических задач он стал интенсивно разрабатывать новые научные методы оптимального управления. Это привело его к созданию важных экономических, а затем и экологических моделей.

Среди таких моделей особое место занимает получившая широкую известность модель «ядерной зимы», созданная в соавторстве с В. Александровым и реализованная последним в сотрудничестве с американскими учеными. Анализ сценариев атомной войны показал: в биосфере неминуемо произойдут изменения, которые сделают невозможным дальнейшее существование человечества. Этот результат вызвал недовольство военных и руководства ВПК, а также обвинение в антипатриотизме на страницах журнала «Наш современник». В 1985 году В. Александров исчез, выйдя прогуляться накануне своего отлета из Мадрида. Н. Моисеев считает, что это дело либо американских, либо советских спецслужб.

Из воспоминаний Н. Моисеева отчетливо явствует: бюрократизация науки в известной мере определялась самими руководящими представителями научно-технической элиты. Он подчеркивает при этом, что в советской системе (в том числе и в науке) отбор шел преимущественно не по деловым качествам, а «по принципу служения системе». Результаты такого «отбора» мы и вынуждены сейчас расхлебывать.

Собственно, размышления мемуариста относятся к его картине мира и к проблеме будущего России. Автор книги предлагает эволюционную натурфилософию — попытку синтезировать природные начала и духовные феномены. Мемуарист уверенно заявляет: «Я полагаю, что материальное бытие первично», но тут же добавляет: «Нравственность — это сердцевина цивилизации». Однако если нравственность вторична по отношению к материальному бытию (а не укоренена в Боге), то ее регулирующая роль весьма условна: ее нельзя уподобить закону мироздания, но скорее чему-то вроде правил уличного движения — важных для обеспечения необходимого порядка, но отнюдь не составляющих «сердцевину» человеческого существования. Понять эту противоречивость можно из той главы, где автор пишет о своем отношении к религии, характеризуя самого себя словами: «Я не стал верующим, но и не превратился в атеиста... Считал себя православным, но не по религиозным убеждениям, а по принадлежности к той традиции, в которой меня воспитала семья». Религию он связывает с необходимостью ответить на вопрос: зачем? Н. Моисеев убежден: «Наука вполне совместима с религиозными убеждениями, а тем более с религиозным чувством». Вполне естественно, что свою картину мира автор строит на научном подходе, основываясь на эмпирических обобщениях. В основе этой картины — представление об Универсуме как целостной и стохастически (то есть случайно) развивающейся системе, создавшей в процессе эволюции человека как инструмент самопознания.

Размышления о России носят характерное название: «Сумерки России. Рассвет или закат?» А выше автор писал о том, что «враждебность к русской культуре и ее носителям... одна из составляющих большевистской доктрины». Еще выше — о том, что «социализм — не более чем утопия». Отсюда вытекает, что конец большевизма выше может стать рассветом для России, хотя автор тяжело воспринимает распад Союза в результате беловежских соглашений. Идея территориальной целостности империи для него все еще приоритетна. У Н. Моисеева как-то не возникает мысли, что этот распад, быть может, единственный путь к духовному возрождению России, а личные амбиции руководителей — лишь частное обстоятельство. Для объективной оценки прошедшего нужен серьезный анализ, а не просто эмоции. Мемуарист достаточно осторожен в своих выводах о происходящем сегодня, хотя многое его и огорчает.

Автор возлагает на интеллигенцию формирование представлений о национальных целях, о «желаемом будущем», предупреждая об опасности утопических иллюзий. Сам он формулирует геополитические цели будущей России, предлагая, в частности, интересный проект — «северный обруч» как путь из Европы в Тихий океан. И все-таки, мне кажется, основные национальные цели следует искать в духовной сфере, которая, по моему убеждению, — основа всего остального и определяет реальный потенциал страны. Прежде всего необходимо осознать и ясно артикулировать национальные цели в сфере народного образования.

...Хотелось бы закончить рецензию призывом: «Прочтите эту книгу: ее написал добрый, незаурядный человек!» Увы, она практически почти недоступна: тираж — 2500 экземпляров.



ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ?

Джин Вронская и Владимир Чугуев. Кто есть кто в России и бывшем СССР. М. «Терра». 1994. 673 стр.

Отечественные биографические словари и энциклопедии до сих пор удручают неполнотой, досадными лакунами и «белыми пятнами». Над такого рода справочными изданиями как бы продолжают тяготеть если не прежние идеологические табу, распространявшиеся на множество имен, то инертность мысли составителей, их нежелание или неспособность переступить утвердившийся за десятилетия канон, который приучал к главному: не называть всякого рода крамольных фамилий, способных вызвать ненужный интерес и нежелательные вопросы. Тут словно негласно продолжали руководствоваться глубокомысленным изречением вождя и учителя: «Нет человека — нет проблемы».

Так, в достаточно солидных справочных изданиях, подоспевших в годы перестройки, авторы «перестроиться» не успели и все еще вели эту старую игру «в молчанку». В весьма представительной энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (М. 1987), где на титуле специально оговаривалось, что это, второе, издание осуществлено «с изменениями», мы по-прежнему (как и в первом) не находим фамилии Л. Троцкого, которому присутствовать тут вроде бы по штату положено. Ведь он как-никак был Наркомвоенмором, председателем Реввоенсовета республики, словом, организатором Красной Армии, что и сражалась с интервентами. Вместо фамилии Троцкого в энциклопедии фигурирует слово «троцкисты», производное от этой крамольной фамилии. Но данное понятие мало вяжется с тематикой энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция» — в статье о троцкистах изложены обстоятельства борьбы со сторонниками Л. Троцкого внутри большевистской партии, развернувшейся уже после завершения гражданской войны.

В другом объемистом словаре-справочнике — «Великая Отечественная война 1941 — 1945» под общей редакцией доктора военных наук генерал-лейтенанта М. Кирьяна (М. Политиздат. 1985) напрасно было бы искать, к примеру, фамилию легендарного подводника А. Маринеско, боевая и драматичная биография которого не укладывается в привычные «житийные» стереотипы. Поэтому составители предпочли опять-таки прибегнуть к спасительной фигуре умолчания. Зато здесь имеется фамилия Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева, которому в 1941 году едва исполнилось десять лет. Авторы справочника объяснили присутствие этой фамилии так: «Тема Вел. Отеч. войны занимает значительное место в выступлениях и статьях М. С. Горбачева». Что и говорить, очень резонное пояснение! Сразу ясно, что идеологические и сервильные соображения по-прежнему тяготеют над здравым смыслом составителей.

Но вот недавно появился объемистый биографический словарь, составленный Джин Вронской и Владимиром Чугуевым по типу западных «Who is Who», — «Кто есть кто в России и бывшем СССР. Выдающиеся личности бывшего Советского Союза, России и эмиграции».

Оба автора — журналисты, оба — выходцы из России, что немаловажно. По идее, они, как люди искушенные и знающие предмет, не должны допустить в своем труде какой-либо «развесистой клюквы», что подчас свойственно пишущим о нашей стране иностранцам. Вместе с тем они, по определению, свободны от идеологических клише, подчас мешающих, как уже указывалось выше, нашим авторам. Вольны в своем выборе конкретных кандидатов для такого представительного издания. Словом, энциклопедия Д. Вронской и В. Чугуева вызвала определенный оптимизм у многих российских читателей при первых же известиях о том, что подобный справочник готовит к выпуску московское издательство «Терра». К тому же выходу в свет русского аналога «Кто есть кто в России...» предшествовало появление этой книги (в несколько иной, более краткой версии) на английском языке. Английский вариант словаря удостоился самых лестных отзывов и похвал в британской прессе.

Наконец, впечатляла и внушительная цифра «персонажей», представленных в справочнике, — около 7 тысяч — от экологов, художников, вчерашних диссидентов, литераторов, ученых и военачальников до аристократов, представителей импе-

раторской фамилии, священнослужителей, врачей, космонавтов, шпионов, спортсменов, революционеров и лиц, которых даже затруднительно отнести к какой-либо определенной социальной или профессиональной категории. Словом, здесь как бы явлена нам вся история России XX века, разложенная на отдельные человеческие судьбы. В рецензируемом томе без умолчаний восстанавливаются некоторые потаенные страницы забытых событий, умышленно вычеркнутых из памяти наших соотечественников сталинскими фальсификаторами.

Многое в этом словаре и впрямь кажется непривычным, интригующим. Обращаясь к его помощи за какой-либо деловой справкой, но случайно натыкаясь на заметку, скажем, о певице-эмигрантке Н. Плевицкой. И выясняется, что она была агентом НКВД и вместе со своим мужем Н. Скоблиным участвовала в Париже в похищении генерала Кутепова, а позже Миллера, которые затем были убиты. Заинтригованный самой фабулой некоторых заметок, начинаешь читать все подряд, ибо некоторые биографии больше напоминают конспект остросюжетного романа.

Впрочем, в энциклопедических изданиях мы ищем все же не занимательного чтения, а достоверных фактов, точных дат и фамилий и т. д. И систематическое обращение к словарю Д. Вронской и В. Чугуева в поисках необходимых биографических данных о тех или иных конкретных лицах часто не дает желанного результата. Так, при всем многообразии представленных в нем имен наших соотечественников замечаешь определенную повторяемость фамилий людей всего лишь двух-трех наиболее распространенных в наши дни профессий. В этом смысле здесь явно лидируют спортсмены. Например, на страницах 486 — 487 фигурируют сразу шестеро представителей спортивного мира: Э. Сибиряков, С. Сивко, А. Сидельников, Г. Сидоренков, В. Сидорова, В. Сидяк.

Заметный перебор есть и по части советских агентов секретной службы, главным образом перебежавших впоследствии на Запад. Слов нет, фамилии некоторых крупных «бойцов невидимого фронта», особенно тех, которые ранее не были известны отечественному читателю, в подобном издании необходимо назвать. Ведь за такими агентами НКВД — КГБ, как Г. Агабеков, Л. Этингон, А. Орлов, Р. Меркадер, Б. Сташинский, — громкие кровавые дела и конкретные жертвы. Но перечислять их десятками, если не сотнями, подробно сообщая о всех их «деяниях», едва ли стоило. В свое время, в момент их разоблачения или саморазоблачения, это воспринималось на Западе как политическая сенсация, но прошли годы, и большинство этих дел забылось, раны зарубцевались. И энциклопедическое издание, рассчитанное на долгую жизнь в читательской среде, не должно «нашпиговываться» такого рода сенсациями-однодневками. Слишком много чести для подобных лиц, тем самым ценою своих черных дел невольно пролезающих в историю с черного хода.

Иной раз в словаре фиксируются и вовсе случайные фигуры, которые оказываются прочно забытыми уже к моменту выхода в свет русского варианта «Кто есть кто...». Вот хотя бы такая сомнительная личность, как «артист» цыганского театра «Ромэн» Борис Бурятсе, бывший «интимный друг Галины Брежневой», как именуют его авторы, позже погибший при «невыясненных обстоятельствах». Из того же ряда другой «персонаж» — некий Измаил Таги-заде. В прошлом он — монополист по торговле цветами в столице, позже прибрал к рукам наш кинопрокат и окончательно развалил его, заполонив отечественный экран третьесортными американскими боевиками. Хотя сами авторы признают, что имя Таги-заде «почти исчезло со страниц российской прессы», они тем не менее посвятили ему довольно пространную заметку. По объему она вдвое превосходит короткую информацию о замечательном грузинском поэте (жертве сталинских репрессий) Тициане Табидзе, помещенную на той же странице.

Такого рода несообразностей в этом справочнике, как говорится, навалом. Некоторые заметки воспринимаются скорее в качестве курьеза или шутки, рассчитанной разве на то, чтобы читатель несколько расслабился после обилия серьезной информации. Вот, к примеру, одна из них: «Майорова Екатерина (р. 1969) — Мисс КГБ-1991. Первая и, возможно, последняя королева красоты КГБ. Младшие офицеры КГБ проголосовали за нее в начале 1991, перед роспуском КГБ в августе. Пропагандистский трюк полковника Игоря Прелина и других с целью улучшить имидж КГБ. Любимым мужчиной назвала Джеймса Бонда, хобби — вязание, пища — бананы и фильм — „Унесенные ветром“».

В справочнике помимо всего прочего немало фактических ошибок, неверных данных. Неоднократно наталкиваясь на них в тексте, начинаешь сомневаться и в достоверности других приведенных там фактов. В заметке об академике Н. Вавилове, к примеру, одновременно приводятся две взаимоисключающие версии его гибели

ли. Сначала утверждается, что он был «сослан в концлагерь на Кольме», а затем говорится, что он «умер в тюрьме в Саратове». Авторам следовало остановиться на одном из этих вариантов, тем более что о гибели Н. Вавилова в саратовской тюрьме достаточно широко писалось в нашей прессе. Или еще примеры подобной путаницы. Известный дореволюционный журналист и писатель Владимир Крымов, редактор прославленного журнала «Столица и усадьба», позже эмигрант, в справочнике превратился в Крылова. Ошибки — не редкость не только в фамилиях литераторов, но и в названиях их произведений. Нашумевший в свое время «Грасский дневник» Галины Кузнецовой, посвященный И. Бунину (публиковался, кстати, и у нас), в словаре фигурирует как «Грасский дневник».

Обилие ляпсусов удручает. Так, прочитав о том, что писатель и историк П. Паламарчук «родился в МГУ», я схватился за голову: где же был редактор? Заглядываю в выходные данные. Выясняется, что редактор книги Джин Вронская. Тогда все понятно. Любой автор ведь крайне редко замечает собственные опiski и огрехи. Для того и существует институт редакторов. Совмещение же этих двух профессий, да еще в таком насыщенном фактами, датами, названиями труде, явная ошибка издательства.

Впрочем, значительно больше огорчают даже не опечатки или ошибки. Гораздо досаднее, когда вместо точных данных авторы справочника приводят явно придуманные, недостоверные факты, взятые, так сказать, с потолка. Например, в заметке о Лидии Вертинской (Циргвава) сообщается, что она «в Париже вышла замуж за певца-миллионера Александра Вертинского». Оставим на совести авторов версию о миллионах Вертинского, давно печатно опровергнутую как родными, так и друзьями прославленного певца. Что же касается церковного бракосочетания Лидии Владимировны с Александром Вертинским, то оно совершилось в Шанхае в 1942 году...

Подлинные события в такого рода издании нельзя дополнять узорами вымысла: энциклопедическому справочнику противопоказан вольный жанр. Нельзя давать волю фантазии, сообщая, что П. Л. Капицу «сослали в ГУЛАГ за отказ работать на военных, которые хотели, чтобы он работал над применением ядерной энергии». Этого в действительности не было. Было другое. За отказ работать под началом Л. Берии П. Капицу сняли со всех его постов, и несколько лет, вплоть до смерти Сталина и Берии, великий ученый был отлучен от науки. Пример по-своему не менее драматичный, нежели тот вымышленный вариант, который излагают авторы.

Можно было бы продолжить перечень столь досадных казусов. Думаю, причина подобных накладок в том, что составители справочника не смогли полностью преодолеть соблазны своей журналистско-репортерской профессии. А репортер и летописец — это разные специальности, разный менталитет. Их подходы к освещению биографии того или иного известного лица различны. Газетный репортер спешит зафиксировать наиболее броское, эффектное, но часто сиюминутное, проходящее. Автор же статьи в энциклопедическом словаре, опираясь на всю совокупность доступных ему фактов, творит по принципу, чтобы «словам было тесно, а мыслям — просторно».

Поэтому, думается, энциклопедии даже чисто лексически противопоказаны такие пассажи, уместные скорее в газетной рубрике «Происшествия»: «Во время одного из визитов в Ленинград в 1990 году (речь идет об известной французской киноактрисе М. Влади. — С. Л.) чуть не погибла во время пожара в гостинице. Ее спасли пожарные из комнаты на 5 этаже»...

И все-таки, рискуя показаться нелогичным, хотел бы в заключение сказать несколько добрых слов по поводу безусловно полезного начинания Д. Вронской и В. Чугуева. Ведь авторы, в сущности, впервые после 1917 года предприняли смелую попытку составить биографический словарь самого широкого спектра, без привычных идеологических канонов, продиктованных соображениями актуальности на данный момент политической конъюнктуры. И в результате перед нами словарь, в котором первый раз за семь с лишним десятилетий в едином ряду оказались представители как бывшей советской, так и нынешней постсоветской России, а кроме того, и деятели русского зарубежья. И мы, читатели, воочию убедились, насколько богат и многообразен этот список. О многих достойных людях, часто впервые поименованных в столь представительном контексте, мы могли бы повторить слова А. Платонова: «Без меня народ неполный». А значит, поговорка про «первый блин» здесь не так уж уместна.

С. ЛАРИН.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАСПИЙ ПОДНИМАЕТСЯ...

Среди многих экономических и социальных бед, забот и проблем, испытываемых жителями бывшего Советского Союза, примерно один процент его многонационального населения уже много лет живет в условиях медленно, но неуклонно надвигающейся беды — стихии поднимающегося Каспийского моря. Море затопляет пляжи, дороги, портовые сооружения, площади городов, подвалы домов, сельскохозяйственные угодья, места добычи нефти и газа. Удары волн в ветреную и штормовую погоду разрушают берега и стены домов... К весне 1994 года суммарный ущерб от этого оценивался цифрами от тридцати до пятидесяти миллиардов долларов США. Сейчас на берегах Каспия пять независимых государств: Россия с Астраханской областью и двумя республиками — Калмыкия-Хальмг Тангч и Дагестан, Азербайджан, Иран, Туркменистан и Казахстан. Уже многие тысячи людей потеряли кров и были отселены на более возвышенные и удаленные от моря места.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Дагестане с плохо развитой инфраструктурой, с недостатком санитарно-очистных сооружений (отчего холера!), с большой плотностью населения в прибрежной зоне, доступной для земледелия. Примерно два десятилетия тому назад власти этой тогда автономной республики стали переселять жителей отдаленных горных аулов на равнину, поскольку там проще и дешевле было их обеспечить электричеством, школами, больницами, легче контролировать и т. д. В Дагестане, при его тридцати различных языках, с плотным населением, размещение дополнительных тысяч иноязычных беженцев от стихии вырастает в огромную социально-бытовую проблему. Уже зарегистрирован ряд случаев убийств таких переселенцев местными жителями, ведь поводы для ссор всегда найдутся. На все это еще отсутствие средств как у местных властей, так и у правительства России. Наступление моря — это не землетрясение, не цунами, не пожар, то есть не стихийное бедствие почти мгновенного свойства, когда люди (и власти), лично ему не подвергнувшись, обычно потрясены случившимся и горят желанием прийти на помощь, как это было в декабре 1988 года после Спитакского землетрясения в Армении. В данном случае процесс растянулся на многие годы. Поэтому у властей и остальной части населения нет острого чувства необходимости что-то делать немедленно. К тому же и средства массовой информации практически полностью обходят проблему, так что большинство жителей страны просто и не подозревают о ее существовании.

Наступление Каспия идет с 1978 года. На фоне сезонных колебаний его уровня с размахом до полуметра сначала никто не обращал на него внимания, однако процесс продолжается семнадцать лет. За 1994 год уровень моря был почти на два с половиной (2,5!) метра выше, чем в 1977-м, причем лишь за один прошлый год море поднялось примерно на двадцать сантиметров.

Что же происходит с Каспием? Почему он поднимается и как долго еще будет подниматься? Этот вопрос жизненно важен примерно для трех миллионов прибрежных жителей. Абсолютно точных ответов на эти вопросы наука не знает, да и не будет знать никогда, но с известной степенью надежности ответы могут быть даны. Степень достоверности ответа о продолжительности подъема, то есть о прогнозе будущего, меньше, чем на вопрос о том, почему море поднимается. Это типичная проблема из серии глобальных проблем современной науки и всего современного человеческого сообщества, с которыми население земного шара столкнулось в последние декады нашего столетия.

Каспийское море — бессточный водоем с площадью около четырехсот тысяч квадратных километров, что больше всей объединенной Германии. Площадь зеркала подобного водоема зависит от его уровня и увеличивается с ростом последнего. Это важное обстоятельство, ограничивающее в конце концов подъем моря. Соленость воды в Каспии примерно втрое ниже, чем в Мировом океане. Главная река,

впадающая в Каспий, — Волга. Она дает около трех четвертей — четырех пятых (75 — 80 процентов) воды, приходящей в море. Другие крупные реки — Кура, Терек, Урал. Баланс воды в море определяет его уровень. Приходная часть складывается из стока рек, впадающих в море, и осадков (дождь, снег) над его зеркалом. Расходная часть определяется испарением с поверхности. В жарком и сухом климате полупустынь и пустынь восточного берега моря за год с его поверхности испаряется слой толщиной почти в метр. Интенсивность испарения зависит от скорости ветра, от температуры воды и влажности воздуха.

У Каспия есть частичный естественный регулятор уровня — залив Кара-Богаз-Гол, о котором Константин Паустовский в начале 30-х годов написал романтическую повесть. Этот залив на восточном берегу, в Туркмении, соединен с морем узким проливом, и его уровень ниже Каспия. Вода течет в залив, с поверхности которого испаряется с большей скоростью, нежели в открытом море. Чем выше уровень Каспия, тем больше расход воды на Кара-Богаз-Голе.

Уровень Каспийского моря стал измеряться с 1837 года впервые на водомерном посту, установленном в Баку, незадолго перед этим ставшем частью Российской империи. Сейчас действует около десятка таких постов. Некоторые за последние годы закрылись в силу разного рода трудностей. Уровень моря в каждом конкретном месте меняется не только от года к году или с сезоном, но на мелководье северной трети моря и вследствие нагонов, когда ветер, длительно дуящий в сторону берега, на многие километры гонит воду вглубь отлогих берегов. С ослаблением же ветра вода быстро отступает назад.

Что же показывают эти измерения уровня, известные в виде таблиц среднемесячных его значений приблизительно за сто шестьдесят лет? За первое столетие (до 1930 года) уровень моря почти не менялся, колеблясь между отметками —25 и —26 метров (знак минус означает, что это море ниже уровня Мирового океана). В 30-х годах произошло стремительное падение уровня. За десять лет море понизилось на один метр семьдесят сантиметров. В дальнейшем за следующие тридцать семь лет море, колеблясь, то есть то возрастая, то понижаясь в своем уровне, медленно падало, достигнув наинизшей за время измерений отметки —29 метров. С тех пор уже семнадцать лет уровень непрерывно возрастает, достигнув в 1994 году отметки —26,6 метра. Если бы вода из впадающих в Каспий рек не разбиралась в объеме около сорока кубических километров в год на хозяйственные нужды и орошение (это соответствует десяти сантиметрам в уровне моря), то этот уровень был бы на полтора метра выше, приближаясь к рекордно высокому за сто шестьдесят лет отметкам прошлого века.

Геологические и палеогеографические исследования позволяют заглянуть в более отдаленное прошлое региона. Вблизи Дербента, древнего города на юге Дагестана, в спокойную солнечную погоду на дне бухты на пятиметровой глубине видны остатки крепостных стен и башен, которые датируются ранним средневековьем. Можно предположить два объяснения, дополняющие друг друга. Либо уровень моря полторы тысячи лет назад был ниже современного, или же вертикальные движения (в данном случае опускание суши со скоростью около трех миллиметров в год) дали тот же эффект. Неточности в датировках дают разброс в привязках по времени тех или иных осадочных пород, а скудность материалов, относящихся к разным точкам побережья, не позволяют уверенно судить об уровне моря в ту или иную эпоху. Тем не менее можно считать, что за последние десять тысяч лет уровень Каспия менялся в пределах от —20 до —35 метров, а за последние двадцать пять веков колебался в пределах от —23 до —34 метров. Это данные профессора Московского государственного университета Г. И. Рычагова.

Из других данных¹ автору статьи представляется интересным подъем уровня Каспия примерно на 4 — 5 метров, продолжавшийся около восьмидесяти лет, начиная с середины XVI века. Если он действительно имел место, то это был бы хороший аналог подъему, переживаемому сейчас. Обратим, однако, внимание, что сейчас темпы роста среднегодовых значений уровня моря около пятнадцати сантиметров, в то время как четыреста лет назад они были в два-три раза ниже.

¹ Они приведены в технико-экономическом докладе «Защита народнохозяйственных объектов и населенных пунктов прибрежной полосы Каспийского моря в пределах Российской Федерации», подготовленном в 1992 году тогдашним Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов России.

Исторические сведения скудны и отрывочны, как и геологические данные, так что детальные реконструкции остаются делом будущего. При отсутствии финансирования экспедиций (а зачастую даже задержек с выдачей зарплаты) трудно пока сказать, когда подобные согласованные работы ученых прикаспийских стран смогут начаться...

Несмотря на все причуды моря, его берега последние тысячелетия были всегда достаточно плотно заселены. Народная память донесла до наших дней, как правители прибрежных средневековых государств западного Прикаспия просто и эффективно справлялись с проблемой отступления или наступления моря. Был закон, запрещающий селиться в определенной близости от морского берега. Те, кто его нарушал, лишались головы, а их строения безжалостно уничтожались. Жители знали об этом законе, и он веками не нарушался. После резкого падения уровня моря в 30-х годах нашего столетия люди двинулись на освоение высвобождаемой Каспием земли. И как итог такого освоения и забвения нашей зависимости от природы и многовекового человеческого опыта — нынешняя катастрофическая ситуация на побережье.

Насколько важно понимание природных процессов регионального масштаба, указывает и недавний советский опыт. Многим памятна дискуссия о переброске части стока северных рек в Волгу. Сколько-нибудь серьезные научные и проектные разработки начались с 70-х годов. В первые десять — пятнадцать лет все материалы имели гриф «ДСП» — «Для служебного пользования».

Первоначальная идея казалась четкой и простой: переброска нужна, чтобы спасти Каспий от дальнейшего падения, сохранить популяции осетровых рыб и другие природные экологические системы моря. Экономические показатели проекта в расчет явно не принимались, но все хорошо понимали, что затраты на подобное строительство намного превзойдут стоимость кильки, сельди, осетровых, которые к тому же, несмотря на все перипетии с уровнем, дожили до наших дней.

Словом, экономическая часть дела в те годы не была на первом плане. Тогда против переброски стали выдвигать доводы экологического порядка (нарушения природной среды, опасности для многочисленных исторических памятников культуры русского Севера на путях переброски). Научная интеллигенция привлекла к этой проблеме творческую, и в 1982 году в Политбюро ЦК КПСС было направлено несколько серьезных писем против переброски. Я подписал письмо вместе с примерно полутора десятками некоторых очень уважаемых членов Академии наук СССР (академики Д. С. Лихачев, А. Н. Колмогоров, Л. С. Понтрягин и другие). Я был среди них тогда единственным членом-корреспондентом. Моя роль в длительной эпопее борьбы с переброской, кроме участия в сочинении многочисленных писем, документов и статей, свелась к тому, что, как специалист по теории климата, я писал о предстоящем (уже начавшемся — об этом ниже) потеплении, о некотором усилении осадков в этой связи, о том, что теплым периодам в истории Земли за последние сто пятьдесят тысяч лет соответствовали высокие уровни Каспия и что начавшееся с 1978 года новое его повышение может оказаться не случайным. Сторонники же переброски утверждали, что такой подъем — случайная флуктуация, которая в любой момент может смениться спадом.

В феврале 1983 года я был зван в ЦК КПСС на Старую площадь, где обнаружил себя среди примерно сорока ученых, деятелей литературы и искусства. В большом зале мне довелось оказаться рядом с Иваном Семеновичем Козловским. Директор Института водных проблем, член-корреспондент АН СССР Г. В. Воропаев (мы с ним состоим в одном и том же Отделении океанологии, физики атмосферы и географии Академии наук) и кандидат технических наук А. С. Березнер, заместитель главного инженера Союзгипроводхоза, ведущего проектировщика в переброске, рассказывали нам, как вода нужна уже не Каспию, а на развитие орошения, для подъема земледелия в низовьях Волги и для реализации Продовольственной программы страны.

Присутствовавшие на встрече задавали много вопросов о судьбе памятников, на это давались заверения, что с ними будет все в порядке. На вопрос, не проще ли решать продовольственную проблему путем борьбы с потерями зерна, овощей, фруктов, продуктов животноводства во время их сбора, перевозки и хранения, что во много раз перекроет дополнительные урожаи с земель, предполагаемых к орошению, я так и не получил ответа. Помню, как Козловский попросил слова и стал говорить, как важно учитывать природный фактор в крупных делах. проявляя

предельную осторожность. Он привел пример, что если бы Петр построил Санкт-Петербург не вблизи устья Невы, а, как ему предлагали, на месте Ораниенбаума, то проблемы наводнений не было бы и не пришлось бы строить ленинградскую дамбу. Он призывал проявить осторожность и с переброской, добавив, что весь коллектив Большого театра ждет его рассказа об этом обсуждении.

Впоследствии я участвовал во многих дискуссиях. С конца 1985 года, в связи с подготовкой к XXVII съезду КПСС, газеты («Правда» прежде всего) начали печатать различные материалы, и тогда дискуссия по переброске стала впервые публичной. Вообще, история разработки переброски, физического начала строительства в Вологодской области в 1986 году и прекращения практических (но не научных) работ постановлением ЦК и Совмина от 19 июля 1986 года и последующие бои все еще ждет своего подробного и документального описания².

В 1980 году совсем уж втайне от научной и вообще широкой общественности за несколько месяцев реализовали одно вполне конкретное и недорогое мероприятие по «спасению» Каспия — был засыпан пролив из моря в Кара-Богаз. В то время залив потреблял из Каспия всего лишь около шести кубокилометров воды в год, то есть засыпка «спасала» около полутора сантиметров уровня моря. Тогдашний президент Академии наук Туркмении, член-корреспондент АН СССР А. Г. Бабаев рассказывал мне в 1984 году, что когда он узнал о решении отсечь залив, то пробовал в своем правительстве выразить сомнение в разумности такой меры. Его направили в спецотдел, где показали решение Политбюро ЦК КПСС о начале работ. В то время после этого оставалось только молчать.

По проекту плотина в проливе должна была быть с воротами, во всяком случае, способной пропускать воду, если уровень моря начнет подниматься (в 1980 году Каспий уже поднялся примерно на полметра по сравнению с 1977 годом). Однако стройка была далеко от Ашхабада (не говоря уже о Москве), летом там жара 40 — 45°, поэтому быстро построили глухую плотину, без возможности пропуска воды. Для укрепления земляной плотины было уложено (не по проекту!) много железных опор высоковольтной линии электропередачи, поэтому, когда лет через пять спохватились, создать в ней пропускные системы оказалось невозможно. К осени 1984 года Кара-Богаз-Гол высох и стал источником пыли и соли, развеваемых с его дна ветрами на сотни километров вокруг. Перестал работать химический комбинат на берегу залива, сырьем для которого служили рассолы Кара-Богаза.

В 1984 году, когда море поднималось уже восьмой год подряд, Минводхоз СССР решил оживить залив, перебросив через тело плотины, как сифоны, две трубы, что давало около двух кубокилометров воды в год. Это позволило поддерживать лишь около четырехсот квадратных километров площади под тонким слоем влаги, что во многие десятки раз меньше площади залива до его отсечения от моря. Весной 1992 года, вскоре после провозглашения Туркменистана независимым государством, плотину ликвидировали. За двенадцать лет своего существования плотина «сэкономила» Каспию около полуметра его уровня. Сейчас этот естественный регулятор ежегодно «съедает» всего около восьми сантиметров уровня поднявшегося моря. Туркмены собираются вновь открыть химкомбинат у залива...

Наибольшие потери от подъема Каспия несет Казахстан. Длина его береговой линии почти вдвое больше, чем у России, и простирается от восточной части дельты Волги, через реку Урал, город Атырау (бывший Гурьев) и далее до, примерно, середины восточного побережья моря. Этот район чрезвычайно богат нефтью и газом. Еще в советское время были построены сотни километров дамб для защиты нефтегазопромыслов, дорог, жилых поселков и т. д. По оценкам казахских специалистов, следует возвести еще около полутора тысяч километров дамб, из которых около четырехсот должны быть расположены в восточной части устья Волги. Каза-

² Из забавных эпизодов той поры помню, как году в 1986 Г. В. Воропаев жаловался мне, что, по-видимому, В. Г. Афанасьев, тогда главный редактор «Правды», — тайный анти-перебросчик, ибо зажимает его статью о необходимости переброски. О серьезности намерений продолжить работы по переброске говорит тот факт, со слов А. Л. Яншина, что на заседании Совета Министров СССР 19 июля 1986 года за переброску высказалось 19 человек, а против — только два (академики А. Г. Аганбегян и А. Л. Яншин). Подвел итог Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков, сказав, что, каковы бы ни были доводы «за» и «против», денег на переброску в стране нет.

хи уже потеряли (на весну 1994 года) около двух миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий, в основном пастбищ. На их территории есть так называемые соры, или култуки, понижения местности, которые при дальнейшем небольшом подъеме воды (или при нагонах) начнут заливаться. За год они испарят около десяти кубокилометров влаги, то есть около двух с половиной сантиметров уровня Каспия.

Кому довелось видеть довоенные карты Каспийского бассейна, возможно, вспомнят, что в северо-восточном углу моря имелся вытянутый, как палец, на юг залив Комсомолец. Ныне, в 1995 году, когда уровень Каспия еще на полметра-метр ниже, чем в предыдущем XIX веке, этот залив только начинает намечаться. Дальнейший же рост площади моря, по мере повышения его уровня, будет происходить за счет очень низких и отлогих областей северной трети Прикаспия. Вода с хорошо прогретых мелководий испаряется быстрее, чем со слабее прогреваемых глубоких акваторий. Расчеты показывают: если речной приток и испарение сохранятся такими же, как в последние 15 — 20 лет, то с учетом формы побережья море поднимется еще на метр-полтора, достигнув за 15 — 20 лет высоких отметок последней трети прошлого века³.

Это то, что можно пока сказать о прогнозе на будущее. Именно на отметку —25 или —24 метра на 2000 — 2005 годы и ориентируются ныне проектировщики. При этом для отлогих берегов северного Каспия надо учитывать возможность (раз в десять или двадцать лет) нагонов высотой до двух с половиной метров. Здесь вступает в силу понятие риска. Риск можно определить как произведение вероятности события на ущерб, ими вызываемый. Риск оказывается заметным при малой вероятности события, но при очень большом ущербе от него. В Петербурге большие наводнения случаются раз в сто лет, ущерб от них велик, но терпим. Поэтому не стоило возводить ленинградскую дамбу (которая пока так и стоит недостроенной).

В случае с Каспием разумным представляется риск, если проектировщики будут ориентироваться на отметку —25 метров (или чуть выше). Однако всегда законен вопрос: а на каком основании считается, что климат (компоненты водного баланса Каспийского моря) последних 15 — 20 лет не изменится за те же 15 — 20 последующих лет? Не начнет ли море опускаться?

И тут мы вступаем в область глобальных, как природных, так и социально-экономических, проблем, и все здесь самым тесным образом связано друг с другом. Эти связи наука только начинает понимать, и это понимание пока происходит лишь на самом грубом и качественном уровне. Попробуем лишь некоторыми упрощенными штрихами показать, в чем тут может быть дело и какая прослеживается связь с Каспием.

В пределах десятилетий, а возможно, и столетий изменения уровня хорошо объясняются изменениями климата над Каспием и его бассейном в три миллиона квадратных километров, с которого вода собирается в море. Нам с сотрудником Института водных проблем РАН Г. Н. Паниным в 1989 году удалось хорошо воспроизвести ежегодные изменения уровня моря, используя данные по притоку воды из рек, осадкам на полутора десятках метеорологических станций вокруг Каспия, температуре воды в море и влажности воздуха с ветром на тех же станциях за 1930 — 1986 годы. Особенно хорошо воспроизводилось падение уровня моря за десятилетие 30-х годов и рост его после 1977 года. В первом случае уменьшение стока совпадало с увеличением испарения, и уровень быстро падал со средней скоростью 17 сантиметров в год, а во втором сроке повышенный сток сочетался со спадом испарения (и перекрытием Кара-Богазы). Чуть позднее Г. Н. Панин с сотрудниками обнаружили: спад темпов испарения связан с систематическим ослаблением летом (процентов на 10 — 20) скорости ветра над Каспием. Такой же эффект для последних двух-трех десятилетий обнаружился и на многих метеорологических станциях Европейской территории тогдашнего Союза (России, Украины, Белоруссии).

³ Иран также страдает от подъема уровня Каспийского моря. Его побережье протянулось больше чем на тысячу километров. В 1992 году Тегеран посетила делегация Миннауки России для обсуждения проблем Каспия. Один из членов нашей делегации рассказывал мне, что иранцы убеждены: море поднимается потому, что Россия тайно осуществила переброску.

Осенью 1993 года директор Государственного гидрологического института в Санкт-Петербурге, профессор И. А. Шикломанов сообщил мне, что у них много данных прямых замеров испарения. Эти данные показывают, что в большинстве районов России испарение в последние десятилетия действительно уменьшается. Все это свидетельствует, что климатические изменения — главная причина колебаний уровня моря. Тектонический фактор если и играет какую-то роль, то в масштабах десятилетий он невелик.

Таким образом, проблема прогноза будущих значений уровня моря сводится к проблеме возможных изменений климата, и региональные перемены тут только часть глобальных. Для этого существует целая наука, вернее, симбиоз многих фундаментальных и прикладных наук, ибо климат определяется излучением Солнца, составом атмосферы, наличием океанов и суши с растительностью, снегом и льдами. Понимание процессов, определяющих климат, возникает из наблюдений за ними на метеостанциях и спутниках, путем постановки дорогостоящих и требующих много сил и оборудования специальных наблюдений в атмосфере, на поверхности суши, океана и в его глубинах. Все эти сведения — основа для построения физико-математических моделей климата. В мире в настоящее время существует тридцать подобных моделей.

Две таких климатических модели есть в России, в Главной геофизической обсерватории в Петербурге и в Институте вычислительной математики Российской академии наук в Москве. Расчеты по этим моделям и степень их начинки различными физическими процессами требуют огромных затрат (порядка тысячи часов) машинного времени самых современных компьютеров с производительностью в миллиарды операций в секунду. У нас таких машин нет, поэтому наши модельеры иногда ездят для расчетов в Германию, Францию, США, где их только недавно стали официально пускать на суперкомпьютеры⁴.

Сейчас силами российских ученых с помощью их коллег из США начата проверка, как каждая из этих тридцати моделей воспроизводит изменение уровня Каспийского моря по стоку рек и испарению для десятилетия 1979 — 1988 годов. На весну 1995 года проанализированы результаты расчетов половины из этих моделей. Модели с детальным описанием процессов по пространству довольно реалистично воспроизводят повышение уровня Каспия за эти десять лет, поэтому появляется надежда, что такие модели в будущем смогут воспроизвести изменения уровня моря при различных сценариях изменения состава атмосферы.

Но это еще не прогноз. Некоторые читатели, наверное, слышали про конференцию ООН по окружающей среде и развитию, которая в июне 1992 года состоялась в Рио-де-Жанейро. Одно из главных решений конференции было принятие рамочной конвенции о защите климата Земли. После ее ратификации пятидесятым государством в марте 1994 года она вступила в силу. У нас Государственная Дума приняла 14 октября 1994 года Федеральный закон «О ратификации рамочной конвенции ООН об изменении климата». 25 октября того же года Совет Федерации одобрил этот закон. Оба события не нашли почти никакого отклика в средствах массовой информации, а вместе с тем они — важное действие, вводящее в российскую жизнь, или ее планирование, результаты достижений большого комплекса наук о нашей планете.

Цель этой конвенции — «добиться стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему». Стабилизация возможна путем всемерного энерго- и ресурсосбережения, что полезно и само по себе для экономики и окружающей среды.

Как уже говорилось, климат — результат игры многих факторов, но первичным служит количество солнечной энергии, доходящей до поверхности Земли и

⁴ В 1988 году в Государственном гидрологическом институте под руководством М. И. Будыко была сделана попытка дать прогноз поведения уровня Каспия до середины будущего века с учетом потепления из-за роста концентрации парниковых газов. Распределения осадков и испарения считались при этом такими же, как в соответствующие более теплые эпохи около 6 тысяч лет, 125 тысяч лет и 3 миллионов лет назад. При этом было найдено, что за десятилетие 90-х годов море опустится на 30 см, поднимется на полтора метра к 2020 году и на 5 метров к середине XXI века. Как бы ни относиться к этому прогнозу, он — серьезное предупреждение о возможности еще больших бедствий.

поглощенной в атмосфере. Это определяется составом атмосферы. Многие газы (водяной пар, метан, углекислый газ и другие) практически прозрачны для излучения Солнца, но поглощают тепловое излучение от земной поверхности и нижних слоев атмосферы. Это и есть так называемые парниковые газы. Поглощая (при росте концентрации) дополнительное тепловое излучение, эти газы выполняют роль утепленного «одеяла», возвращая к поверхности часть излучения и тем самым повышая температуру земной поверхности.

За последние два-три столетия человек стал все более заметно менять состав атмосферы, увеличивая в ней количество метана и углекислого газа. Сначала это было вызвано вырубками лесов и в последнее столетие сжиганием ископаемого топлива. Метана сейчас втрое, а углекислого газа — на 28 процентов больше, чем два-три века назад. Но одновременно в атмосфере стало больше аэрозолей, мельчайших частиц, которые в основном отражают солнечную радиацию назад в космос, что ослабляет парниковый эффект. Количественное описание этих процессов — одна из главных забот науки о климате. Углекислый газ и метан вводятся в атмосферу при сжигании ископаемого топлива (угля, нефти и газа) и при его добыче. Аэрозоль образуется из сернистого газа, получаемого при сжигании ископаемого топлива (отсюда кислотные дожди).

Чтобы оценивать их производство, надо знать уровень развития экономики. А это в свою очередь определяется ростом населения земного шара, развитием его потребностей. Человечество меняет лик земли, сводя леса, а это уменьшает поглощение углекислого газа из атмосферы, идущего на фотосинтез, и влияет на количество солнечной радиации, отражаемой от земной поверхности. Отсюда видно, как человек прямо или косвенно меняет и земной климат. За последние сто с лишним лет вся наша планета реально потеплела примерно на полградуса. Подавляющее большинство ученых связывают это потепление с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере. При потеплении в среднем должны увеличиваться и осадки, что и наблюдается в наших широтах. Теплеет в основном зимой, что читатель, наверное, заметил и сам.

Пока климатологи задают в своих моделях те или иные сценарии роста концентрации углекислого газа в атмосфере и считают на семьдесят — сто лет вперед возможные изменения климата. Есть надежда, что те модели, которые оптимально воспроизведут подъем Каспия за десятилетие 1979 — 1988 годов, смогут дать заслуживающий доверия прогноз и на более отдаленное будущее.

Международная научная общественность с интересом и симпатией относится к нашим попыткам подойти к проблеме прогноза Каспия. Но вся эта деятельность требует таких огромных затрат человеческих и материальных ресурсов, что в наше время сокращения финансирования науки и бегства из нее молодежи не хочется и думать, когда и что здесь возможно сделать. Впрочем, надо делать все, что в наших силах. Пока надежды сделать что-то новое и полезное с помощью зарубежных коллег есть. Государство собирается выделять какие-то средства для строительства защитных сооружений вокруг городов и крупных населенных пунктов. Долг ученых — дать сколько-нибудь обоснованный прогноз поведения Каспийского моря на ближайшую перспективу и на более отдаленное будущее.

Г. ГОЛИЦЫН,
академик РАН,
председатель Межведомственного
научного совета по проблемам Каспия.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



THE AGONIES OF THE RUSSIAN INTELLIGENTSIA. — «Russian Studies in Literature», Armonk, N. Y. 1994 — 1995. Vol. 31. № 1.

МУКИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.

Тематический выпуск американского ежеквартального журнала, публикующего переводы русской литературной критики и литературных исследований, включает десять статей, которые печатались в российской прессе в последние годы; проблема, означенная в заглавии, рассматривается в них с разных, нередко противоположных точек зрения (к примеру, воспроизведена дискуссия, имевшая место на страницах «Независимой газеты» в марте 1993 года).

В кратком редакционном предисловии Деминга Брауна разъясняется традиционно русское понятие «интеллигент» («независимый мыслитель», «оппонент властей», «нередко — еретик») и характеризуется нынешнее состояние русской интеллигенции, «как бы парализованной чувством собственного бессилия», разочарованной в посткоммунистической действительности, не имеющей сегодня ни духовных вождей, ни моральных авторитетов в «большой» политике.

В выпуске представлены переводы следующих текстов: Александр Генис, «Совок» (1992), Лев Аннинский, «Бельгийско-Осетинский диван» (1992), Александр Иванов, «Интеллигент — это кто?» (1992), Дмитрий Лихачев, «О русской интеллигенции» (1993), Станислав Рассадин, «Джик, джик! Интеллигенции как соборного понятия нет...» (1993), Виталий Ручинский, «Живьем не хоронят» (1993), Геворк Тер-Габриэлян, «Эскиз истории идеи» (1993), Владимир Лакшин, «Конец, тупик, кризис: Россия и русские на своих похоронах» (1993), Светлана Беляева-Конеген, «Литература и власть: Новые профессионалы выходят на авансцену» (1993), Наталья Иванова, «Двойное самоубийство (Интеллигенция и идеология)» (1991).

И. Р.

Уважаемые читатели!

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10 до 18 часов.

Наложным платежом журнал не высылается.

«НМ».

ПОПРАВКА

В публикации «Юность сестер Цветаевых» (№ 6 с. г.) в примечании 7 к письму 6 М. И. Цветаевой вместо слов: «в частной гимназии Е. Б. Грановской» следует читать: «в частной прогимназии (затем гимназии) Е. Б. Грановской». (Уточнение комментаторов.)

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Аристофан. Лисистрата. Перевод с древнегреческого А. Пиотровского. Рисунки О. Бердслея. М. «АТТИК». 1995. 128 стр. 5000 экз.

Анатолий Бузулукский. Время сержанта Николаева. Конец 80-х — начало 90-х. СПб. Издательство «Белл». 1994. 222 стр. 2000 экз.

Вторая книга молодого петербургского прозаика. Рассказы, составившие ее, продолжают традиции русской социально-психологической прозы с элементами гротеска.

Виталий Кальпиди. Мерцание. Книга стихов. Пермь. Издание фонда «Юр-тин». Издательство Пермского университета. 1995. 140 стр. 2000 экз.

Четвертая книга уральского поэта, вполне подтверждающая репутацию («поэтическую мифологию»), что складывается вокруг имени Кальпиди. Основной корпус стихотворений (1992 — 1994 годов) снабжен авторскими комментариями в духе новейших постмодернистских традиций, частично игровых, имитирующих строгое соблюдение нормативов этого жанра, но в большей степени вызванных потребностью автора объяснить, объявить свое эстетическое кредо. В итоге — вполне оригинальное и естественное для Кальпиди соединение поэзии с эстетической эссеистикой.

Виктор Конецкий. Среди мифов и рифов. СПб. «Библиополис». 1994. 448 стр. 10 000 экз.

Книга псалмов. (Псалтырь). Перевод в стихах Н. Гребнева. Предисловие и примечания Ш. Маркиша. Послесловие С. С. Аверинцева. М. «Восточная литература». РАН. «Школа-Пресс». 1994. 252 стр. 30 000 экз.

Р. Музиль. Человек без свойств. Перевод с немецкого С. Апта. Репринтное воспроизведение издания 1984 года. М. «Ладомир». 1994. 10 000 экз.

Александр Рогов. Осень прошлая. Стихи. М. «РБП». 1993. 1000 экз.

Дебют молодого поэта в издательской серии «Рекламная библиотечка поэта».

Русский жестокий романс. Сборник. Составители В. Г. Смолицкий, Н. В. Михайлова. М. Государственный республиканский центр русского фольклора. 1994. 144 стр. 10 000 экз.

Сто стихотворений ста поэтов. Старинный изборник японской поэзии VII — XIII веков. Перевод со старояпонского, предисловие, комментарии В. С. Сановича. 2-е издание, переработанное, дополненное. СПб. «ШАР». 1994. 286 стр. 5000 экз.



С. Т. Аксаков. О разных охотах. М. «Физкультура и спорт». 1994. 20 000 экз.

Н. А. Бердяев. Царство Духа и царство Кесаря. Составление, послесловие П. А. Алексеева. Подготовка текста, примечания Р. К. Медведевой. М. «Республика». 1995. 384 стр. 15 000 экз.

Я. Е. Бродский. Москва от А до Я. Памятники истории, зодчества, скульптуры. М. «Московский рабочий». 1994. 320 стр. 10 000 экз.

Федор Степун. Бывшее и несбывшееся. Послесловие Ю. И. Архипова. М. «Прогресс-Литера». СПб. «Алетейя». 1995. 651 стр. 3000 экз.

Первое в России полное издание мемуаров Федора Августовича Степуна (1884 — 1965), ранее известных у нас по журнальным публикациям («Новый мир», «Волга», «Голос» и др.). В издание включены воспоминания В. А. Пирожковой «Несколько слов о моем учителе», написанные в Мюнхене в 1991 году.

Составитель С. Костырко.

ПЕРИОДИКА



*«Волга», «Вопросы литературы», «Грани», «Драматург», «Звезда», «Знамя»,
«Наши современники», «Нева», «Новая Европа», «Юность»*

Виталий Аверьянов. Житие Вениамина Блаженного. «Вопросы литературы», 1994, выпуск VI.

О поэзии и судьбе Вениамина Михайловича Айзенштадта (р. 1921), печатающегося под псевдонимом В. Блаженный (или В. Блаженных). В «Новом мире» публиковались подборки его стихотворений (1988, № 9; 1992, № 1).

Сергей Белов. Новое о Ф. М. Достоевском в архивах США. — «Грани», № 174 (1994).

Продолжение публикации «Вокруг Достоевского» («Новый мир», 1985, № 1). Печатается — находящийся в архиве Гуверовского института — датированный 1943 — 1949 годами текст Евгения Тверского «Пророчество Ф. М. Достоевского о злодеяниях русской революции и ее последствиях» — запись беседы с Екатериной Петровной Достоевской, невесткой писателя.

Евгений Блажеев. Роман Булгакова как опыт русской бездны. — «Грани», № 174 (1994).

Очередные критика и оправдание «Мастера и Маргариты».

Иосиф Бродский. Новые стихи. — «Звезда», 1995, № 1.

Одно стихотворение 1993 года и четырнадцать — 1994-го.

Алексей Варламов. Старое. Тутаев. Чистая Муся. Рассказы. — «Грани», № 174 (1994).

Алексей Варламов. Лох. Роман. — «Октябрь», 1995, № 2.

Отдельным изданием роман выйдет в издательстве «Слово». См. в настоящем номере «Нового мира» его повесть «Рождение». А. Варламов всюду дома.

Вокруг «Вех». Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии В. Сапова. — «Вопросы литературы», 1994, выпуски IV, V, VI.

Журнально-газетная полемика 1909 — 1910 годов. Тексты и комментарии. См. на ту же тему новомирские статьи: Модест Колеров, «Самоанализ интеллигенции как политическая философия. Наследство и наследники „Вех“» (1994, № 8) и Д. Штурман, «В поисках универсального со-знания. Перечитывая „Вехи“» (1994, № 4).

Волжский архив. Летопись. Культура. Реликвии. Специальный номер журнала «Волга», 1994, № 9-10.

Владимир Цыбин, «Средние и малые пароходства на Волге», Валерий Миронов, «Саратовский губернатор А. И. Косич», Михаил Матюшин, «Воспоминания футуриста» (публикация Тамары Николаевой), письма художника Н. В. Кузьмина писателю А. Д. Скалдину (публикация Татьяны Царьковой) и многие другие материалы, связанные с Волгой и Саратовом.

Валерий Володин. Вспомни сегодня обо мне. — «Волга», 1994, № 11 — 12.

Новый текст о современной жизни (повесть или рассказ?) постоянного автора саратовской «Волги». См. его ранее публиковавшиеся произведения: «Паша Залепухин — друг ангелов» (1993, № 10 — 12) и «Русский народ едет на шашлык и обратно» (1992, № 1).

Ю. Гальперин. Сукин сын. Повесть. — «Нева», 1994, № 11.

Армейская проза.

Фридрих Горенштейн. Александр Скрябин. Кинороман. — «Юность», 1995, № 2.

Литературный сценарий биографического фильма о великом композиторе. Не забудем, что прозаик и драматург Ф. Горенштейн — еще и соавтор, вместе с Андреем Тарковским, сценария фильма «Солярис», а вместе с Андреем Кончаловским — сценариев фильмов «Раба любви» и «Седьмая пуля».

Сергей Довлатов. Из рассказов последних лет. — «Звезда», 1995, № 1.

«Третий поворот налево», «На улице и дома», «Мы и гинеколог Буданицкий». Печатаются по материалам издательства «Серебряный век» (Нью-Йорк).

Александр Згировский. Душа плюс деньги. Повесть. — «Звезда», 1995, № 1.
Убийство коммерсанта.

Вячеслав В. Иванов. Голубой зверь. Воспоминания. — «Звезда», 1995, № 1, 2, 3.
«Библиотеки в моей жизни», «Серapiоновы братья», «Стихи и перевод» — некоторые из тем книги.

Из переписки А. А. Ахматовой и Н. Н. Пунина. Подготовка текста, публикация и примечания Л. Зыкова. — «Звезда», 1995, № 1.

23 письма 1922 — 1943 годов. Тут же печатается обширная статья Леонида Зыкова «Николай Пунин — адресат и герой лирики Анны Ахматовой». См. о ней критическую рецензию А. Наймана в газете «Сегодня», 1995, № 44, 10 марта.

Леонид Кербер (Г. Озеров). На воле. — «Грани», № 174 (1994).

Один из долголетних соратников А. Н. Туполева. Продолжение его воспоминаний «Туполевская шарага» (Издательство «Посев», 1971, под псевдонимом — Г. Озеров).

Л. Д. Леонидов. Рампа и жизнь. Воспоминания и встречи. — «Драматург», 1994, № 4.

Л. Д. Леонидов (1885 — 1983) — известный театральный антрепренер.

Владимир Леонович. Как надо отдыхать от слов? — «Вопросы литературы», 1994, выпуск VI.

Заметки поэта.

Владимир Махнач. Имперская традиция в России. — «Грани», № 174 (1994).

Имперское сознание — хорошо, имперские «амбиции» — плохо. Ср. со статьей Ю. Каграманова «Империя и ойкумена» («Новый мир», 1995, № 1).

Николай Наседкин. Прототипы. Повесть. — «Наш современник», 1995, № 2.

Об убийственной (буквально) силе писательского слова.

Александр Нежный. Письмо о правде. — «Звезда», 1995, № 1.

Против о. Дмитрия Дудко.

Геннадий Николаев, Илья Фояков. «Русская бомба»: попытка прогноза. — «Нева», 1995, № 1.

За одностороннее ядерное разоружение России.

Олеся Николаева. Апология человека. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. № 5 (1994).

Христианские размышления о природе человека, развивающие аналогичные мотивы в поэзии и прозе Олеси Николаевой.

Иван Оганов. Глубокое лето. — «Октябрь», 1995, № 2.

Оганов о Пиросмани.

Булат Окуджава. Житейские печали. — «Знамя», 1995, № 2.

21 стихотворение 1958 — 1994 годов. См. также его стихи в настоящем номере «Нового мира».

Юджин О'Нил. Перед завтраком. Пьеса в одном действии. Перевод с английского Т. Бутровой. — «Драматург», 1994, № 3.

Ранняя (1916) пьеса О'Нила.

Людмила Петрушевская. Мужская зона. Кабаре. — «Драматург», 1994, № 4.

Действие — по авторскому замыслу — происходит в «античном театре». Персонажей зовут Надсмотрщик, Ленин, Гитлер, Бетховен и Эйнштейн.

Олег Платонов. Массонский заговор в России (1731 — 1995 гг.). — «Наш современник», 1995, № 2, 3, 4.

Конспирология! Из масонских архивов, захваченных Гитлером, потом вывезенных в Москву, ныне рассекреченных.

Инна Прусакова. Вокруг да около Довлатова. — «Нева», 1995, № 1.

Критический разбор специального «довлатовского» номера журнала «Звезда» (1994, № 3), а также романа Мих. Веллера «Ножик Сережи Довлатова» («Знамя», 1994, № 6).

Сергей Рейнгольд. Странности Букера. — «Знамя», 1995, № 2.

Статья о Букеровской премии в Великобритании. У них тоже странности.

Райнер Мария Рильке. Из писем к Лу. Публикация и перевод с немецкого К. М. Азадовского. — «Звезда», 1995, № 1.

Восемь писем 1897 — 1926 годов к немецкой писательнице Лу (Луизе) Андреас-Саломе (1861 — 1937).

Йозеф Рот. Из писем. Вступительная статья, составление, перевод с немецкого и примечания В. Седелника. — «Вопросы литературы», 1994, выпуск VI.

Письма прозаика Йозефа Рота (1894 — 1939) 1920 — 1930-х годов к Стефану Цвейгу, Герману Гессе и другим адресатам. «Ненасилие Махатмы Ганди для меня в той же мере не-

утешительно, в какой ненавистно насилие Гитлера. То и другое бесчеловечно» (из письма С. Цвейгу от 10 июля 1937 года).

Давид Самойлов. Поденные записи. (Из дневников). Подготовка к печати и публикация Г. И. Самойловой-Медведевой. Комментарии Н. П. Мирской. — «Знамя», 1995, № 2, 3.

Записи 1971 — 1977 годов (много купюр). «Приезжала Е. Боннер со своим новым мужем — академиком Сахаровым» (8.11.71). Дневники 1962 — 1969 годов печатались ранее в журнале «Литературное обозрение» (1990, № 11; 1992, № 5 — 9).

Антуан де Сент-Экзюпери. Из записных книжек. 1935 — 1942. Перевод с французского и комментарии Д. Соловьева. — «Звезда», 1995, № 1.

О религии и политике. «Немецкая идея: Германия есть защита от России. Европейская идея: Россия есть защита от Азии».

Алексей Слаповский. Висельник. Повесть. — «Волга», 1994, № 11 — 12.

Очередная (датированная летом 1994 года) повесть активно работающего саратовского писателя начинается словами: «То, что я убью её, — дело решённое», а кончается: «Я её любил».

Лион Фейхтвангер. Два эссе. Перевод с немецкого Л. Миримова. — «Нева», 1994, № 11.

«Открытое письмо господину Х., проживающему в моем доме, Берлин, Малерштрассе, 8» (1935) и «Писатель в изгнании» (1943).

М. Чулаки. Кремлевский Амур, или Необычайное приключение второго президента России. — «Нева», 1995, № 1.

Политическая фантазия: второй президент России, молодой и красивый, женится на «президентше» Украины. Амур в данном случае — пес.

Игорь Шайтанов. Русский миф и коммунистическая утопия. — «Вопросы литературы», 1994, выпуск VI.

Международный ученый совет при Российском государственном гуманитарном университете принял в качестве одной из научных программ тему «Миф в русской литературе. Миф о русской литературе». В рамках этой программы планируются «круглые столы», чтение лекций, международная конференция (июнь 1996 года) и др. Статьей И. Шайтанова — о прозе Е. Замятина — журнал «Вопросы литературы» начинает публикацию материалов на данную тему.

Мария Шнейерсон. По разным дорогам — в одном направлении. — «Грани», № 174 (1994).

О сложных взаимоотношениях Солженицына и Твардовского.

Асар Эппель. Разрушить пирамиду. Рассказ. — «Октябрь», 1995, № 2.

Сороковые годы. Война. Любовь. См. в настоящем номере «Нового мира» рецензию М. Новиковой на рассказы А. Эппеля.

«Это светлое имя — Пушкин». — «Октябрь», 1995, № 2.

В пушкинскую подборку входят фрагменты первого тома четырехтомной «Онегинской энциклопедии» (статьи «Гамлет», «Гнедич», «Деньги», «Вампир» и пр.) и другие литературоведческие материалы. Идея такого издания выдвигалась Н. И. Михайловой в 1989 году. Участвуют около 50 авторов. Планируется к выпуску в издательстве «Московский рабочий» к 200-летию со дня рождения поэта.

«...Я, Ваш поздний ученик...». Из писем Арс. Тарковского к А. Ахматовой. 1958 — 1965. Вступительная статья, публикация и комментарии Н. Гончаровой. — «Вопросы литературы», 1994, выпуск VI.

Восемь писем из Отдела рукописей Российской национальной библиотеки. Тут же печатаются короткие воспоминания Михаила Кралина и Александра Радковского об Арсени Тарковском.

Составитель А. Василевский.

ГУБЕРНСКИЙ ДОМ. Историко-краеведческий, культурно-просветительский, научно-популярный журнал (Кострома)

С завистью листаю попавшие мне в руки номера журнала «Губернский дом», издающегося в Костроме. Большой старомодный формат, хорошая бумага, привлекательные шрифты и виньетки, тонированные иллюстрации... Даже для столичных журналов такой полиграфический уровень большая редкость: тут, кроме редакторского вкуса, нужны и солидная издательская база, и немалые финансовые вложения.

Учредила журнал администрация Костромской области. Попечителями же (от самого слова, заметьте, веет забытыми нами основательностью и надежностью)

стали областное отделение Российского фонда культуры, областной государственный архив, Костромское епархиальное управление, объединение «Костромакурорт», областная научная библиотека... Редактор — Николай Муренин. Тираж последнего номера — 7000 экземпляров. В выходных данных не указано, к сожалению, в каком году начал выходить журнал и сколько номеров уже выпущено.

Заглянем в последний, второй, выпуск за 1995 год (журнал выходит раз в два месяца). Весь он, с обложки защитного цвета до последней развлекательной странички «Солдатский анекдот», посвящен 50-летию Победы. «Губернский дом» выбрал самую простую форму повествования о войне: воспоминания со старыми фотографиями — интервью (с фотографиями) — очерк (с фотографиями) — странички из дневника (с фотографиями) — письма (с фотографиями)... Место действия — Костромская область. Авторы, собеседники и герои — все, за редким исключением, местные, связаны с этой землей прочными узами. Известные имена — лишь на «открытие» номера да в обширной подборке писем писателей-фронтовиков к покойному критику И. А. Дедкову, память о котором Кострома благодарно чтит. Ну а все остальное — какие, скажите на милость, могут тут быть неожиданности и открытия?

«В городе распространяется страшная эпидемия... воровства! Воруют все и всюду... На огородах уже многих знакомых и соседей украдены овощи, картошка (а это значит, что вместо обеспеченной осени и зимы нас ждет голод). Воруют и «главки», партийцы».

«Из членов партии и ответственных работников плюс работников снабжения образовалось какое-то привилегированное сословие, обеспечивающее себя всеми законными и незаконными путями. А на то, что остальные сидят голодом, этому сословию наплевать...»

«...заходил к Кириллову в райисполком. Тот вызвал зав. горторготделом Королева и приказал ему сейчас же прикрепить меня к райкомовской столовой. Тот беспрекословно и моментально выдал мне пропуск в эту столовую».

Эта богатая неустаревающим смыслом история взята из напечатанного журнала дневника военных лет, который вел в Галиче местный учитель Л. И. Белов. А судя по редакционному предисловию, публикаторы хорошо понимают, с каким бесценным материалом имеют дело.

Фотоиллюстрации несут в журнале едва ли не половину смысловой нагрузки. Одна из рубрик (к сожалению, не постоянная) называется «Семейный альбом». Наша культура давно тоскует по изданиям, способным вбирать в себя бесконечное множество запечатленных на старых фотографиях лиц и ликов России. В них не только подлинная история, которую не перепишешь и не спишешь, но и народная поэзия; не только прошлое, но и будущее страны. Когда-то я сам участвовал в малоуспешных попытках создания иллюстративных журналов такого типа в столице. «Губернский дом» представляет явно удавшийся опыт — может быть, именно потому, что издается в провинции?

Это по-настоящему культурный и как-то по-особенному теплый журнал. Еще недавно для многих из нас понятие «краеведение» носило мелкий и скучный, заведомо провинциальный смысл. В самой же провинции к увлеченным исследователям своего края часто относились насмешливо, как к чужакам. Все это шло от имперского культуроцентризма. Русская земля предстала глазу таким полублудочным, подкрашенным «Золотым кольцом». Теперь провинция начинает ощущать собственную жизнь самоценной, именно жизнью, а не разыгрываемым на потеху «благородной» публике спектаклем. Но не следует обольщаться: матрешечный синдром и официальщина еще не раз, видимо, дадут о себе знать. И здесь придется заметить, что другие из прочитанных мной номеров «Губернского дома», менее целенаправленные по замыслу, уже не столь органичны. Казенная передовица, бывает, соседствует в них с панегириком какому-нибудь местному начальнику, а приторное воспевание «родной сторонки» — с плохими стихами областной поэтессы... Журналу, взявшему такой разбег, грешно опускаться до уровня районной газеты. Нет достаточного количества талантливых стихов, рассказов, повестей, способных соперничать с лучшими столичными образцами, — и не надо! Для единственного журнала на такую большую область — с древней историей, с глубокими культурными корнями, с богатейшими архивами — найдутся и другие достойные внимания предметы, интересные всем.

Сергей Яковлев.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Bulat Okudzhava, Aleksei Purin, Olga Kuznetsova and Ekaterina Shevchenko.

We are publishing the narrative «The Birth» by Aleksei Varlamov, a wide selection of short stories by Vladimir Berezin titled «Feeding of the Old Cat», the narrative «New Under the Sun» by Vera Chaikovskaya describing life of today's Russia.

In the section «Publicistics» the essay «Chronicles of Hard Times» by Valery Pisigin is being published.

The section «Times and Customs» is presented by the travel notes «In Europe for the First Time. Partial Impressions» by Anna Annenkova.

In the section «Diaries. Memoirs» we are publishing Igor Zotikov's documentary narrative about Academician Pyotr Kapitsa.

The section «Literary Criticism» contains the essays «„Hi, Slavs!“ Features of Historic Self-Consciousness on the Turning-Point of the Epochs» by Aleksandr Arkhangelsky and «What Will You Be Like, Sweet Child? The First Impressions of the Russian Best Seller» by Dmitry Stakhov.

The section «By the Way» contains the polemical notes «In Commemoration of Vanka Zhukov» by Pavel Basinsky.

In the section «Book Review» Marina Novikova reviews the collected stories by Asar Eppel, Yuly Shreider reviews the memoirs by Nikita Moiseev, Sergei Larin reviews the encyclopaedia «Who Is Who in Russia and in the former USSR».

In the section «Editor's Mail» we are publishing the notes by Academician G. Golitsin on an actual ecological theme, the rise of water level in the Caspian Sea.

The issue also contains our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics».



Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Зальгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Коммерческий директор **В. Д. Васковский**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.3.95 г. Подписано к печати 10.5.95 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 30.200 экз. Зак. 1765. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1995 ГОДА «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ. Окнами на юг (эскиз к портрету «новых русских»);
 ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ. Рассказы (из наследия);
 НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Роман воспитания;
 СЕРГЕЙ КИРИЛОВ. О судьбах «образованного сословия» в России;
 Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания, часть вторая);
 МИХАИЛ КУРАЕВ. «Встречайте Ленина!» (рассказ);
 Е. Э. МАНДЕЛЬШТАМ. Воспоминания;
 Т. Г. МОРОЗОВА. В институте благородных девиц (воспоминания);
 ВЛАДИМИР НАБОКОВ. Образчик разговора, 1945 (рассказ, перевод с английского);
 ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина (роман);
 ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ. Разрушительные тенденции в русской культуре;
 МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. К истории национал-большевизма в России;
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Косточка авокадо (рассказ);
 Е. Р. ЭЙГЕС. Записки о Сергее Есенине;

а также новые произведения АНДРЕЯ БИТОВА, АНДРЕЯ БЫСТРИЦКОГО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, БОРИСА ЕКИМОВА, ИГОРЯ КЛЯМКИНА, МАРКА КОСТРОВА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, НИКОЛАЯ ПЕТРАКОВА, ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА, ДОРЫ ШТУРМАН, ДМИТРИЯ ШУШАРИНА и других авторов.

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ АНОНСАМИ!